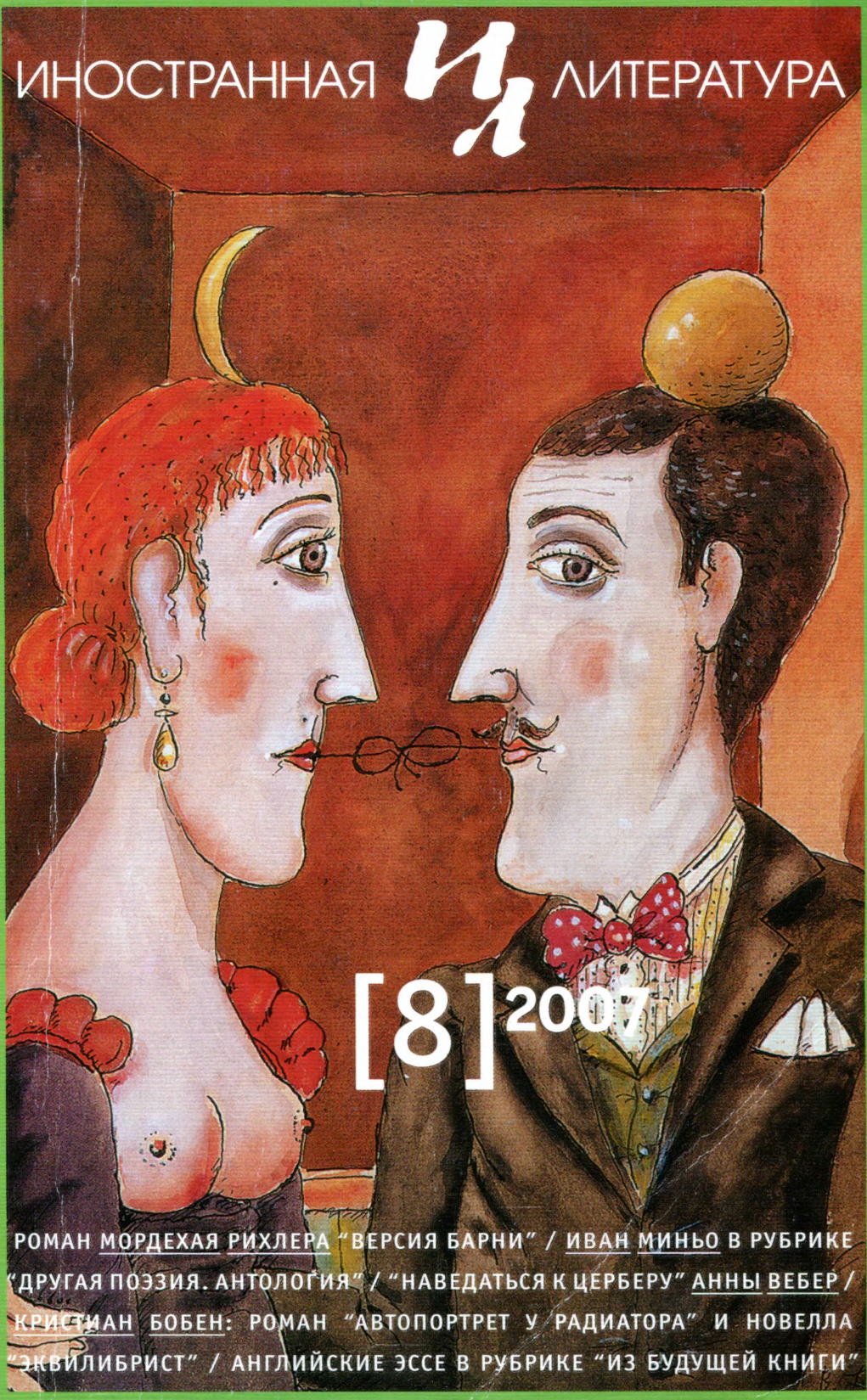
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[8] 2007

РОМАН МОРДЕХАЯ РИХЛЕРА "ВЕРСИЯ БАРНИ" / ИВАН МИНЬО В РУБРИКЕ "ДРУГАЯ ПОЭЗИЯ. АНТОЛОГИЯ" / "НАВЕДАТЬСЯ К ЦЕРБЕРУ" АННЫ ВЕБЕР / КРИСТИАН БОБЕН: РОМАН "АВТОПОРТРЕТ У РАДИАТОРА" И НОВЕЛЛА "ЭКВИЛИБРИСТ" / АНГЛИЙСКИЕ ЭССЕ В РУБРИКЕ "ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ"

Основан в 1891 году

“ИЛ” в 2008 году

“**Марш**” – роман автора знаменитого “Рэгтайма”, американца ЭДГАРА ДОКТОРОУ; художественно-документальная хроника кровавых эпизодов Гражданской войны в США.

Роман хорошо известной нашему читателю английской писательницы МЮРИЕЛЬ СПАРК “**Не беспокоить**” с характерными для ее книг сатирой, пародией и бурлеском.

“**Либидисси**” немецкого прозаика ГЕОРГА КЛЯЙНА – притча о взаимоотношениях Запада и стран Третьего мира, написанная в жанре детективного романа.

Роман крупнейшего (и совершенно неизвестного у нас) современного английского прозаика АДАМА ТОРПА “**Правила перспективы**” о последних месяцах Второй мировой войны, об искусстве и о том, как трудно остаться человеком в бесчеловечные времена.

“**Теракт**” – роман одного из самых читаемых на Западе франкоязычных алжирских писателей ЯСМИНЫ ХАДРА о судьбе живущего в Израиле палестинца.

“**Двое бедных румын, говорящих по-польски**” – пьеса юной польки ДОРОТЫ МАСЛОВСКОЙ, в одночасье ставшей кумиром молодых читателей и в Польше, и в России. Ее герои, юноша и девушка, выдающие себя за румын-попрошаек, убегая от самих себя, от скуки и безнадежности собственной жизни, в алкогольно-наркотическом трансе колесят по дорогам Польши.

Главы из книг “**Спасенный язык**” и “**Факел в ухе**” австрийского прозаика и драматурга, лауреата Нобелевской премии ЭЛИАСА КАНЕТТИ – богатый яркими подробностями рассказ о детстве и юности будущего писателя.

Последняя книга КУРТА ВОННЕГУТА “**Человек без родины**” – автобиография и подведение итогов одного из крупнейших писателей Америки XX–XXI веков.

“**Современная смерть**” – острый и злободневный памфлет шведского писателя и публициста КАРЛА-ХЕННИНГА ВИЙКМАРКА об эвтаназии – о спорах, которые ведутся вокруг этого явления, и о том, что современное общество готово даже смерть поставить на службу выгоде.

Литературный гид “**Славомир Мрожек**” и специальные номера “**Артур Конан Дойл**” и “**Как наше слово продается**”.

[8]
2007

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Мордехай Рихлер *Версия Барни.* Роман. Перевод с английского В. Бошняка. Вступление А. Ливерганта

134 Анна Вебер *Наведаться к Церберу.* Перевод с немецкого В. Седельника. Вступление Т. Баскаковой

181 Кристиан Бобен *Эквилибрист.* Новелла. *Автопортрет у радиатора.* Роман-дневник. Перевод с французского и вступление Анны Чупахиной

Другая поэзия. Антология. 232 Сергей Завьялов *"Сожжение всех слов от A до Z"*

235 Иван Миньо *проза о Даме.* Перевод с французского Сергея Завьялова

Из будущей книги 241 *Национальные предрассудки.* Переводы с английского А. Ливерганта, Т. Казавчинской. Вступление А. Ливерганта

Среди книг 283 Анна Боярская *Неизвестная чешская поэзия*

Авторы номера 286

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. В. Михеев

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская
заведующая отделом критики и публицистики

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

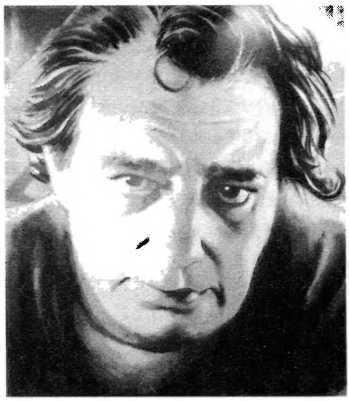
О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Е. Ю. Леонова
И. В. Мокин
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
А. Н. Словесный
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Журнал выходит при финансовой поддержке

Мордехай Рихлер



Версия Барни
с примечаниями и послесловием Майкла Панофски

Роман

Перевод с английского В. Бошняка

Вступление А. Ливерганта

"Широк человек..."

В послесловии к воспоминаниям своего отца, Барни Панофски, героя "Версии Барни" канадского прозаика Мордехая Рихлера (на родине его называют на английский манер Ричлер), его старший сын Майкл пишет, что у отца были в жизни две излюбленные идеи. Первая — что жизнь абсурдна, и вторая — что нет на свете ни одного человека, который был бы способен понять другого. Майкл своего отца явно недооценивает, хотя жизнь и герою, и его создателю, писателю, хорошо известному в Канаде и США и мало известному у нас, и впрямь видится сплошным абсурдом.

Излюбленных идей у главного героя, конечно же, куда больше двух, да и не такой уж Барни Панофски циник и человеконенавистник, за какового себя выдает и каким видится другим. Классическая реплика Дмитрия Карамазова "широк человек, слишком даже широк" применима, кажется, именно к таким, как Барни, в котором чего только не намешано. Он и ерник-острослов, которому на язык лучше не попадаться, — и до трогательности преданный друг. Он и жуир, бонвиван — и нежнейший (в третьем, правда, браке) муж и отец. Он и продюсер низкопробных телесериалов, выведенный в романе друга юности стяжателем, "денежным человеком", — и книгочей, который, по обыкновению немного

© 1997 by Mordecai Richler
© В. Бошняк. Перевод, 2007
© А. Ливергант. Вступление, 2007

кокетничая, утверждает, что с бóльшим интересом читает журнал "Либерти", чем Толстого или Конрада. Он и интеллектуал, даром что сын еврея-полицейского (чем не оксюморон!), — и внук ритуального резника, прибывшего в начале прошлого века, как и родители Рихлера, в Монреаль из восточноевропейского местечка. А еще — заядлый хоккейный болельщик, который не пропускает ни одного матча "Монреаль Канадиенз" и даже на собственной свадьбе не находит себе места, так как не знает, с каким счетом ведет любимая команда. А еще — большой любитель выпить, подраться в баре и станцевать чечетку; такого, утверждает его благонравный тесть, и за приличный стол-то не посадишь: эпатировать, дразнить, разыгрывать друзей и родственников — любимое занятие Барни. А еще, при всем своем язвительном уме и напускном цинизме, человек он, в сущности, ранимый, не уверенный в себе, временами даже по-детски наивный.

"Широк" — в отличие от сходных трагифарсовых исповедей Сола Беллоу и Филипа Рота — и сам роман. Перед Мозесом Герзагом, героем одноименного романа Сола Беллоу, и Портным, героем романа Филипа Рота "Жалобы Портного", такими же, как и Барни Панофски, еврейскими интровертами и его ближайшими литературными родственниками, у главного героя книги Рихлера есть по крайней мере одно безусловное преимущество. В отличие от истерика Портного, раскрывающего на четырехстах страницах душу психоаналитику, и университетского профессора Мозеса Герзага, который, как и Портной, жалуется на жизнь — правда, не психоаналитику, а своим корреспондентам, коллегам, родственникам, знакомым, а заодно и литературным героям и историческим личностям, — Барни Панофски описывает свою, по его же собственному выражению, "никчемно растраченную" жизнь весело, иронизирует и издевается больше всего над самим же собой, в чем, должно быть, и состоит секрет его обаяния. Вокруг Мозеса Герзага и Портного мир разряжен, герои Беллоу и Рота на переднем плане, все остальное — где-то на периферии. Мир же, окружающий Барни Панофски, напротив, насыщен, даже перенасыщен и социальным, и человеческим, и собственно литературным материалом.

Социальным романом бальзако-драйзеровского образца "Версию Барни" можно назвать лишь с натяжкой, хотя жизнь главного героя сопряжена со многими значимыми событиями прошлого века, проходит на пестром фоне истории Канады, Америки, Европы прошедшего столетия. Довольно экзотический — если смотреть на него сегодняшними глазами — быт еврейского рабочего квартала в Монреале 40-х, совпавший по времени с детством героя. Эстетические и любовные искания заокеанской молодежи в Париже 50-х, совпавшие с его юностью. Отголоски войн в Корее, Вьетнаме, Алжире. Взрыв послевоенного национализма, которого не удалось избежать даже лояльной Канаде и от которого пострадал и отец героя, долгое время тщетно искавший работу, и автор книги: еврей Рихлер в пятидесятые годы был лишен права преподавания в университете. Памятные события американской истории середины века: убийство Кеннеди, негритянские и молодежные бунты, Уотергейт. Студенческие волнения в Монреале 60-х, в которых, впрочем, участвует уже не сам Барни, а его антипод-сын: Савл лишен спасительного отцовского скепсиса, он — радикальный марксист, ярый приверженец независимого Палестинского государства и независимого Квебека. Тема Квебека, к слову, занимает в "монреальском" романе особое место: Барни вспоминает исторический референдум 30 октября 1995 года, когда до самого конца оставалось неясным, выйдет или не выйдет строптивая франкоязычная провинция из состава Канады. Все эти и многие другие события Барни Панофски пропускает через себя, выступает как свидетель, чаще же — как сторонний, ироничный комментатор.

Еще более заметное место занимает в романе литературная и окололитературная жизнь и, соответственно, люди искусства, их нравы. Многие герои книги стано-

вятся — еще при жизни, как бездарный и претенциозный, к тому же нечистый на руку Терри Макайвер, или после смерти, как художник-авангардист Лео Бышински, "чьи образчики мазни" окажутся спустя полвека в нью-йоркском Музее современного искусства, и первая жена героя Клара Чернофски, клепто- и эротоманка, манерная художница и поэтесса, страстная почитательница Уильяма Блейка, — авторами модными, именитыми, изучаемыми. Книга Рихлера — это, среди прочего, и "роман с ключом". За Кларой Чернофски, Терри Макайвером, Лео Бышински или за ближайшим другом Барни Бернардом Буки Московичем, своей неприкаянностью, охотой к перемене мест и неодолимой приверженностью к наркотикам чем-то напоминающим битника и писателя Джека Керуака, скрываются, надо полагать, реально существовавшие люди, подобрать "ключ" к которым, распознать их прототипы может стать занятием и увлекательным, и познавательным. "Литературен" роман и в том смысле, что по его страницам щедро рассыпаны многочисленные литературные ассоциации, аллюзии, цитаты, ссылки то на Сэмюэла Джонсона и Гауптмана, то на "Илиаду", то на Максима Горького и "Песнь о Роланде", отчего, впрочем, книга Рихлера вовсе не становится трудночитаемой, требующей от читателя солидной подготовки. Претензия романа — как и его героев — на интеллектуальность не более чем фикция, литературная игра.

Словом "игра" определяется и жанр романа Рихлера, и его творческий метод, и raison d'être главного героя. Рихлер тяготеет к трагифарсовому письму, роман написан в лучших традициях англо-американской литературы смеха — не случайно автор стал лауреатом престижной в Канаде премии имени замечательного юмориста и теоретика юмора Стивена Ликока. Рихлер-Панофски владеет юмором на любой вкус — броским, изысканным, "черным". "Версия Барни" изобилует остротами, шутками, каламбурами, пресмешными, далеко не всегда приличными историями и наблюдениями, злыми и меткими карикатурами, читается как "современная комедия", демонстрирует обширную галерею современных каприччос — ловчил, проходимцев, жуиров, пьяниц, продажных политиков, оборотистых коммерсантов, графоманов, подкупленных следователей и адвокатов, чудаков, безумцев, экстремистов. Больше же всего от едкого сатирического дарования Рихлера достается, как это обычно и бывает, его соотечественникам. И в этом отношении "Версия Барни" и другие книги Рихлера, этого неустанно язвительного исследователя еврейского Монреаля, можно поставить в один ряд с романами уже упоминавшихся Сола Беллоу и Филипа Рота, новеллами Бернарда Маламуда и Исаака Башевиса Зингера. Взять хотя бы тихий, мирный, незаметный — и насквозь коррумпированный благотворительный фонд "Общее еврейское дело". Или же Вторую Мадам Панофски и ее родителей, состоятельных, "умеющих жить" еврейских обывателей с "запросами" — это трио, тоже своего рода "общее еврейское дело", — едва ли не самая большая удача автора "Версии Барни".

Рихлер виртуозно владеет словом, причем не только английским: "Версия Барни" — это прямо-таки вавилонское столпотворение, где в ходу и французский, и испанский, и латынь, и идиш, и иврит, и франко-английский, на котором говорят в двуязычном Монреале, и еврейско-английский, на котором изъясняется отец героя. Автор "Версии Барни" с равным успехом, как и положено большому писателю, "гримируется" под наркомана и следователя из полиции, под гостиничную шлюху, высоколобого интеллектуала и местечкового еврея. Особенно же удаются Рихлеру перевоплощения литературные. Чего стоит, например, мемуарный опус "О времени и лихорадке" "живого классика" Терри Макайвера (очевидная аллюзия на Томаса Вулфа: "Of Time and River" — "Of Time and Fever"). Рихлер — имитатор настолько искусный, что эту ядовитую пародию на мемуарно-дневниковую прозу, как, впрочем, и другие стилизации, которых в романе немало, поначалу, пока прием не обнажится в полной мере, ничего не стоит принять за чистую монету...

"Так и не смог сегодня утром вчитаться в 'Смерть в рассрочку' Селина..." — начинает со свойственной ему снобистской претензией Макайвер свой мемуар. Вчитаться же в текст Мордехая Рихлера, уверен, большого труда читателю не составит. Все дело в том, что "Версия Барни" — роман не только нравописательный и сатирический, социальный и интеллектуальный, но еще и детективный... Но мы уже забегаем вперед. "Стоп. Заносит", — как сказал бы в этом случае Барни Панофски.

I
Клара
1950–1952

1

ТЕРРИ — это просто нож острый. Заноза у меня под ногтем. Говоря откровенно, всю эту пачкотню, затеянную как истинный отчет о моей никчемно растраченной жизни, я начинаю (нарушив святой зарок и в столь преклонном возрасте впервые принявшись писать книгу) в ответ на оскорбительный поклеп, возведенный на меня Терри Макайвером в его мемуарах, которые вскоре должны выйти в свет. Поклеп касается меня, моих трех жен (он называет их *тройкой* кучера Барни Панофски), природы моих дружеских отношений с Букой и конечно же той жуткой истории, что, как горб, будет сопровождать меня до могилы. Свои два прихлопа с притопом под названием "О времени и лихорадке" Терри запускает через Объединение (простите, объединение) заштатных, субсидируемых правительством издательств, окопавшихся в Торонто, тех самых, что издают еще и ежемесячный журнал "Добрая земля", печатая его, разумеется, на бумаге из отходов — ну а как же!

В начале пятидесятых мы с Терри, оба родом из Монреаля, вместе были в Париже. В нашей компании беднягу Терри едва терпели; мои друзья были сворой нищих, жадных до жизни молодых писателей и художников, по уши заваленных издательскими отказами, но изо всех сил делавших вид, будто уверены, что все у них будет — и слава, и влюбленные женщины; что же касается богатства, то оно лежит и ждет за углом наподобие подарка, которыми во времена моего детства славилась озабоченная рекламой фирма Уильяма Ригли. Рассказывали, что в любой момент посреди улицы можно было наткнуться на рекламную акцию, и, если отыщешь в кармане обертку от жевательной резинки "ригли", тебе запросто дадут новенький хрустящий доллар. Меня мистер Ригли так никогда подарком и не осчастливил. Но некоторых из нашей компании слава все же настигла: одержимого Лео Бишински, Седрика Ричардсона (правда, под другим именем) и конечно Клару. Клара после смерти мало-помалу сделалась чем-то вроде феминистской святой, стала прямотаки иконой, чеканный образ которой выбит молотом мужского шовинизма и бесчувствия. Считается, что этим молотом был я.

Я был урод и белая ворона. Скорее даже дохлая ворона с тухлинкой. Прирожденный предприниматель. Я не удостаивался стипендий в Мон-

реальском университете имени Джеймса Макгилла, подобно Терри, и не учился ни в Гарварде, ни в Колумбийском, как некоторые другие из общих знакомых. Едва протиснулся сквозь игольное ушко средней школы, уделив больше времени столам "бильярдной академии", нежели школьной парте, так зато ведь играл на равных с самим Дадди Кравицем! Я не писал. Не рисовал. Никаких артистических амбиций не имел вовсе, если не считать фантазии, в которой воображал себя певцом и танцором на эстраде: вот я приподнимаю канотье в приветствии, обращенном к почтеннейшей публике на галерке, а вот, не прерывая чечетки, выпархиваю со сцены, на которую следом за мной выйдет ансамбль "Пичиз", Энн Корио [Правильное написание "Корео". — *Прим. Майкла Панофски*], Лили Сен-Сир либо еще какая-нибудь экзотическая плясунья; еще мне виделось, как в самый упоительный момент своего танца она вдруг возьмет да и повергнет публику в шок, под барабанный бой мельком показав голую грудь, — причем отметьте, что мечтам этим я предавался задолго до того, как разного рода стриптиз стал в Монреале явлением заурядным.

Читал я запоем, но было бы ошибкой принять это за признак моей одухотворенности. Или душевной чуткости. По совести, я вынужден признать за собой (здесь я как бы киваю Кларе) некую изначальную низменность души. Ее гнусную состязательную сущность. Увлек-то меня не Толстой с его "Смертью Ивана Ильича" и не "Тайный агент" Джозефа Конрада, а старый журнал "Либерти", в котором каждая статья предварялась уведомлением о том, сколько нужно времени, чтобы ее прочесть — например, пять минут и тридцать пять секунд. Положив украшенные изображением Микки-Мауса наручные часы на клетчатую клеенку кухонного стола, я стремглав проскакивал статью — скажем, за четыре минуты и три секунды, — и рад-радешенек: экий я, выходит, умник! От "Либерти" шагнул выше — к изданному в мягком переплете роману Джона Марканда "Мистер Мото" про неуловимого японского шпиона; подобного рода книжки продавались в те времена по двадцать пять центов в "Аптеке Джека и Мо", что была на углу Парк-авеню и Лорье-стрит в сердце старого монреальского еврейско-рабочего квартала, где прошло мое детство. В нашем округе, кстати, был избран единственный коммунист, когда-либо ставший депутатом парламента (Фред Роуз), здесь же выросли два недурных боксера (Луис Альтер и Макс Берже), положенное количество врачей и дантистов, прославленный игрок и владелец казино в одном лице, а кровопийц-адвокатов наш квартал породил в количестве большем, чем это необходимо; кроме того, прорву всяких учителей и училок, и — таки да — кой-какую кучку миллионеров; вдобавок, конечно же, нескольких раввинов и по меньшей мере одного заподозренного в убийстве.

То есть меня.

Помню снежные сугробы в полтора метра высотой, внешние лестничные марши (их надо было чистить лопатой на морозе) и громыхание проезжающих машин, на колеса которых, ввиду отсутствия в те времена шин для езды по снегу, надевали цепи. Помню, как на заднем дворе висели на веревках замерзшие до каменной твердости простыни. Под шипение и щелканье радиатора, не смолкавшее в моей комнате всю ночь, я в конце концов докопался до Хемингуэя, Фицджеральда и Джойса, до Гарриетты Арно с ее "кукольницей Герти" и Алисы из "страны чудес", да и до нашего отечественного Морли Каллагана*. Повзрослев, я

* Здесь и далее "звездочка" отсылает к затекстовым примечаниям переводчика.

стал завидовать эмигрантским приключениям знаменитых авторов, и это заставило меня в пятидесятом году принять серьезное решение.

О, этот пятидесятый! То был последний год, когда Билл Дарнан, пятикратный обладатель кубка Джорджа Везины и лучший голкипер Национальной хоккейной лиги, стоял на воротах моей любимой команды "Монреаль канадиенз". В 1950-м nos glorieux[1] могли похвастать прекрасными силами обороны, а главной опорой команды был юный Дуг Харви. С нападением дело ладилось лишь на две трети: после ухода Гектора Блейка по прозвищу Мальчик-с-пальчик, покинувшего лед в сорок восьмом, Морис Ракета Ришар и Элмер Лэч взяли к себе в тройку Флойда Карри, увы так и оставшегося Чайником. Ко времени поездки в роковой Детройт они числились в том сезоне вторыми, но дальше — о горе, о несмываемый позор! — в полуфинале Кубка Стэнли оказались на четыре победы ниже нью-йоркских "Рейнджеров". Впрочем, для Ракеты год в целом все же выдался приличным: в индивидуальном зачете он окончил сезон вторым, имея в активе сорок три гола и двадцать две голевые передачи. [В действительности по счету очков Ришар закончил тот сезон четвертым. Первенствовал Тед Линдсей из детройтской команды "Красные крылья" — у него оказалось двадцать три гола и пятьдесят пять передач. Сид Абель был вторым, Горди Хоу третьим, а уж потом Ришар. — *Прим. Майкла Панофски.*]

Как бы то ни было, в 1950 году, в возрасте двадцати двух лет, я бросил танцовщицу кордебалета, с которой жил до той поры в первом этаже дома на Таппер-стрит, изъял из капиталов банка "Сити энд дистрикт Сейвингз" свою скромную заначку (деньги я откладывал, работая официантом в заведении "Олд Норманди руф", куда устроил меня отец, инспектор полиции Иззи Панофски) и оплатил проезд в Европу на пароходе "Куин Элизабет", который отплывал из Нью-Йорка. [Судно называлось "Куин Мэри"; свой последний рейс оно совершило в 1967 году, встретившись с "Куин Элизабет" в море в 0 часов 10 минут 25 сентября 1967 года. — *Прим. Майкла Панофски.*] Наивный: снискав расположение людей искусства, чистых сердцем "непризнанных законоустроителей мира", я собирался обогатиться духовно. А времена-то были какие: обжиматься со студенточками можно было совершенно безнаказанно! *О голубка м-моя, как тебя я люблю-у! Как, скажи, передать мне словами тайную грусть м-мою?* – та-ра-та, тара-дара-дам-та-бум! Лунные ночи на палубе, симпатичные девушки в широченных юбках, поясками затянутых "в рюмочку", обутые в двухцветные туфельки, и у всех на щиколотках браслеты... Причем девчонки надежные: уж точно не подадут на тебя через сорок лет в суд за сексуальное домогательство, когда какая-нибудь женщина-психоаналитик с бритой верхней губой выудит из бедняжки загнанное в подкорку воспоминание о насилии во время свидания.

Слава не слава, но удача ко мне в конце концов приблудилась. Принесла какой-никакой достаток, а ведь пришла едва живая, на дрожащих ножках. Началось с того, что меня взял под свое крыло выживший в Освенциме еврей, Йоссель Пински, который в занавешенном проявочном чулане фотомастерской на рю де Розье менял нам доллары по курсу черного рынка. Однажды вечером Йоссель сел ко мне за столик в "Олд нейви", заказал café filtré[2], положил себе в чашку семь кубиков сахару и говорит:

1. Наши прославленные (*франц.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Кофе, сваренный в кофеварке (*франц.*).

– Мне нужен кто-нибудь с хорошим канадским паспортом.

– И что он должен делать?

– Деньги. Что нам еще остается? – С этими словами он достал швейцарский армейский нож и принялся чистить оставшиеся ногти. – Но сперва не помешает получше друг с другом познакомиться. Вы не ели еще?

– Нет.

– Тогда пойдем пообедаем. Да ну, я не кусаюсь. Пойдемте, *бойчик*.

Таким вот образом всего год спустя с легкой руки Йосселя я сделался экспортером французских сыров во все более щедрую послевоенную Канаду. По возвращении на родину Йоссель устроил меня главой представительства итальянской компании "Веспа", производившей необычайно популярные одно время мотороллеры, а по мне так просто табуретки с моторчиком. В последующие годы мы на паях с Йосселем прибыльно торговали также оливковым маслом (совсем как молодой Меир Лански*), штуками ткани, произведенной на островах Льюиса и Гарриса в Британии, металлоломом, который и покупался и продавался, даже не попадаясь мне на глаза, устаревшими "дугласами" DC-3s* (некоторые из них в районах крайнего севера и по сей день летают), а после переезда Йосселя в Израиль – всего на шаг, но он опередил-таки жандармов! – я торговал даже предметами египетской древности, украденными из второстепенных могил в Долине Царей. Однако и у меня есть принципы. Никогда я не имел дела с оружием, наркотиками и пищевыми добавками.

Потом и вовсе – грех, да и только. В конце шестидесятых я начал на канадские деньги продюсировать фильмы, которые в прокате больше чем неделю нигде не держались – зрители сгорали со стыда, но эти фильмы в конце концов принесли мне, а стало быть и тем, кто на меня работал, сотни тысяч долларов – была одна такая дырочка в налоговом законодательстве, но с тех пор ее уже заткнули. Затем я поставил на поток телесериалы на канадском материале, и поток этот был таким мутным, что спускать его удавалось разве что в США, а если говорить об опусах про Канадскую конную полицию, где в качестве героя блистал проницательный сыщик Макайвер (особенно завлекательно выходили у него сексуальные сцены в каноэ и всевозможных вигвамах и иглу), то эту продукцию удавалось поставлять также и в Великобританию, да и в другие страны тоже.

Когда требовалось, я плясал ритуальную румбу этакого современного патриота – прятался в щель, которую Великий Гуру* обозвал последним прибежищем негодяя. Каждый раз, когда под американским давлением какой-нибудь министр принимался ратовать за свободу рынка, грозя похерить закон, по которому приличные деньги шли на то, чтобы определенная часть грязи в канадском эфире в Канаде же и производилась, я быстренько нырял под прилавок, выпрямлялся с видом заправского канадца, морского волка, капитана дальнего плавания или кем еще по такому случаю положено рядиться, и представал перед комитетом. "Мы показываем канадцам, что такое Канада, – увещевал я. – Мы память страны, ее душа, ее гипостасис, квинтэссенция, последняя линия обороны – не будь нас, все бы давно рухнуло под сокрушительным натиском культурного империализма нашего южного соседа".

Стоп. Заносит.

В те наши эмигрантские деньки мы были буйной ватагой провинциалов, счастливых уже одним тем, что ходим по Парижу. Пьяные от окружающих красот, мы боялись отправляться спать в гостиницу на Левый берег – вдруг проснемся дома и родители, неведомо как перетащившие

отпрыска к себе, снова начнут приставать: дескать, на твое образование потрачена уйма денег, так что, будь добр, подставляй-ка плечи под общую ношу. Что до меня лично, то ни одно письмо отца не обходилось без скрытого укола: "Янкель Шнайдер — помнишь его, он еще заикался? И что с того? Стал дипломированным бухгалтером и разъезжает теперь на 'бьюике'!"

В нашу разношерстную компанию входили двое художников (если их можно было так назвать), оба из Нью-Йорка. Клара была дурында, а вот Лео Бишински очень даже себе на уме: свою артистическую карьеру он спланировал лучше, чем Веллингтон. Вы меня поняли: я насчет той баталии у какой-то деревни в Бельгии. [Ватерлоо, где 18 июня 1815 года герцог Веллингтон и прусский фельдмаршал Гебхард Леберехт фон Блюхер нанесли поражение Наполеону. — *Прим. Майкла Панофски.*] На битву он отправился прямо с бала. Или после бала он сразу возвращался на корабль. Нет, то был Френсис Дрейк.

Мастерскую Лео устроил себе на Монпарнасе в каком-то гараже, там он трудился над огромными триптихами, при этом краски смешивал в ведрах, а наносил кухонной тряпкой. Бывало, отступит метра на три, крутанет тряпкой да как швырнет! Однажды я зашел к нему. Мы на двоих раскурили косячок, и он сунул тряпку мне.

— Давай попробуй!

— Что, в самом деле?

— А почему нет?

Да, подумал я, скоро Лео побреется, подстрижется и поступит в какую-нибудь нью-йоркскую рекламную фирму.

Как жестоко я ошибался!

Поди знай, что через сорок лет одни образчики его мазни окажутся в галерее Тейт, у Гуггенхайма, в нью-йоркском Музее современного искусства и в вашингтонской Национальной галерее, а другие будут за миллионы скупать гении биржевых махинаций и виртуозы консалтинга, у которых частенько еще и японские коллекционеры станут их из-под носа выхватывать. Поди предскажи, что вместо задрипанного "рено дё шево" [На самом деле 2CV — это "ситроен"*. Упомянутая модель была представлена на парижском Мотор-шоу в 1948 г. и снята с производства в 1990-м. — *Прим. Майкла Панофски*] в его десятиместном гараже в Амагансетте (штат Нью-Йорк) рядом с "роллс-ройсом Серебряное Облако" среди других игрушек будет стоять раритетный "морган", "феррари-250-берлинетта" и "альфа-ромео". Или что сегодня, мимоходом упомянув его имя, я могу подвергнуться обвинению в хвастовстве. Я даже как-то видел Лео на обложке журнала "Вэнити фейр": он там в виде Мефистофеля — рогатый, с пурпурной тростью и в таком же фраке — рисует магические символы на голом теле самой популярной в том месяце старлетки.

В те старые времена всегда было понятно, кого Лео трахает, tout court[1] потому, что некая одетая в кашемировый костюмчик сдобненькая девчушка из Небраски (она в администрации "Плана Маршалла" работала) имела обыкновение частенько приходить с ним в "Куполь", где без зазрения совести ковыряла за столом в носу. А теперь в его особняке на Лонг-Айленде толпятся знаменитые манекенщицы, соперничая друг с дружкой в том, чьи лобковые волоски он вплетет в ткань своей

1. Просто-напросто (*франц.*).

картины вместе с обломками пляжных стаканчиков, селедочными скелетами, колбасными обрезками и отстриженными кусочками ногтей.

В пятьдесят первом все в нашей шайке начинающих художников и писателей гордились своей свободой от того, что они, de haut en bas[1], клеветнически именовали "крысиными бегами", однако горькая правда в том, что, за блистательным исключением Бернарда Буки Московича, все они были как раз по этим самым бегам соперниками. Все, задрав штаны, мчались, пытаясь друг друга опередить, подобно любому "Человеку организации"* или "Человеку в сером фланелевом костюме"*, если кто-то из вас достаточно стар, чтобы помнить эти давно забытые бестселлеры-однодневки. Такие же однодневки, как Колин Уилсон*. Или хулахуп. Стремление преуспеть двигало ими всеми в той же мере, что и любым пацаном с монреальской улицы Сент-Урбан, который все свои деньги — а, будь что будет! — вкладывает в новую осеннюю коллекцию лыжной обмундировки. Тех, что воображали себя писателями, было больше. Надо писать по-новому! — постановил Эзра Паунд незадолго перед тем, как его признали сумасшедшим. Причем, обратите внимание, им не приходилось в универмаге раздавать покупателям образцы с тележки, "держась только на радостной улыбке и сиянии башмаков", как когда-то сказал Клиффорд Одетс [Не Одетс, а Артур Миллер в "Смерти коммивояжера" на с.138, Викинг Пресс, Нью-Йорк, 1949. — *Прим. Майкла Панофски*]. Нет, свой товар они рассылали по журнальным и книжным издательствам, приложив конверт с обратным адресом и маркой. Все, кроме Буки; вот уж в ком действительно была искра Божья!

В письме к Солу Беллоу Альфред Казин* когда-то сказал, что, даже будучи молодым и неизвестным, он всегда ощущал вокруг себя ауру человека, которому суждено стать великим. То же самое я чувствовал в отношении Буки, который в те времена на редкость щедро расточал похвалы другим молодым писателям, и все понимали: это оттого, что он на голову выше любого из них.

Помню, вопрос о том, над чем он сейчас работает, всегда повергал его в неистовство, и тогда он напускал тумана и всячески паясничал, чтобы только не отвечать.

— Взгляните на меня, — сказал он однажды. — Во мне собраны все пороки Толстого, Достоевского и Хемингуэя. Трахну любую крестьянскую девку, лишь бы дала. Игрок отчаянный. И пьяница. Господи, ведь я даже антисемит, совсем как Фредди Д., хотя в моем случае это, наверное, не считается, потому что я и сам еврей. Все, чего мне пока что не хватает, так это своей Ясной Поляны, признания моего огромного таланта и денег на сегодняшний обед — или ты меня приглашаешь? *Гезунт ауф дайн кепеле*[2], Барни.

Будучи на пять лет меня старше, в день высадки союзников в Европе Бука вскарабкался на береговой откос пляжа Омаха-бич в Нормандии и пережил сражение в Арденнах. В Париже он существовал на ветеранское пособие (сто долларов в месяц) плюс вспомоществование из дома, на которое с переменным успехом играл в chemin de fer[3] в Воздухоплавательном клубе.

Ладно, черт с ними, со злобными сплетнями, которые недавно принялся ворошить *фербрехер*[4] Макайвер, все равно мне от них не отделаться

1. Все, как один (*франц.*).
2. Здоровья твоей головушке (*идиш*).
3. Железка — карточная игра. (*франц.*).
4. Лжец (*идиш*).

по гроб жизни. На самом-то деле у меня никогда не было друга лучше Буки. Я обожал его. Много раз мы с ним раскуривали один косячок на двоих, из одной бутылки пили vin ordinaire[1], и он рассказал мне кое-что о своем прошлом. Дед Буки Мойша Лев Москович родился в Белостоке, из Гамбурга в трюме приплыл в Америку, где благодаря тяжким трудам и бережливости потихоньку поднялся от торговли курами с тележки до единоличного владения кошерной мясной лавкой на Ривингтон-стрит в центральной части Ист-сайда. Его первенец Мендель превратил скромную мясную лавку в фирму "Пирлес гурмет пакерз", которая во время Второй мировой войны снабжала консервами армию США. Впоследствии та же "Пирлес гурмет" стала поставлять в супермаркеты Нью-Йорка и Новой Англии фасованную ветчину "виргинская плантация", "староанглийские" сосиски, свинину на ребрышках "мандарин" и "бабушкиных" индеек (потрошеных и замороженных, хоть прямо так и суй в духовку). Попутно Мендель, уже сменивший имя и фамилию на более благозвучные Мэтью Морроу, приобрел четырнадцатикомнатную квартиру на Парк-авеню и нанял горничную, повара, дворецкого-дефис-шофера и англичанку со Старой дороги в Кент на должность гувернантки для перворожденного сына Буки, которого впоследствии пришлось посылать на уроки дикции, чтобы избавить от лондонского уличного акцента. На Буку возлагались большие надежды: он должен был продолжить дело предков по проникновению в мир англосаксов-протестантов, поэтому, перескочив через стадию скрипочки с учителем музыки и *меламеда*[2] с Торой на иврите, мальчик сразу оказался в летнем военно-спортивном лагере в штате Мэн. "Там полагалось учиться ездить верхом, стрелять, плавать под парусом, играть в теннис и подставлять другую щеку", — рассказывал он. Уже в лагере, заполняя бумаги, по наущению матери в графе "вероисповедание" он написал: "атеист". Начальник лагеря поморщился, зачеркнул и вывел: "еврей". Бука выдержал и лагерь, и неприветливый Андовер, но со второго курса Гарварда вылетел. Это было в 1941 году, и он пошел в армию рядовым, вернув себе фамилию Москович.

Однажды, в ответ на настырные расспросы занудливого Терри Макайвера, Бука сказал по секрету, что в первой главе его недописанного романа (действие там происходит в 1912 году и повсюду нарочно перепутана правда с вымыслом) главный герой сходит на берег с "Титаника", который только что закончил первый рейс и благополучно ошвартовался в нью-йоркской гавани. Героя хватает за рукав репортерша:

— Как прошло путешествие?

— Скучновато.

Наверняка импровизируя на ходу, Бука поведал, что двумя годами позже его герой едет в карете с австро-венгерским эрцгерцогом Францем Фердинандом и его благоверной и, когда экипаж подскакивает на колдобине, роняет театральный бинокль. Эрцгерцог конечно же, noblesse oblige[3], наклоняется поднять, вследствие чего покушение сербского боевика срывается. Впрочем, немцы все равно через пару месяцев вторгаются в Бельгию. Потом, в 1917-м, все тот же герой, болтая о том о сем в цюрихском кафе с Лениным, просит объяснить ему появление прибавочной стоимости, и оседлавший любимого конька вождь

1. Бормотушку (*франц.*).
2. Учитель в хедере (религиозной начальной школе); меламед — обучающий (*иврит*).
3. Зд.: как подобает аристократу (*франц.*).

пролетариата дольше чем надо просиживает за café au lait и millefeuille[1], опаздывает на поезд, и пломбированный вагон прибывает на Финляндский вокзал без него.

– Вот вечно он все изгадит, этот поганец Ильич! – возмущается глава пришедшей встречать вождя делегации. – И что теперь прикажете делать?

– Может быть, встанет и скажет нам несколько слов Лео?

– Лео? Несколько слов? Да нам тогда придется здесь полдня проторчать!

Для Терри Бука пояснил, что он выполняет основную задачу художника: упорядочивает хаос.

– Черт меня дернул задать тебе серьезный вопрос! – обозлился Терри, вставая из-за стола.

В наставшей тишине Бука, как бы извиняясь, повернулся ко мне и объяснил, что это, мол, он воспользовался унаследованным от Генриха Гейне le droit de moribondage[2]. Такого рода прибаутки Бука словно выхватывал из заднего кармана ума и мог вогнать ими в гроб любую дискуссию, заодно подталкивая меня к библиотеке, заставляя повышать образовательный уровень.

Я любил Буку и ужасно по нему скучаю. Я бы отдал все состояние (ну, половину) за то, чтобы эта ходячая загадка, это двухметровое пугало, пыхтя сигарой "ромео-и-джульетта", снова ввалилось ко мне в дверь и с двусмысленной ухмылкой пристало чуть не с ножом к горлу: "Ты не читал еще Томаса Бернхарда?" или "Что скажешь о Ноаме Хомски?*" Господи, конечно же и у него были свои тараканы: иногда вдруг исчезнет чуть не на месяц – кто говорил в Меа Шеарим* ездил, *в иешиву*[3], другие клятвенно заверяли, будто бы в монастырь в Тоскане, но толком никто ничего не знал. Потом однажды является – нет, материализуется! – сидит себе в одной из наших любимых кафешек в обществе сногсшибательной испанской герцогини или итальянской графини.

Когда ему бывало плохо, на мой стук в дверь его гостиничного номера Бука не отзывался, а если отзывался, то ругательно и односложно: "Йинн-ахх!.. Т-твал-отвал-отвал!.." – и я знал, что он либо лежит пластом, обдолбанный герычем, либо сидит за столом, уткнувшись в список парней, которые с ним вместе воевали и уже мертвы.

Именно Бука познакомил меня с Гончаровым, Гюисмансом, Селином и Натаниэлом Уэстом. Он брал уроки языка у русского часовщика-белоэмигранта, его приятеля. "Как можно идти по жизни, – вопрошал он, – не будучи в состоянии читать Достоевского, Толстого и Чехова в оригинале?" Бегло говорил по-немецки и на иврите, изучал Зохар (священную Книгу каббалы) и раз в неделю бывал у рабби в синагоге на рю де Нотр-Дам-де-Лоретт – помню, название улицы забавляло его несказанно[4].

Потом, тоже много лет назад уже, я собрал воедино все восемь его странных рассказов (они печатались в "Мерлине", "Зеро" и "Пэрис ревью"); мне хотелось выпустить их, не жалея средств – ограниченным тиражом, с нумерованными экземплярами, чтобы были красиво набра-

1. Кофе с молоком с пирожным "наполеон" (*франц.*).
2. Право вогнать в гроб окружающих (*франц.*). Moribondage – неологизм: со словом "moribond" это было бы "правом умирающего".
3. Еврейское религиозное учебное заведение (*иврит*).
4. Lorette – содержанка (*франц.*). На самом деле название происходит от итальянского города Лорето.

ны... Один его рассказ по вполне понятным причинам я перечитываю вновь и вновь. Он представляет собой вариацию на тему далеко не оригинальную, зато блестяще исполненную, – впрочем, Бука всегда писал хорошо. Называется "Марголис", а говорится там про человека, который вышел однажды купить сигарет и больше к жене и детям не вернулся – начал новую жизнь в другом месте и под другим именем.

Я написал в Санта-Фе сыну Буки, предложил десять тысяч долларов аванса, сотню бесплатных экземпляров и всю прибыль, которая может из этого проекта проистечь. Ответ пришел заказным письмом, в котором он выразил изумление по поводу того, как это я – не кто-нибудь, а именно я! – посмел замыслить такую акцию; в заключение он предупредил, что примет против меня все законные меры, если я посмею на что-либо подобное решиться. В результате все кончилось ничем.

Одну секунду! Не переключайтесь. Меня заклинило. Никак не вспомнить, кто написал "Человека в сером фланелевом костюме". Или в рубашке от "Брукс Бразерс"? Нет, такое может только *фершникерт*[1] какой-нибудь выдумать. Кто, кто... Лилиан! Лилиан... да как же ее? Ну! Я ведь знаю! На майонез похоже. Лилиан Крафт? Нет. Хеллман. Лилиан Хеллман. Да не важно, кто написал "Человека в сером фланелевом костюме". Какая разница. Но раз уж это началось, заснуть сегодня мне не удастся. Эти все чаще повторяющиеся провалы памяти сводят меня с ума.

Вчера ночью, только я начал засыпать, вдруг понял, что не могу вспомнить название одной штуки... На нее откидывают макароны, чтобы воду слить. Нет, вы представьте! Пользовался ею тысячу раз. Перед глазами стоит как живая. Но слово, которым эта чертова дрянь обзывается, ни за что не вспомнить. А вставать, искать в поваренных книгах, которые остались после Мириам, не хочу: только лишний раз напоминать себе, что она ушла, и в этом я сам виноват... Кроме того, все равно в три часа придется вставать и идти пи́сать. Да не той упругой струей, как это было во дни парижского левобережья, не-ет, друзья мои! Теперь это – кап-кап-кап, и как ни тряси, потом все равно запоздалая струйка бежит себе, бежит по штанине пижамы.

Весь кипя и клокоча, я лежал в темноте и вслух повторял номера, которые следует набирать, если случится сердечный приступ.

– Вы звоните в больницу "Монреаль женераль опиталь". Если у вас кнопочный телефон и вы знаете нужный вам номер добавочного, можете сразу набрать. Если нет, наберите семнадцать для обслуживания на языке les maudits anglais[2] или двенадцать для обслуживания en français[3], на великом и свободном языке угнетенной части нашего общества.

Вызов "скорой" – двадцать один.

– Это станция "Скорой помощи". Пожалуйста, не вешайте трубку, с вами поговорят, как только мы закончим игру в покер на раздевание. Сегодня чудесный день, не правда ли?

Пока жду, автомат сыграет мне "Реквием" Моцарта.

Шарю по столику у кровати: где-то поблизости должен быть дигиталис в таблетках, очки для чтения и зубные протезы. Ненадолго включаю лампу, ощупываю и осматриваю трусы – нет ли подозрительных отметин, потому что, если я нынче ночью умру, не хотелось бы, чтобы

1. Пьяный (*идиш*).
2. Окаянных англичан (*франц.*).
3. По-французски (*франц.*).

незнакомые люди подумали, будто я какой-нибудь грязный извращенец. Потом вспоминаю про свой любимый способ. Надо думать о другом — о чем-нибудь приятном, и тогда название проклятой этой макаронной хреновины всплывет само собой. Что ж, вообразим Терри Макайвера — как он истекает кровью, плавая в море, кишащем акулами... вот опять что-то дергает его за то место, откуда когда-то росли его ноги... а спасательный вертолет кружит, кружит и никак не может выудить его из воды. В конце концов, когда лживого, самовлюбленного автора пасквиля "О времени и лихорадке" поднимают в воздух, от него остается одно мокрое туловище, оно пляшет над пенными волнами как приманка, на которую кидаются, выпрыгивая из воды, акулы.

Затем я превращаю себя в расхристанного четырнадцатилетнего подростка и — ни фига себе! — в первый раз расстегиваю кружавчатый бюстгальтер учительницы, которую я буду здесь называть миссис Огилви, а происходит это, как раз когда в ее гостиной по радио зазвучала одна из тех — помните? — дурацких песенок:

> Спят-ка злые, злые псые, мявчи екаты — йе!
> Всемпа рае даут-рае прыг вкро-ватиты!

Что удивительно, она не противилась. Наоборот, напугала меня тем, что сразу скинула туфли и, ерзая, принялась стягивать с себя твидовую юбку.

— Ах, что это со мной, прямо не знаю, — бормотала при этом училка, только что поставившая мне пять с плюсом за сочинение про "Повесть о двух городах", которое я нагло содрал, лишь кое-где слегка перефразировав, из книги Грэнвила Хикса. — Такое чувство, будто воруешь ребенка из колыбели.

Потом она, на мой взгляд, все испортила, добавив приказным тоном, будто я ей урок отвечаю:

— Но сначала надо откинуть макароны, не правда ли?

— А. Ну да, конечно. Только вот как эта ерундовина называется, куда их откидывают?

— Наверное, что-то à la foraminé[1], — ответила она.

Ладно, бог с ним, дадим миссис Огилви шанс исправиться, подумал я и, стремясь к тому, чтобы на сей раз получилось лучше, вновь поплыл по извивам памяти, сызнова забарахтался с ней на диване, не теряя, между прочим, надежды на какую-нибудь ну хоть вот таку-у-у-сенькую, хоть полу-, хоть четвертьэрекцию вопреки несчастной моей нынешней дряхлости.

— Да какой же ты нетерпеливый, — отстранилась она. — Подожди. Еще не время. En français, s'il vous plaît[2].

— Что?

— Ах, мой милый. Как ты невоспитан! Надо говорить не "что?", а "простите, не понял", не правда ли? Так что давай-ка: как будет по-французски "еще не время"?

— Pas encore.

— Вот, молодцом, — одобрила она, выдвигая ящик тумбочки. — Не думай, что я зануда какая-нибудь, но, пожалуйста, будь умницей и сперр-

1. Дырчатое (*франц.*).
2. По-фрацузски "пожалуйста" (*франц.*).

ва натяни вот это — да, раскатай, раскатай, — надо одеть твоего шустрого шалунишку.

— Хорошо, миссис Огилви.

— Дай мне твою руку. Ой, ну где это видано, чтобы такие грязные ногти! Сюда. Вот, правильно! Потихонечку. Вот так, ну... Стой!

— Теперь-то что я не так сделал?

— Просто я хотела сказать, что это не Лилиан Хеллман написала "Человека в рубашке от 'Брукс Бразерс'". Это Мэри Маккарти.

Будь оно все неладно. Я встал с кровати, накинул изношенный халат, с которым не могу расстаться, потому что мне подарила его Мириам, и прошлепал в кухню. Рыская по шкафам, я швырял на пол кухонные орудия, по ходу дела выкликая их поименно: половник, таймер для варки яиц, щипчики, ломтерезка, картофелечистка, чайное ситечко, мерные кружки, консервный нож, лопаточка... Да вот же она, на стенке шкафа на крюке висит, чертова дребедень, в которую макароны откидывают, *но как же она называется?*

Я пережил скарлатину, свинку, два ограбления, мандавошек, удаление всех зубов, замену тазобедренного сустава, обвинение в убийстве и трех жен. Первая давно лежит в могиле, зато Вторая Мадам Панофски, услышав мой голос, тотчас начинает орать и даже по прошествии стольких лет сперва крикнет: "Убийца, куда ты девал его тело?" — и только после этого хряснет трубку. Вот Мириам — она бы со мной поговорила. Может быть, даже посмеялась над такой проблемой. Ах, сама эта квартира веселилась бы с нею вместе. Наполнилась бы ее ароматом. Ее любовью. Загвоздка в том, что к телефону скорей всего подойдет Блэр, да и телефон его я из записной книжки вымарал после того как последний раз пытался позвонить.

— Я бы хотел поговорить с моей женой, — сказал тогда я.

— Она уже не ваша жена, Барни. Кроме того, вы явно находитесь в состоянии алкогольного опьянения.

"Алкогольного опьянения"! Каков интеллигент!

— Конечно, я пьян! Времени-то — четыре утра!..

— Вот именно: четыре утра, и Мириам спит.

— Пускай спит, я с тобой поговорю. Я разбирал тут ящики стола и нашел потрясающие ее фотографии в голом виде — тех времен, когда она жила со мной. Так вот, интересуюсь: хочешь, я тебе их отдам, чтобы ты знал хотя бы, какова она была в ее лучшие годы.

— Какая же вы дрянь, — процедил он, вешая трубку.

И то верно. А все равно моя взяла, и со стаканом виски в руке я заплясал по комнате шим-шам-шимми* великого Ральфа Брауна.

Этого Блэра многие считают прекрасным человеком. Ну как же: выдающийся ученый! Даже мои сыновья защищают его. Мы понимаем твои чувства, говорят они, но он умный и тонкий человек, и он предан Мириам. Дерьмо. Крыса бумажная. Осёл во профессорстве. В Канаду Блэр приехал из Бостона в шестидесятых — бежал от призыва в армию, как Дэн Куэйл и Билл Клинтон — ну и, конечно, теперь в глазах своих студентов он герой. Что до меня, то черт меня подери, если я понимаю, как можно Сайгону предпочесть Торонто. Как бы то ни было, я раздобыл номер его факса на кафедре и, вдохновляясь мыслями о том, как мог бы разгуляться на этом поприще Бука, временами сажусь и запускаю ему какую-нибудь пулю.

Факс Герру Доктору Блэру Хопперу
(бывшему Гауптману*)

от "Сексорама новелтиз"

ACHTUNG!
МАТЕРИАЛ ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА
СЕКРЕТНО

Дорогой Герр Доктор Хоппер!

В ответ на ваш запрос от 26 января сообщаем, что мы приветствуем Вашу идею введения в колледже Виктория когда-то принятого в университетах Лиги Плюща обычая заставлять избранных студенток позировать голыми для фотографий спереди, в профиль и сзади. Ваше предложение применять при этом пояса с чулками и прочие подобные аксессуары находим весьма заманчивым. Этот проект имеет, как Вы справедливо указываете, громадный коммерческий потенциал. Однако, прежде чем принять Ваше предложение по выпуску нового набора игральных карт, мы должны оценить качество реальных фотографий.

Искренне Ваш,

ДУЭЙН КОННОРС,
"Сексорама новелтиз"

P. S. Подтверждаем получение возвращенного Вами календаря "Мальчики — оближешь пальчики" за 1995 год, но вернуть Вам деньги за него мы не можем, так как на нем имеется множество пятен, а страницы "Август" и "Сентябрь" слиплись.

Ноль часов сорок пять минут. Держу макаронную хренотень в испещренной печеночными пятнами руке, морщинистой, как шкурка ящерицы, и все равно не могу соотнести с ней никакого названия. Отбросив прочь, наливаю в стакан пальца на два виски, снимаю трубку и звоню старшему сыну в Лондон.

— Хэйо, Майк! Шесть часов, пора вставать. Время отправляться на утреннюю пробежку.

— Не знаю, как у вас, а у нас тут, между прочим, еще без четверти.

На завтрак мой педантичный сын сжует хрустящие хлопья с йогуртом, потом выпьет стакан лимонной водички. Ну и народ пошел!

— У тебя все в порядке? — спрашивает он, и у меня от его заботы чуть слезы на глаза не наворачиваются.

— Все тип-топ. Но у меня проблема. Как называется штуковина, на которую откидывают макароны?

— Ты пьян?

— *Разумеется,* нет.

— Тебя разве доктор Гершкович не предупреждал? Начнешь сызнова, и конец, ты же убьешь себя!

— Да я клянусь тебе здоровьем внуков, больше месяца уже не пил ни капли. Даже не ем в ресторанах coq au vin[1]. А теперь ответь, пожалуйста, на мой вопрос!

— Пойду сниму трубку в гостиной, здесь повешу, и тогда поговорим.

1. Петух в вине (*франц.*).

Жену будить не хочет. Фашист, на здоровье помешанный.

– Але, вот и я. Это ты про дуршлаг?

– Ну конечно же дуршлаг! Так и вертелось на языке. Еще чуть-чуть, и сам сказал бы.

– Таблетки регулярно принимаешь?

– А как же. Ты давно с матерью общался? (Это у меня как-то само вырвалось, ведь обещал себе никогда больше про нее не спрашивать!)

– Они с Блэром четвертого октября приезжали и три дня у меня гостили по пути на конференцию в Глазго. [На самом деле, судя по моим записям, Блэр и моя мать приехали тогда седьмого октября, а конференция была в Эдинбурге. – *Прим. Майкла Панофски.*]

– Да наплевать мне на нее совсем. Ты и вообразить не можешь, как приятно знать, что никто не будет тебя пилить за то, что снова забыл поднять стульчак. Однако, непредвзято говоря, я думаю, она заслуживает лучшего.

– То есть тебя?

Тут я взбрыкнул и говорю:

– Передай Каролине: я где-то вычитал, что, когда салат срезают, он истекает кровью, а у моркови, когда ее выдергивают из земли, бывает травматический синдром.

– Знаешь, папа, едва я представлю себе, как ты там совсем один в пустой квартире...

– Между прочим, именно сегодня я не один. Вызвал эскорт. Или надо говорить "интим-обслугу"? В общем, ночует у меня одна – жлобы вроде меня раньше говорили "телка". Можешь и матери рассказать. Не возражаю.

– А почему бы тебе не прилететь сюда, может, у нас немного поболтаешься?

– Потому что в том Лондоне, каким я его помню, даже в самом стильном ресторане обязательное первое блюдо – серо-бурый "виндзорский" суп либо грейпфрут с торчащей посредине как сосок засахаренной вишней, а большинство из тех, с кем я там водился, померли, да и пора им уже. Универмаг "Харродз" стал чем-то средним между церковью и общеевропейской помойкой. А в Найтсбридже, куда ни плюнь, сплошь богатые японцы – ходят, снимают друг друга на видео. "Белому Слону" давно капут, "Айсаус" тоже загнулся, да и "Этуаль" тоже уже не тот. До того, кто трахает леди Ди и во что перевоплотился Чарльз – в тампон или барабанную колотушку, – мне нет никакого дела. В паб вообще не войдешь – сплошной дзынь-блям игральных автоматов да рев варварской музыки. Да и наши там становятся как сами не свои. Если он закончил какой-нибудь оксфорд-кембридж или зарабатывает больше сотни тысяч фунтов в год, так он уже и не еврей, а "выходец из еврейской среды", что, в общем-то, не совсем одно и то же...

С Лондоном меня ничто особенно не связывает, хотя однажды, в пятидесятые, я прожил там три месяца, а в другой раз два – в тысяча девятьсот шестьдесят первом, даже пропустил розыгрыш Кубка Стэнли. Помните, как раз в том году наши разлюбезные "Монреаль канадиенз" за шесть игр растеряли всю спесь, а в полуфинале их разгромили чикагские "Черные ястребы". До сих пор жалею, что пропустил вторую игру, которая была в Чикаго – "Ястребы" выиграли ее 2:1, причем второй гол забили в овертайме на пятьдесят третьей минуте. Судья Далтон Макартур (гад, между прочим, – вечно лез не в свое дело) за подножку удалил Дики Мура – *это в овертайме-то!* – тем самым дав возможность Марри Бальфуру за-

бить решающий гол. Возмущенный Тоу Блейк (он тогда был у наших тренером) выскочил на лед, хотел дать Макартуру в глаз и был оштрафован на 2000 долларов. А в Лондон я в шестьдесят первом летал для работы над совместным проектом с Хайми Минцбаумом, но как-то так получилось, что между нами произошла отвратительная драка и несколько лет мы не разговаривали. Хайми родился и вырос в Бронксе, так вот он — да, он англофил, но одно дело он, а другое я.

Британцам просто нельзя верить. Когда ты с американцами (или канадцами, это без разницы), с ними что видишь, то и имеешь. Но если в Хитроу в соседнее с тобою кресло "боинга" сядет этакий запинающийся, скромный и скучный старый англичанин — явно заштатный клерк какой-нибудь из Сити — и, прижав к узлу галстука двойной подбородок, тут же уткнется в газету "Таймс" с кроссвордом, не дай вам бог проявить к нему малейшее неуважение. Мистер Мак-Мямля окажется обладателем черного пояса по дзюдо, а в прошлом у него парашютный прыжок в сорок третьем году в долину Дордони, где он лихо пустил под откос парочку поездов, после чего выжил в гестаповских застенках благодаря сосредоточенности на том, что впоследствии стало каноническим переводом "Гильгамеша" с шамаш-урюкского, хотя теперь, конечно, да, — теперь его чемодан полон самых прельстительных платьев и белья супруги, а в Саскатун Саскачеванский он направляется не просто так, а на ежегодный слет трансвеститов.

Опять Майк зовет меня приехать, пожить в их загородной квартире. Закрытая территория. Отдельный вход. А как обрадуются чертенята-дети, они ведь обожают "Пятницу 13-го". Сколько сладостной жути даст им общение с дедом! Но я ненавижу быть дедом. Ну что из меня за дед — неприличие сплошное! Я-то себя вижу тем прежним, каким я был лет в двадцать пять. Ну, максимум в тридцать три. Но не в шестьдесят же семь, когда от тебя так и веет тленом и разбитыми надеждами. Изо рта несет плесенью. Суставы плачут по смазке. Мало того: теперь, когда я стал счастливым обладателем пластмассового тазобедренного сустава, я даже естественному распаду и то подвержен не полностью! Когда меня будут хоронить, экологи выйдут на демонстрацию протеста.

В один из недавних моих ежегодных визитов к Майку и Каролине, прибыв весь увешанный гостинцами для внучат и Ее Превосходительства (как прозвал Каролину мой второй сын Савл), в качестве главного дара, этакого pièce de résistance[1], я привез Майку ящик сигар "коибас" — мне его специально доставили с Кубы. Я эти сигары от сердца с кровью оторвал, но я надеялся ими порадовать Майка, с которым у меня сложные отношения, и он действительно просиял. Или мне померещилось? Спустя месяц один из его сотрудников, Тони Хейнз, который Каролине приходится двоюродным братом, оказался в Монреале в командировке. Он позвонил, сказал, что у него подарок от Майка — половина копченой семги из "Фортнама"*. Договорились встретиться, выпить в баре "Динкс". Достав коробку сигар, Тони предложил мне "коибу".

— О! — сказал я. — Вот это да! Спасибо.

— Не меня благодарите. Это мне на день рожденья подарили Майк с Каролиной.

1. Основного блюда (*франц.*).

– Ну надо же, – пробормотал я, придавленный очередной семейно-родственной обидой. Или воспарив от нее, как учила Мириам. "Кто-то коллекционирует марки, – однажды сказала она, – кто-то любит собирать спичечные этикетки. А живя с тобой, дорогой мой, надо любить обиды".

В тот мой приезд Майк и Каролина отвели мне комнату наверху, там все было последний писк, все от "Конрана" и от "Дженерал трейдинг компани". На тумбочке у кровати букет фрезий и бутылка "перье", но никакой пепельницы. В поисках чего-нибудь, что можно под нее приспособить, я открыл ящик тумбочки и наткнулся на пару порванных колготок. Обнюхав их, сразу опознал запах. Мириам. Они спали на этой кровати с Блэром, они осквернили ее! Задрав простыни, я принялся разглядывать матрас в поисках красноречивых пятен. Не нашел. Ха-ха-ха! Что, профессор Хрен Крючочком, облажался? Герр доктор Хоппер, бывший Гауптман, перед сном, наверное, читал любимой вслух! Свои дурацкие pensées[1] по поводу расизма Марка Твена. Или гомофобии Хемингуэя. Тем не менее я принес из ванной бутыль хвойного спрея и хорошенько обрызгал матрас. Потом кое-как перестелил кровать и лег. Простыни сморщились, сбились в путаный клубок и оказались все на мне. И жуткая хвойная вонь по комнате. Я широко открыл окно. Сразу окоченел. Брошенный муж, обреченный гибнуть от воспаления легких в кровати, которую когда-то одарила своим теплом Мириам. Красотой своей одарила. И осквернила вероломством. Что ж, бывает – в ее возрасте женщины, страдая от перепадов настроения и так называемых приливов, иногда начинают, не помня себя, воровать в магазинах. Если ее арестуют, вот возьму да и откажусь поручиться за ее моральный облик! Или нет, я скажу, что у нее всегда ручонки пошаливали. Пускай ее сгноят в каталажке. Мириам, Мириам, как томится по тебе мое сердце!

Майк, дай бог ему здоровья, богат так, что аж самому стыдно. Видимо, от стыда он до сих пор носит волосы хвостиком и джинсы (от Ральфа Лорана, разумеется, – а вы как думали!), да хорошо хоть не серьгу в ухе. От курток "неру" и кепок "мао", тьфу-тьфу, вроде отошел уже. Он – генерал от недвижимости. Владелец самых суперских домов в Хайгейте, Хэмпстеде, Свисс-коттедже, Айлингтоне и Челси; он их скупил еще до того, как навалилась инфляция, и сдает поквартирно. Крутит какие-то офшорные делишки – об этом не знаю и знать не хочу, – кроме того, работает с фьючерсами на товарной бирже... Они с Каролиной живут в модном Фулхэме, а я Фулхэм помню по тем временам, когда там еще не было молодых самодовольных кривляк яппи с мозгами набекрень. Еще у Майка с Каролиной есть datcha недалеко от Ванса, в отрогах Приморских Альп, где склоны сплошь в виноградниках. За три поколения шагнуть из *штетла*[2] в производители вина "шато Панофски"! Ничего не скажешь, лихо!

Да, еще Майк – совладелец ресторана для сливок общества. Он у него в Вест-Энде, в Пимлико и называется "The Table", но повар там скорее заносчив и груб, нежели действительно блещет талантом, – нынче это запросто и даже de rigueur[3], не правда ли? Майк слишком молод, чтобы помнить Пёрл-Харбор или о том, что случилось с канадцами, взятыми в плен в этом, как его, ну, такой был неприступный форпост на Дальнем Востоке. Но это не там, где заря мгновенна, как зарница, а где Сассун, но не тот Сассун, ко-

1. Измышления (*франц.*)
2. Местечко, городок в Восточной Европе, где разрешалось селиться евреям (*идиш*).
3. Непременно (*франц.*).

торый поэт, пацифист и при этом Зигфрид*, а тот, что... стоп. Сингапур? Нет. То место звучит как горилла в дурацком фильме с Фэй Рэй. *Конг!* Гонконг, конечно же. И вот что я скажу вам: я знаю, где Веллингтон разбил Наполеона, — под Ватерлоо, и я знаю, кто написал "Человека в сером фланелевом костюме". Меня вдруг само осенило. "Человека в сером фланелевом костюме" написал Фредерик Уэйкмэн, а в фильме снимались Кларк Гейбл и Сидни Гринстрит. ["Человека в сером фланелевом костюме" написал Слоун Уилсон (1955), а Фредерик Уэйкмэн — автор романа "Дельцы", положенного в основу фильма, где снимались Кларк Гейбл, Дебора Керр и Сидни Гринстрит. ("MGM", 1947). Недавно появилась его цветная версия — цвет сделан с помощью компьютера. — *Прим. Майкла Панофски.*]

В общем, Майк, будучи слишком молод, чтобы помнить Пёрл-Харбор, в начале своей карьеры массу денег вложил в японский рынок и в один прекрасный момент прогорел. Зато потом, работая с нефтью, греб деньги лопатой, с лихвой компенсировал потери, удвоил состояние и снова всего лишился, ввязавшись в губительную спекуляцию фунтами стерлингов в 1992 году. А на Билла Гейтса он поставил еще тогда, когда никто об электронной почте слыхом не слыхивал.

Да, мой сын, мой первенец — мультимиллионер, но он таки имеет свою совесть, как в социальном, так и в культурном смысле. Он член попечительского совета ультрамодного театра и поддерживает потрясающе смелые постановки, в которых голенастые дочки знаменитых родителей изображают каканье на сцену, а студенты Королевской театральной академии самозабвенно притворяются, будто е... блядей. Ars longa, vita brevis[1]. Он (и с ним еще человек двести с гаком) спонсирует ежемесячный журнал "Красный перец" — "феминистский, антирасистский, антиглобалистский и с экологическим уклоном"; с подкупающим чувством юмора он и мое имя добавил к перечню подписчиков. В последнем номере "Красного перца" я обнаружил рекламу общества "Лондон лайтхаус" с призывом вносить в их фонд пожертвования. Картинка такая: стоит нездорового вида молодуха, под каждым глазом фонарь, смотрится в зеркальце. Подпись: ОНА РАССКАЗАЛА МУЖУ, ЧТО ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНА. ЕМУ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ.

А что бедный балбес должен был делать? Праздновать? Вести ее в ресторан?

Как бы то ни было, но я обеими руками подпишусь под словами Сола Беллоу: от тоски умирают чаще*. Или от рака легких — это я как первый кандидат говорю.

Ну да, действительно, Майк покупает грибы шиитаке, японские водоросли, рис нишики, суп хиромисо и прочие сукияки в дорогущем магазине Харви Николса, но, оказавшись на Слоун-стрит, никогда не забудет купить экземпляр "Горячих фактов" у нищего на углу. Еще у него в Фулхэме есть художественная галерея, которая заслужила совершенно определенную репутацию тем, что дважды подвергалась обвинению в непристойности. Они с Каролиной взяли за правило покупать работы еще не снискавших известности художников и скульпторов, которые, как называет это Майк, "ходят по острию". Мой суперсовременный меценатствующий сын любит блатной рэп, информационные потоки (не путать с библиотеками), любит всех и вся поносить, приятно проводить время, обожает Интернет, все то,

1. Жизнь коротка, искусство вечно (*лат.*).

что "круто", и всяческие языковые клише, свойственные его поколению. Майк никогда не читал "Илиаду", Гиббона, Стендаля, Свифта, Сэмюэла Джонсона, Джордж Элиот, да и никого из других ныне развенчанных расистов и евроцентристов, зато нет ни одного из скандально знаменитых новых прозаиков и поэтов, чью книгу Майк не заказал бы у Хатчарда, лишь бы автор принадлежал к "очевидному меньшинству". Бьюсь об заклад: он не стоял часами, созерцая портрет королевского семейства Веласкеса – ну, вы меня поняли, я имею в виду тот, который в "Прадо" ["Менины". – *Прим. Майкла Панофски*], – а вот если его пригласят на vernissage, где ожидается увидеть распятие, плавающее в моче, или гарпун, торчащий из окровавленной женской задницы, – он тут как тут, и его чековая книжка при нем.

– Кстати, – сказал я, только чтобы продлить трансатлантическую беседу, – я ничего не хочу у тебя выпытывать, но ты с сестрой давно общался?

– Смотри! Ты прямо как мама становишься!

– Это не ответ.

– А ей бесполезно звонить. Кейт либо уже в дверях и убегает, либо у нее гости, и как раз сейчас она не может говорить.

– Что-то это не очень на Кейт похоже.

– Да ладно, пап. Тебя послушать, она прямо ангел. Конечно, она всегда была твоей любимицей!

– Ну и неправда, – солгал я.

– А вот Савл – тот звонил вчера, спрашивал, что я думаю по поводу его последней диатрибы в этой его неофашистской газетенке; тоже – нашел где печататься! Да ведь я-то ее только с утренней почтой получил! Он совсем спятил, ей-богу. Битых четверть часа вводил меня в курс воображаемых проблем со здоровьем и склок на работе, а потом стал меня поносить, обзывая ресторанным социалистом, а Каролину скрягой. С кем он сейчас живет, я могу спросить?

– Я смотрю, британцы восстали, потому что их телят угоняют во Францию и держат там в загоне, вместо того чтобы размещать в номерах отеля "Крийон". Каролина тоже во всем этом участвует?

– Ну и не остроумно, папа. Так приезжай, не тяни, погостишь у нас, – сказал Майк уже другим, напряженным голосом, и я понял, что в комнату вплыла Каролина, со значением глянув на часики – она же не знает, что звонок оплачиваю я!

– Конечно-конечно, – проговорил я и с чувством отвращения к себе повесил трубку.

Почему я не мог просто сказать ему, что я его люблю, и поблагодарить за то, сколько радости он давал мне год за годом?

Что, если это окажется наш с ним последний разговор?

"Но смерть, как Вам известно, – писал Сэмюэл Джонсон достопочтенному мистеру Томасу Уортону, – не принимает прошений и действует, никакого внимания на нужды и удобство смертных не обращая".

А вдруг мы с Мириам не воссоединимся никогда?

2

В литературных журналах мы привыкли читать про писателей, которых в свое время не оценили по достоинству, и редко когда прочтешь о том, что кое-кого надо действительно гнать в шею – бумагомарак вроде Терри Ма-

кайвера, у которых достоинств просто нет, вот они изо всех сил и пыхтят, и надувают щеки, кичась какими-то своими мелкими, никчемными успехами. К примеру, тем, что его, видите ли, перевели на исландский или пригласили на фестиваль искусств стран Содружества в Окленд, где собирается горстка "писателей из регионов" (кажется, так этих несчастных теперь положено именовать), политкорректно разбавленная должной толикой грамотеев, наученных почти без ошибок писать на маори, эскимосском или еще каком-нибудь туземном наречии. Однако мой старый приятель, по отношению ко мне занявший в последнее время позицию этакой немезиды, после долгих лет прозябания обрел-таки немногочисленную, но крикливую толпу поклонников с apparatchik'ами от канадской литературы во главе. В теперешней Канаде этот гондон стал в каждой бочке затычка — вещает и по радио, и по ТВ, да еще и лекции какие-то читает!

Впервые мы с этим мерзавцем, с хвастливым этим саморекламщиком познакомились через его отца, на которого он в своей книжонке тоже напропалую клевещет. Мистер Макайвер-старший был единоличным владельцем книжного магазина "Спартакус", что на Западной Сен-Катрин, и чудеснейшим, добрейшей души человеком. Тощий шотландец, выросший в трущобах Глазго, он был внебрачным сыном прачки и сварщика с верфи, погибшего в битве на Сомме. Мистер Макайвер всячески подталкивал меня к чтению таких авторов, как Говард Фаст, Джек Лондон, Эмиль Золя, Эптон Синклер, Джон Рид, Эдгар Сноу, и русского, ну, вы его знаете, ленинский лауреат, как же его?.. Ах, да идите вы с вашим Солженицыным! *Ну давай, Барни! Ты ведь знаешь!* По воспоминаниям его детства еще фильм в России снят великолепный. Черт, вертится на языке! Зовут Макс... нет, Максим... А фамилия — как *гоише*[1] рассол... маринад... Максим Огуркин? Нет, это смешно. Максим Геркин? Да ну, какое там. *Горький! Максим Горький.*

Кстати, ходить в магазине приходилось как по лабиринту, пробираясь между стопками старых книг, высящимися там, сям и повсюду; одно неловкое движение, и они рухнут, так что, когда Макайвер в шлепающих тапках водил меня в подсобку, локти следовало особо не растопыривать. Подсобка — это был его алтарь, чтилище. Светя локтями сквозь дыры древнего, распадающегося кардигана, он там усаживался за конторку с убирающейся внутрь крышкой на шарнирах и вел семинары о пороках капитализма, угощая студентов бутербродами с клубничным джемом и чаем с молоком. Если им не на что было купить последний роман Олгрена или Грэма Грина или первый роман... ну, того, молодого в те времена американца, — а, вспомнил: Нормана Мейлера! — он ссужал их совершенно новым экземпляром, взамен требуя лишь пообещать, что книгу вернут не чересчур замызганной. На обратном пути через лавку благодарные студенты воровали книги, а через неделю ему же их и продавали. Пару раз залезли в кассу; бывало, подсовывали поддельные чеки на десять-двадцать долларов и тогда уже в лавке больше не показывались.

— Стало быть, едешь в Париж, — искоса глянул он на меня.

— Н-ну да.

Этим подтверждением я, как и следовало ожидать, вывернул на себя целый ушат сведений о Парижской коммуне. Которая была обречена, как берлинская Лига Спартаковцев.

1. Гой — не еврей; букв.: народ (*иврит*).

– Ты не возражаешь, если я попрошу тебя передать моему сыну посылку? – спросил он.

– Да конечно, конечно.

В тот же вечер я зашел за ней в квартиру Макайверов, где было жарко и душно.

– Пара рубашек, – перечислял мистер Макайвер. – Свитер, который ему связала мать. Шесть банок лосося. Блок сигарет "плейерз майлд". Ну вот, всякие такие вещи. Терри хочет стать писателем, но...

– Что – но?

– Но кто же не хочет?

Когда он вышел на кухню поставить на огонь чайник, миссис Макайвер сунула мне конверт.

– Передайте Теренсу, – шепнула она.

Младшего Макайвера я нашел в маленькой гостиничке на рю Жакоб, и, что удивительно, мы с ходу покорешались. Посылку он бросил на незастеленную кровать, но конверт разрезал немедленно.

– Ты в курсе, чем она заработала эти деньги? – спросил он, придя в сильное волнение. – Ну, вот эти самые сорок восемь долларов.

– Понятия не имею.

– Чужих детей нянчила. Натаскивала отстающих по алгебре и французской грамматике. Ты тут кого-нибудь знаешь, Барни?

– Да я всего-то здесь три дня, и ты первый, с кем я сподобился поговорить.

– Ты вот что: приходи к шести в "Мабийон" и жди меня там, я тебя кое с кем познакомлю.

– Да я даже не знаю... Где это?

– Тогда жди меня внизу. Нет, погоди. Что мой отец – по-прежнему проводит свои дурацкие семинары со студентами, которые за его спиной смеются?

– Многие любят его.

– Он дурак. И хочет, чтобы я стал таким же неудачником. Чтоб по его стопам пошел. Ладно, не прощаемся.

Естественно, автор был столь любезен, что прислал мне сигнальный экземпляр своей еще не вышедшей книги "О времени и лихорадке". Я уже дважды сквозь нее продрался, карандашом отмечая места, содержащие наиболее вопиющую ложь и самые дикие оскорбления, и сегодня утром позвонил своему адвокату, мэтру Джону Хьюз-Макнафтону.

– Могу ли я привлечь за клевету человека, который заявил в печати, будто бы я мучил своих жен, что я хитрый жулик, присосавшийся к бюджетным фондам, при этом пьяница со склонностью к насилию и, возможно, к тому же убийца?

– А что, похоже, он все правильно обрисовал. И чем ты недоволен?

Не успел я повесить трубку, звонит Ирв Нусбаум из фонда "Общее еврейское дело", тамошний capo di tutti capi[1].

– Ты видел сегодняшнюю "Газетт"? Жуткие новости. Прямо в своем "ягуаре" у подъезда собственного особняка на Саннисайд вчера вечером застрелен адвокат наркомафии, и такую бодягу развели – на всю первую полосу. Хоть еврей, и то слава богу. Зовут Ларри Беркович. Ну и по-

1. Босс всех боссов (*итал.*) – титул крестного отца в мафии.

теха сегодня предстоит. Вот сижу тут, просматриваю, кто какие перечисления нам сделал...

Следом за ним позвонил Майк с очередной секретной биржевой наводкой. Не знаю, из каких таких источников мой сын черпает информацию закрытого характера, но впервые это было еще в 1989 году, когда он чудом отыскал меня в отеле "Беверли Уилшир". В Голливуд я в тот раз приезжал на один из их телефестивалей, где даже призы дают, хотя должны были бы давать электрический стул — тому режиссеру, что сляпал "самый яркий" рекламный клип. Я-то приезжал не за наградой — всего лишь искал рынок сбыта для своего хламья. Майк с места в карьер:

— Покупай акции "Тайм-Уорнер"!

— Ни тебе "здрасьте", ни "как, дорогой папочка, поживаешь"...

— Как только я повешу трубку, звони своему брокеру.

— Я журнал "Тайм" даже и читать-то больше не могу. Почему я должен в него вкладывать?

— Пожалуйста, сделай, что я сказал!

Я сделал и, как последняя скотина, предвкушал, с каким удовольствием стану обвинять его в том, что потерял кучу денег. Но через месяц и "Уорнер", и "Парамаунт" подпрыгнули, и мои акции больше чем в два раза поднялись в цене.

Опять меня занесло куда-то далеко вперед. Там, в Беверли-Хиллз, заменяя собой одного моего горе-работничка, я вынужден был ублажать двух профессионально неграмотных деятелей с телевидения Эн-би-си. Повел их на обед в "Ла Скала"; помня, о чем предупреждала меня на прощанье Мириам, я дал себе зарок быть вежливым. "Лучше бы ты кого-нибудь другого в Лос-Анджелес послал, — сказала тогда она. — А то ведь обязательно кончится тем, что ты напьешься и наговоришь всем гадостей". И вот после третьей рюмки я вдруг заметил за другим столиком Хаймы Минцбаума с телкой, да такой юной, что годилась ему во внучки. После той ссоры в Лондоне мы с Хайми, если сталкивались на каком-нибудь из интернациональных перекрестков шоу-бизнеса (в "Ма Мэзон", "Элайн", "Айви", "Л'Ами Луи" и т. д. и т. п. и пр.), много лет уже приветствовали друг друга не более чем просто кивком. Он мне время от времени попадался и всегда с какой-нибудь собачьим взором на него поглядывающей соискательницей статуса голливудской старлетки. Иногда — то в одном ресторане, то в другом — до меня доносился его сиплый голос: "Как сказал мне однажды Хемингуэй..." или "Мерилин была гораздо умнее, чем большинство из нас думает, но Артур ей был совершенно не пара".

Однажды, году в тысяча девятьсот шестьдесят четвертом, мы с Хайми все же обменялись парой слов.

— Значит, Мириам не вняла моему совету? — буркнул он. — Все же вышла за тебя.

— Мы, между прочим, очень счастливы в браке.

— И когда ж это браки начинались несчастливо?

Вот и в тот вечер, двадцать пять лет спустя, мы снова пересеклись. Он кивнул, я кивнул. С тех пор как я последний раз его видел, Хайми явно сделал подтяжку лица. Выкрасил волосы в черный цвет и щеголял в пилотской кожаной куртке, джинсах явно от какого-то кутюрье и кроссовках адидас. И надо же такому случиться, что в уборной мы чуть не столкнулись лбами.

– Ты полный кретин, – сказал он. – Когда мы сдохнем, это будет очень надолго, и то, что в основу фильма, который мы замышляли в Лондоне, был положен рассказ Буки, там будет совершенно не важно.

– Мне это важно.

– Потому что тебя гложет вина?

– Спустя столько лет мне кажется, что как раз Бука меня предал.

– Большинству это видится немножко по-другому.

– Следовало бы ему появиться – хотя бы на моих похоронах.

– Что – думаешь, восстанет из мертвых?

– Да нет, прилетит откуда-нибудь, вот и все.

– Ты неисправим.

– Разве?

– Муд-дак ты... Знаешь, что я сейчас делаю? Фильм недели для Эй-би-си ТВ. Там сценарий – пальчики оближешь, так что могут получиться вещи неожиданные. Нынешняя моя подружка – фрейдистка, психоаналитик. Мы вместе пишем потрясающий сценарий, а заодно я ее трахаю, так что получаю от нее куда больше, чем имел бы от любого другого ее коллеги.

Я вернулся за столик, а там один из этих моих молодых деятелей скривился в поганейшей покровительственной улыбке и говорит:

– Что, знаете старика Минцбаума, да?

А второй только головой качает:

– Да бог с ним, в общем-то; главное, чтобы он к нашему столу не подвалил, а то как сядет на уши!

– Старина Минцбаум, – озлился я, – рисковал жизнью в авиаполку Восьмой армии, когда тебя еще на свете не было. Ты что, вообще, о себе вообразил – ты, мелкий, невыносимо скучный кретин! А ты, говнюк с башкой, забитой одним жаргоном, – повернулся я ко второму, – что, небось платишь персональному тренеру за одно то, чтобы он каждое утро засекал время, пока ты плывешь из конца в конец твоего долбаного бассейна? Ни один из вас старику Минцбауму не достоин башмаки чистить. Идите на хер! Оба!

То было в тысяча девятьсот восемьдесят девятом. Все-то я перескакиваю. Знаю, знаю, заносит. Но вот сижу тут за столом, последние дни мои убегают, мочевой пузырь заткнут увеличенной простатой, спину то и дело простреливает ишиас, на заднем плане непрестанно мысль о том, что когда-то ведь мне и вторую вертлюжную впадину заменять придется, да и эмфизема на пороге маячит... В общем, сижу, посасываю "монтекристо номер два", рядом бутылка "макаллана", и пытаюсь отыскать какой-то смысл в своей жизни, распутать ее. Вспоминая счастливые дни в Париже в начале пятидесятых, когда мы были молоды и беспутны, я подымаю бокал за отсутствующих друзей – Мейсона Хоффенберга, Альфреда Честера и Терри Саутерна, которых уже нет в живых*. Интересно, что сталось с той девушкой, которая на бульваре Сен-Жермен появлялась не иначе как с чирикающим шимпанзе на плече. Вернулась домой в Хьюстон и вышла замуж за зубного врача? Стала бабушкой и с удовольствием смотрит мультики про тритона Ньюта? Или умерла от передозировки, как прелестная Мари-Клер, которая знала свою родословную вплоть до Роланда из той самой "Песни"? Не знаю. Просто не знаю. Прошлое – это как заграница, там все делают по-другому, писал когда-то Э. М. Форстер. [На самом деле это писал Л. П. Хартли в романе "Посредник", с.1. Хэмиш Хамильтон, Лондон,

1953. — *Прим. Майкла Панофски.*] Хотя вроде все правильно, так и было. Дело не столько в том, что мы оказались в "Городе Света", сколько в избавлении от пут нашего темного провинциального происхождения (взять хоть меня: эка! — выходец из единственной в мире страны, где тезоименитство королевы Виктории отмечается как национальный праздник). Порядка в нашей жизни не было. Абсолютно. Ели, когда проголодаемся, и спали, когда уставали. Трахались, как только найдем с кем и где, и как-то выживали на три доллара в день. Все, кроме неизменно элегантного Седрика, чернокожего американца, черпавшего средства из какого-то тайного источника, о природе которого остальные без конца гадали. Это были точно не родительские деньги. И не те жалкие гроши, что он зарабатывал рассказами, которые печатались в журналах "Лондон мэгэзин" или "Кенион ревью". Другие черные американцы с Левого берега поговаривали, будто бы Седрик — стукач, что он получает ежемесячную зарплату от ФБР или ЦРУ (это ведь были времена сумасшедшего антикоммунизма), но эту версию я отметаю как чушь собачью. Как бы то ни было, Седрик не ютился в дешевой гостиничной комнатенке, а занимал удобную квартиру на рю Бонапарт. Идиша, которого он нахватался на Брайтоне, где его отец работал дворником, ему вполне хватало для пикировок с Букой, который обращался к нему "ваша светлость *шайнер реб* Седрик", а порой "наш *шварце гаон*[1] из Бруклина". Приятный в общении и, видимо, не озабоченный расовыми проблемами, Седрик с готовностью подхватил шуточную версию Буки, будто бы на самом деле он все врет и никакой он не негр, а проныра из Йемена, которому надо сойти за черного, чтобы стать неотразимым для бледнолицых дев, приехавших в Париж вкусить свободы за деньги, присылаемые строгими родителями. Когда Бука, признанный авторитет, хорошо отзывался о его последнем рассказе, он тепло и с уважением благодарил. Однако я подозреваю, что его благодарность была во многом наигранной. Задним числом мне представляется, что они с Букой постоянно соперничали и не очень-то жаловали друг друга.

Не поймите меня превратно. Талант у Седрика действительно был, так что со всей неизбежностью настал день, когда издатель из Нью-Йорка прислал ему договор на публикацию его первого романа, предлагая аванс в две с половиной тысячи долларов. Седрик пригласил Лео, Буку, Клару и меня на праздничный обед в "Куполь". И мы от души радовались, нам хорошо было вместе, и одна бутылка вина сменяла другую. Седрик сообщил, что издатель с женой приедет в Париж на следующей неделе. "Судя по его письму, — усмехнулся Седрик, — он, кажется, считает меня этаким черномазым помоечником, живущим на чердаке; думает, на обед пригласил, так я уже и кипятком писаю!"

Тут с нашей стороны последовали шутки вроде того, что не заказать ли Седрику в "Лаперузе" пареную репу с крысиными хвостами и не зайти ли в бар "Дё Маго" босиком. И тут я дал маху. Стремясь поразить Буку — ведь именно он бывал у нас обычно автором самых рискованных розыгрышей, — я подал идею, не пригласить ли Седрику издателя с женой на обед к себе домой, где мы, все четверо, будем изображать прислугу. Мы с Кларой будем поварами, а Бука и Лео в белых рубашках и черных галстуках бабочкой станут прислуживать за столом.

— Здорово! — воскликнула Клара и даже руками всплеснула, но Буке моя задумка не понравилась.

1. Черный гаон; гаон — духовный лидер (*иврит*).

— Почему? — удивился я.

— Потому что несравненный наш Сердик может войти во вкус.

В воздухе запахло ссорой. Седрик, сославшись на усталость, попросил счет, и мы по одному растворились во мраке ночи, каждый с грузом своих черных мыслей. Спустя несколько дней, однако, эпизод этот был забыт. Вновь чуть не каждую ночь к ее исходу, когда джаз-клубы закрывались, мы собирались "на хате" у Седрика, где без зазрения совести налегали на его гашиш.

В те дни в маленьких boîtes de nuit[1], где мы чаще всего бывали, выступал не только Сидней Беше, но и такие киты, как Чарли Паркер и Майлз Дэвис. Ленивыми весенними вечерами мы то шли за очередной почтой и свежей сплетней в магазин "Английская книга" на рю де Сен, то слонялись по кладбищу Пер-Лашез, глазея на могилы Оскара Уайльда, Генриха Гейне и прочих бессмертных. При этом собственно смерть, этот бич всех прошлых поколений, мыслей совершенно не задевала. Как-то не входила она в наши планы.

В каждую эпоху покровители искусства таковы, каких она заслуживает. Благодетелем нашей компашки был Морис Жиродье, единоличный владелец издательства "Олимпия-пресс", выпускавшего книги с клубничкой, особенно в серии "С книгой в дорогу". Помню, не раз я ждал Буку на углу рю Дофин и рю де Нест, когда он с двадцатью с чем-нибудь страницами порнушки (плодом усилий вчерашней ночи) отправлялся на приступ офиса Жиродье. Если сопутствовала удача, он возвращался, разбогатев тысяч на пять насущно необходимых франков; но это был лишь аванс, теперь требовалось написать — и как можно скорее сдать — забористую книжонку. Однажды, к несказанному его изумлению, он в подъезде столкнулся с полицией нравов — суровыми мужчинами в военной форме из "Бригад монден" (отряда по изъятию ценностей), которые ворвались, чтобы захватить тираж таких книжек, как "Кто заставлял Пауло", "Ангелы с плетками", "Елена вожделенная", а также "Книги лимериков" графа Пальмиро Викариона. Лимериков примерно таких:

Перед Гойей натурщица-маха
Обнажилась без всякого страха.
Гойя вдруг говорит:
"Как твой вид блядовит!"
И напал, и скрутил, и оттрахал.

А захотим, да если еще — ого! — добудем вдруг на время мотоцикл, тут же рванем на несколько дней в Венецию либо закатимся на попутках в Валенсию на какое-нибудь местное feria[2], и там сразу на бой быков с участием Литри, или Апарисио, или юного Домингина. Однажды летним вечером 1952 года Бука объявил, что мы едем в Канн сниматься в массовке — там-то мы и познакомились с Хайми Минцбаумом.

Скроен Хайми был как футбольный нападающий и имел при этом крупные черты лица, черные, мелко вьющиеся, как шерсть у терьера, волосы, карие, горящие жизнелюбием глаза, большие оттопыренные уши и здоровенный нос, изуродованный двумя переломами. В войну Хайми служил в 281-м авиаполку ВВС США, база которого с 1943 года

1. Ночных заведениях (*франц.*).
2. Празднество (*исп.*).

располагалась в Риджвелле, неподалеку от Кембриджа; в двадцать девять он был майором, пилотом бомбардировщика Б-17. Сиплым голосом, от которого мы балдели, он загружал нас с Букой байками о войне. Тогда, летом пятьдесят второго, мы втроем сидели на террасе кафе "Золотая голубка" в Сен-Поль-де-Вансе, допивали вторую бутылку "дом периньон", каждый бокал подкрепляя рюмкой коньяка "курвуазье Х. О.", который ставил Хайми. Помню, он нам рассказывал о том, как, согласно очередному полетному заданию, его эскадрилья шла на точное дневное бомбометание. Он оказался участником второго массированного налета авиации на подшипниковый завод в Швайнфурте – того самого, после которого Восьмая армия недосчиталась шестидесяти из трехсот двадцати бомбардировщиков, вылетевших с базы в Восточной Англии.

– Мы летели на высоте чуть не восьми тысяч метров, а там мороз градусов пятьдесят, – вспоминал он, – так что даже в летных костюмах с подогревом мы опасались обморожений, а не только личной эскадрильи Геринга, истребители которой – сплошь "мессершмитты-109" и "фокке-вульфы-190" – так и кружили, так и ждали момента, чтобы наброситься, если кто-то отстал или выбился из строя. А что, юные гении, – отвлекся он, с несколько преувеличенным пиететом возводя нас в ранг *гениев*, – не знаете ли вы случайно молодую даму... ту, что там в тени прохлаждается... да-да, вон там, слева, за вторым от нас столиком?

Юные гении. Будучи проницательнейшим из людей, Бука плохо переносил алкоголь, раскисал от него, так что он не почувствовал снисходительной иронии. Очевидно, Хайми, которому в то время подкатывало под сорок, ощущал исходящую от молодых угрозу. Ладно Бука, но моя мужественность тем более подвергалась сомнению, ведь я не проливал кровь в сражениях. Да и чтоб всерьез пострадать во время Великой депрессии, тоже был чересчур молод. И по Парижу в доброе старое время, сразу после его освобождения, не скакал козликом, не глушил мартини с Папой Хемом в отеле "Ритц". Не видел, как Джо Луис завалил Макса Шмелинга в первом же раунде, и уж всяко не мог понять, что это значило для подрастающего еврейчика из Бронкса. Не застал нью-йоркской Всемирной выставки и тогдашнего стриптиза с участием знаменитой Цыганки Розы Ли. У Хайми был обычный для стариков пунктик: будто бы всякий, кто моложе его, родился слишком поздно. Он, как мы тогда говорили, был немного "с прибабахом".

– Нет, – отозвался я. – Я про такую впервые слышу.

– Очень жаль, – насупился Хайми.

В Америке Хайми тогда числился в черных списках, поэтому под псевдонимом снимал в Монте-Карло французский film noir[1] в стиле Эдди Константайна, а мы с Букой работали у него статистами. Он заказал еще "дом периньон", распорядившись, чтобы и коньяк на столе не иссякал; велел принести оливки, миндаль, свежий инжир, блюдо креветок, пирог с трюфелями, хлеб, масло, копченую лососину – короче, все, что в заведении имелось из закусок.

Ласково пригревавшее солнце начало закатываться за оливково-зеленые горы, и они от этого словно огнем занялись. Внизу мимо каменной подпорной стенки, держащей террасу, – цок-цок, цок-цок – проехала запряженная осликом тележка какого-то седенького старикашки в

1. Черное кино (*франц.*).

синей блузе, и вечерний бриз донес к нам запах поклажи – то были вороха роз. Розы ехали на парфюмерную фабрику в Грас. Потом мимо нашего столика с пыхтеньем протиснулся толстый сын пекаря, таща на спине огромную плетеную корзину, полную свежеиспеченных длинных батонов, и их аромат тоже достиг наших ноздрей.

– Если она кого-то ждет, – пробормотал Хайми, – то этот кто-то опаздывает беспардонно.

Женщина с мерцающими волосами сидела одна слева, за два столика от нас; на вид ей было от силы лет тридцать. Этакий дар богов. А кому-то – вот, даром не нужна! Обнаженные тонкие руки, элегантное льняное платье, длинные голые ноги скрещены. Она прихлебывала белое вино и курила "житан", а когда заметила, что мы на нее украдкой поглядываем, опустила глаза, надула губки и достала из соломенной сумки книгу "Здравствуй, грусть" Франсуазы Саган. [Должно быть, это была какая-то другая книга, поскольку "Здравствуй, грусть" вышла из печати только в 1954 году. – *Прим. Майкла Панофски.*] Углубилась в чтение.

– Хотите, я приглашу ее за наш столик? – спросил Бука.

Хайми поскреб лиловатую щеку. Скривился, наморщил лоб.

– Нет. Не стоит, пожалуй. Она нам только все испортит. Мне надо позвонить. Я на пару минут.

– Он начинает меня раздражать, – сказал я Буке. – Когда вернется, надо намекнуть, что пора сворачиваться.

– Нет.

Возвратившись довольно скоро, Хайми принялся сыпать именами, чего лично я просто не переношу. Типично голливудская мания. Джон Хастон – его добрый приятель. Дороти Паркер – ох, трудно с ней. А в тот раз – ну, когда он работал над сценарием с этим доносчиком Клиффордом Одетсом... А с Богартом – о, какая была двухдневная попойка! Затем он стал рассказывать, как перед первым боевым вылетом его командир собрал весь летный состав в ангаре на инструктаж. "Слушайте, вы, девки-засыхи! Небось задумали в трехстах милях от цели неполадки с матчастью изобразить? Только попробуйте! А то бросят бомбы на ближайший лужок с коровьими лепешками – и дёру домой! В душу вам дышло! Мать-перемать. Хотите предать Клепальщицу Рози*? Хотите стать хуже тех не годных к службе жиденят-очкариков, что крысятничают сейчас на черном рынке и трахают ваших подруг? Усритесь, но чтоб ни о чем таком я ни от кого из вас не слышал! – Потом он помолчал и добавил: – Через три месяца две трети из вас будут на том свете. Дурацкие вопросы есть?"

Однако Хайми уцелел и демобилизовался с пятнадцатью тысячами долларов, по большей части выигранных в покер. Сразу рванул в Париж, вселился в "Ритц" и, по его утверждению, полгода не просыхал. Затем, когда у него остались последние три тысячи, купил билет на "Иль де Франс" и уплыл в Калифорнию. Устроившись третьим помощником режиссера, как танк попер по карьерной лестнице вверх, устрашая студийное начальство, честно отдававшее фронту все силы дома, тем, что на званые обеды являлся в пилотской куртке. Хайми как из пулемета выстрелил "Блондинку", парочку вестернов с Тимом Холтом, одну из "соколиных" серий с Томом Конуэем, и только после этого ему позволили самостоятельно снимать комедию с Эдди Бракеном и Бетти... как, бишь, ее? Фамилия как у биржевого брокера. Бетти Мерил Линч? Нет. Бетти Леман Бразерс? Да ну, еще чего. Бетти – ну, как в той рекламе. Когда кто-то там говорит, все слушают. *Хаттон. Бетти Хаттон.* Однажды он был пред-

ставлен к премии Академии, три раза разведен, и тут за него взялся Комитет по антиамериканской деятельности. "Андерсон, этот слизняк, которого я считал приятелем, – рассказывал Хайми, – борзописец, за пятьсот долларов в неделю стряпавший сценарии, под присягой заявил в Комитете, что раз в неделю ходил ко мне домой в Бенедикт-каньон собирать партийные взносы. Откуда мне было знать, что он агент ФБР?"

Оглядев стол, Хайми сказал:

– Чего-то не хватает. Garçon, apportez-nous des cigares, s'il vous plaît[1].

В этот момент на террасе появился француз. Старик стариком, лет пятидесяти с гаком, в яхтсменской фуражке и с переброшенным через руку как плащ темно-синим, сверкающим медными пуговицами блейзером: пришел за доселе не востребованной молодой дамой, что сидела слева за два стола от нас. Она вскочила ему навстречу – этакая потревоженная бабочка, тут же радостно вспорхнувшая.

– Comme tu es belle, – заворковал он.

– Merci, chéri.

– Je t'adore[2], – проговорил он, потрепав ее ладонью по щечке. Потом властно подозвал официанта – le roi et le veut[3] – и расплатился, небрежно отстегнув купюры от толстой пачки франков, схваченной золотым зажимом. Вдвоем они стали сдвигаться в направлении нашего столика, где дама приостановила его и, сделав брезгливое движение рукой, произнесла:

– Les Américains. Dégueulasse. Comme d'habitude[4].

– Мы не любим Айка![*] – сказал старик-кавалер и захихикал.

– Fishe-moi la paix, – сказал Хайми.

– Toi et ta fille[5], – присовокупил я.

Их обоих аж передернуло. В обнимку, обхватив друг друга за талию, они удалились, направившись к его спортивному "астон-мартину", причем рука старикашки явно щупала зад девицы. Он открыл перед ней дверцу, сел за руль и натянул гонщицкие перчатки. Перед тем как отъехать, сделал нам рукой неприличный жест.

– Пойдем отсюда, – сказал Хайми.

Мы втиснулись в "ситроен" Хайми и помчались в направлении О-де-Кань. Когда машина одолевала чуть не отвесный подъем в гору, на вершине которой стоял бар "У Джимми", Хайми и Бука затянули песнопения, которые помнили с детских лет, со времен хождения в синагогу, и вот тут настроение у меня начало портиться. Моя душа и так всегда зимы просит, а в тот вечер, который был бы идеальным, если бы не охватившее меня уныние, на сердце давила еще и зависть. Я завидовал Хайми, его военным подвигам. Его обаянию. Его материальной независимости. И той легкости, с которой вошел с ним в контакт Бука, да так плотно, что своими шутками, своей увлеченностью друг другом они подчас оставляли меня как будто за бортом.

Много лет спустя, вскоре после того как обвинение в убийстве было с меня снято, а Хайми вновь жил дома и о черных списках вспоминал как о развеявшемся кошмаре, он настоял, чтобы я для восстановления сил пожил в домике, который он снимал на все лето в Гемптоне.

1. Официант, пожалуйста, принесите нам сигары (*франц.*).
2. Как же ты хороша... Спасибо, милый... Я тебя обожаю (*франц.*).
3. Король и слуга (*франц.*).
4. Американцы. Сволочи. Как у себя дома (*франц.*).
5. Уходи по-хорошему... И девку свою уводи (*франц.*)

— Я понимаю: сейчас, в твоем состоянии ты никого видеть не можешь. Так ведь это как раз и есть то, что доктор прописал. Мир и покой. Море. Песок. *Шашлыки на природе.* Разведенные дамочки в соку. Ты погоди, попробуешь мои *кнейдлах*! И о твоих неприятностях никто там у меня знать не будет.

Мир и покой! С Хайми! Ха-ха. Мне следовало бы предвидеть. Гостеприимнейший хозяин, он чуть не каждый вечер наводил в дом столько гостей, что ступить было некуда, причем главным образом юных девиц, и каждую пытался охмурить. Пичкал их историями о тех великих и почти великих, кого он будто бы в свое время знавал. Дэшил Хэммет — о, это князь! Бет Дэвис — неоцененная, непонятая... Венгр Петер Лорре — вот парень что надо! Дитто Спенс... Переходя от гостя к гостю, он зажигал их, как фонарщик. Каждой молодке шептал на ушко, что на всем Лонг-Айленде нет девушки прелестней и умней ее, а каждому мужчине открывал под большим секретом, что у того уникальный талант. Он не то что не позволял мне грустить в уголке, а буквально пихал меня сперва к одной женщине, потом к другой: "Ну, не робей, ты ей *дико* нравишься". Затем официально представлял меня: "Это мой старый друг Барни Панофски; он сам не свой, до чего хочет с тобой познакомиться. На вид тихоня, я понимаю, но он только что выкрутился, совершив идеальное убийство. Давай, братан, расскажи, расскажи ей про это".

Я отозвал Хайми в сторонку.

— Слушай, Хайми, я понимаю, ты это ради меня, но я действительно, честное слово, я верен той женщине из Торонто.

— Да, верен-шмерен! Думаешь, я не слышу? Каждую ночь, стоит мне лечь в постель, ты кидаешься к телефону, будто прыщавый подросток.

— Ты что, подслушиваешь по аппарату в спальне?

— Слушай, братан, Мириам там, а ты здесь. Пользуйся!

— Да как ты не понимаешь...

— Нет, это ты не понимаешь! Поживи с мое, сам увидишь: потом всегда жалеешь не о том, что чуть-чуть схитрил, а о том, что не воспользовался.

— Нет, у нас с ней так не будет.

— Барни, да ты, может, и в Санта-Клауса веришь?

Каждое утро в несусветную рань, в дождь и вёдро Хайми, который зачастил тогда к психиатру, лечившему по системе Вильгельма Райха*, бодренько выбегал в дюны и там принимался издавать первобытные вопли, причем настолько громкие, что, случись вблизи от берега оказаться акуле, его крики наверняка заставили бы ее скрыться в пучине вод. Потом отправлялся на утреннюю пробежку, в ходе которой аккумулировал какие-то "оргоны" — набирался их от чужих детей, попадавшихся по дороге. Для этого детей надо было заставить хохотать, с каковою целью он предлагал одиннадцатилетним девочкам выходить за него замуж, а девятилетним мальчикам — пойти пропустить с ним где-нибудь по кружечке пивка, и угощал-таки, правда в близлежащей кондитерской. Вернувшись в дом, он готовил на нас обоих омлет с копченой колбасой и разогретой на той же сковороде вареной картошкой. Связь с внешним миром Хайми поддерживал по телефону, поэтому, едва разделавшись с завтраком, тут же звонил своему агенту и голосом, еще больше осипшим после дюнотерапии, надсадно кричал: "Ну что, *какашка*, нынче ты поднесешь-таки мне *чего-нибудь хорошего*? Или опять как всегда?" Либо связывался с продюсером и тогда пускался во все тяжкие — и так перед ним

расстелется, и этак, и просит, и грозит, откашливая мокроту в платок и прикуривая следующую сигарету от предыдущей. "Я ставлю лучший в Америке фильм со времен 'Гражданина Кейна', а вы — молчком, как будто так и надо. Или, по-вашему, это правильно?"

Частенько я просыпался среди ночи оттого, что Хайми криком кричал по телефону на какую-нибудь из бывших жен, но это он всего лишь извинялся, что запаздывает с алиментами, или выражал свое сочувствие по поводу ее вновь жестоко неудавшегося романа. Иногда он орал на кого-нибудь из сыновей или дочерей, которые жили в Сан-Франциско.

— Чем она так провинилась? — однажды спросил его я.

— Чем провинилась? Пошла в магазин. Забеременела. Вышла замуж, развелась. Про серийных убийц слыхал? Так вот она — серийная невеста.

Дети у Хайми — о! это была его боль, постоянная дыра — как в голове, так и в кармане. Сын, живший в Бостоне, был черный маг, он держал лавку с книгами по оккультным наукам и писал всеобъемлющий труд по астрологии. Когда не предавался описанию небес, выписывал вполне земные поддельные чеки, которые Хайми вынужден был далеко не магическим образом превращать в настоящие. Другого его сына, странствующего рок-музыканта, приходилось регулярно класть на детоксикацию, причем каждый раз в дорогую клинику, вскоре по выходе из которой тот машинально угонял дорогую спортивную машину, пытался на ней удрать и непременно расшибал в лепешку. То он звонит из каталажки в Талсе, то из больницы в Канзас-Сити, то от адвоката в Денвере. И каждый раз это чистое недоразумение. "Но ты, папочка, не волнуйся. На мне ни царапины!"

Тогда я не был еще отцом и снисходительно поучал Хайми.

— Если бы у меня были дети, — говорил я, — я бы вожжался с ними только до двадцати одного года. Двадцать один — и все, живи как знаешь. Нельзя же терпеть до бесконечности!

— Ни в коем случае, — соглашался он. — Только до могилы.

Кроме того, на шее у Хайми висел никчемный *шмендрик*[1] братец, посвятивший себя изучению Талмуда, и родители во Флориде. Однажды в два часа ночи я обнаружил его за кухонным столом в слезах. Стол перед ним был завален квитанциями, чековыми книжками и клочками бумаги, на которых он производил торопливые подсчеты.

— Я могу тебе чем-нибудь помочь? — спросил я.

— Можешь. Если не будешь соваться не в свое дело. Шлепай отсюда. Хотя нет, садись. Дело в том, что, если завтра у меня будет инфаркт, на помойке окажутся двенадцать человек. И у них даже горшка не будет, чтобы пописать. А еще вот, видал? Читай.

Это было письмо от брата. Он, наконец, сподобился посмотреть на ночном телеканале один из фильмов Хайми. Не фильм, а гадость, разврат и похабель страшная — стыд и позор для всей семьи. Если делаешь мерзость, почему не взять псевдоним?

— А знаешь, сколько этот жалкий *момзер*[2] мне задолжал? Даже за колледж его дочки плачу я!

Я был не очень-то приятным компаньоном. Ох, отнюдь! В три часа ночи, обливаясь потом, просыпался в полной уверенности, что до сих пор сижу в тюряге в Сен-Жероме, под залог меня не выпустили, и светит мне,

1. Тряпка, никчемный человек (*идиш*).
2. Мерзавец (*идиш*).

как пить дать, пожизненное. Или мне снилось, что опять мою судьбу решает сонное жюри присяжных, состоящее из фермеров-свинарей, дворников и автомехаников. Иногда вообще спать не мог, скорбел по Буке, думал: а вдруг водолазы все же что-то упустили, и он до сих пор лежит на дне, скрытый водорослями? Или его распухшее тело всплыло как раз сегодня. Однако через час тревога сменялась яростью. Он жив, пакостник чертов! Жив! Я нутром это чувствую! Так почему же он тогда на суд ко мне не пришел? Потому что ничего о нем не знал. Сидит где-нибудь в Индии, в очередном ашраме. Или, обдолбанный героином, валяется в гостиничном номере в Сан-Франциско. Или сидит в монастыре траппистов на диком бреге южной Калифорнии, пытается "переломаться" и по ходу дела вновь в который раз изучает свой список погибших. И не сегодня-завтра я получу от него опять открытку-ребус. Вроде той, что пришла однажды из бразильского штата Акр:

В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым.

Книга Судей Израилевых. 17:6.

На следующий день по выходе из тюрьмы я поехал на озеро, где у меня хижина, прыгнул в лодку, завел мотор и дюйм за дюймом исследовал все берега и устья ручьев. Потом смотрю — сыщик сержант О'Хирн уже ждет меня на причале.

— Вы что тут делаете? — возмутился я.

— Да ничего, бродил по лесу. Интересно, вы прямо так и родились — с подковой в заднице?

Как-то поздним вечером мы с Хайми сидели на моем причале, посасывали коньяк.

— Когда мы познакомились, ты был просто комок нервов, — сказал он. — От злости аж в поту весь — обиженный какой-то, возмущенный: броня битника-пофигиста все время давала трещину. И кто бы мог подумать, что однажды ты отмажешься от убийства?

— Да не совершал я его, Хайми!

— Во Франции тебя бы только по плечику потрепали. У них это crime passionel[1] называется. Вот уж не думал не гадал, что у тебя на такое нервов хватит!

— Ты не понял. Он жив! Он где-то шляется. Может, в Мексике. В Новой Зеландии. В Макао. Да кто знает, куда его могло занести?

— Судя по тому, что я читал в газетах, денег с его счета в банке с тех пор так и не брали.

— Мириам выяснила, что в течение нескольких дней после того как он исчез на озере было три случая взлома летних домиков. Видимо, так он добыл себе одежду.

— С финансами-то небось плохо теперь?

— Да уж — и адвокат, и алименты... Бизнес совсем заброшен. Конечно плохо.

— Давай вместе напишем сценарий.

— Что за чушь, Хайми. Я ж не писатель.

1. Преступление, совершенное в состоянии аффекта (*франц*).

— Сто пятьдесят косых как отдать. Делим надвое. Нет-нет, погоди. Я имею в виду треть тебе, две мне. Что скажешь?

Едва мы сели за работу над сценарием, Хайми как с ума сошел: выдергивал у меня сцены прямо из машинки и тут же звонил то бывшей любовнице в Париж, то кузине в Бруклин, то дочери, то агенту — зачитывал. "Вот, слушай, это же прелесть!" Если реакция оказывалась не той, что он ожидал, давал задний ход: "Вообще-то это набросок, да я и сам говорил Барни, что такой вариант не канает. Он ведь новичок, ты ж понимаешь". Заставил высказаться по этому поводу свою домработницу, советовался с психоаналитиком, совал страницы официанткам и на основе их суждений вносил правку. Мог ворваться ко мне в комнату в четыре утра, растолкать, разбудить:

— Есть блестящая идея! Меня только что осенило. Пошли.

Чавкая мороженым из ведерка, добытого в холодильнике, он расхаживал в трусах по комнате и, почесывая пах, диктовал.

— Это потянет на премию Академии. Железно.

Однако следующим утром, перечитывая то, что надиктовал, кривился:

— Барни, это кусок говна, *куппе дрек*. Сегодня давай всерьез сосредоточимся.

В плохие дни, когда дело не ладилось, он мог внезапно рухнуть на диван и сказать:

— Знаешь, что бы мне не помешало? Отсос. Технически, ты ж понимаешь, это не измена. Да господи, о чем я беспокоюсь? Я ведь даже и не женат сейчас!

Потом он подпрыгивал, хватал с полки экземпляр "Мемуаров Фанни Хилл" или "Истории О" и исчезал в ванной.

— Всем мужикам надо это делать. Как минимум раз в день. Чтобы простата всегда была в форме. Мне доктор сказал.

А тогда, в тысяча девятьсот пятьдесят втором, мы снова сели к Хайми в "пежо" [Несколько страниц назад это был "ситроен". — *Прим. Майкла Панофски*], снова куда-то помчались, и следующее, что я помню, это как мы оказались в Ницце, в переулке около рынка, в одном из маленьких, битком набитых bar-tabacs с цинковой стойкой, и глушили там коньяк с грузчиками и водителями грузовиков. Мы пили за Мориса Тореза, за Мао и за профсоюзного деятеля Гарри Бриджеса, а заодно, из уважения к двоим примкнувшим к компании беженцам из Каталонии, за Пасионарию и Эль Кампесино*. Потом, нагруженные подарками — инжиром, зеленым луком и помидорами, которые все еще пахли вином, — мы двинулись дальше — в Жуан-ле-Пен, где отыскался открытый ночной клуб.

— Стрелок-радист Джо! — все никак не мог успокоиться Хайми. — Мой бестрепетный товарищ по оружию сенатор Джозеф Маккарти! Да крыса он! Таракан поганый — нет у него за плечами ни одного боевого вылета!..

Сие подвигло Буку, совсем уже, казалось, впавшего в кому, на то, чтобы очнуться и, с трудом собрав мозги в кулак, вдруг с места в карьер выдать:

— Когда охота на ведьм окончится, — сказал он, — и всем будет стыдно (как стыдно было после "палмеровых рейдов"* двадцатого года), у сенатора Маккарти все равно останется слава влиятельного кинокритика. Куда до него Джеймсу Аджи! Конюшни-то славно почистил, ничего не скажешь!

Услышь Хайми такое от меня, ни за что бы не стерпел, а Бука сказал — и ничего, Хайми даже ухом не повел. Удивительно. Вот Хайми — состояв-

шийся и даже довольно-таки состоятельный человек, преуспевающий кинорежиссер, а вот Бука — бедный, безвестный, непризнанный писатель, печатающийся от случая к случаю в заштатных журнальчиках. И при этом как раз Хайми его боится, как раз Хайми старается завоевать его одобрение. Бука умел воздействовать на людей. Я был не единственным, кто нуждался в его благословении.

— Моя проблема, — продолжил Бука, — в том, что к людям из Голливудской десятки* я испытываю некоторое уважение как к личностям, но не как к писателям, пусть даже второсортным. Je m'excuse[1]. Третьесортным. Как бы ни был мне ненавистен своими политическими взглядами Ивлин Во, я скорее прочитаю какой-нибудь его роман, чем высижу от начала до конца даже самый лучший из их слащаво-тошнотных фильмов.

— Ну ты шутник, Бука! — натужно выговорил Хайми.

— "Их лучшее не убеждает вовсе, — гнул свое Бука, — тогда как худшее полно разящей силы". Это не я сказал, это мистер Йейтс*.

— Готов признать, — сказал Хайми, — что наш кружок (я ведь и себя к нему причисляю) слишком зацикливался на комплексе вины — которая, кстати, и диктовала нам политические взгляды; политикой мы занимались рьяно, а работали спустя рукава. Ты можешь возразить, что Францу Кафке не нужен был дом с бассейном. А Джордж Оруэлл никогда не ходил на сценарный совет, но... — Но тут, явно чтобы не связываться с Букой, он всю свою ярость обрушил на меня: — Хотелось бы надеяться, что и о тебе, Барни, когда-нибудь можно будет сказать что-нибудь подобное, но пока ты просто спесивый мелкий прыщ.

— Э, э, полегче, я же не писатель! Я тут с вами так, сбоку припеку. Пошли, Бука. Похоже, нам пора.

— Ты моего друга Буку в это не впутывай. Он по крайней мере высказывается откровенно. А вот насчет тебя у меня есть сомнения.

— У меня, кстати, тоже, — переметнулся Бука.

— Ну и пошли вы оба к черту, — сказал я, выскочил из-за стола и направился к выходу.

Бука догнал меня уже снаружи.

— Ты что нарываешься? Он же тебя вырубит!

— Это еще кто кого!

— Как тебя с твоим характером Клара терпит?

— А Клару, интересно, кто кроме меня вытерпит?

Он рассмеялся. Я тоже.

— Ладно тебе, — сказал он. — Пойдем обратно, но ты уж хоть не нарывайся больше, ладно?

— Он провоцирует!

— Тебя все провоцируют. Ты злобный спятивший *идиёт*. Не можешь быть *менш*[2], так притворись хотя бы. Давай-давай, пошли.

Хайми встретил нас стоя и тут же заключил меня в свои медвежьи объятия.

— Извини меня. И не сердись. Серьезно. А свежий воздух, между прочим, нам сейчас всем не повредит.

Развалившись на песочке (это был пляж в Канне), мы смотрели, как встает солнце над темной, винного цвета гладью, ели помидоры с зеленым луком и заедали инжиром. Потом скинули туфли, закатали штаны

1. Извиняюсь (*франц.*).
2. Мужчина (*идиш*).

и влезли по колено в море. Бука меня обрызгал, я обрызгал его, и моментально все трое сплелись, повалились и продолжали возню в воде — в те дни, купаясь, не приходилось думать о том, что по волнам плавает дерьмо и использованные презервативы. В конце концов пошли обсыхать в какое-то кафе на набережной Круазетт, ели там oeufs sur le plat с булочками и café au lait[1]. Бука откусил кончик сигары "ромео-и-джульетта", прикурил и подытожил:

— Après tout, c'est un monde passable[2]. Видимо, это цитата, но откуда — один Бог знает. [Из Вольтера. — *Прим. Майкла Панофски.*]

Потянувшись, Хайми зевнул и говорит:

— Однако пора на работу. У меня съемка в казино через час. Давайте встретимся в отеле "Карлтон" в семь, выпьем, потом поедем в Гольф-Жуан, я там знаю одно местечко, где готовят замечательный буйабес. — Он пододвинул к нам ключ от гостиничного номера. — Вот, возьмите — вдруг захочется помыться, вздремнуть или ознакомиться с моей почтой. Пока.

Мы с Букой пошли в гавань смотреть на яхты, а там — глядь — тот француз, сладкий папик из давешнего кафе. Загорает на тиковой палубе собственной яхты, качающейся на средиземноморской непрестанной зыби, а подружки что-то не видно. Вид абсолютно жалкий — в очках, животик навис над плавками, в руках "Фигаро". Биржевые сводки изучает, ясное дело! Обязательное чтение для тех, кто лишен духовной жизни.

— Salut, grand-père, — крикнул я. — Comment va ta concubine aujourd'hui?

— Maricons[3], - заорал он в ответ, грозя кулаком.

— И ты ему это спустишь? — нахмурился Бука. — Вышиби ему зубы! Измолоти в дерьмо. Оттянись — глядишь, полегчает.

— А как же! — рванулся я. — Вот я ему сейчас...

— Ну, ты вообще! Прямо хулиган какой-то, — усмехнулся он, уводя меня прочь.

3

Сценарий, который мы писали на Лонг-Айленде, фильмом так и не стал, однако меньше года спустя, в тысяча девятьсот шестьдесят первом, Хайми позвонил мне из Лондона.

— Приезжай. Сделаем вместе другой фильм. Такая классная намечается фигня, что я уже заранее лауреатскую речь готовлю.

— Хайми, у меня и дома дел по горло. Каждую неделю выходные провожу в Торонто с Мириам или она ко мне сюда прилетает, и мы вместе идем на хоккей. Почему бы тебе не найти себе на этот раз настоящего писателя?

— Мне не надо настоящего писателя. Мне нужен ты, дорогуша. Это будет на основе рассказа, права на который я купил сто лет назад.

— Но я же не могу вот прямо так все бросить и уехать.

— А я уже купил тебе билет первого класса на завтрашний рейс из Торонто.

— Да я-то ведь в Монреале!

— Можно подумать, большая разница! Это ведь тоже в Канаде?

1. Яичницу... кофе с молоком (*франц.*).
2. В конечном счете, этот мир вполне приемлем (*франц.*).
3. Привет, дедуля... Как там сегодня твоя сожительница?.. Пидеры поганые. (*франц.*)

На улице был мороз минус пятнадцать. В доме развал – уволилась очередная уборщица. В холодильнике гадость и плесень. Квартира пропахла табачищем и пропотевшими нестираными рубашками и носками. В те дни я обычно утро начинал с черного кофе, усиленного коньяком, и черствого рогалика, который приходилось размачивать в воде и греть в заросшей жиром духовке. Со Второй Мадам Панофски я к тому времени уже развелся. И стал отверженным. Судом я был оправдан, но обществом признан убийцей: считалось, что мне невероятно повезло выйти сухим из воды, причем считали так чуть не все поголовно. Я начал предаваться детским играм. Если "Монреаль канадиенз" забросят десять шайб подряд или если в субботу Беливо забьет три гола, то в понедельник утром от Буки придет открытка, в которой будет сказано, что он прощает мне ту дикую вспышку, те жестокие слова, которые – клянусь! – были сказаны просто так и ничего не значили. Я отыскивал все новых и новых старых общих знакомых – то в Париже, то в Дублине, то в Чикаго... Писал я и в этот их шибко артистический *штетл* в Аризоне – есть там такая полудеревня-полуголливуд, где неудачливые продюсеры в ковбойских сапожках ходят по ресторанам здорового питания, в которых нельзя курить и всякий хлеб насущный поедается с чесноком и витаминными таблетками. Неподалеку оттуда делали атомную бомбу, а еще там где-то жил Д. Г. Лоуренс со своей этой – как ее... А место называется Санта-трата-там. [Санта-Фе, штат Нью-Мексико. – *Прим. Майкла Панофски.*] Однако никто от Буки никаких известий не имел, а некоторые даже возмущались: "Ты что нам очки втираешь, сволочь?!" Прошелся по его любимым местам в Нью-Йорке: "Сан-Ремо", "Львиная голова"...

– Москович? – задумался бармен из "Сан-Ремо". – Да его же, по-моему, убили где-то в Канаде.

– Его убьешь, пожалуй!

В то время у меня еще и с Мириам были проблемы – это позже она и во мне и вокруг меня все переменила раз и навсегда. А тогда колебалась. Выйти за меня замуж и переехать в Монреаль значило бросить работу на радио Си-би-си. Более того: она считала, что у меня трудный характер. Я позвонил ей.

– Поезжай, – одобрила она. – Лондон пойдет тебе на пользу, да и мне надо немного побыть одной.

– Нет, не надо.

– Когда ты приезжаешь, я не могу думать.

– Почему?

– Ты меня подавляешь.

– Значит так: пообещай мне, что, если я в Лондоне задержусь больше чем на месяц, ты прилетишь и несколько дней побудем вместе. Это же не так трудно.

Она пообещала. Тогда почему бы и нет? – подумал я. Работой меня там не замучают. А деньги нужны позарез, при том что Хайми от меня требуется всего лишь дружеское участие. Чтобы кто-то сидел за машинкой и хохотал над его шутками, пока он туда-сюда расхаживает, накручивает телефонный диск, кашляет, харкает, болтает с чувихами, агентами, продюсерами или со своим психиатром: "Я только что вспомнил нечто важное!"

Фильм Хайми оказался его типичной сборной солянкой, чем-то вроде лоскутного одеяла, финансовая целостность которого обеспечивалась тем, что Хайми заранее запродал его на корню всем, кому только

можно, — в Великобританию, Францию, Германию и Италию. Когда-то курчавые черные волосы стали у него пепельно-седыми, появилась манера трещать суставами и скрести ногтями больших пальцев подушечки ладоней, так что кожа на них болезненно краснела. Райхианского психоаналитика он бросил, сменил на последовательницу Юнга и ходил к ней каждое утро.

— Она потрясающая! Волшебница. Ты должен глазом. Одни сиськи чего стоят!

Уже тогда Хайми мучился бессонницей, глотал транквилизаторы, а иногда и кокаинчик нюхал. Прошел ЛСД-терапию у модного в те годы Р. Д. Лэнга. Угнетало его главным образом то, что в Голливуде его услуги уже не требовались. Большинство агентов и студийных начальников в Беверли-Хиллз на его звонки не отвечали вовсе, либо через несколько дней ему перезванивала какая-нибудь мелкая сошка, причем однажды его даже попросили повторить имя по буквам.

— Ты, сынок, знаешь что? — возмутился Хайми. — Перезвони мне, когда у тебя поменяется голос.

Но уж зато, как мне и было обещано, мы славно вместе побесились в шикарном номере отеля в Дорчестере, снятом Хайми: уж он и горничную стихи писать уговаривал, и официанта убеждал организовать из персонала профсоюз... Мы курили сигары "монтекристо", за работой посасывали бренди с содовой и то и дело заказывали в номер копченую лососину, икру и шампанское.

— Самое смешное, Барни, что мы тут можем застрять навсегда: я далеко не уверен, что у моих спонсоров хватит денег оплатить счет.

Да при моих еще звонках в Торонто — дважды в день!

— Слушай, — вдруг вспоминал, бывало, Хайми посреди работы над какой-нибудь сценой, — ты шесть часов уже не разговаривал с твоей зазнобой. Может, она передумала?

Однажды под вечер — дней, может быть, через десять после начала нашей совместной работы — я позвонил, потом еще и еще раз, но никто не подходил к телефону.

— Она же говорила мне, что вечером будет дома! Ничего не понимаю.

— Слушай, я думал, мы работаем!

— Она дрянной водитель. А у них там сегодня утром был дождь со снегом. Вдруг она попала в аварию?

— Она пошла в кино. Или обедает с подружками. Слушай, давай немного поработаем.

И только в пять утра (по лондонскому времени) трубку сняли. Голос я узнал сразу.

— Макайвер, мерзавец, какого черта ты там делаешь?

— Кто говорит?

— Кто-кто... конь в пальто! Барни Панофски, вот кто, и сию же секунду дай мне Мириам.

Смех на заднем плане. Звон бокалов. Наконец она подошла.

— О господи, Барни, ты почему еще не спишь в такой час?

— Ты не представляешь, как я переволновался. Ты же сказала, что будешь вечером дома!

— Да ведь у Ларри Кифера день рождения. Он всех нас пригласил на ужин, а потом я позвала ребят выпить на сон грядущий.

— Я звонил раз десять, не меньше. Почему ты мне не позвонила?

— Я думала, ты уже спишь.

— А Макайвер там откуда взялся?

— Он старый приятель Ларри.

— Не верь тому, что он будет обо мне говорить. Ни одному слову его не верь. Он патологический лгун.

— Барни, у меня тут полный дом гостей, мне очень неловко. Ложись спать. Поговорим завтра.

— Но я...

— Извини, — произнесла она напряженно, — я забыла. Как же я так? Чикаго сегодня победило Детройт. Три : два. Бобби Халл забил две шайбы. Так что общий счет серии теперь ничейный.

— Да я же не поэтому звоню. Плевать мне на их счет. Я потому, что с тобой...

— Спокойной ночи, — сказала она и повесила трубку.

Я решил пару часиков подождать и перезвонить снова — якобы извиниться, а на самом деле убедиться в том, что она осталась одна. К счастью, поразмыслив здраво, я счел эту идею порочной. Но все равно я был в ярости. Как веселился там, должно быть, этот мудак Макайвер! "Ты хочешь сказать, он звонил тебе из Лондона, чтобы узнать хоккейный счет? Ну он дает дрозда!"

Удача то улыбалась Хайми, то грозила ему разорением, но всегда он жил как принц крови. Почти каждый вечер мы посещали "Каприз", "Мирабель" или "Белого слона". Поскольку компания состояла из нас двоих, все внимание Хайми было обращено на меня, и он был очарователен — прирожденный рассказчик, обаятельный и неутомимый. Но если за соседним столиком обнаруживалась какая-нибудь голливудская шишка, он съеживался, превращался в просителя и произносил перед досадливо кривящимся болваном одну и ту же затверженную речь о том, как было бы чудесно поработать с ним вместе, или (в другом варианте) о том, как гениален был его (шишки) последний, недооцененный, недопонятый фильм. "И я говорю так не только потому, что это вы меня слушаете!"

За пару дней до того, как Мириам должна была наконец прилететь в Лондон, я попытался всерьез поговорить с Хайми, но это было ошибкой.

— Она очень ранима, поэтому ты уж, пожалуйста, сделай над собой усилие, постарайся не быть вульгарным.

— Да, папочка!

— А насчет твоего последнего "открытия", этой идиотки Дианы... Давай договоримся, что, пока Мириам здесь, она не будет обедать с нами.

— Так... Ну а если, скажем, сидим мы в ресторане и мне надо сделать пи-пи. Прикажешь руку поднимать и спрашивать разрешения?

— И воздержись от скабрезных голливудских сплетен. Они на нее тоску наводят.

Но оказалось, мои опасения насчет того, как Мириам воспримет Хайми, были излишни. Едва увидев его в первый раз за обедом в "Белом слоне", она пришла от него в восторг. Мерзавец! — его шуткам она смеялась куда охотнее, чем моим. Она вспыхивала и расцветала. А самое удивительное, что малоприличные россказни про Бет Дэвис, Богарта (которого он называл Боуги) и Орсона Уэллса, упоминаемого просто по

имени, слушала раскрыв рот. А я лишь таял от любви и глупо улыбался в ее присутствии, но был при этом явно de trop[1].

— Он говорил мне, что вы умная, — сказал Хайми, — но ни разу не сказал, какая вы красивая!

— Должно быть, он сам этого еще не заметил. Для него красив только тот, кому удастся хет-трик* или кто забьет решающий гол в овертайме.

— Зачем же выходить за него, когда вот он я — весь у ваших ног?

— А он что, сказал, что я выхожу за него замуж?

— Я не говорил. Клянусь. Я сказал, я *надеюсь*, сказал, *может быть*, ты согласишься...

— Мириам, почему бы нам не пойти куда-нибудь перекусить вдвоем, пока этот *нудник* будет сидеть у меня за машинкой?

Перекусить? Они исчезли на целых четыре часа, и когда Мириам, сама не своя, в конце концов доплелась до нашей комнаты, язык ее не слушался, так что она еле добралась до постели. Ужин для нас был мной уже заказан в "Капризе", но мне не удалось стащить ее с кровати.

— Сходите с Хайми, — проговорила она, перевернулась на другой бок и снова задрыхла.

— О чем вы с ней болтали так долго? — спрашивал я потом приятеля.

— Да так... О том о сем.

— Ты напоил ее допьяна.

— Ты кушай, кушай, *бойчик*.

Наконец Мириам улетела назад в Торонто, а наши с Хайми бдения продолжились. Для Хайми адом были не другие люди, как для Камю [На самом деле это сказал Жан-Поль Сартр. — *Прим. Майкла Панофски*], а их нехватка. Когда, сославшись на усталость, я уходил из "Слона" или "Мирабели", он перемещался за соседний столик и, компенсируя отсутствие приглашения, укладывал всех наповал анекдотами о тех, чьи имена котируются на рынке. Или присаживался к бару и, если там обнаруживалась одинокая женщина, начинал приставать к ней с разговорами.

— Вы, кстати, знаете, кто я?

Как-то раз дошло до такого, о чем и вспоминать тошно. В "Белый слон" зашел с группой поклонников Бен Шан. Когда-то Хайми приобрел рисунок Шана и теперь решил, что это дает ему право подсесть к чужому столу. Ткнул в Бена Шана пальцем и говорит:

— Когда увидите Клиффа, передайте ему от меня, что он скотина и стукач.

Клифф — естественно, имелся в виду Одетс: он сплоховал перед Комитетом по антиамериканской деятельности и назвал много имен.

Над столом нависла гробовая тишина. Шан невозмутимо сдвинул очки на лоб и, недоуменно вглядываясь в Хайми, спросил:

— А от кого, скажите, я должен ему это передать?

— Ладно, — стушевался Хайми, съежившись, будто из него выпустили воздух. — Не важно, забудем.

Он пошел прочь и в тот миг показался мне старым дурнем, пьяным и совсем сбитым с толку.

Наконец, несколько месяцев спустя, настал день, когда мы с Хайми уселись в просмотровом зале в Беверли-Хиллз и перед нами по экрану побежали титры. Читаю:

ФИЛЬМ СНЯТ ПО РАССКАЗУ БЕРНАРДА МОСКОВИЧА

1. Лишний (*франц.*).

Меня аж передернуло.

— Гад, сволочь! — заорал я, стаскивая Хайми за шкирку с кресла и что есть силы тряся. — Ты почему не сказал мне, что фильм делается по рассказу Буки?

— Щепетильный ты наш, — придя в себя, сказал он и ущипнул меня за щеку.

— Мало на меня и без того уже свалилось, так теперь все скажут, что я его посмертно эксплуатирую!

— А знаешь, что мне во всем этом деле не нравится? Если он такой добрый друг и при этом жив, почему не пришел к тебе на суд?

В ответ я размахнулся и умудрился в третий раз сломать Хайми его дважды ломанный нос, а у меня, надо сказать, давно чесались руки это сделать — еще с тех пор, как он увел Мириам на тот четырехчасовой перекус. В ответ он двинул меня коленом в пах. Мы продолжали молотить друг друга, стали кататься по полу, и понадобились трое охранников, чтобы разнять нас, но и после этого мы продолжали осыпать друг друга бранью.

4

Любви в семье Панофски подвластны все. Взять хоть отца моего, к примеру. Инспектор полиции Иззи Панофски отбыл из земной юдоли прямо-таки весь в ней по уши. Тридцать шесть лет назад (сегодня как раз день в день) он умер в монреальском массажном салоне на столе от сердечного приступа после оргазма. Когда я приехал забрать тело, девица-гаитянка, на вид, пожалуй, действительно потрясенная, отвела меня в сторонку. Нет, никаких последних слов отца она мне не передала, зато сообщила, что Иззи преставился, не подписав чека, которым собирался оплатить ее услуги. Как сын и наследник, я заплатил за последний любовный выплеск отца, присовокупив щедрые чаевые и извинившись за неудобства, причиненные заведению.

Сегодня, в годовщину смерти отца, я совершил ежегодное паломничество на кладбище "Хевра Кадиша"[1], где вылил на его могилу бутылку виски "краун роял", а в качестве закуски положил на могильный камень кусок хлеба с копченым мясом средней жирности и соленый огурчик. Был бы наш Бог справедлив — только ведь куда там! — мой отец в небесах нежился бы в самом шикарном борделе с непременным буфетом и баром, оборудованным бронзовыми поручнем и плевательницей и снабженным запасом сигар "белая сова", а также телевизором, настроенным на круглосуточный спортивный канал. Но Бог, с которым мы, евреи, крепко повязаны, жесток и мстителен. На мой взгляд, Иегова был к тому же первым еврейским эстрадным комиком, партнер которого Авраам исполнял при нем роль простака. "Возьми сына твоего, — сказал Господь Аврааму, — единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе". И наш Абрамчик, первый из чересчур таки расплодившегося с тех пор племени евреев-подхалимов, оседлал осла и сделал, как было велено. Устроил жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. "Папочка-а, — взвыл обескураженный Иса-

1. "Святое сообщество" (*иврит*).

ак, — вот: вижу жертвенник, вижу дрова, но где же агнец для всесожжения?" В ответ Абрамчик простер руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. В этот момент Иегова, хохоча во всю глотку, послал вниз ангела, который сказал: "Э! Э! Постой-ка, Абрамчик. Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего". И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот назади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. Однако сомневаюсь я, чтобы отношения между Абрамчиком и его сыном Иззи когда-либо вновь стали прежними.

Меня заносит. Знаю. Знаю. Но это мой единственный, мой перворожденный рассказ, и я собираюсь его рассказывать в точности так, как пожелаю. Поэтому вам сейчас придется, сделав небольшой зигзаг, ненадолго заехать на территорию, которую Холден Колфилд уничижительно назвал когда-то дерьмом в стиле Николаса Никльби. Или Оливера Твиста? Нет, Никльби. В этом я уверен. [В действительности, Дэвида Копперфилда. См. Дж. Д. Сэлинджер, "Над пропастью во ржи", с.1. Литтл, Браун, Бостон, 1951. — *Прим. Майкла Панофски.*]

Однажды Клара меня спрашивает:

— Как вышло, что твои предки эмигрировали в Канаду, разве нет других мест? Я думала, евреи все ехали в Нью-Йорк.

Я объяснил, что родился канадцем, потому что мой дедушка, ритуальный резник, не придумал, где взять три бумажки — две по десять и одну в пять долларов. На дворе стоял 1902 год, когда новобрачные Мойша и Малка Панофски отправились в Будапешт в "Общество содействия еврейской иммиграции" на собеседование к Семке Деброфски.

— Нам нужны билеты в Нью-Йорк, — сказал мой дедушка.

— Ой, а Сиам вам уже не хорош? В Индию вам не надо? Конечно, я понимаю. Вот, беру трубку, сейчас звоню в Вашингтон. И что я скажу президенту? Я скажу: Тедди, у тебя на Канал-стрит или мало приезжих? Тебе не надо еще больше тех, кто ни бэ ни мэ по-английски? Ну так я тебе помогу! У меня тут стоит пара *шлеперов*[1], которые таки хотят поселиться в Нью-Йорке. Если это *гольдене*[2] мечта твоего детства, Панофски, она стоит пятьдесят долларов американских денег, и деньги — вперед!

— Пятьдесят долларов мы не имеем, господин Деброфски.

— Шутите? Так я вам вот что скажу. У меня сегодня день скидок. За двадцать пять долларов я могу вас обоих отправить в Канаду!

Моя мать была не из тех типичных еврейских мамаш, что наизнанку ради сына вывернутся, на любые жертвы пойдут, лишь бы сделать ребенку жизнь чуть получше. Вернувшись из школы, я распахивал дверь и орал:

— Ма! Я пришел.

— Тшшш, — обычно отзывалась она, приложив палец к губам: сидела у приемника, слушала очередной сериал — "Пеппер Янг", "Матушка Перкинс" или "Мужчина в семейном кругу". Только во время рекламной паузы снисходила: — Там ореховая паста есть — в холодильнике. Поешь сам.

Ребята с нашей улицы мне завидовали — еще бы: моей матери до фонаря было и какие отметки у меня в школе, и когда я прихожу вечером домой. Она читала "Фотоплей", "Серебряный экран" и другие журналы для киноманов. Очень беспокоилась, что будет с Ширли Темпл теперь, когда

1. Нищих, приживал (*идиш*).
2. Золотая (*идиш*).

она становится девушкой-подростком; болела за Кларка Гейбла и Джимми Стюарта, чтобы они благополучно вернулись с войны; и чтобы Тайрон Пауэр обрел наконец настоящую любовь. Другие матери с улицы Жанны Манс* насильно пичкали сыновей "Охотниками на микробов" Поля де Круи – в надежде, что это побудит детишек заинтересоваться медициной. Или, выкраивая из продуктовых денег, копили на очередной том "Книг знания" – так на американском континенте называлась британская "Детская энциклопедия" Артура Ми 1910 года издания, – пусть в начале гонки под названием "Жизнь" у ребенка будет хоть какое-то преимущество! Дюнкерк, битва за Британию, Пёрл-Харбор, оборона Сталинграда – все эти события проплывали стороной, как тучки небесные, зато эстрадные ссоры Джека Бенни с Фредом глубоко ее волновали. Персонажи, которых мы в те времена называли не иначе как клоунами, были для нее куда роднее и реальнее собственного сына. Она писала письма Честеру Гулду*, в которых требовала, чтобы Дик Трейси непременно женился на Тесс Трухарт. Когда в газетном сериале "Терри и пираты" Рейвен Шерман умерла на руках возлюбленного, Дьюда Хенника, моя мать была в числе тех многих тысяч читателей, кто послал телеграммы соболезнования.

Мой папа, в котором росту было почти сто восемьдесят сантиметров, "Шалунью Мариэтту" с Нельсоном Эдди и Джанетт Макдоналд ходил смотреть минимум пять раз, пуще всякой другой музыки обожал песенку под названием "Зов влюбленного индейца" и мечтал пополнить собой ряды Королевской конной полиции, но его отвергли за недостаточностью роста. Тогда, решив вступить хотя бы просто в полицию Монреаля, он отправился в "День шантрапы" навестить Вундеркинда.

Джерри Динглмэн, известный под кличкой Вундеркинд, обычно руководил бизнесом из квартиры-пентхауса на крыше своего шикарного игорного заведения на дальнем берегу реки Святого Лаврентия, но по средам принимал местную гопоту в убогой конторе, выгороженной с краю танцзала в "Тико-Тико" – одном из нескольких ночных клубов, которыми он владел. В ближнем кругу Вундеркинда сре́ды назывались "Днями шантрапы", и с десяти до четырех просители валили валом.

– А чего это тебя в мусора потянуло, больше заняться нечем? – удивился просьбе отца Динглмэн.

– Я буду вам признателен по гроб жизни, мистер Динглмэн, если вы, ну, вроде как поможете мне вступить на избранное поприще.

Вундеркинд позвонил Тони Фрэнку, после чего сказал отцу, чтобы тот сходил к доктору Евстахию Сен-Клеру за медицинским свидетельством.

– Но сперва, Иззи... Сперва что надо сделать?

– Принять ванну?

– Молодец! С твоим умом ты станешь сыщиком просто вмиг.

Однако через месяц Вундеркинд зашел на пару стаканчиков с бутербродами в закусочную "У левита" и удивился, увидев, что мой отец по-прежнему за прилавком и по-прежнему режет мясо.

– Ты почему еще не в форме? – спросил он.

– Доктор Сен-Клер сказал, что я негоден из-за оспинок, которые остались у меня на лице после прыщей.

Динглмэн вздохнул. Покачал головой.

– А он не сказал тебе, что это излечимо?

Что ж, Иззи Панофски снова записался на прием к доктору Сен-Клеру, но на сей раз был научен и вложил в анкету стодолларовую купюру, так

что свидетельство получил. "В те времена было строго, — рассказывал мне однажды отец, прикусив уже сильно пожеванную "белую сову". — Если ты гой, пусть у тебя плоскостопие, пусть брюхо висит, примут за милую душу, приезжай откуда хочешь, хоть с мыса Гаспе, и ведь брали — этаких брали жирных увальней, но уж и деньги брали: хочешь, чтобы зачислили, — плати. С самого начала... — помолчав, вновь заговорил он, но прежде чем продолжить, защемил одну ноздрю пальцем и выстрелил из другой как из гранатомета. — Н-да, гм... С самого начала проблем было хоть отбавляй. Судья, который принимал у меня присягу, пьянчуга пучеглазый, смотрел так, будто я привидение какое. Даже не выдержал, спросил: 'Вы разве не еврей?' А в школе полиции, где нас учили борьбы и всякой джиу-джитсы, тоже *гои* ко мне вязались почем зря. На все лады проверяли. Красноносые *шикеры* ирландцы и франкоканадские *хазерим*[1]. Болваны пустоголовые. В том смысле, что я хотя бы седьмой класс кончил и на второй год ни разу не оставался. Ни разу!"

На первом своем участке, в Нотр-Дам-де-Грас, мой чересчур рьяный папочка произвел слишком много задержаний, и его перевели поближе к центру города. Патрулируя улицу Сен-Катрин, он был бдителен и вскоре поймал карманника — прямо напротив театра "Капитоль", где в это время как раз выступала Хелен Кейн, единственная певица в мире, удостоившаяся чести стать персонажем мультсериала — ее изобразили в виде развязной завлекушечки Бетти Буп, "Девчонки Буп-па-Дуп-а-Дуп". Мой честный папа ожидал получить за свое усердие благодарность в приказе, однако, напротив, двое детективов втащили его в заднюю комнатку отделения и там принялись стращать. "Хочешь здесь дальше работать, — заявили ему, — не вздумай больше таскать сюда парней вроде этого. У них *лицензия*, если ты понимаешь, что это слово значит".

Другие мусора вздымались как на дрожжах, жируя на жуликах и их адвокатах, но папу моего купить было нельзя. "Тут понимаешь какое дело, Барни, — объяснял он мне. — Я не мог не быть честным. Ну то есть фамилия-то как-никак Панофски, и я не мог допустить, чтобы сказали: ага, конечно, жид продажный! Приходилось себя держать, чтобы нини, а то мне так и говорили: ты только поскользнись, мы тебе всё припомним; меня повесили бы к чертовой матери".

С годами мой несгибаемо честный папочка помрачнел, видя, как красноносые ирландские *шикеры* и франкоканадские *хазерим*, которых он же сам и принимал на службу, быстро обгоняют его чинами. Девять лет Иззи оставался сержантом-детективом. "Когда меня, наконец, повысили, произвели в инспекторы, знаешь что они сделали? Вспоминать тошно: пошли в профсоюз и там наплели, будто бы я не сдал экзамен по стрельбе. Я ведь гонял подчиненных в хвост и в гриву. Баловства не допускал. И они ненавидели меня зверски. Вот и пошли, наябедничали в профсоюз".

Неприятностей по службе у Иззи Панофски было хоть отбавляй.

"Между прочим, когда я сдавал экзамен на повышение, в комиссии был такой Жильбер, и вот он мне и говорит: слушай, почему евреи шустрее нас соображают? А я говорю, у меня есть два ответа. Нет, не в том дело. Никакого суперменства тут нет. Простой пример: если ты пса начнешь гонять пинками, ему придется быть настороже, придется шустрей тебя стать. Ну а нас пинают уже две тысячи лет. Мы даже не шустрее, просто мы

1. Пьяницы... свиньи (*идиш*).

всегда настороже. А второй мой ответ — это история про ирландца и еврея. Вы почему умнее нас? — спрашивает ирландец. Ну, мы такую рыбу едим особую, — отвечает еврей. — Да у меня, кстати, есть одна, — и он показывает ее ирландцу. Господь всемогущий, — говорит ирландец, — вот бы мне такую рыбу! Нет проблем, — говорит еврей, — давай десять баксов. Ну, тот дает. Взял рыбу, присмотрелся и говорит: Э! Тоже мне особая рыба, это ж селедка! На что еврей отвечает: Ну, что я говорил? И не съел еще, а уже стал умнее".

5

Вчера ночью мне приснилось, что Терри Макайвера в щиколотку укусил олений клещ, а тот только рукой махнул — подумал: да ну, комар, ерунда. Месяцем позже лежит это он в своей кровати на двадцатом этаже отеля "Времена года" в Торонто, а уже страшная болезнь Лайма с каждым толчком крови распространяется по жилам, начиняет спирохетами организм... Вдруг Макайвера будит сирена, и тут же истошным голосом верещит система оповещения: "В здании серьезный пожар. Лифты не работают. Спуск по лестницам временно невозможен из-за сильного задымления. Всем следует оставаться в комнатах и заткнуть щели в дверях мокрыми полотенцами. Удачи вам и спасибо, что избрали для проживания отель 'Времена года'". Удушливый дым начинает просачиваться в комнату Макайвера, но его разбил паралич, он руки поднять не может, не то что встать на ноги. Огонь пожирает дверь, языки пламени принимаются плясать вокруг кровати, лижут стопку сигнальных экземпляров "О времени и лихорадке" на полу, а разрешение-то запускать тираж не подписано! — значит и книги никакой нет, есть только считаные копии, пожива для коллекционера... Тут все во мне как запоет, меня аж с кровати снесло! Выскочил на лестницу, забрал утренние газеты, сварил кофе и пошуршал, легконогий, тапочками из кухни в гостиную, напевая: "Фет-тровая шляпа, ип-пальто из дряпа-а, я идуп-по улице — раздайся, расступись!.."

Та-ак. "Монреаль газетт". По многолетней привычке сперва открыл обзор спортивных новостей. Там ничего хорошего. "Монреаль канадиенз", сапожники (давно уже не nos glorieux), опять опозорились, проиграв 5 : 1 — сейчас гляну кому... — каким-то "Могучим уткам" из Калифорнии! Тоу Блейк, должно быть, вертится в гробу. В его времена лишь один из сонмища этих колченогих миллионеров мог бы играть в НХЛ, не говоря уж о том, чтобы отвечать требованиям когда-то легендарной сборной Канады. Не могут уже найти меж собой ни одного смелого парня, чтобы встал у сетки и как скала — вдарят так вдарят. А какие были деньки, когда Ларри Робинсон засаживал длинную передачу Ги Лефлёру, — мы усидеть не могли, вскакивали, кричали: "Ги! Ги! Ги!", — а он и сам влетал вслед за шайбой в сетку. *Если он врезал – он забил!*

Телефон залился звоном; естественно это Кейт.

— Я вчера вечером пять раз твой номер набирала! Последний раз, наверное, в час ночи. Где ты был?

— Дорогая, я весьма признателен тебе за заботу. Действительно признателен. Но я тебе не сын. Я тебе отец. Меня не было дома.

— Ты не представляешь, я так волнуюсь, как ты там один? Что, если, не приведи господи, у тебя случится удар и ты не сможешь подойти к телефону?

– Да как-то я пока не планирую...

– Я уже хотела звонить Соланж, просить ее идти в дверь стучать.

– Что ж делать-то? Прикажешь мне каждый вечер звонить тебе, сообщать? Вот, я пришел, я дома.

– И не бойся меня разбудить. Если я сплю, ты всегда можешь оставить сообщение на автоответчике.

– Кейт, ты чудо, но я еще даже не завтракал. Давай завтра поговорим.

– Нет, сегодня вечером. А ты, небось, хоть и пообещал, а все равно ешь яичницу с беконом?

– Исключительно чернослив. Мюсли.

– Да уж, конечно.

Что-то я опять несу бред. Все сбиваюсь с мысли. Но это истинная история моей *ин дрерд ферфален*, никчемно растраченной жизни, от которой, честно говоря, остались лишь неотомщенные обиды да незалеченные раны. Более того, в моем возрасте, когда неразобранных, неупорядоченных воспоминаний больше, чем надежд на какое-либо будущее помимо поджидающей в темных кустах больницы, я и должен нести бред. Да полно, сама по себе жалкая попытка написать эту, как ее, – ну, вы поняли: историю моей жизни – уже бред. Написать, как написал Ивлин Во о своей молодости. Или Жан-Жак Руссо. Или Марк Твен в книге "Жизнь на какой-то там реке". Господь всемогущий, да я же так скоро забуду, как меня зовут!

Макароны откидывают в дуршлаг. "Человека в костюме – или рубашке? – от "Брукс бразерс"" написала Мэри Маккарти. Голкипером команды "Кленовые листья" из Торонто, когда она выиграла Кубок Стэнли в 1951 году, был Уолтер Турок Брода. Либретто "Вестсайдской истории" написал Стивен Сондхайм. Вот. Взял да и вспомнил. И подсматривать нигде не пришлось. *На Миссисипи*, вот где! – жизнь то есть.

Итак. Сия жалкая попытка *самооправдания*, которое я кинулся строчить в ответ на клеветнические измышления Терри Макайвера, на самом деле пишется в слабой надежде на то, что у Мириам, когда она будет читать эти страницы, взыграет чувство стыда.

– Что за книжкой ты так увлеклась? – спросит Блэр.

– Ну, это же бестселлер! Да и критики хвалят. А вообще это мемуары единственного человека, которого я всегда любила и люблю, шмакодявка ты мелкая, шарлатан наукообразный!

Так о чем бишь я? А, о Париже.

Париж пятьдесят первого года. Терри Макайвер. Бука. Лео. Блаженной памяти Клара. Теперь, когда я открываю газету, перво-наперво смотрю индексы Доу–Джонса, потом некрологи – выискиваю фамилии врагов, которых пережил, и кумиров, которых уже нет в списке живых. Тысяча девятьсот девяносто пятый сразу пошел косить пьяниц. Питер Кук и "генерал рассерженной молодежи" Джон Осборн* – оба померли.

Но у нас пока что пятьдесят первый. Кимой и Мацуй (найдешь ли теперь эти крошечные пимпочки в волнах Южно-Китайского моря?) подвергаются обстрелам коммунистов [В действительности Кемой и Матсу находятся в Тайваньском проливе, и обстреливать их с материка китайцы-коммунисты начали лишь в 1958 году. После угрожающих заявлений госсекретаря США Джона Фостера Даллеса обстрелы перестали быть регулярными, их число уменьшилось до нескольких в месяц. Затем, в

марте 1959-го, обстрелы внезапно прекратились совсем. Никаких объяснений не последовало. — *Прим. Майкла Панофски*], и многие считают, что это лишь прелюдия к вторжению на территорию, которая все еще называется Формозой. В Америке атомная бомба еще наводит на всех леденящий страх. Сам жуткий старьевщик, я все никак не выкину брошюрку тех времен под названием "Как выжить после атомного взрыва" (издательство "Бантам", серия "Книжки-малышки"):

Написанная в форме вопросов и ответов ведущим экспертом в данной области, эта книга расскажет вам о том, как уберечь себя и свою семью от атомной бомбардировки. В этой книге вы не найдете нагнетания страхов. Наоборот, она поможет вам с ними справиться.

Обыватели вовсю рыли во дворах бомбоубежища, ящиками запасали воду в бутылках, сухие супы коробками, рис мешками, переносили туда свои собрания *переваренных за читателя* издательством "Ридерз дайджест" книг, не забывали и пластинки (в основном Пэта Буна) [Пэт (Чарльз Юджин) Бун (р. 1 июня 1934) выпустил свой первый знаменитый сингл лишь в 1955 году ("Два сердца, два поцелуя", Дот Лейбл). — *Прим. Майкла Панофски*], чтобы не так скучно было коротать недели карантина под зараженной землей. Сенатор Джо Маккарти и два его подпевалы, Кон и Шейн, рвали и метали. Под горячую руку сильно перепало Юлиусу и Этель Розенбергам, а уж Айка Эйзенхауэра к моменту выборов пятьдесят второго года любила чуть не вся страна. Еще не раздираемой склоками единой Канадой вместо премьер-министра в качестве и. о. отечески правил Луи Сен-Лоран. В Квебеке, моем любимом Квебеке, на посту премьера еще сидел головорез Морис Дюплесси, главарь шайки воров.

Утро для нашей компашки наступало поздно, а собирались мы, как правило, в кафе "Селект" или "Мабийон", где за столом главенствовал Бука, он же Бернард Москович. Читали "Интернэшнл геральд трибюн". Начинали с комиксов, затем переходили к спорту — интересовались, где и как выступали вчера вечером бейсболисты Дюк Снайдер и Уилли Мэйс. Кстати, Терри с нами не садился. Если и приходил в кафе, то усаживался один, писал комментарии к изданным в серии "Доступная библиотека" "Воображаемым беседам" Уолтера Сэвиджа Ландора*. Или кропал отповедь Жан-Полю Сартру по поводу его эссе, напечатанного в последнем номере "Тан модерн". Даже в те времена Терри, похоже, ничуть не беспокоило, что — как сказал Макнис [На самом деле это сказал Оден. См. "Избранные стихи". Фабер & Фабер, Лондон, 1979. — *Прим. Майкла Панофски*] — "не все кандидаты проходят". О нет. Терри Макайвер всегда держался так, что хоть портрет пиши: прекрасный юноша, которому самой судьбой уготовано стать художником слова. Легкомысленного безделья не выносил. Всем нам был этаким живым укором — мы-то только и делали, что дурака валяли.

Однажды вечером я шагал по бульвару Сен-Жермен-де-Пре, направляясь на пирушку, куда Терри приглашен не был, и вдруг увидел его. Он шел впереди, замедляя шаг — не иначе как в надежде, что я позову его присоединиться к компании. От греха подальше я остановился поглазеть на книги в витрине магазина "Юн" и ждал, пока он не скроется из виду. В другой раз поздно вечером мы с Букой, оба весьма нетрезвые, болтаясь по бульвару Монпарнас, заглядывали на террасы кафе в поисках каких-нибудь знакомых, которых можно было бы раскрутить на вы-

пивку или косячок; в кафе "Селект" мы наткнулись на Терри, который сидел и писал в блокноте.

— Ставлю десять к одному, — сказал я, — что у него записные книжки пронумерованы и каждая запись помечена датой — из уважения к будущим макайвероведам.

Терри, известный пугающей неподкупностью, на Буку смотрел конечно же косо. Ради вожделенных пяти сотен долларов Бука закомстрячил весьма пряный романчик для скабрезной серии "С книгой в дорогу" издательства Мориса Жиродье. Книгу назвал "Ванессин холмик" и посвятил ее безусловно верной жене профессора из Колумбийского университета, который завалил Буку на экзамене по курсу поэзии елизаветинских времен. Посвящение написал такое:

> Похотливой Ванессе Холт,
> лелея в памяти приапически страстные ночи,
> посвящаю.

Мало того: Бука предусмотрительно послал экземпляры "Ванессина холмика" и своему обидчику-профессору, и декану его факультета, а также издателям "Нью-Йорк таймс бук ревью" и редактору книжной странички "Нью-Йорк геральд трибюн". Но какого они все остались мнения о романе, узнать оказалось затруднительно, так как Бука выпустил его под псевдонимом — Барон Клаус фон Мангейм. Надменный Терри вернул подаренный ему экземпляр нечитанным. "Писательство, — произнес он, — это не ремесло, это призвание!"

Как бы то ни было, но успех "Ванессина холмика" был велик, и Бука получил заказ написать еще что-нибудь в том же духе. Мы в свою очередь, всей *хеврой* собираясь в "Кафе рояль Сен-Жермен" (оно давно исчезло, на его месте теперь "Le Drugstore"), всячески силились ему помочь и выдумывали разного рода сексуальные эскапады, происходящие то в спортзале, то под водой, то с использованием экзотических предметов, которые будто бы попадаются персонажам — где? — да хоть в кладовке с упряжью при конюшне! хоть в кабинете раввина. Терри, естественно, сторонился этих ночных семинаров; его наш глумливый гогот приводил в оторопь.

Вторая публикация Буки в серии "С книгой в дорогу" (автором на сей раз значился Маркиз Луи де Бонсежур) показала, насколько он опережает время — этакий литературный новатор, предвосхитивший караоке, интерактивное телевидение, компьютерное порно, сидиром, Интернет и прочие кошмары современности. Герой "Красной подвязки", ненасытный самец, наделенный чудовищными мужскими причиндалами, прозвания никакого не удостоился, но это вовсе не означает, что он был обречен оставаться вовсе анонимным. Напротив: во всех тех местах, где по смыслу следовало появиться его имени, в тексте зиял пробел, чтобы читатель мог вставить туда свое — например, там, где очередная сексуально воспламененная героем шикарная красотка, сгорая от страсти и испытывая множественный оргазм, благодарно вскрикивает: "О,_, ты потрясающий мужчина!"

Именно Клара, которая слова не могла сказать, не ввернув какую-нибудь скабрезность, снабжала Буку самыми затейливыми, хотя и диковатыми порноидеями; это было странно: в то время мне ее проблемы виделись несколько иначе. Тогда мы как раз начинали жить вместе, однако не вследствие какого-то осознанно принятого решения, а как бы

невзначай, незаметно для самих себя друг к другу прибившись; впрочем, в те дни такое бывало сплошь и рядом.

Получилось это просто. Однажды поздней ночью Клара, по ее словам страдающая от le cafard[1], заявила, что буквально не способна больше выносить вида ее комнаты в гостинице, потому что там завелся полтергейст.

— Вы разве не знаете, что во время войны эта гостиница служила борделем для солдат вермахта? — сделала она бровки домиком. — Это, должно быть, дух той девушки, что умерла там, трахнутая бог знает сколько раз во все мыслимые отверстия.

Затем, дождавшись, когда наши лица примут подобающе сочувственное выражение, она ухмыльнулась и говорит:

— Как я ей завидую!

— Ну так и где же ты будешь спать? — спросил я.

— Прикуси язык, — буркнул Бука.

— На скамейке вокзала Монпарнас. Или под Пон-Нёф*. Вот умора — буду единственной в городе *клошаркой*, которая с отличием окончила Вассар*.

В результате я привел ее к себе, и мы провели с ней безгрешную ночь, но спала она плохо, то и дело дергалась и просыпалась в моих объятиях. Утром сказала, что если я такой душка, то сходил бы, принес из "Гранд-отеля Эксцельсиор" на рю Кюжа ее холсты, рисунки, записные книжки и чемоданы. При этом она меня заверила, что терпеть ее мне придется лишь пару ночей, пока она не подыщет себе более приемлемую гостиницу.

— Я бы пошла с тобой, — сказала она, — но мадам Дефарж* — так она называла консьержку — ненавидит меня.

Идти со мной в ее гостиницу нехотя согласился Бука.

— Надеюсь, ты понимаешь, во что ввязываешься, — проворчал он.

— Это же только на пару ночей.

— Она сумасшедшая.

— А ты?

— За меня не волнуйся. Я справлюсь.

Наркотики — вот в чем была подоплека пикировки. Бука пересел с гашиша на героин.

— Мы должны всё попробовать, — говорил он. — Не жаться, не *квецать*[2], как еврейские целки. Успеем дома выйти замуж за дантистов. Арабских мальчиков из Марракеша надо попробовать. Черных девочек. Опиум. Абсент. Корень мандрагоры. Грибы с глюками. Набитых дур с панели. Халву. Все, что на столе и под столом. Здесь это рядом, только за угол зайди. Все — но только не Клару.

— Как тебя прикажешь понимать?

— Наша мисс Чамберс из своего Грамерси-парка и Ньюпорта выбыла и претерпевает метаморфоз. Не стало денег. Какие-то у нее проблемы с трастовым фондом. Ты что, и этого про нее не знал?

Среди Клариных вещей, кроме всего прочего, мне попался двухтомник "Тайного знания" Е. П. Блаватской, кальян, "Словарь сатаниста", чучело совы, несколько книг по астрологии, пособие по хиромантии, колода карт "таро" и тяжелая рама с портретом Алистера Кроули*,

1. Хандры (*франц.*).
2. Стонать, жаловаться (*идиш*).

"Великого Зверя 666", изображенного в шапке в виде птичьей головы, на манер древнеегипетского Гора. Однако консьержка не сразу разрешила нам что-либо выносить – упиралась, пока я не заплатил ей 4200 франков, которые задолжала жиличка.

– Деньги мне отвратительны, – сказала Клара. – Твои. Мои. Не важно. Не будем о них говорить.

Было бы неправильно, описывая Клару, употребить слово "рослая". Она была длинная. И такая тощая, что все ребра наперечет. Ее руки непрестанно мельтешили – то она шаль поправит, то одернет юбку, пригладит волосы, примется сцарапывать наклейку с бутылки вина. Пальцы в пятнах никотина и чернил, ногти сломаны или обгрызены до мяса. Уши, по форме похожие на ручки чайных чашек, торчали из распущенных волос ("Цвета дерьма, – говорила она. – У, как я их ненавижу!"), ниспадавших до весьма, надо отметить, тонкой талии. К этому добавим узенькие бровки и огромные черные глаза, в которых светился ум. И презрение. И панический страх. Цвет кожи болезненно бледный, да она еще эту бледность подчеркивала тем, что на щеках рисовала розовые луны, а губы красила оранжевой, зеленой и лиловой помадой – по настроению. Груди, как она считала, были для ее фигуры тяжеловаты. "С такими бурдюками, – хихикала она, – мне только тройни выкармливать". Жаловалась, что у нее слишком длинные костлявые ноги и слишком большие ступни. Но несмотря на все уничижительные высказывания о собственной внешности, ни в одном кафе ни одно зеркало она не могла миновать без того чтобы остановиться и полюбоваться на себя. Ах да, еще перстни. Забыл упомянуть о ее перстнях. С топазом. С голубым сапфиром. И – самый любимый – с египетским анком*. За много лет до того как это стало модным, Клара носила свободные, расшитые бисером длинные викторианские платья и высокие сапожки на пуговках, приобретенные на блошином рынке. Куталась в шали диких расцветок, чем вызывала у меня недоумение – все-таки художница как-никак! Бука окрестил ее Жар-птицей; говорил, например: "Sauve qui peut![1] Вон идет Барни с Жар-птицей". Признаться, мне это нравилось. Я не умел писать. Не рисовал. И даже тогда не был душой общества. Сидел вечно хмурый, на всех наводя тоску. И вдруг у меня тоже появилась своя изюминка. Значительность какая-то, загадка. Я стал хранителем Жар-птицы, санитаром при сумасшедшей Кларе.

У Клары была мания всех трогать, и с тех пор как мы начали жить вместе, это стало меня раздражать. Хохоча, она непременно припадала к груди соседа по столику, заодно хватая мужика за коленки. "Ах, не было бы здесь моего Брюзги, мы бы с тобой пошли куда-нибудь да прямо сейчас и трахнулись".

Проверка памяти. Давай, Барни, в темпе. Имена семерых гномов. Брюзга, Засоня, Плакса, Профессор. Как зовут трех других, я тоже знаю. Еще вчера вечером легко перечислял. Сейчас, сейчас всплывет. Из принципа не буду нигде справляться.

Особенно Клара любила дразнить Терри Макайвера, и этот ее выбор я одобрял всецело. Нравилось мне и когда она поддевала Седрика Ричардсона, который тогда еще не стал знаменитым Измаилом бен Юсефом, об-

1. Спасайся, кто может! (*франц.*)

личителем еврейских работорговцев прошлого и кровососов-домовладельцев настоящего, и при этом бичом всех и всяческих расистов.

Что не дает мне окончательно впасть в старческое слабоумие, так это мои старания держаться в курсе — что из кого получилось. Удивительно. Не устаешь поражаться. Притворщик Лео Бишински с его эпатажными холстами гребет миллионы. Клара, всегда презиравшая женщин, обрела посмертную славу мученицы-феминистки. Я, сначала только вскользь обмазанный грязью как шовинист, свинья и предатель, бросивший ее, оказался вдобавок подозреваемым в убийстве. Несказанно скучные романы Терри Макайвера, этого патологического лгуна, проходят теперь в университетах по всей Канаде. А Бука, когда-то мой любимый друг, вообще пребывает неизвестно где, сидит где-то там, разобиженный, и злится. Однажды поднял у меня со стола книжку "Кролик, беги" Апдайка и напугал, сказав: "Не могу поверить, чтобы ты читал подобное дерьмо".

Брюзга, Плакса, Вак... *Да нет же, идиот! Ваксой звали собачку в старинном комиксе.* А я хочу сказать Скромник!

Едем дальше. Намедни я вдруг обнаружил, что последние высказывания Измаила бен Юсефа цитирует журнал "Тайм", и, вместо того чтобы вознегодовать, вдруг, сам того не желая, захихикал, увидев фотографию Седрика в феске, с косичками-дредами и в кафтане всех цветов радуги сразу. Я ему однажды даже письмо написал.

Салям, Измаил!

Пишу тебе по поручению организации "Старейшины Сиона". Мы собираем деньги для учреждения стипендий севшим за грабеж черным братьям и сестрам — хотим увековечить немеркнущую память о троих жидовских кровопийцах: Гудмане, Швернере и Чейни [В действительности один из троих, а именно Джеймс Чейни, двадцати одного года, был чернокожим. — *Прим. Майкла Панофски*], которые в 1964 году отправились в штат Миссисипи, чтобы регистрировать избирателей-негров, за что и были убиты шайкой расистов. Верю, что мы можем рассчитывать на твой вклад.

Возможно, ты также сумеешь мне посодействовать в решении одной научной проблемы. В принципе я склонен согласиться с aperçu[1] Луи Фаррахана*, что древние египтяне были черными. Эту точку зрения могу подкрепить свидетельством еще и Флобера, процитировав записи, которые он вел во время путешествия в Египет. Предвосхищая заявление шейха Анты Диопа* о том, что колыбель цивилизации была черной, Флобер писал о сфинксе: "...его голова серая, уши очень большие и торчат, как у негра... [а] то, что нос отсутствует, еще больше намекает на его негроидность, уплощенность... губы толстые..."

Но, черт меня подери, если древние египтяне были черными, значит черным был и Моисей, князь при дворе фараона. Отсюда следует, что и рабы, которых Моисей освободил, тоже были черными, иначе он торчал бы среди них как гвоздь посередь забора, и известные своим упрямством жестоковыйные израелиты подняли бы шум: "Нет, вы послушайте, или мы что — так низко пали? Сорок лет мы должны теперь ходить кругами по пустыне, а вести нас будет какой-то *шварцик*?"

Хорошо, пусть Моисей и его племя были черными, но тогда красноречивый Фаррахан, на чем свет стоит понося мой народ, и вовсе меня в тупик заво-

1. Мнением (*франц.*).

дит: ведь получается, что он и сам — подозревает он об этом или нет — всего лишь очередной закомплексованный, сам себя ненавидящий еврей вроде Филипа Рота?

С нетерпением жду от тебя ответа, братан, не говоря уже о чеке, и приложи, пожалуйста, конверт с маркой и обратным адресом.

Аллах акбар!

С восхищением,
твой старый друг

БАРНИ ПАНОФСКИ.

Ответа я дожидаюсь до сих пор.

(Перечитывая это старое свое письмо, я испытал очередной из частых приступов духовной "голосовой почты": Мириам, совесть моя, ты вновь сбиваешь меня с толку!)

Если бы я мог отмотать время назад, я перенесся бы в те дни, когда мы с Мириам не могли друг от друга оторваться. Мы занимались любовью в лесу и в кухонном кресле (поскорей сбежав со скучного званого обеда), на полу в гостиничных номерах и в поездах, а однажды нас чуть не застукали за этим делом в уборной синагоги "Ша'ар Хашмонайим"* во время приема, который Ирв Нусбаум устроил ради какого-то очередного сбора пожертвований.

— Смотри, а то могут отлучить и изгнать, — сказала тогда Мириам. — Как когда-то Спинозу.

Однажды вечером — никогда этого не забуду — сие священнодействие происходило на ковре у меня в офисе. Мириам пришла неожиданно, прямо от гинеколога, признавшего ее годной, — дело было через шесть недель после того как она родила Савла. Она заперла дверь, сбросила блузку и шагнула ко мне из упавшей к ногам юбки.

— Говорят, именно сюда ты вызываешь на пробы актрисок?

— О боже! — воскликнул я, изображая испуг. — Что, если сейчас придет моя жена?

— А я и есть твоя жена! — проговорила она, расстегивая на мне брючный ремень. — И не только жена, но и мать твоих детей. А еще я твоя блядь!

Каким блаженством наполнялась жизнь, когда дети в пижамах будили нас, устраивая в спальне тарарам и прыгая к нам на кровать.

— А мамочка голая!

— А папочка тоже!

Как же я мог не расслышать предвестия беды, пусть слабые и редкие, на ранней стадии? Однажды, когда Мириам возвратилась после того, что (как я надеялся) было дружеским обедом с ее бывшим продюсером Кипом Хорганом — мерзавец, он всюду совал свой нос! — она показалась мне какой-то рассеянной. Принялась поправлять на стенах рамки фотографий, взбивать диванные подушки, а это у нее всегда дурной знак.

— Кип во мне разочарован, — в конце концов проговорила она. — Он думал, я не смогу стать простой домохозяйкой.

— А кто сказал, что ты простая домохозяйка?

— Ну а кто же еще?

— Вот черт побери!

— Ну ты только не заводись.

— А давай съездим на выходные в Нью-Йорк!

— У Савла температура держится...

— Тридцать семь и две?

— ...кроме того, ты обещал в субботу вечером сводить Майка на хоккей. — И вдруг, как гром среди ясного неба: — Если собираешься меня бросить, так лучше сделай это сейчас, пока я еще не состарилась!

— Десять минут на сборы мне дадут?

Впоследствии мы установили, что зачатие дочери Кейт произошло, скорее всего, в ту ночь. Черт! Черт! Черт! Мириам ушла, и виной тому мое свинство. Mea culpa[1]. Но все равно это, по-моему, просто нечестно, что мне до сих пор приходится защищаться от морального давления с ее стороны. Из-за того, что мне постоянно нужно ее одобрение, я чувствую себя каким-то жалким. Недавно дважды останавливался посреди улицы, чтобы с ней поспорить, и, как спятивший старый пень, разговаривал сам с собой. Да вот и сейчас — держу в руке письмо Седрику и слышу, как ее голос говорит: "Подчас то, что тебе кажется забавным, на самом деле расчетливая гадость, придуманная, чтобы уязвить".

Да неужели? Между прочим, не исключено, что я-то как раз больше других имею право чувствовать себя уязвленным. Как может Седрик, которого в нашу компанию когда-то приняли как родного, бегать теперь от колледжа к колледжу и прямо с кафедры лить грязь на меня и мне подобных, унижать нас за нашу религию и цвет кожи? Почему такой талантливый молодой человек бросил литературу ради вульгарного политического балагана? Да будь у меня его талант, я только и делал бы, что сидел день и ночь и строчил.

Взять бы и сбросить с себя всех этих Фарраханов, Джесси Джексонов, Седриков и иже с ними! Да, Мириам. Я понимаю, Мириам. Извини, Мириам. Если бы на мою долю выпало столько, сколько пришлось претерпеть в Америке им подобным, я бы тоже, наверное, готов был поверить в то, что Адам и Ева были черными и только Каин стал от ужаса белым, когда Бог объявил ему приговор за убийство Авеля. И все равно, неправильно все это.

Во всяком случае, в те дни, когда мы жили на левом берегу Сены, Седрика редко можно было встретить иначе как с очередной белой девчонкой в обнимку. Клара, изображая ревность, обычно приветствовала его так:

— Ой, а когда же ты и мне прокомпостируешь билетик?

К Терри у нее подход был несколько другой.

— Ради тебя, лапулечка, я бы хоть мальчиком переоделась!

— Да зачем же, Клара. Такая, как есть, ты мне гораздо больше нравишься. В твоем обычном клоунском наряде.

Или, начитавшись Вирджинии Вулф, Клара вдруг притворялась, будто видит пятно на его брюках и теперь про него все знает.

— Терри, Терри! Ты же так можешь ослепнуть. Или об этом в Канаде еще не слыхали?

Клара не только писала тревожные абстрактные картины, но и делала страшноватые рисунки пером, полные угрожающих чудовищ, гарцующих чертиков и льстивых сатиров, со всех сторон нападающих на пышнотелых красавиц. Не чуралась и поэзии; правда, мне ее стихи казались совершен-

1. Моя вина (*лат.*).

но невразумительными, однако их печатали и в "Мерлине", и в "Зеро", и она удостоилась даже какого-то поощрительного высказывания Джеймса Лафлина из "Нью дайрекшнз пресс". При этом подворовывала в магазинах, пряча краденое под пышные шали. Таскала жестянки сардин, бутылки шампуня, книги, штопоры, открытки, мотки пряжи. Больше всего любила пощипать "Фушон", пока ее не перестали туда пускать. Естественно, в конце концов в "Моноприксе" ее поймали (в тот раз она стащила пару нейлоновых чулок), но она будто бы отбоярилась, разрешив жирному, мерзкому *мусорюге* отвезти ее в Булонский лес и кончить ей между грудей. "А что? Мой дорогой дядюшка Горейс делал то же самое, причем мне тогда было всего двенадцать лет. Только он не обзывал меня разными словами и не выкидывал потом из машины на ходу, глядя с хохотом, как я лечу кувырком, а, наоборот, дарил каждый раз по двадцать долларов, чтобы я молчала".

В нашем номере отеля "Сите" на острове Сите царила постоянная тьма: окошко было маленькое и выходило во двор-колодец, узкий, как шахта лифта. В комнате имелась крошечная раковина, но туалет был общий, в конце длинного коридора. Унитаз отсутствовал, вместо него лишь дырка в полу и около нее приступочки для ног. На стене зажим с квадратиками газетной бумаги, нарезанными из политически актуальных "Юманите" и "Либерасьон". Я купил примус и кастрюльку, чтобы мы могли на завтрак варить себе крутые яйца и есть их с булкой. Но крошки привлекли мышей, и однажды ночью Клара проснулась с криком, когда мышь пробежала у нее прямо по лицу. В другой раз в поисках шали она открыла ящик комода и наткнулась на гнездо с тремя новорожденными мышатами. Визгу было! После этого есть в комнате мы прекратили.

Подолгу валялись в постели — нет, любовью не занимались, просто грелись, дремали, читали (я читал ей "Слова" Жака Превера, она посмеивалась), сравнивали эпизоды трудного детства и друг за друга радовались, удивляясь, как можно такое выдержать. В уединении нашего убежища, вдали от столиков кафе (там она чувствовала себя обязанной шокировать или, упреждая нападки, самой раздирать чужие болячки) она оказалась прекрасной рассказчицей, стала для меня чем-то вроде собственной Шахерезады. Я, в свою очередь, развлекал ее историями о приключениях сыщика, инспектора полиции Иззи Панофски.

Свою мать Клара ненавидела. В прошлой жизни, говорила она, миссис Чамберс, видимо, была айей — раболепствующей перед господином служанкой-индианкой. Или, на другом витке реинкарнаций, китаянкой с ножками, искалеченными в детстве, — семенящими шажочками ходила по Запретному городу времен династии Мин. Она была идеальной женой. "Très mignonne[1]. И уж точно не мегера", — рассказывала Клара. То, что муж не пропускал ни одной юбки, она принимала как благо, поскольку это избавляло ее от необходимости терпеть его под одеялом. "Поразительно, на что только не пустится мужчина, — сказала она как-то раз Кларе, — ради тридцати секунд трения". Наделив мистера Чамберса сыном, Клариным младшим братом, она посчитала, что ее долг выполнен, и с облегчением перебралась в отдельную спальню. Однако продолжала ретиво исполнять роль кастелянши, лихо управляясь с богатым домом в Грамерси-парке и виллой в Ньюпорте. Миссис Чамберс состояла в попечительском совете театра "Метрополитен-опера". На одном из ее soirées[2] пел Джузеппе ди

1. Очень маленькая (*франц.*).
2. Званых вечеров (*франц.*).

Стефано. К ней приходила обедать Элизабет Шварцкопф. Когда приехавшую из Норвегии Кирстен Флагстад*, муж которой был посажен в тюрьму за связь с фашистами, стали допекать сердитые евреи, миссис Чамберс демонстративно ходила с ней обедать в "Павийон". "С моей мамочкой случился бы удар, узнай она, что я живу с евреем, – говорила Клара, щекоча мне нос страусовым боа. – Она думает, ваша кровь портит американскую нацию. Ну что ты на это скажешь?"

Рассказала она и об отце – тот был одним из старших партнеров в старинной адвокатской фирме, совладельцем которой когда-то числился сам Джон Фостер Даллес. Отец держал арабских скаковых лошадей и каждый год летал в Шотландию, чтобы поудить лосося в устье реки Спей. Хотя в другой раз она сказала, что он уолл-стритский брокер и выращивает редкие орхидеи. Улучив момент, когда мы были наедине, я поинтересовался, что же все-таки правда, но она лишь вспылила: "Ой, ну ты и зануда! Какая тебе разница?" – и тут же убежала, свернув за угол рю де Сен. Ночевать она в тот раз не пришла.

– Спрашиваю просто так, из чистого любопытства, – обратился я к ней следующим вечером, когда она появилась в "Перголя", – где ты провела ночь?

– Ты что, купил меня? Моя пиписька принадлежит мне.

– Это не ответ.

– Да я тут вдруг узнала, что приехала моя тетка Гонория и остановилась в "Крийоне". Она и приютила меня. А ужинали мы в "Лаперузе".

– Не верю.

– Вот! – сказала она и, покопавшись в юбках, вытащила ком тысячефранковых бумажек, которым швырнула в меня. – Бери, сколько я задолжала тебе за комнату и еду. Уверена: у тебя все аккуратно записано.

– Ничего, если я возьму с процентами?

– Вечером мы с теткой в Венецию едем, на поезде. Остановимся там у Пегги Гуггенхайм.

Неделю спустя во втором часу ночи Клара вошла в нашу комнату, разделась и забралась ко мне в постель.

– А мы там в "Гаррис-баре" пили с Теннесси Уильямсом. Одних "беллини"* сколько выпили! А однажды Пегги нас возила на пикник в Торчелло*. Еще я специально для тебя посетила Кампо дель Гетто Нуово. Если бы ты там жил в те времена, тебе бы после десяти вечера не разрешалось выйти на улицу. Собиралась послать тебе открытку из Риальто, – зевнув, проговорила она, – хотела написать, что у меня ничего нового, но забыла.

Утром мне бросились в глаза кровавые царапины у нее на спине. Очень красноречивые.

– Пегги держит русских борзых, – объяснила Клара. – Они немного перевозбудились, когда я возилась с ними на ковре.

– В голом виде, что ли?

– Мы должны все попробовать. Разве не так говорит твой наставник?

– Бука мне не наставник.

– Ты посмотри на себя. Внутренне весь кипишь. Тебе хочется пнуть меня под зад коленкой, но ты не можешь. Потому что тебе нравится хвастать мной, твоей сумасшедшей богатой *шиксой*[1].

1. Нееврейкой (*идиш*).

– Добро бы ты еще хоть мылась иногда...

– Конечно, ты не художник, как все мы здесь. Ты извращенец, вуайерист. Когда вернешься домой, чтобы делать деньги – да куда ты денешься с твоим характером! – и женишься на приличной, понимающей в торговле еврейской девушке, вот уж будет что вспомнить! За обедом сможешь потчевать друзей из "Общего еврейского дела" рассказами о том, как жил с мерзкой гадиной Кларой Чамберс.

– Которая еще не была тогда знаменитой.

– Пусть я тебе сейчас не нравлюсь, зато потом, в воспоминаниях, все будет как надо. Потому что знаешь, чем ты сейчас занимаешься? Набиваешь карманы памяти! Терри Макайвер здорово тебя раскусил.

– Да ну? И что же этот ползучий гад про меня имеет сказать?

– Говорит: если хотите знать, что думал Бука вчера, спросите Барни сегодня. Называет тебя "шарманщиком Барни", потому что ты крутишь чужую музыку за неимением своей.

Уязвленный, я отвесил ей оплеуху, да так, что она стукнулась головой об стену. Она набросилась на меня с кулаками, но я повалил ее на кровать.

– Признавайся, крутила шашни с парнем по фамилии Карнофски?

– О чем ты говоришь? Первый раз слышу.

– Мне сказали, что некто Карнофски всюду ходит, показывает всем твою фотографию и наводит справки.

– Никакого Карнофски я знать не знаю. Богом клянусь, Барни!

– Или ты опять в магазине на воровстве попалась?

– Нет.

– Может, ты липовый чек выписала? Или еще что вытворила, о чем я должен знать?

– Ой, погоди-ка. Поняла, – вдруг вскинулась она, и в ее глазах забегали хитрые искорки. – В Нью-Йорке у меня был учитель рисования по фамилии Чернофски. Настоящий псих. Когда я поселилась в Гринич-виллидже (там у меня мансарда была), он меня выследил и все приходил на окно глядеть. Звонил по телефону, бесстыже приставал. Однажды на Юнион-сквер подстерег и все свое хозяйство показал.

– Ты же сказала, что первый раз слышишь фамилию Карнофски.

– Да я забыла... И потом тот-то был Чернофски. Наверное, это он, извращенец. Нельзя допустить, чтобы он нашел меня, Барни.

Неделю после этого она прожила со мной не сбегая, но все время была какая-то напряженная, как сама не своя, ходила крадучись, заслоняла лицо шалью и избегала наших обычных явок. Я знал, что про Карнофски или Чернофски она все врет, но в то, что происходит на самом деле, совершенно не врубался. Пойми я вовремя, глядишь, мог бы спасти ее. Опять mea culpa. Черт! Черт! Черт!

6

– Савл, это я.

– Кто бы еще стал мне звонить в этакую рань.

– Да бога ради, уже ведь пол-одиннадцатого!

– А я до четырех читал, не ложился. И – чувствую – заболеваю гриппом. А вчера весь день поносом страдал.

Однажды (ему тогда было всего восемнадцать) неистовый Савл распахнул входную дверь нашего дома, бросил портфель с книжками и, в свойственной ему отвратительной манере повторяя: "Черт! Черт! Черт!", влетел в гостиную, где сидели мы с Мириам.

– Какой ужасный был сегодня день! – заболботал он с порога. – В хлам поругался с этим кретином преподом по философии – раз. Как последний дурак пошел позавтракал "У Бена", и теперь в животе шурум-бурум – два. А может, я и вовсе отравился? Чуть не дал в глаз идиоту библиотекарю и куда-то потерял конспект по староанглийскому, хотя что толку за нашим пустобрехом записывать! Автобуса СОРОК МИНУТ потом ждал. И с Линдой поссорился. Башка болит – жуть! Надеюсь, хоть сегодня-то у нас не макароны на обед?

И только тут он заметил, что вытянутая и положенная на подушечку нога Мириам в гипсе.

– Ой! – выдохнул он. – Что случилось?

– Твоя мать утром сломала ногу в голеностопе, но ты не должен по этому поводу переживать.

Но это все было в прошлом, а нынче я сказал:

– Помнишь, когда-то я водил детей – и тебя в том числе – смотреть "Белоснежку и семь гномов"? Их звали Профессор, Засоня, Плакса, Брюзга и –

– Брюзга? Ты хочешь сказать Ворчун!

– Конечно, я так и сказал. Но там было еще трое.

– Весельчак...

– Это я знаю. Ну и...

– С ходу не могу припомнить двоих оставшихся.

– Подумай.

– Да ну тебя, папа. Я еще и зубы не чистил.

– Надеюсь, я не разбудил Салли?

– В смысле – Дороти. Салли давно отстегнулась. Нет, Дороти уже ушла на работу. Черт! Черт! Черт!

– Что там у тебя стряслось?

– Она не оставила мне на кровати "Таймс" и – вот! вижу! точно! – забыла захватить белье в прачечную. Слушай, если ты не возражаешь, я бы еще поспал, а?

Он умница, мой Савл, куда интеллигентнее меня, но больно уж гневлив. Хмур, раздражителен. Чуть что – так и взовьется. Ругается, кричит, и мне это представляется весьма непривлекательным качеством. Зато он наделен чем-то вроде отблеска красоты Мириам. Ее изящества. Ее самобытности. Я обожаю его. Перед тем как с отличием окончить университет Макгилла, он снизошел до участия в конкурсе на Родсовскую стипендию, победил и отказался от нее, обосновав отказ в своем всегдашнем неповторимом стиле. "Сесил Родс, – сообщил он комиссии, – был жестоким империалистом, поэтому его стипендионный фонд было бы честнее использовать для выплаты компенсаций неграм, которых он эксплуатировал. Я не желаю иметь ничего общего с его кровавыми деньгами". Избегнув учебы в Оксфорде, Савл остался в аспирантуре Гарварда. Но, естественно, мой мальчик не принял и ученой степени, которую заклеймил как буржуазное бахвальство.

У моих сыновей что-то где-то закоротило. Крест-накрест перемкнулись провода. Майк, убежденный социалист, неприлично богат и женат на гранд-даме. А Савл, хотя и сделался неоконсерватором, гол как сокол и

влачит нищенское существование в Нью-Йорке, снимая в Гринич-виллидже какой-то чердак; влюбленные в него девицы, сменяя одна другую, готовят, шьют и стирают его трусы. На жизнь Савл кое-как зарабатывает тем, что пишет полемические статьи в издания правой ориентации: "Американ спектейтор", "Вашингтон таймс", "Комментари" и "Нэшнл ревью". Издательство "Фри-пресс" напечатало сборник его эссе отдельной книгой, и я никогда не пройду мимо какого-нибудь дальнего, где я нечасто бываю, книжного магазина без того, чтобы, взяв с полки три дорогих издания по искусству и хлопнув ими о прилавок, не спросить: "А у вас случайно нет блестящей книги Савла Панофски 'Промежуточный отчет'?" Если отвечают нет, я говорю: "Что ж, в таком случае эти мне тоже не нужны".

Савл — романтик. Его статьи в защиту правого курса, бесспорно хорошо написанные, агрессивны, полны нетерпимости к голубым и абсолютно лишены сочувствия к бедным, но забавляют меня безмерно, потому что в восьмидесятом году, когда ему было семнадцать, Савл был радикальным марксистом. Страстный приверженец независимости Квебека, он считал ее лишь ступенью, краткой стадией перехода к первому в Северной Америке государству рабочих и крестьян, которое такие, как он, провозгласят, едва только возьмут штурмом Зимний дворец в Квебек-сити. Если, конечно, для этого не понадобится встать раньше десяти утра. На митингах, собиравших жалкую кучку зевак, он произносил речи, в которых клеймил Израиль как расистское государство и требовал справедливости для палестинцев. "Если Ханаан это земля, обетованная Богом потомкам Авраамовым, то в их число как-никак входит и Измаилово семя!"

В те дни Савл жил уже не дома, то есть не в том доме, который я приобрел в Вестмаунте после рождения Майкла, а в коммуне, главным образом состоявшей из молодых отпрысков еврейского среднего класса и угнездившейся в доме без горячей воды на улице Сен-Урбэн, в том самом квартале, где вырос я сам. Время от времени я в те места и сейчас наведываюсь — в тщетных поисках знакомых лиц и старинных городских пейзажей. Но мальчишки, с которыми я рос, тоже давно переехали: кто более-менее преуспел — в Вестмаунт или Хэмпстед, а кто так и продолжает барахтаться — в неописуемые пригороды Кот Сен-Люк, Сноудон или Виль Сен-Лоран. А здешние улицы теперь кишат итальянскими, греческими и португальскими ребятишками, теперь их родители так же трудятся не покладая рук, как когда-то наши, и так и сяк перекручиваются с непомерными счетами за жилье. Время идет. Мастерскую, куда я отдавал отцовские шляпы в растяжку, сменил салон парикмахера, или, как теперь говорят, "стилиста". Кинотеатр "Регент", где я однажды за тридцать пять центов два сеанса подряд — целых три часа! — без помех обжимался с известной на всю округу Голди Хиршорн, заколочен досками. Библиотеки, где я брал книжки за три цента в день ("Навеки в янтаре" Кетлин Винзор, "Прощай, красотка" Реймонда Чандлера, "Выход в дамки" Генри Белламана, "Лезвие бритвы" Сомерсета Моэма), тоже больше не существует. "Мясной торжок высочайшей кошерности мистера Каца" уступил место пункту видеопроката: ФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ — НАША СПЕЦИАЛЬНОСТЬ. Квартал моего детства обогатился также книжным магазином "Нью эйдж", вегетарианским рестораном, аптекой нетрадиционной медицины и чем-то вроде буддистского храма. Все это, видимо, ради Савла, его единомышленников и им подобных.

Компашка у Савла была, конечно, еще та. На стенах плакаты с физиономиями примелькавшихся уголовников: Ленин. Фидель. Че. Роза

Люксембург. Луис Риэль. Доктор Норман Бетьюн*. На одной стене из баллончика с краской напшикано: ПЬЕРА ТРЮДО* – НА ХЕР! На другой: VIVE LE QUÉBEC LIBRE![1] В квартире воняло – грязными носками, застоявшимся пердёжем и анашой. Повсюду валялись объедки пиццы. Я заходил иногда. Однажды Савл нехотя вылез ко мне из спальни: длинные каштановые волосы по плечам, индейская повязка на голове как съехавший нимб, в руке книга про китайскую революцию. С места в карьер начал меня просвещать (а как же: покрасоваться-то надо перед товарищами), живописуя трудности "Долгого марша"*.

– Тот "Долгий марш", глупышка, – сказал я, закуривая "монтекристо", – ерунда, прогулка. Воскресный пикник. Я расскажу тебе про долгий марш. Сорок лет по пустыне, без блинчиков во фритюре, без уток по-пекински плелись и плелись наши предки – твои и мои...

– Тебе всё шуточки. А эти козлы каждый наш митинг на пленку снимают!

– Савл, мальчик мой, *аби гезунт*[2].

Долговязая чернокожая девица в бюстгальтере и трусах, свернувшаяся на брошенном посреди пола матрасике, вдруг завозилась.

– Что это значит? – спросила она.

– Это присловье наших предков. Тех самых – владельцев трущоб Ханаанских. Значит: "ну, коли это тебе в кайф"...

– Ах, да пошел бы ты! – вдруг озлилась она, встала и пошкандыбала из комнаты вон.

– Какая очаровательная юная леди. Почему бы тебе не пригласить ее как-нибудь домой на ужин?

Еще одна девица – коренастая, заспанная и совершенно голая – вывалилась из соседней комнаты и потащилась на кухню, специально для меня вильнув парой раз задом.

– А могу я спросить: которое из этих сладчайших созданий является твоей девушкой?

– Собственность у нас здесь не в ходу.

Еще один юный революционер с сальными волосами, собранными в хвостик, выплыл из кухни, прихлебывая кофе, налитый в банку из-под варенья.

– Это еще что за старый хрен? – спросил он.

– Не говори так с моим отцом, – слегка напрягся Савл. Потом отвел меня в сторону и на ухо шепчет: – Я не хочу, чтобы вы с мамой волновались, но за мной могут прийти.

– Из санинспекции?

– Из федеральной полиции Канады. Им моя деятельность небезызвестна.

Кое-какой резон в этом был. Годом раньше Савл, подав документы в Веллингтоновский колледж, чтобы наверстать там пропущенный семестр, обнаружил, что сей учебный центр имеет финансовые вложения в канадских филиалах американских заводов, один из которых выпускает свечи зажигания, применяющиеся в израильских танках. Оскорбленные таким надругательством, Савловы приятели все как один восстали и забаррикадировались в профессорско-преподавательском буфете. Нескольких преподов сразу оттуда выгнали – обремизили, что называет-

1. ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДНЫЙ КВЕБЕК! (*франц.*)
2. Лишь бы ты был здоров (*идиш*).

ся: те-то считали себя активистами движения "Новых левых", а тут еще более новые левые вдруг взяли да и отрезали их от выпивки в кредит. Выброшенный в буфетное окно "Манифест Пятнадцати от 18 ноября" зачитал по ТВ в своем утреннем ток-шоу Пеппер Логан, сделав это в перерыве между сводкой погоды и репортажем с вертолета о транспортных заторах. В манифесте выдвигались следующие требования:

> Чтобы колледж отказался от инвестиций в компании, состоящие на службе фашистских и расистских государств.
>
> Чтобы признание эксплуатации квебекцев, этих в прошлом Белых Ниггеров Северной Америки, было подтверждено на деле, для чего следует пятьдесят процентов предметов отныне преподавать по-французски.
>
> Чтобы предмет "история" (если нельзя от изучения никому не нужного замшелого прошлого отказаться вовсе) впредь назывался ейсторией, потому что содержащееся в английском слове "history" местоимение мужского рода "his" своим сексистским звучанием потакает фаллократическому шовинизму и ущемляет права женжчин.

Вокруг здания колледжа выросли полицейские заграждения; впрочем, осадных орудий все же не подвезли. Обороняющиеся вывесили из окон простыни с намалеванными на них лозунгами: СМЕРТЬ КОЗЛАМ. VIVE LE QUÉBEC LIBRE. СВОБОДУ БОРЦАМ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ ИЗ ФОК*. На третий день осажденным вырубили электричество, в результате чего Пятнадцать Манифестантов лишились возможности смотреть самих себя по телевизору. Что ж, стали ломать мебель и жечь в разных местах костры, но от дыма у Джуди Фришман разыгралась астма. Потом, когда дрова подошли к концу, Марти Хольцман простудился. Он заметил, что с другой стороны заграждений стоит его мать, держит в руках кашемировый свитер и пальто с подстежкой из овчины, но на таком расстоянии эти теплые вещи лишь дразнили, усиливая чихательные позывы. Шоколадная диета кое-кому даже нравилась, но у Марты Риан из-за нее кожа покрылась сыпью, и она ни за что не желала больше работать на камеры, позируя у окна с голой грудью, — бабскую суетность она поставила выше общего дела. Неудивительно, что вечером на собрании партячейки постановили считать ее буржуазной пиздюлиной.

Теснота, тьма и холод на грани замерзания вызвали неизбежный раскол в рядах. У Греты Пинкус кончились таблетки от аллергии, и она стала проситься в отпуск по болезни. Открылось, что Дональд Поттер-младший тайком, в уборной, закапывает в глаза жидкость для контактных линз, не делясь с двоими товарищами, у которых она кончилась. Поттеру поставили на вид. Он в свою очередь обвинил соратников в том, что они ополчились на него не просто так, а из ксенофобии, потому что он голубой. Молли Цукер обратилась с прошением, чтобы ее в четверг отпустили на прием к психоаналитику, но проголосовали против. В туалеты, в которых много дней не спускали воду, стало не войти. В итоге на девятый день осады разочарованные Пятнадцать Манифестантов решили выйти в момент, когда по Си-би-си ТВ начнутся новости на всю страну. Они шагали, выстроившись в колонну, головы держали

высоко поднятыми, салютовали, вскинув вверх сжатый кулак, и не опускали рук даже когда их уже грузили в поджидавший тюремный фургон. Я стоял, смотрел, Мириам в страшном расстройстве рядом, причем она так вонзила мне ногти в ладонь, что я чуть не отдернул руку.

Может показаться, что характер у Мириам очень спокойный, но под этим внешним спокойствием скрывается воительница, готовая к резким и решительным шагам. С ней надо соблюдать правила вроде тех, которые знают рыболовы и охотники, посещающие наши леса: между медведицей и медвежатами лучше не становиться; что до меня, то лично я лучше попал бы в лапы к гризли, чем рискнул встать в позицию, угрожающую детям Мириам.

— Когда Савла привезут в участок, они его там что — бить будут? — суровым тоном осведомилась она.

— Вряд ли они станут связываться с такой *хеврой*. Кое у кого из родителей этих обормотов слишком хорошие связи. Кроме того, там уже адвокаты ждут с полными портфелями денег для залога, и среди них Джон Хьюз-Макнафтон. Завтра утром Савл будет дома.

— Давай сейчас поедем за фургоном к участку и там предупредим мерзавцев, что, если они Савла хотя бы пальцем тронут...

— Мириам, эти дела так не делаются.

Она ударилась в слезы, но я все равно настоял на том, чтобы ехать домой.

— Думаешь, я не беспокоюсь? — увещевал ее я. — Еще как беспокоюсь. Но ты такая наивная! Ты понятия не имеешь, какая тут механика. Пытаясь мусоров застращать, ты ничего не добьешься. Точно так же, как и подписывая петиции. Или рассылая по редакциям письма. Что следует делать, так это с нужными людьми по-доброму поговорить, где-то, может быть, слегка подмазать. Этим мы с Хьюз-Макнафтоном с завтрашнего дня и займемся.

— Но мы по крайней мере можем сидеть в участке и ждать до тех пор, пока его не выпустят утром под залог.

— Мириам, нет!

— Ну так я одна туда поеду.

— Ни черта ты не поедешь.

Она стала биться, вырываться и в конце концов пала мне на грудь, вся сотрясаясь от рыданий, которые не прекращались, пока я не уложил ее в постель. В пять утра я обнаружил жену в гостиной — она расхаживала взад-вперед, а меня встретила таким взглядом, что просто мороз по коже.

— Удачи тебе, Барни Панофски, но не дай бог, если ты не прав в том, как надо управляться с такими делами.

— Не беспокойся, — сказал я, хотя, по правде говоря, моя уверенность была несколько наигранной.

Савла отпустили под залог попозже утром. Явный зачинщик, он обвинялся, кроме всего прочего, в нарушении общественного порядка и умышленном нанесении ущерба частной собственности. Какие обвинения выдвинет колледж, никто в точности сказать пока не мог, но я сразу же обратил внимание Мириам на то, что Кальвин Поттер-старший сидит в правлении колледжа, а отец Марти Хольцмана и вовсе министр в правительстве Трюдо.

Позавтракав, я составил список полезных людей, а затем вызвал к себе в кабинет Савла, по пятам за которым, конечно же, притащились и Мириам с Кейт — чтобы не дать бедного мальчика в обиду.

— Можешь не волноваться, товарищ, — сказал я. — Мэтр Хьюз-Макнафтон переговорит кое с кем здесь, а я еще кое с кем встречусь в Оттаве.

— Ну да, конечно. Нормальный ход. Это общество прогнило до основания.

— К счастью для тебя, потому что вообще-то, как считает Джон, тебе светят два года тюряги, а я в ней сидел и могу заверить: тебе там точно не понравится. Так что, пока все не кончится — ни слова ни репортерам, ни каким-нибудь другим ищейкам империализма. Никаких манифестов. Никаких pensées[1] Председателя Савла. Ты понял?

— Только не надо его запугивать, пожалуйста, — сказала Мириам.

— Вот тебя бы, мама, я послушал, потому что ты не находишь необходимым кричать, когда у тебя нет аргументов для защиты слабой позиции, и ты не вкладываешь деньги в вооружение израильской армии, помогая ей оккупировать родину палестинцев.

— Савл, тюрьма это не то, что ты думаешь. Если ты угодишь туда хотя бы на шесть месяцев, тебя каждый вечер будут насиловать, причем целой кодлой.

— Я не намерен выслушивать, как ты необоснованно и предубежденно оскорбляешь гомосексуалов.

— Черт! Черт! Черт!

— И я не сделаю ничего, что может скомпрометировать моих товарищей.

— Спартак тоже выискался!

— Мальчик мой, послушай папу. Тебя же никто и не просит кого-либо компрометировать.

Разбирать дело, как мне удалось выяснить, должен был судья Бартоломей Савар, слывший бабником и бонвиваном. Когда-то Джон меня даже познакомил с ним. "Я большой поклонник вашего народа, — сказал тот. — Мои соплеменники могли бы многому у ваших научиться, особенно по части смычки и взаимовыручки в трудный час".

Я бросился домой, спеша порадовать Мириам.

— Ура, любовь моя, нам повезло. Судья оказался братом моего спасителя, доброго епископа Сильвена Гастона Савара.

Но откликнулась она не так, как я ожидал.

— Может, ты все-таки скажешь, — холодно заговорила она, — почему ты никому не открываешь правды. Зачем ты способствовал появлению перевода на английский той идиотской книжки про его жуткую тетку? Не думай, что меня об этом не спрашивают.

Надо сказать, что я не только оплатил издание английского перевода небольшого опуса, восхваляющего Сестру Октавию. Момент был такой, что я не мог не пожертвовать также и крупную сумму, покрывшую значительную часть расходов по установке памятника этой суке в их родном городке Сен-Юсташ. Епископ Савар очень рассчитывал, что его тетку в один прекрасный день канонизируют — если не за то, как она не жалея сил работала среди бедноты, так уж, во всяком случае, за то, что в 1937 году она затеяла шумную кампанию пропаганды бойкота еврейских лавок, потому что у евреев "жульничество в крови".

— Затем, — ответил я, — что, если бы стала известна правда, все сделалось бы только хуже.

1. Зд.: тезисов (*франц.*).

— Ты не увиливай, — продолжала давить она, причем я ее явно раздражал. — Сознайся: все это только потому, что спустя столько лет ты по-прежнему стараешься угодить Буке. Вот уж кто был бы рад узнать, что ты устроил скандал! "Видишь, Бука, хоть по мне и не скажешь, но я все еще способен épater le bourgeois[1], ты хорошо меня этому научил".

— Ты снотворное пить сегодня будешь?

— Нет.

Я поехал на машине в Оттаву, там сразу же, прямо в вестибюле гостиницы "Шато Лорье", наткнулся на долговязого Грэма Филдинга, замминистра юстиции, и мы с ним пошли возмещать калории в ресторан национального арт-центра — благо недалеко, через улицу перейти. Филдинг был отпрыском богатейшего монреальского рода биржевых дельцов. Его жене, которая его и стригла, и штопала ему носки, самой покупать себе платья не позволялось — нет, он обязательно раз в год сопровождал ее в оксфамовский* магазин "почти новой одежды". Впервые мы встретились много лет назад и как-то вечером в Париже пропустили вместе пару кружечек пива — он тогда был еще студентом Сорбонны. Теперь ему подкатывало под пятьдесят, однако из-за манеры поправлять пальцем на переносице очки в роговой оправе Филдинг до сих пор оставался похожим на школьника. Этакий акселерат и известный всему классу ябеда. Мы уже выпили и заказали по второй, когда он подозвал официанта и велел принести коробку сигар "монтекристо" — ну, ту самую, которую держат специально для него. Да какой же он молодчина! — подумал я. Затем я наблюдал, как он выбирает себе сигару, дает официанту срезать кончик, прикуривает от услужливо подставленной зажигалки и делает жест рукой — дескать, свободен. В изумлении я стал ему рассказывать, как меня восхищают геометрические картины его жены, все до одной выдержанные в разных оттенках желтого, и как чертовски жаль, что они до сих пор не выставлялись в Нью-Йорке, где ее работы непременно должны принести кучу баксов. Если ее не затруднит прислать мне несколько слайдов, я передам их великому Лео Бишински, моему старинному приятелю. Потом поведал и про Савла, несколько приукрашивая происшедшее, чтобы рассказ выглядел как можно более забавным.

— Но ты ведь понимаешь, — сказал Филдинг, выпрастывая из-под стола длинные ноги, — что обвинение, когда им занимаются местные власти, это черный ящик. Можно сказать, вещь в себе.

— Грэм, я бы никогда не стал тебя в это посвящать, если бы думал, что ты можешь как-то повлиять на ход дела. Это было бы совершенно неуместно, — сказал я и попросил счет. А ему дал визитку: — И пожалуйста, не забудь выслать мне слайды.

Напоследок я навязался старому другу в компанию на ланч в клубе "Маунт Ройал", где, как я знал, в тот день должен был присутствовать Кальвин Поттер-старший. Остановившись у его столика, я поздравил его с помолвкой дочери, собравшейся замуж за сына сенатора Гордона Макгейла, — дескать, хорошая партия, мальчика ждет блестящее политическое будущее.

— К сожалению, однако, кальвинизм неистребим, — сказал я. — Старина Гордон, например, просто на дух не переносит гомосексуалов. Думает, это больные люди!

1. Эпатировать обывателя (*франц.*).

Уходя от темы, Поттер яростно выступил против деструктивного буйства и поджигательского радикализма, дескать, он будет настаивать, чтобы веллингтоновским вандалам — и его сыну с ними вместе — преподали хороший урок.

— Вы правы, но я-то переживаю за их ни в чем не повинных родственников. Если состоится длительное судебное разбирательство, то мелкие тайные грешки некоторых из обвиняемых (а кое у кого из них невооруженным глазом видны сексуальные отклонения — хотя, конечно же, временные, тут и говорить нечего), — так вóт: эти грешки журналюги будут разглядывать под микроскопом — при их-то ненасытной жажде скандала в высших социальных слоях.

Втыкая вешку тут, флажок там, я себе выцыганил приглашение в клуб "Сен-Дени", где, загнав в угол министра юстиции Квебека, принялся ему страстно впаривать, будто бы в Канаде нет никакой порядочной культуры, кроме франкоканадской. А на уик-энд скрылся от мира в монастыре бенедиктинцев, что в городке Сен-Бенуа-дю-Лак, дабы удостоиться возможности возобновить знакомство с добрым епископом Сильвеном Гастоном Саваром, любящим племянником гнусной Сестры Октавии. Мы обнялись, как старые друзья, и сели поболтать. Епископ рассказал о печальном состоянии здания собора в Сен-Юсташе и о том, как позарез нужны деньги, чтобы вернуть ему былую красоту и величие. "О, мне это очень интересно, — сказал я, — ибо я так несказанно признателен этой провинции — нет, этой столь трудно нарождающейся нации — за стол и кров, который она предоставляет мне и моей семье, что я хотел бы чем-то отблагодарить родной Квебек. Однако сейчас, когда ваш брат в качестве судьи занимается делом моего заблудшего сына, моя помощь была бы, мягко говоря, не слишком уместна".

Так что даже Мириам пришлось согласиться, что я сделал все возможное, да тут и суд подоспел, и начался он устрашающе хорошо. По правде говоря, я был даже немного разочарован. Юристы колледжа разить наповал не спешили, успокоенные, видимо, тем, что родители обвиняемых пообещали полностью взять на себя расходы кафедры социологии очевидных меньшинств. Смиренный Савл был подобающе бледен, одет в костюм и отвечал на вопросы с такой робостью в голосе, что судье Савару несколько раз пришлось просить его говорить погромче.

В то утро, когда Савлу и его *камерадам* должны были зачитывать приговор, перед зданием суда собрались сочувствующие. Они вышли с плакатами: СВОБОДУ ПЯТНАДЦАТИ МАНИФЕСТАНТАМ И LES PATRIOTES! МЫ О ВАС ПОМНИМ. К счастью, судья, которого таким вниманием прежде никогда не баловали, был настроен великодушно. В заключительной речи он вспомнил собственные подвиги в Сен-Юсташе тех времен, когда сам был бунтующим юнцом. Да как же им не возмущаться, сказал он в частности, если их взросление пришлось на то время, когда в универмаге Итона персонал не желает понимать по-французски и все надписи на коробках с макаронами только на английском! Вспомнил Великую депрессию. Вторую мировую войну, которую знал по киножурналам. Высказал предположение, что трудные времена ниспосланы специально, дабы испытывать души сынов и дщерей человеческих. Холодная война. Наркотики. Загрязнение окружающей среды. Половая распущенность. Порнография в журналах и кино. Огорчительное противостояние англичан и французов в Квебеке. Прискорбное снижение посещаемости церкви, тут он запнулся и, как-то странно полыхнув очами, добавил: и синаго-

ги. В свете всего перечисленного совершенно понятно и естественно, подытожил он, что молодежь сбита с толку, дезориентирована — и особенно самые честные и впечатлительные ее представители. Однако это не значит, тут он посуровел, что надо приходить в бешенство, бросаться громить и разрушать частную собственность. У нас нет таких, кто выше закона. И все же... все же... вслух размышлял он, пойдет ли это на пользу дела, если сыновей и дочерей респектабельных, законопослушных родителей мы отправим в места лишения свободы как обычных уголовников? Да, конечно, если они продолжают придерживаться своих радикальных верований. Но, может быть, и нет, если они охвачены искренним раскаянием.

Дав Савлу этот прозрачный намек, судья спросил, не желает ли подсудимый, пока ему еще не вынесен приговор, сказать что-нибудь в свое оправдание.

Увы, Савл уже почувствовал на себе взгляды репортеров, да и в зале среди публики было полно его горячих поклонников. В ожидании зал замер.

— Ну, говорите же, молодой человек! — лучась ободрительной улыбкой, проворковал господин судья Савар.

— Мне абсолютно похеру, к чему ты меня приговоришь — ты! старый пердун! — потому что я не считаю себя подвластным этому суду. Ты просто очередной цепной пес империализма.

Затем, вскинув вверх сжатый кулак, он заорал:

— Вся власть народу! Vive le Québec libre!

Мириам, уверенная, что Савл все загубил, была в ужасе. Да и мы с мэтром Хьюз-Макнафтоном, испугавшись, что наши труды пропали даром, обменялись обеспокоенными взглядами. Пока господин судья пытался восстановить порядок, мне ничего не оставалось, как только сбежать из зала — я уж истомился весь, до чего хотелось перекурить.

Не прошло и нескольких минут, как в коридор выплыла улыбающаяся Мириам, а за ней разочарованный Савл, которого сразу заключили в объятия Майк и Кейт.

— Его приговорили условно, — сказала Мириам. — С обязательством не творить больше безобразий и жить дома. Кроме того, надо заплатить штраф.

И только тогда мне на глаза попался добрый епископ Сильвен Гастон Савар. Он шел ко мне с папкой, набитой чертежами и строительными сметами, и улыбался, улыбался...

7

Та-ак, а вот у нас свежая утренняя "Газетт" со статьей о бывшем менеджере кафетерия в вашингтонском Смитсоновском музее. За моральный ущерб присяжные присудили выплатить ему 400 000 долларов, едва услышав о том, что начальник назвал его "старым пердуном". Менеджер кафетерия, практически еще мальчик — ему и было-то всего пятьдесят четыре года, — заявил, что босс регулярно отпускает в его адрес замечания, связанные с возрастом, как-то: "Смотрите, Джим-то наш — седеет!", или: "Как дела, старче?", и наконец: "Вон наш старик идет, где кресло-каталка?"

Увы, подобно этому Джиму, я уже плохо держу дорогу. Вчера, вырвавшись из пыточной камеры, где мне разминают спину, когда радикулит начинает донимать сверх меры, я угодил под самый ливень, а такси,

как назло, не подворачивалось. Что ж, влез в обычный рейсовый автобус, битком набитый. Сесть некуда. Прямо передо мной — очаровательная молодая женщина в мини-юбке, сидит нога на ногу. Я сразу принялся мысленно раздевать ее, неторопливо, со вкусом расстегивая молнии, пуговки и крючочки. Но что это? Она что — ясновидящая? Или у нее нервный тик? Нет, точно — она *мне* строит глазки! Явственно улыбается старому Барни Панофски; тут мое усталое сердце на миг даже замерло. Ну, я тоже ей улыбнулся. А она вскочила и говорит:

— Ах, садитесь, пожалуйста, сэр!

— Да я прекрасно могу и постоять, — сказал я, придавливая ее назад к сиденью.

— Ну вот, — сказала она. — Никакой благодарности. Будешь тут в наше время вежливой, как же!

Далее. Скажу сразу правду, рискуя обидеть соседей, а то и навлечь на себя судебный иск вроде того, от которого пострадал босс менеджера Джима, этот *возрастист...ствующий* жлоб. А состоит она в том, что здание в центральной части Монреаля, которое я называю домом, на самом деле замок богатого старпера. Вокруг него, конечно, ни рвов, ни разводных мостов нет в помине, но все равно в нем легко распознать крепость осажденного англофона, причем закоренелого, старого, семидесятилетнего, вынужденного ходить на цыпочках в страхе перед нашим помешанным на сепаратизме премьер-министром провинции, у которого в школе было прозвище Проныра. Мои соседи в большинстве своем уже избавились от семейных вилл в Вестмаунте, портфели ценных бумаг отправили на сохранение в Торонто и теперь ждут, когда Québécois pure laine[1] (то есть расово чистые франкофоны) на втором референдуме проголосуют — таки да уже наконец или нет? — за некое подобие независимости этого провинциального болота под названием Квебек.

От нашего дома владельцы тоже уже избавились: Тейтельбоймы недавно продали его каким-то выходцам из Гонконга, прибывшим только что, зато с чемоданами денег. Теперь здание называется "Замок лорда Бинга" — имеется в виду Джулиан Хедворт Джордж Бинг, виконт, британский генерал, который в 1917 году привел тысячи канадцев к месту их гибели в битве на горе Вими, но на этом не остановился и стал одним из наших генерал-губернаторов. Гонконгская компашка, держа нос по ветру, собирается переименовать сию величавую глыбу гранита в "Ле Шато Доляр дез Ормо" — в честь одного из древних героев Новой Франции. Говорят, этот Доляр из Ормо погиб в битве при Длинном Пороге — пожертвовал собою и шестнадцатью своими юными соратниками, спасая от банды из трехсот ирокезов Виль-Мари, как в 1660 году называлось то место, где теперь Монреаль. По другим же сведениям, он был торговцем мехами и так нагло грабил индейцев, что в конце концов они устроили его рейдерской шайке засаду, и он получил то, на что напрашивался. В любом случае мои соседи возмущены таким оскорблением их англофонокультурного наследия и теперь ходят собирают подписи против предполагаемого переименования.

Один из соседей, когда-то грозный федеральный министр, а теперь восьмидесятилетний старец, выжил из ума. Он по-прежнему щегольски одевается, всегда в твидовой шляпе, при галстуке клубных цветов, в

1. Чистокровные квебекцы (*франц.*).

куртке для верховой езды и диагоналевых кавалерийских галифе. Но глаза у него пусты. В хорошую погоду няня, жизнерадостная молодая медсестра, прогуливает его туда-сюда по двору. Затем они садятся на солнечную скамейку, нянька углубляется в книжку с очередным любовным романом, а бывший федеральный министр, посасывая мармелад, смотрит на въезжающие и выезжающие с парковочной площадки автомобили и записывает их номера в блокнотик. Когда я прохожу мимо, улыбается и говорит: "Сердечно поздравляю!"

Сенатор, что въехал недавно в пентхаус на нашей крыше, не кто иной как Харви Шварц, бывший consigliere[1] при пивном бароне Бернарде Гурски. У Харви денег — квинтильоны. В их с Бекки апартаментах висит подлинный Дэвид Хокни, предмет моей зависти, и Энди Уорхол; еще картина этого, как его там, который ездил по своим холстам на велосипеде [Джексон Поллок (1912—1956). — *Прим. Майкла Панофски*]; да еще и Лео Бишински — этот постоянно растет в цене. Я наткнулся недавно на супругов Шварц в вестибюле, они, видимо, направлялись на костюмированный благотворительный бал — он наряжен гангстером двадцатых годов, она — его шмарой.

— Уй-ёооо, — сказал я. — Дык это ж Бонни и Клайд Шварцы! Дяденька, не стреляй!

— Не отвечай ему, — сказал Харви. — Он снова пьян.

— Одну минутку, — не унимался я. — Вы этого Бишински, чья картина у вас висит, знаете?

— В нашу квартиру вас никогда не приглашали, — нахмурился Харви. — И никогда не пригласят. И думать забудьте.

— А я полагал, вы приятно удивитесь, узнав, что я тоже над ней поработал. Было дело: швырнул в нее измазанной тряпкой, которую сунул мне в руки Лео.

— Большей глупости я в жизни не слыхивала, — сказала Бекки.

— Десять к одному, что Бишински вы в глаза не видели, — сказал Харви, протискиваясь мимо меня.

Еще у нас по "Замку лорда Бинга" табунами бродят разведенки неопределенного возраста. Моя любимица, аноректичка в шлемике обесцвеченных и щедро налаченных волос, дама с ногами как спички и грудями, от природы плоскими, как вчерашние блинчики, не разговаривает со мной с тех пор, как мы пересеклись у лифта после ее возвращения из клиники косметической хирургии в Торонто (такие заведения я называю "домами второй попытки"), где ей сделали подтяжку лица и заново надули буфера. Я приветствовал ее поцелуем в щечку.

— Куда это вы уставились? — вдруг посуровела она.

— Да вот, никак не могу понять, куда же делась *впуклость*.

— Х-хам!

Я больше не обязан ходить в свой продюсерский офис, считаюсь списанным в тираж. Могу жить где угодно. В Лондоне с Майком и Каролиной, в Нью-Йорке с Савлом и его очередной лахудрой. Или в Торонто с Кейт. Кейт — чудо. Но в Торонто мне все время будут попадаться Мириам и Блэр Хоппер. Гауптман хренов! Herr Doktor, профессор Панацейкер.

На Си-би-си-радио так обрадовались возвращению Мириам в Торонто, что сразу нашли даже куда ее пристроить. Вернувшись к своей девичь-

1. Советник (*итал.*).

ей фамилии, под которой она когда-то предстала перед слушателями всей страны в качестве корреспондента новостей культуры и искусства, она стала теперь заведовать утренней передачей "По вашим заявкам", посвященной классической музыке. Желающим предоставляется возможность заказывать любую музыку, какую они захотят, а остальных слушателей потчуют нестерпимо жеманными пояснениями — почему сделан именно этот выбор. Я эти передачи записываю на пленку, заодно выясняя, какие мелодии наиболее популярны на крылечке и завалинке. Оказалось (перечисляю в произвольном порядке), что это увертюра к "Вильгельму Теллю", "Лунная соната", "Варшавский концерт", "Времена года" и увертюра "1812 год". Поздним вечером я включаю записи; сижу в темноте с бокалом виски в руке и наслаждаюсь голосом любимой, внушая себе, что она не на радио, а в нашей ванной, занятая вечерней помывкой — готовится лечь в постель, где, свернувшись, вожмется в меня, грея мои старые кости, а я буду нежить ладонь на ее груди, пока не засну. Клюкнув достаточно, я захожу в своей игре так далеко, что иногда даже кричу ей:

— Все знаю, дорогая! Курению конец. Вот, погасил сигару, уже иду спать.

Бедная Мириам. Ее передачи такая дребедень!

Между музыкальными номерами она должна оглашать полученные от радиослушателей письма, и однажды, к вящему моему ликованию, в качестве такового прочла послание, пришедшее якобы от некоей миссис Дорин Уиллис с острова Ванкувер.

Дорогая Мириам!

Ничего, что я к Вам так запросто обращаюсь? Это потому что у нас на острове Ванкувер Вы для всех как родная. Вот я и подумала: была не была! Я так смущаюсь — вон, аж красная стала... Сегодня как раз сорок лет прошло с того дня, как мы с Дональдом ехали на медовый месяц в Банф* по "дороге из желтого кирпича" — Вы помните, конечно, эту песенку Элтона Джона. У нас тогда был "плимут-компакт". Голубой, моего любимого цвета. Еще я люблю цвета брусничный, серебристый и сиреневый. Канареечно-желтый тоже не вызывает у меня возражений — главное, чтобы оно человеку шло, ведь правда же? А вот бордовый — фу! — не переношу. Дождь лил не то что как из ведра, а прямо будто озеро Лейк-Луиз на нас перевернули. И тут — представляете? — спустило колесо! Я разозлилась так, что хоть ты меня связывай. У Дональда уже тогда был рассеянный склероз, правда на ранней стадии, но мы-то ведь и заподозрить ничего такого не могли, я думала, он просто неловкий — ну никак не может колесо починить! Вы спросите, что же малышка-женушка ему не помогла? Дело в том, что я боялась заляпать солидолом новенький костюм, а ехала я в костюмчике в горошек — юбка с жакетиком, причем сверху жакетик такой полуприлегающий, а снизу как бы укороченный, чуть ниже талии. Бирюзовый — цвета морской волны. И тут, когда мы уже совсем пропадали, явился Добрый Самаритянин и нас выручил — спас наши беконные окорочка. Ой! Вы, конечно же, такое не едите, судя по Вашей фамилии, но Вы же не обиделись, правда? К тому времени как добрались до отеля "Банф Спрингз", устали жутко. Но все равно Дональд настоял, чтобы мы отпраздновали благополучное прибытие парочкой коктейлей "сингапурская праща". В баре работало радио, Ян Пирс пел "Синюю птицу счастья". Знаете, у меня от этой музыки даже мурашки побежали. Как-то она так здорово пришлась под настроение. А сегодня сороковая годовщина нашей свадьбы, и Дональд, уже много лет прикованный к

инвалидному креслу, грустит. Говорит, жизнь стала серая. А серый у меня, между прочим, тоже любимый цвет! Но вы не думайте, он сохранил чувство юмора. Я называю его Трясогуз, и это повергает его в такой хохот, что мне приходится потом ему вытирать подбородок и высмаркивать нос. Ну что ж, "и в радости, и в печали" – разве не в этом состояла наша клятва, хотя я знаю таких жен – могла бы даже и назвать! – которые не очень-то ее чтят!

Пожалуйста, поставьте для Дональда "Синюю птицу счастья" в исполнении Яна Пирса. Я знаю, это поднимет ему настроение. Заранее огромное спасибо.

Ваша верная слушательница

ДОРИН УИЛЛИС.

Ий-есть! – мысленно произнес я, разрешил себе за такую победу еще стаканчик и даже шаркнул тапками пару шагов по ковру как бы в танце. И тут же сел за стол делать наброски к следующему письму.

В моем преклонном возрасте я продолжаю торчать в Монреале и хожу зимой по обледенелым улицам, каждый раз рискуя лечь своими все более хрупкими костьми. Мне нравится ощущать подспудную связь с этим городом, который, подобно мне, день ото дня убывает. Кажется, будто только вчера сепаратисты официально развернули кампанию за референдум, отметив исторический момент в Квебек-сити концертом в "Гранд-театре" перед тысячей истинно верующих. Стиль их пространной и, похоже, намеренно легковесной Декларации независимости, которую в луче прожектора читали дуэтом, наводит на мысль скорее о поздравительной открытке, чем о Томасе Джефферсоне.

Мы, квебекцы, провозглашаем себя свободными в выборе собственного будущего.

Мы знаем, что такое духовная зима. Знаем ее буйство и одиночество, ее кажущуюся нескончаемость и мнимую убийственность. Мы знаем, что такое пострадать от зимних холодов.

У нас завелась двуглавая гидра: премьер-министр провинции – уже упоминавшийся бывший Проныра, засевший в Квебек-сити со своими приспешниками, и Доляр наших дней, громогласный лидер "Bloc Québécois"[1] в Оттаве. Доляр наших дней вызвал у нас настоящий исход. Скоро из англоязычных жителей в Монреале останутся только старые, нищие и убогие. Чем теперь разукрашены наши улицы, так это вывесками о продаже недвижимости – FOR SALE / À VENDRE, – распускающимися на лужайках перед домами как опоздавшие к сезону нарциссы, и объявлениями о сдаче торговых площадей внаем – TO LET / À LOUER, – повсюду бьющими в глаза на фешенебельных в прошлом проспектах. На Кресент-стрит есть одна забегаловка, куда я хожу как слон на водопой, так там по меньшей мере раз в месяц поминки по очередному завсегдатаю, которому надоели все эти воинственные пляски, и он решил уехать в Торонто или Ванкувер. А то еще, не дай бог, в Саскатун, который "тоже ведь хорошее место для воспитания детей".

Бар, куда я чуть не каждый день хожу на ланч, а потом, часов в пять, заваливаюсь еще раз, называется "Динкс", и в этот предвечерний час он

1. Квебекская фракция (*франц.*).

полон хмурых старперов. Очаровательная девчушка, которую "Артель напрасный труд" держит в качестве моей персональной помощницы, незаменимая Шанталь Рено, всегда знает, где меня найти. На мужчин, которые в ее присутствии сразу делают стойку, ноль внимания — быстренько забежит, я подпишу чек или решу какую-нибудь еще менее приятную проблему, и нет ее. Хорошо хоть Арни Розенбаум больше у нас не работает. С Арни мы учились в одном классе, но когда я сдуру взял его управляющим монреальского представительства моей сыроторговой фирмы, он проявил себя жутким обормотом. В 1959 году я очертя голову ринулся в телепродюсеры, но избавиться от него постеснялся, нашел и ему местечко в бухгалтерии. Ну и времечко было! Господь всемогущий! По пятам преследуемый кредиторами, я откладывал платежи за пленку, проявку и прокат камер на самый последний момент. Да тут еще Арни с его закидонами. Вечно скрипит зубами — то у него язва, то астма, то запах изо рта, то газы в кишечнике, и все эти недуги обострялись из-за мучений, которым подвергал его злобный босс — Тед Райан, наш постоянный аудитор. Однажды Арни из какого-то гроссбуха выудил данные, которые его не касались, и много часов потратил на бесплодные вычисления. В другой раз хватанул с утра какую-то таблетку — принял за свое лекарство, — и кончено дело: на весь день разразился поносом. А как-то вечером, сижу это я в баре, и вдруг вбегает Арни, швыряет на стойку плащ.

— Я, — говорит, — прямо из химчистки. Смотри, что мне напихали в карманы. — Вибратор. Презервативы. Рваные черные трусы. — Представляешь, если бы все это выгребла Абигейл?

Я тоже ненавидел Теда, но выгнать не смел. Племянник федерального министра финансов, он был частым гостем в домах президентов "Банка Монреаля" и "Ройал банка". Без его поручительства мне бы тут же прервали поток кредитов, а без них я был как без рук.

— Арни, тебе бы надо научиться не обращать на него внимания. Он сразу перестанет цепляться. Но я поговорю с ним.

— Настанет день, когда я, Господи прости, возьму нож да как засажу ему между ребер! Уволь его, Барни! Я бы сам справился с его работой.

— Я подумаю.

— Ну вот, я так и знал. Спасибо за отговорку, — скривился он.

В число завсегдатаев бара "Динкс" входит несколько разведенных мужей, кучка журналистов (в том числе обозреватель из газеты "Газетт" Зак Килер), двое-трое зануд, которых следует сторониться, компания адвокатов, какой-то брошенный всеми Пятницами Робинзон из Новой Зеландии и симпатичный педик-парикмахер. А всеобщий тамошний любимец и мой лучший друг — адвокат, он обычно занимает место у стойки в полдень и никому его не уступает до семи, когда мы все оттуда подобру-поздорову убираемся, освобождая место молодым с их зубодробительно громкой рок-музыкой.

Джон Хьюз-Макнафтон, которому Вестмаунт с его богатством и респектабельностью достался по праву рождения, давно утратил всякие моральные ориентиры. Это высокий, сухопарый, сутуловатый мужчина с редкими выкрашенными под шатена волосами и голубыми глазами, излучающими презрение. Джон был блестящим адвокатом по уголовным делам, пока не загубил карьеру, во-первых, двумя дорого обошедшимися промашками в разбирательствах с алиментами, а во-вторых, гремучей смесью из пьянства и высокомерия. Несколько лет назад, защищая изве-

стного жулика, бездельника и альфонса, обвинявшегося в попытке изнасилования некоей особы, которую он подцепил в шоу-баре "Эсквайр", Джон споткнулся на том, что во время долгого перерыва решил за ланчем в "Делмо" промочить горло, тогда как ему еще предстояло выступить с заключительной речью. По дороге на адвокатское место у барьера он уронил стул и, глотая куски слов, сказал: "Дамы и господа присяжные, сейчас я долн произнести стрсспую речь в защиту моего клиента. Затем вы услышите, как непрдзтый судья подытожит для вас улики и свидетельства, которые вы и без него слышали. А после этого, дамы и господа присяжные, вы исполнитесь мудрости и скажете нам, виновен мой клиент или нет. Однако, чтя Ювенала, который когда-то верно подметил: probitas laudatur et alget[1] (переводом его слов бр-скр...бл-лять вас не стану), я, похоже, вынужден признать, что чересчур пьян, чтобы произносить речи. Много лет я работаю в суде, но непредвзятого судьи пока не встречал. Да и вы, дамы и господа присяжные, понять, виновен мой клиент или нет, при всем желании не способны". На том он замолк и сел.

В 1989 году Джон выступал на митингах в поддержку маловразумительной протестной партии англофонов, от которой следовало избрать четырех представителей в нашу так называемую Национальную ассамблею, что заседает в Квебек-сити. Еще он то тут, то там публиковал язвительные статьи, высмеивающие принятый в провинции дебильный закон о языке, который требует, помимо прочих глупостей, чтобы коммерческие знаки и вывески на английском отныне и присно были *ферботен*, ибо они оскорбляют visage linguistique нашей la belle province[2]. В те суровые дни даже бар "Динкс" подвергся визиту языкового инспектора (язычника, как мы их называли) из комиссии de Protection de la Langue Française[3]. Этот патриот новой формации, мужчина с брюшком, одетый в гавайскую рубаху и бермуды, был весьма опечален, увидев красующийся над стойкой плакат:

ALLONS-Y EXPOS
GO FOR IT, EXPOS,

в котором одно и то же пожелание — что-то вроде "Не тяни, выкладай!" — на обоих языках звучало одинаково неграмотно.

В безупречно вежливых выражениях инспектор признал, что смысл надписи он полностью одобряет, но, к сожалению, она незаконна, поскольку шрифт английской фразы такого же размера, как и шрифт фразы французской, тогда как закон недвусмысленно предписывает, чтобы французские буквы были в два раза больше английских. Когда инспектор произнес эту максиму, день клонился к четвертому часу пополудни, и хорошо заложивший за галстук Джон уже пришел в то свое состояние, когда он начинает вещать.

— Когда от вас пришлют сюда инспектора, который будет в два раза больше нас, англофонов, — заорал он, — мы этот плакат снимем. А до тех пор он будет висеть!

— А вы кто — le patron?

— Fiche le camp! Espèce d'imbécile[4].

1. Честность восхваляется, но зябнет (*лат.*).
2. Запрещены (*нем.*)... лингвистический пейзаж... прекрасной провинции (*франц.*).
3. Защиты французского языка (*франц.*).
4. Хозяин... Убирайся вон! Ничтожный придурок (*франц.*).

А месяцев шесть спустя Джон вдруг стал, как теперь говорят, ньюсмейкером. Оказывается, он несколько лет не платил подоходный налог в бюджет провинции. Ну забыл человек! Его имя замелькало в заголовках прессы. Тогда он тоже собрал репортеров в баре "Динкс".

— Меня преследуют, — сказал он, — за то, что мой родной язык — английский. А главное — я не молчу, а выступаю от имени своего народа, лишенного конституционных прав. Можете быть уверены, ни запугать, ни заткнуть мне рот не удастся. Я все преодолею. Потому что, как говорил Теренций, fortes fortuna adjuvat[1]. Для тех, кто не понял, повторяю по буквам: Т, Е, Р, Е, Н, Ц, И, Й. Так-то вот, джентльмены.

— Но вы платили налоги или нет? — спросил репортер из "Ле Девуар"

— Я отказываюсь поощрять враждебные выпады со стороны политически ангажированных репортеров франкофонской прессы.

Оглушив себя водкой с клюквенным соком (это у него любимое пойло), Джон порой становится действительно несносен: начинает задирать безобидного гея-парикмахера (нашел себе спарринг-партнера!), кричит на него, обзывает кишкодралом, а то и еще похуже, чем приводит в ярость Бетти, нашу несравненную официанточку, да и всех остальных присутствующих тоже. Бетти, которая словно родилась для этой работы, следит, чтобы никто кроме заведомых членов нашей компании за наш край подковообразной стойки не садился. Еще она артистически экранирует нас от нежелательных телефонных звонков. Если, к примеру, Нату Гольду звонит жена, Бетти выразительно смотрит на Ната и ждет сигнала, во весь голос при этом выкликая: "Нат Гольд здесь?" Заку Килеру, в числе прочих, она обналичивает чеки, всякий раз терпеливо дожидаясь, не выскочит ли уведомление "средств недостаточно". Когда от выпитого Джон теряет управляемость, она нежно берет его под руку и говорит:

— Ваше такси вас ждет.

— А я что, заказывал... м-м?

— Да-да, вы вызвали такси. Правда, Зак?

Джон, конечно же, скотина, но помимо этого он умный человек и самобытная личность, а таких людей в городе маловато. Более того, я вечный его должник. Он несомненно подозревал, что я виновен, но, даже несмотря на это, проявил чудеса хитроумия, защищая меня в суде. И не покидал, когда в тюрьме Сен-Жером одни лишь свидания с Мириам удерживали меня от того, чтобы окончательно сломаться.

— Я тебе, конечно, верю, — сказала мне во время одного из таких свиданий Мириам, — но думаю, ты мне рассказал не все.

По сей день, когда занимавшийся когда-то моим делом следователь Шон О'Хирн появляется в "Динксе", Джон всячески его подкалывает.

— Если уж вам непременно надо навязываться здесь приличным людям, О'Хирн, то выпить на халяву точно не удастся — теперь-то уж все, дудки! Вы на пенсии!

— На вашем месте, мэтр Хьюз-дефис-Макнафтон, я бы не лез не в свое дело.

— Ite, missa est[2], змей подколодный. Нечего здесь тревожить моего клиента. Между прочим, вы ведь знаете: в любой момент мы можем привлечь вас за хулиганское приставание.

1. Смелым судьба помогает (*лат.*).
2. Зд.: вот и ползи отсюда (*лат.*).

Раскольников во мне не раскрылся. Что ж, каков подозреваемый, таков и Порфирий Петрович. О'Хирн не сдается, продолжает следить за мной, надеясь, что я все-таки признаюсь, хотя бы на смертном одре.

Бедный, бедный О'Хирн!

В нашей компании дневных завсегдатаев бара "Динкс" нет никого, кто не пострадал бы от губительных происков времени, но особенно жестоко годы обошлись с О'Хирном, которому уже за семьдесят. Когда-то он обладал сложением боксера — кряжистый, накачанный детина, крутой парень, какими их изображают в голливудских фильмах: мужик со слабостью к широкополым шляпам "борсалино", галстукам-селедкам и пижонским приталенным пиджакам. В прежние времена стоило ему только зайти в "Динкс" или в любой другой шалман на Кресент-стрит, как торговцы наркотой, краденым и девчонками по вызову бросались врассыпную — никто из них не хотел трясти мошной в его присутствии. Теперь, однако, О'Хирн, с его расчесанными на прямой пробор остатками снежно-белых волос, редкие пряди которых лепятся к черепу, как голые ребра год назад съеденной рыбины, сделался не столько велик, сколько пузат и жирен, причем его жир как бы ни на чем и не держится. Ткни его вилкой, подчас думалось мне, и он брызнет соком, как сарделька на сковороде. Мордатый стал, потный, с трясущимся двойным подбородком и необъятным пивным брюхом. Он уже не курит одну за другой "плейерз майлд", но все равно разражается такими приступами влажного бронхиального кашля, что у нас, при этом присутствующих, мысль возникает одна и та же: как приду домой, надо будет внимательно перечитать завещание. В прошлый раз, когда он зашел на меня глянуть и взгромоздился рядом со мной на табурет у стойки, он долго пыхтел, сипел, а потом говорит:

— Знаете, чего больше всего боюсь *я*? Рака прямой кишки. Что придется гадить в мешок, пристегнутый к бедру. Как бедняга старый Арман Лемье. Помните его?

Лемье — это тот полицейский, что застегнул на мне наручники.

— Я теперь утром как в сортире засяду, — продолжал он, — так час пройдет, пока наконец разрожусь. И все такими мерзкими мелкими катышками.

— Узнать о ваших испражнениях мне было очень интересно. Но почему бы вам не пройти обследование?

— Как вы насчет японской еды?

— Стараюсь избегать.

— Я тут на пробу зашел в одно новое местечко на Бишоп-стрит. Называется "Цветок лотоса" (или как там они, черт, его именуют), так мне принесли сырой холодной рыбы и горячего вина. А я официантке говорю, послушайте, я люблю, когда еда *горячая*, а вино *холодное*, так что вы это унесите и попробуйте еще раз, ладненько? Кстати, до чего же я читать теперь много стал!

— Сидя в сортире?

— Лемье помнит вас как живого. Говорит, так, как вы это обтяпали, только гений может.

— Я тронут.

— А Лемье и сам для старого копа устроился будьте нате. Нашел себе вдову-итальянку с вот такими буферами, так мало того: у нее еще и dépanneur[1] где-то на северном конце города. Но ей-то, должно быть, ка-

1. Ремонтная мастерская (*франц.*).

ково, а? Я, в смысле, ну — лежит он с ней в постели, шмыг-шмыг, трах-трах, а она вдруг — глядь! — мешок этот хренов наполняется! Я вам, наверное, надоел?

— Надоели.

— Вы знаете, уже сколько лет прошло, а Вторая Мадам Панофски, как вы настойчиво ее именуете, до сих пор иногда приглашает меня обедать.

— Вам повезло. Из всех моих жен она пока что лучшая повариха. Не возражаю, если вы ей это передадите, — сказал я в надежде, что это клеветническое измышление достигнет ушей Мириам.

— Не думаю, что она примет от вас что бы то ни было, даже похвалу.

— Ничего, чеки с алиментами каждый месяц принимает.

— Ну ладно, шутки в сторону. Но у нее вся жизнь остановилась в тот момент! Все стенограммы слушаний она переплела в сафьян и перечитывает снова и снова, делает выписки, ищет упущения. А, вот! Скажите мне, в чем разница между Кристофером Ривом и О. Джей Симпсоном*?

— Откуда мне знать.

— О. Джей еще бегает, — сказал он и захохотал.

— Какая же вы скотина, Шон!

— Вы что, не поняли? Рив — это актер, который играл Супермена, а потом упал с лошади и теперь разбит параличом. А О. Джей должен сидеть в тюрьме. Так же, как и вы. Да ладно вам. Глядите веселей. Все это — слова. Переливание из пустого в порожнее. В вашем положении я, может быть, сделал бы то же самое. Никто вас не винит.

— Зачем вы все время сюда ходите, Шон?

— А вы мне нравитесь. Нет, честно-честно. У меня только вот просьбочка к вам имеется. Уважьте старика, ладно? Оставьте мне письмо, а в нем расскажите, что вы с ним сделали.

— С ним — это с телом?

Он кивнул.

— Да вы, скорей всего, не дождетесь, Шон. В последнее время такой вес набрали, на инфаркт просто сами напрашиваетесь!

— Нет, я вас провожу, Панофски. Даю гарантию. А вы оставьте мне письмишко. Обещаю после прочтения уничтожить. Мне просто любопытно, вот и все.

8

Сегодня снова утро началось со звонка Ирва Нусбаума, я даже не успел выпить кофе.

— Кошмар! — с ходу заголосил он. — Включай новости! Быстро! Вчера вечером школу Талмуд-Торы подростки по всем стенам свастиками изрисовали. Выбили стекла. Все, пока.

Еще одну поразительную весть принесла из Калифорнии сегодняшняя "Глоб энд мейл". У семидесятилетней женщины был муж, больной раком. Она о нем заботилась — меняла подгузники, кормила и так далее, при этом сама спала по несколько часов в сутки из-за того, что он непрестанно смотрел телевизор. И вдруг она сломалась. Облила своего благоверного, с которым прожила тридцать пять лет, протирочным спиртом и подожгла, обнаружив, что он съел ее шоколадку. "Спустилась на минутку к почтовому ящику, возвращаюсь — нету! Никого больше в доме не бы-

ло. Ясное дело, это он съел, — объясняла она. — Ему я тоже давала конфеты. Но эту он взял — мою! И я налила в чайную ложку спирт и его обрызгала. Спички были у меня в кармане. И как загорится! Я не хотела. Я думала просто попугать".

На час у меня была назначена встреча, и я вышел из дома. В дурном настроении, но зато вовремя. В отличие от Мириам я всячески культивирую пунктуальность. И вдруг я остановился. Внезапно обнаружил, что не могу вспомнить, что я делаю на... Табличка на углу гласила: Шербрук-стрит. Куда иду? Зачем? Ни малейшего понятия! Несмотря на холод, меня бросило в пот, голова закружилась, я добрел да ближайшей автобусной остановки и рухнул на скамью. Автобуса дожидался молодой человек в бейсболке, надетой задом наперед, он склонился ко мне с вопросом:

— Ты как, папаша, о'кей?

— Отвали, — сказал я. И принялся бормотать то, что начало уже становиться у меня чем-то вроде мантры. Макароны откидывают в ту штуку, которая висит у меня на стенке шкафа в кухне. Мэри Маккарти написала "Человека в костюме от 'Брукс Бразерс'" Или в *рубашке*? Да черт с ним, без разницы. Я — кто? — единожды вдовец и дважды разведенный. Детей у меня сколько? Трое: Майкл, Кейт и еще пацан. Мое любимое блюдо — тушеная грудинка на ребрышках с хреном и картофельными *латкес*[1]. Мириам — это песнь песней моего сердца. А живу я на Западной Шербрук-стрит в Монреале. Какой номер дома — плевать: увижу — узнаю без проблем.

С сильно бьющимся, готовым выскочить из груди сердцем я полез за сигарой, сумел поджечь ее и затянулся. Слабо улыбнувшись заботливому парнишке, который все еще надо мной маячил, я сказал:

— Простите. Я не хотел вас обидеть.

— Я могу вызвать "скорую".

— Сам не знаю, что на меня нашло. Сейчас уже все в порядке. Честно.

На его лице было написано сомнение.

— Иду на встречу со Стью Хендерсоном в "Динкс". Это бар на Кресент-стрит. На следующем углу сверну налево, и дело в шляпе.

Стью Хендерсон, не очень-то преуспевающий телепродюсер, ушедший на вольные хлеба из Национального комитета по образовательному и документальному кино, уже ждал меня у стойки. Рядом, угнездившись на своем привычном табурете, с отсутствующим видом сидел Джон. Еще в тысяча девятьсот шестидесятом году Стью получил какую-то там премию за скучный документальный фильм о самолете "Канадэйр-CL-215", этаком водяном бомбардировщике, который тогда испытывали на разных озерах бассейна реки Святого Лаврентия. Этот самолет мог, не останавливаясь, зачерпнуть из озера пять с половиной тонн воды и сбросить ее на ближайший лесной пожар. Ко мне Стью пожаловал с очередным проектом. Искал начальные инвестиции для постановки документального фильма о Стивене Ликоке.

— Все это очень завлекательно, — сказал я, — но боюсь, что я не занимаюсь культурными проектами.

— С теми деньгами, которые вы заработали, продюсируя всякий *дрек*, я...

Стеклянные глаза Джона чуть прояснились.

1. Оладьями (*идиш*).

— Non semper erit aestas[1], Хендерсон, — внезапно встрял он. — Или, говоря попросту, пляши отсюда.

У меня довольно шаткая система ценностей, но я приобрел ее в Париже еще юнцом, и она до сих пор при мне. Стандарт имени Буки, согласно которому если кто-нибудь пишет статью для "Ридерз дайджест", ухитряется выпустить бестселлер или получает степень доктора философии — он считается падшим ниже всяких мыслимых пределов. А вот запузырить у Жиродье порнографический романчик — это балдеж. Аналогично, писать для кино нельзя — фу, глупость какая, — но если это дурацкий фильмец про Тарзана, тогда ты молодец, здорово оттянулся. Так что вкладывать деньги в идиотский сериал про "Макайвера из конной полиции Канады" абсолютно *кошерно*, а вот финансировать серьезный документальный фильм про Ликока было бы infra dignitatem[2], и Джон первый мне бы на это указал.

Терри Макайвер, разумеется, не разделял системы ценностей Буки. По его мнению, вся наша гоп-компания состояла из личностей непростительно легкомысленных. Louches[3]. А наши общие явственно левые политические убеждения, которые поощрял в нас "Нью стейтсмен", его раздражали — он считал их детски наивными.

Париж в те дни был политическим цирком, в котором звери на арене занимали далеко не последнее место. Однажды ночью оголтелые бугаи-антикоммунисты из организации под названием "Мир и Свобода" налепили по всему городу плакатов, на которых над Эйфелевой башней развевался советский флаг, а подпись вопрошала: КАК ВАМ ТАКОЕ ПОНРАВИТСЯ? А ранним утром гориллы из коммунистов уже шли от столба к столбу, заклеивая на этих плакатах советский флаг американским.

В тот день, когда генерал Риджуэй прямо из пекла Корейской войны прибыл в Париж, сменив Эйзенхауэра в штабе верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, Клара, Бука, Седрик, Лео и я сидели на террасе кафе "Мабийон", пьяно складывая в стопочки картонные подставки от пивных кружек. Поглазеть на генерала вышли немногие, толпа на улице собралась жиденькая, но жандармы сновали повсюду, а бульвар Сен-Жермен был черен от *гардемобилов*[4], чьи полированные каски сверкали на солнце. Внезапно на площади Одеон образовалась давка из-за коммунистических демонстрантов — мужчин, женщин и мальчишек, которые, выбегая из боковых улочек, выхватывали из-под бесформенных курток всякого рода палки и метловища и вздымали на них антиамериканские лозунги. Клара застонала. Ее руки тряслись.

— РИДЖ-УЭЙ! — выкрикивали мужчины.

— À la porte![5] — пронзительно подхватывали речевку женщины.

Внезапно среди демонстрантов замелькали жандармы, они рассыпались веером, хлеща людей теми самыми своими очаровательными голубыми плащами, что изображены чуть не на каждом рекламном плакате, зазывающем туристов во Францию, плащами, к подкладкам которых для весу пристрочены свинцовые трубы. Расквашенные носы. Разбитые

1. Зд.: не все коту масленица (*лат.*).
2. Ниже достоинства (*лат.*).
3. Подозрительных (*франц.*).
4. От gardes mobile (*франц.*) — жандармерия.
5. За порог! (*франц.*)

головы. Скандеж "Ридж-уэй – à la porte", поначалу такой стройный, ослабел и прервался. Демонстранты отступали, разбегались, сжимая ладонями окровавленные головы. А я кинулся вслед за убегающей Кларой.

В другой раз в Париж по приглашению НАТО приехал немецкий генерал, и теперь по Елисейским Полям в мрачной тишине шествовали французские социалисты и евреи, одетые в форму заключенных концлагерей. Среди них был и Йоссель Пински, подпольный меняла с рю де Розье, тот самый, что вскоре станет моим деловым партнером. *Мишт зихъ ништ арайн*, говорил он. Нечего ему здесь болтаться.

Начались алжирские события. Жандармы стали одну за другой прочесывать гостиницы Левого берега в поисках арабов без документов. Однажды в пять утра они постучались и в нашу дверь, требуя предъявить паспорта. Я вынул свой, тогда как Клара, натянув простыни до подбородка, тряслась и подвывала в постели. При этом высунулись ее ноги, все ногти на которых были выкрашены в разные цвета. Всем радугам радуга.

– Да покажи ты им свой паспорт, бога ради!

– Я не могу. Я голая.

– Ну так мне скажи, где он.

– Нет. Тебе нельзя.

– Да черт подери, Клара!

– Мать. Бать. – Старательно закутавшись в одеяло и все еще подвывая, под взглядами ухмыляющихся жандармов она нашарила на дне чемодана паспорт, показала им и снова заперла чемодан.

– Они увидели мою пусю, эти грязные ублюдки. Они глазели на нее.

На Терри я наткнулся в тот же день в кафе "Бонапарт", куда я ходил играть на механическом бильярде. Моя первоначальная связь с Терри зиждилась на том факте, что мы оба из Монреаля. Я с улицы Жанны Манс, средоточия старого рабочего еврейского квартала, а Терри из более зажиточного района Нотр-Дам-де-Грас, где его отец кое-как наскребал себе на нищенское существование, держа букинистическую лавку, специализирующуюся на марксистских текстах. Его мать преподавала в начальной школе, пока родители учеников не восстали против того, чтобы их детям показывали документальные агитки о жизни в колхозе на Украине вместо мультиков про кролика Багза Банни.

Что касается денег, то большинство из нас сидело на мели, но Терри был по-настоящему беден. Во всяком случае, такое создавалось впечатление. Иногда все его дневное пропитание состояло из café au lait с булкой. Рубашки он носил такие, чтобы их не нужно было гладить, сам полоскал в тазике и на ночь вешал сушиться. Волосы ему стригла знакомая девушка, жившая в cité universitaire[1]. На жизнь Терри зарабатывал тем, что писал статьи для ЮНЕСКО, по шестьсот слов каждая, которые потом бесплатно рассылали по газетам всего мира. За тридцать пять долларов он выдавал на-гора́ ученый комментарий в ознаменование столетия какого-нибудь знаменитого писателя или пятидесятилетия первой беспроводной связи, осуществленной Маркони через Ла-Манш, или открытия майором Уолтером Ридом того, что желтую лихорадку переносят комары. В нашей компании его едва терпели, я уже об этом упоминал, так что если намечалась какая-нибудь вечеринка, то от кафе к ка-

1. Университетском городке (*франц.*).

фе из уст в уста передавалось: "Только, бога ради, не говорите Терри". О, Терри был пария! Но я проникся к нему какой-то извращенной симпатией и раз в неделю приглашал обедать в полюбившийся мне ресторанчик на рю де Драгон. Клара с нами не ходила ни разу. "Я таких dégoutant типов в жизни не видывала, – говорила она. – Он déraciné и к тому же frondeur[1]. Более того, у него плохая аура, и он постоянно натравливает на меня духов". Впрочем, Йосселя Клара тоже недолюбливала. "У меня от него мурашки по коже. Он провонял всем злом мира".

Терри меня озадачивал. Все остальные блаженно и естественно жили-поживали, не заботясь о том, кому сколько лет – двадцать три, двадцать семь, не важно. Для нас жизнь как бы не имела пределов. Иными словами, снаряды еще не начали рваться у нашего окопа. Терри, напротив, понимал, что молод и проживает свой "парижский период". Жизнь для него не сводилась к тому, чтобы только наслаждаться и безрассудно себя тратить, как Онан – собственное семя. Терри сознавал свою ответственность. Долг. Он словно рисовал в детской книжке-раскраске, где контуры уже заданы – он должен их лишь раскрасить с как можно большей автобиографической точностью, помня о будущей критике. Так что бедностью он скорее наслаждался, нежели терпел ее, – она была обрядом его литературного посвящения. Доктор Джонсон знавал времена и похуже. Да и Моцарт тоже. Что бы Терри ни сделал, о чем бы ни услышал, все становилось материалом для его дневников, где, впрочем, многое напутано, как я выяснил уже слишком поздно.

Над политическими взглядами родителей Терри смеялся и тем не менее унаследовал некоторые из их предрассудков, например, привычку поносить все американское. Культуру, замешенную на кока-коле, он терпеть не мог. Ха-ха! Новый Рим.

Однажды он мне сказал:

– Помнишь тот вечер, когда Седрик пригласил нас отпраздновать подписание контракта на его роман: как он хвастал вдруг свалившимся на него богатством. Я не хотел лить воду на мельницу его бахвальства, бряцать нубийскими кимвалами, поэтому я помалкивал, и ты, без сомнения, приписал это банальной зависти. Однако дело в том, что мне тогда только что возвратили из "Скрибнера" первые три главы моего недописанного романа с хвалебным письмом и советом. Смысл которого, увы, заключается в том, что канадская тематика никого не интересует. "Может быть, вам решиться перенести действие романа в Чикаго?" Хью Макленнан, которого я вообще-то ставлю не очень высоко, как раз в этом был прав: "Парень встречает девушку в Виннипеге. Кому какое дело?" А как, кстати, у тебя в последнее время с нашей непредсказуемой Кларой?

– Она бы пошла обедать с нами, но не очень хорошо себя чувствует.

– Со мной ты можешь без экивоков. Не в пример тебе, мне не требуется непременно чье-то одобрение; впрочем, у тебя это, конечно же, неизжитое наследие детства на улице Жанны Манс. Но чего я вовсе не могу в толк взять, так это зачем ты постоянно бегаешь за Букой, как пудель на поводке.

– Да ну, мудак ты, Терри.

– Ладно, проехали. Сделал себе из этого фигляра идолище. Ты даже некоторые жесты от него перенял.

1. Противный... Забыл родину... заносчив (*франц.*).

Терри, которому показалось, будто он здорово меня уел, откинулся назад и смотрел теперь со снисходительной улыбкой.

Первая публикация у Терри была в "Мерлине", одном из мелких парижских журнальчиков того времени. Его рассказ "Парадизо" был написан нестерпимо приторно, сверхпоэтично, от него разило Джойсом и *сделанностью,* так что мы только фыркали, выискивая в словарях слова-непонятки: дидинамический, макрология, дискурс, сфорцато...

В последние годы я стал коллекционером – собираю всякого рода раритеты, связанные с Канадой. Особый интерес для меня представляют дневники путешественников по Нижней Канаде*, и мне регулярно присылают соответствующие каталоги. В одном из них я недавно высмотрел следующую статью:

Библиографическая редкость.
В прекрасном состоянии.

Макайвер, Терри.
"Парадизо", рассказ, первая публикация автора. Раннее, но красноречивое проявление мотивов, которые будут неотступно сопровождать одного из видных мастеров канадской прозы. Мерлин, Париж, 1952.
Цена $300.

Однажды вечером в кафе "Рояль Сен-Жермен" ко мне подскочил радостный Терри.

– Мой рассказ прочитал Джордж Уитмен*, – похвастал он. – И попросил меня почитать в его магазине. "Ух ты, здорово!" – проговорил я с наигранным энтузиазмом. И на весь остаток дня у меня было испорчено настроение.

В магазин (он как раз напротив собора Нотр-Дам) я пошел с Кларой, и за нами увязался Бука.

– Такое пропустить? Да вы что! – бодрился Бука, явно уязвленный. – Пройдут годы, и люди будут спрашивать, где ты был в тот вечер, когда Терри Макайвер читал вслух свой chef-d'oeuvre? Менее удачливые скажут: "Я получал выигрыш по билету Ирландской больничной лотереи" или "Я трахал Аву Гарднер". Или вот Барни, например, – он скажет, что был на игре, в которой его любимые "Монреаль канадиенз" победили, завоевав очередной Кубок Стэнли. А я скажу: "Я был там, где вершилась история литературы!"

– Нет, мы тебя не берем. И думать забудь.

– Я буду сидеть скромно. Буду ахать, восхищаясь его метафорами, и аплодировать каждому le mot juste[1].

– Бука, дай слово, что не станешь над ним издеваться.

– Ой, да перестань ты *квецать*! – сказала Клара. – Ты прямо будто этому Терри мамочка!

Складных стульев натащили на сорок человек, однако, когда Терри начал читать (с получасовым опозданием), слушателей было всего девять.

– Н-да, видимо, где-нибудь на Правом берегу сегодня концерт Эдит Пиаф, – сказал Бука sotto voce[2]. – Иначе, конечно же, был бы аншлаг.

Едва Терри разогнался, в лавку вваливается компания "буквалистов". Была такая литературная секта, группировавшаяся вокруг журнала

1. Меткому словцу (*франц.*).
2. Вполголоса (*итал.*).

"Ур, Тетради культурной диктатуры", главным редактором которого был Жан-Исадор Ису. Грозный Ису был, кроме всего прочего, автором "Ответа Карлу Марксу", тоненькой брошюрки, которую на рю де Риволи и у входа в бар "Американ экспресс" норовили всучить туристам юные красотки, и туристы брали, возбуждаясь при мысли, что покупают, наверное, какую-нибудь *клубничку*. "Буквалисты" считали, что искусства — все без исключения — мертвы, и оживить их можно только через синтез их ("буквалистов") коллективной бредятины. Их собственные стихи, которые они обычно читали в кафе на площади Сен-Мишель, состояли из всхрюков и вскриков, бессвязных нарочито какофонических звукосочетаний, причем, должен сознаться, одно время я тоже был из числа их поклонников. Теперь же, когда Терри продолжил свое монотонное чтение, они принялись дуть в губные гармошки, свистеть в свистульки, жать груши старинных клаксонов и, засовывая под мышки ладони чашечками, изображать пердеж.

В глубине души я патриот. Всегда болею за "Монреальцев" и болел, пока те играли в Делормье-Даунз, за наших "Ройалз" из Ассоциации спортсменов-любителей. Поэтому я инстинктивно кинулся на выручку Терри. "Allez vous faire foutre! Tapettes! Salauds! Petits merdeurs! Putes![1]" Но этим лишь побудил их к еще худшему бесчинству.

Терри, весь красный, читал. Читал... Читал... Казалось, он вошел в транс, сидел с этакой пристывшей к губам улыбочкой, на которую жутко было смотреть. Мне было тошно. *Вот, сейчас главное!* Да, я искренне переживал за него, но — как я есть мерзавец — испытывал также большое облегчение оттого, что он не собрал полный зал. И не получил признания. Когда все кончилось, я сказал Буке и Кларе, чтобы они ждали меня в баре "Олд нэйви", а сейчас я должен сводить Терри куда-нибудь выпить. Прежде чем уйти, Бука огорошил меня, сказав: "Ты знаешь, бывает проза и похуже!"

Мы с Терри встретились в кафе на бульваре Сен-Мишель и сели на террасе, где больше никого не было: мы ведь кто? — пара канадцев-северян, почти эскимосов, нам холод нипочем.

— Терри, — сказал я, — эти шуты пришли специально, чтоб похулиганить; они бы вели себя точно так же, читай там сегодня хоть сам Фолкнер.

— Фолкнера слишком превозносят. Долго он не продержится.

— Все равно мне ужасно жаль, что так вышло. Это жестоко.

— Жестоко? Все было абсолютно замечательно, — не согласился Терри. — Разве ты не знаешь, что первое представление в Вене "Женитьбы Фигаро" Моцарта было освистано, а когда импрессионисты впервые показали свои работы, над ними смеялись!

— Да, конечно. Но...

— ...и заруби себе на носу, — продолжил он, явно кого-то цитируя, что Слабым Великое всегда невразумительно. А значит, то, что можно сделать внятным Идиоту, моих трудов не стоит.

— А можно узнать, кто это сказал?

— Эти слова написал Уильям Блейк в письме к преподобному Джону Траслеру, который заказал ему несколько акварелей, а потом раскритиковал их. А ты-то сам что думаешь? (Хоть это и не важно.)

1. Прекратите безобразие! Шуты! Сволочи! Засранцы мелкие! Бляди! (*франц.*)

– Да что я мог расслышать сквозь этакий гвалт?

– Прошу тебя, не увиливай, пожалуйста!

Придя уже в достаточное раздражение, я вознамерился разбить кокон его надменности, для чего проглотил залпом коньяк и говорю:

– Ну хорошо, ладно. Скажу так: много званых, а мало избранных.

– Да ты просто жалок, Барни!

– Допустим. А ты?

– Я жертва заговора тупиц.

Тут я уже попросту расхохотался.

– Смеешься? Тогда расплатись-ка по счету, потому что это ведь ты пригласил меня, и ступай туда, где тебя ждут твой придурочный Свенгали* и скабрезница Венера Пафосская.

– Кто-кто?

– Да шлюха твоя.

Вторая Мадам Панофски однажды изрекла, что за неимением сердца я лелею в груди свербящий клубок обид. Вот и тогда тоже – у меня кровь вскипела, я подпрыгнул, схватил Терри за грудки, поднял, да так, что из-под него стул вылетел, и двинул ему по морде. Помню, стою потом над ним, обезумев, и собираюсь махать кулаками дальше. Убить его был готов. Но Терри не стал со мной драться. Сел на полу и, скривившись, принялся вытирать платком кровоточащий нос.

– Спокойной ночи, – сказал я.

– Счет. У меня денег не хватит. Заплати по счету, черт тебя подери.

Я швырнул в него горстью франков и уже собрался было сбежать, как вдруг его затрясло, он судорожно всхлипнул и говорит:

– Помоги мне...

– Что?

– ...ну, в гостиницу...

Я помог ему встать, и мы пошли. У него стучали зубы, ноги заплетались. Пройдя квартал, он задрожал. Нет, завибрировал. Опустился на колени, и его вырвало. Я держал его голову, и его рвало снова и снова. Каким-то образом мы все же доплелись до его комнаты на рю Сен-Андре-дез-Ар. Я уложил его в постель, а когда его снова затрясло, заколотило, поверх одеяла укрыл его всякой одеждой, какую сумел найти.

– Это грипп, – сказал он. – А вовсе не от огорчения. Мое сегодняшнее чтение тут ни при чем. Что ты молчишь?

– А что я должен говорить?

– Что ты не сомневаешься в моем таланте. Что то, что я творю, нетленно. Я знаю это.

– Да.

Тут он принялся стучать зубами с такой силой, что я испугался за его язык.

– Пожалуйста, не уходи, побудь еще.

Я прикурил "голуаз" и передал ему, но он все ронял сигарету.

– Отец ждет не дождется, когда я наконец пойму, что все напрасно, и вернусь разделить с ним его нищету.

Плечи у него снова затряслись. Я схватил мусорную корзину, подставил ему, но, сколько он ни тужился, ничего из себя не выдавил, кроме нитки зеленой слизи. Когда рвотные позывы прекратились, я принес ему стакан воды.

– Это все грипп, – сказал он.

– Да.

— Я не расстроен.

— Нет.

— Если ты расскажешь всем этим обалдуям, что видел меня в таком состоянии, я никогда не прощу тебе.

— Я никому не скажу ни слова.

— Поклянись.

Я поклялся и сидел с ним, пока его тело не перестало сотрясаться и он не забылся беспокойным сном. Но я стал свидетелем его слабости, а именно так, дорогой читатель, наживают врагов.

9

Я решил все рассказывать честно. Быть достоверным свидетелем. Правда состоит в том, что романы Терри Макайвера, в том числе и "Денежный человек", в котором я описан в качестве стяжателя Бенджи Перлмана, воображением не запятнаны. Его романы одинаково скучны, серьезны и аппетитны примерно как больничный супчик, ну и, конечно же, лишены юмора. Характеры в них такие деревянные, что хоть на дрова их коли. Вот только в дневниках у него фантазии пруд пруди. Парижские страницы тоже, естественно, полны выдумки. Причем больной выдумки. Мэри Маккарти однажды заметила, что все, написанное Лилиан Хеллман, вранье, кроме "и" и "но". То же можно сказать и о дневниках Терри.

Привожу пример. Несколько страничек из дневника Терри Макайвера (кавалера Ордена Канады и лауреата Премии генерал-губернатора) в том виде, как они вскоре выйдут в его мемуарах "О времени и лихорадке", публикуемых в Торонто с одновременным выражением всяческих благодарностей триединой святой посредственности: Совету по культуре Канады, Совету по искусству Онтарио и Совету по искусству города Торонто.

Париж. 22 сентября 1951 г. Так и не смог сегодня утром вчитаться в "Смерть в рассрочку" Селина. Эту книгу мне порекомендовал трогательно неуверенный в себе П., что неудивительно, если принять во внимание зарождающуюся в нем самом и тяготящую его ненависть к миру. Мои отношения с П. весьма поверхностны: он мне навязан тем, что мы оба монреальцы, но само по себе это едва ли ведет к симбиозу.

П. появился в Париже прошлой весной, получив адрес от моего отца. Никого здесь не зная, он, естественно, каждый день искал встречи со мной. Мешал мне работать, приглашая на ланч и требуя, чтобы я за это снабдил его названиями кафе, которые следует посещать; умолял, чтобы я его с кем-нибудь познакомил. Через неделю он уже усвоил модный негритянский воляпюк, заглотал его не жуя. Запомнилось, как он однажды подошел ко мне на террасе кафе "Мабийон", где я читал "Мерзкую плоть" Ивлина Во.

— Ну и как оно, чувак, — цепляет? Или фуфло?

— Извини, не понял.

— Ну, в смысле, мне-то стоит вкапываться?

В итоге я передал его с рук на руки синклиту разбитных американцев, чьей компании я всеми силами старался избегать. Сначала они не очень-то ему обрадовались, но вскоре обнаружили, что П., решив во что

бы то ни стало снискать их расположение, не будет возражать, если они его немного пограбят. Лео Бишински занял у него денег на холсты и краски, да и другие вовсю доили его, кто во что горазд. Однажды я Буке сказал между прочим:

– Я смотрю, у вас неофит появился?

– Что ж, каждый Робинзон имеет право на собственного Пятницу, не правда ли?

Бука, у которого период невезения за карточными столами настолько затянулся, что над ним нависла угроза лишиться домицилия, заставил П. оплатить его счет в гостинице.

Подобно многим другим автодидактам, П. не может не покрасоваться, не показать всем окружающим, что́ он в данный момент читает, поэтому его речь разукрашена цитатами. Как выходцу из помоечного чрева гетто, вульгарность ему, можно сказать, даже к лицу, но у него есть склонность также к пьянству и рукоприкладству, что удивляет: все-таки еврей как-никак. Попытка отмежевания? Возможно.

Родившийся в Монреале и воспитанный англоговорящими родителями, П. тем не менее тяготеет к инверсному синтаксису, словно переводит свои конструкции с идиша, как например: "Он был ужасным мерзавцем, этот Кларин доктор". Или (постфактум): "Кабы я знал, оно было бы другим, мое поведение". Надо это запомнить и использовать его речевые антраша для воссоздания в моей прозе еврейских диалогов.

Внешне П. не так уж неприятен. Черные курчавые волосы, жесткие, как проволочная мочалка. Хитрые глазки лавочника. Губы сатира. Высокий и неуклюжий, он любит напускать на себя начальственный вид. Такое впечатление, что здесь он еще не прижился, чувствует себя не в своей тарелке, однако в последнее время он сделался чем-то вроде подпевалы при одном из самых отъявленных позеров во всем quartier[1], ходит за ним по пятам, как мальчик за взрослым педерастом, как его Ганимед, но это не так. Ни один из них в голубизне не замечен.

Написал сегодня 600 слов, а потом все порвал. Неадекватно. Посредственно. Может, я сам таков?

Париж. 3 октября 1951 г. Муж С. уехал во Франкфурт по делам, и она послала мне сегодня утром pneumatique, приглашая на обед в наше oubliette[2], бистро на рю Скриб, где у нас обоих наименьшие шансы встретить кого-либо из знакомых. Предусмотрительная буржуазка, чтобы не дать повода к порожней болтовне ("Elle entretient un gigolo. Tiens donc!"[3]), С. нашла под столом мою руку и сунула деньги мне, чтобы я расплатился по счету.

Я состою в должности преданного любовника С. вот уже три месяца. Она подцепила меня однажды летним вечером на террасе "Кафе де Флор". Сидела за соседним столиком одна, улыбалась мне, а разглядев, какую книгу я читаю, сказала:

– Не многие американцы способны читать Роб-Грийе по-французски. Должна сознаться, я и сама нахожу его трудным!

1. Квартале (*франц.*).
2. Письмо по пневмопочте... укрывище (*франц.*).
3. Она содержит жиголо. Это надо же! (*франц.*)

С. говорит, будто ей сорок, но я подозреваю, что она несколько старше, судя хотя бы по дряблости кожи. Вообще-то С., мою самозваную гурию, перепутать с Афродитой трудно, но она стройна и, в общем, недурна собой. Пить она начинает с утра ("Gin and eet, comme la reine anglaise"[1]). За обедом — сегодня, например — выхлебала почти все вино сама, между делом исподтишка ткнув меня: дескать, не сиди как пень — вот, у меня под столом ноги раздвинуты, сними туфлю и носок и нажимай пальчиком!

Потом мы скрываемся в моей отвратительно тесной гостиничной комнатенке, которую С. якобы обожает, потому что здесь она удовлетворяет свою nostalgie de la boue[2], а кроме того, только такое жилище и приличествует молодому художнику. Мы совокупляемся дважды — один раз спереди, второй сзади, а потом я отказываюсь делать ей куннилингус. За это она на меня дуется. Ее лицо проясняется лишь тогда, когда, по ее настоянию, я начинаю читать ей из моего неоконченного романа. По ее мнению, он merveilleux, vraiment incroyable[3].

С. хочет, чтобы я обессмертил ее на своих страницах; она даже имя себе выбрала — Элоиза. Несмотря на проливной дождь и усталость, я иду ее провожать, сажаю в "остин-хейли", припаркованный на безопасном расстоянии, а по пути уверяю, что восхищен ее красотой, умом и образованностью. Вернувшись к себе в комнату, сразу сажусь писать 500 слов, в которых описываю, пока память еще свежа, как она содрогалась и корчилась в оргазме.

В 2 часа ночи просыпаюсь от приступа чихания. Лезу за термометром и обнаруживаю, что у меня температура 37,3. Пульс учащенный. Ломота в суставах. Я так и знал: не надо было выходить под дождь!

Париж. 9 октября 1951 г. Десять дней у меня на столе лежало письмо от отца, и только сегодня утром я наконец рискнул надорвать пугающе толстый конверт.

Я так и вижу, как отец пишет это письмо своим судорожным, неразборчивым почерком, сидя в задней комнатке книжной лавки за дубовой конторкой с шарнирно убирающейся полукруглой крышкой. Курит, должно быть, дешевую "экспорт А", зажав ее у черешка между двух зубочисток, чтобы не обжигаться, когда сигарета истлеет до последнего кончика. Поодаль на конторке штырь с наколотой на него стопкой неоплаченных счетов и коробочка от сигар с газетными вырезками, ластиками и марками разных заморских стран для почтальона-франкоканадца, которого он пытается обратить в свою веру. Здесь же остатки завтрака. Сухой огрызок сваренного вкрутую яйца — он никогда не съедает яйцо полностью. Или сэндвич с сардинами и потеки масла вокруг. Огрызок яблока. Посасывая желтые зубы, он пишет старомодной пробковой вставочкой, так же как до сих пор бреется опасной бритвой и каждое утро наводит глянец на свои грубые потрескавшиеся башмаки.

Письмо, как всегда, начинается с излития политической желчи. Юлиус и Этель Розенберги, естественно, признаны виновными и приговорены к смерти. В Тихом океане проведены испытания водородной

1. Джин с вермутом, как английская королева (*англ.* + *франц.*).
2. Тягу к грязи (*франц.*).
3. Великолепен, просто неподражаем (*франц.*).

бомбы – что это, как не провокация в отношении Советского Союза и других стран народной демократии?! В США арестованы лидеры коммунистической партии – двадцать один человек! Они обвиняются в заговоре и подстрекательстве к государственному перевороту. Затем он переходит к скучным мелочам повседневности. Маме лучше не становится. Ее нельзя оставлять дома одну, поэтому приходится каждое утро возить ее в кресле из дома в лавку, а ведь скоро лед и снег; как же тяжко ему придется с его артритом! Она все время дремлет или читает в подсобке, ждет, когда он закончит работать, опустит ставни и повезет ее домой. Дома он ее выкупает, протрет смоченной спиртом салфеткой, а потом подогреет ей кэмпбеловский томатный суп, а на второе даст морковные кубики с горошком или кукурузой, всё из консервных банок. Или на старом свином жире поджарит ей из пары яиц омлетик – до кружевной сухой коричневой корочки с краю. На ночь станет прокуренным голосом читать ей, прерываемый приступами кашля, после которых будет сплевывать мокроту в грязный носовой платок. Кого читать? Да ясно кого: Говарда Фаста, Горького, Илью Эренбурга, Арагона, Брехта. Вместо распятия над кроватью у них висит копия грамоты, которую получил товарищ Норман Бетьюн от товарища Мао. Что же касается кровати, то из-за матери под простыню теперь приходится подкладывать клеенку. Иногда отец на ночь распускает матери волосы, расчесывает их и поет ей словно колыбельную:

В свой профсоюз, рабочие, вступайте!
Мужчины с женщинами, все в одном строю.
А кровососов жадных изгоняйте,
Как гонит буря пенную струю.
Не отставай, вперед гляди смелее!
Когда мы вместе, нам не страшно ничего.
Плечом к плечу мы все преодолеем –
Один за всех и все за одного!

Отец пишет, что у него никаких сил уже нет справляться. Если я вернусь домой, он простит мне все грехи, как вольные, так и невольные. Я смогу снова поселиться в задней комнатке, где радиатор шипит и щелкает всю ночь и где за окном открывается вдохновляющий пейзаж: чьи-то кальсоны, сохнущие на протянутой во дворе веревке, и простыни, которые зимой становятся жесткими, как жесть. Писать я смогу по утрам, только надо будет время от времени заглянуть к маме, вынести из-под кресла горшок – этакая аппетитная преамбула к завтраку. А вечерами мне придется помогать ему, я буду приглядывать за лавкой, пока он потчует страждущих *товарищей* марксистской панацеей. Еще я должен буду отбиваться от случайно забредших простаков, которым нужен то Норманн Винсент Пил – "Сила позитивного мышления", то, может быть, Гейлорд Хаузер – "Как выглядеть моложе и жить дольше". А платить он мне будет двадцать пять долларов в неделю.

"Я ведь не становлюсь моложе, и мама, которая тебя так любит, тоже. Наши жизни подходят к концу, и нам нужна твоя помощь".

А как же насчет моей жизни? Почему я должен жертвовать ею для них? Да я лучше вскрою себе вены, как это сделала бедняжка Клара [Этот пассаж про Клару в рукописном дневнике Макайвера, подлинник которого хранится в университете Калгари, выглядит так: "Да я лучше

вскрою себе вены, как это сделала бедняжка Клара (как всегда, неудачно, faute de mieux[1]- сие сквозит во всем, что она предпринимала)". Тетрадь № 31, сентябрь–ноябрь 1951 г., с.83. – *Прим. Майкла Панофски*], чей невероятный талант я распознал первым, нежели вернусь под постылый родительский кров. В этот так называемый дом, куда я не мог пригласить друзей без того, чтобы им не прочитали лекцию по истории всеобщей виннипегской стачки девятнадцатого года, а потом не всучили агитационные брошюрки для раздачи родителям.

Перечитывая отцовское послание, я с карандашом в руках правлю в нем правописание и пунктуацию. Обычно также отмечаю, что на всех семи страницах нет ни одного вопроса о моем настроении, душевном состоянии. Ни йоты интереса к тому, как продвигается мой труд.

Естественно, все эти призывы к сыновнему долгу вызывают у меня мигрень. Работать уже невозможно. Иду Люксембургским садом, потом по рю Вавен на Монпарнас. Это глупо, потому что моцион пробуждает аппетит, а на еду нет денег. Проходя мимо собора, замечаю П. – он о чем-то сговаривается с жуликом, который, говорят, теперь у него в приятелях. Это меняла с улицы Розье.

Пустой, пропащий день, не написал ни слова!

Париж, 20 октября 1951 г. Давно должен прийти чек с гонораром из ЮНЕСКО, а его все нет и нет. Из "Нью-Йоркера" вернули рассказ со стандартной печатной отпиской. Словесный понос Ирвина Шоу им больше по вкусу! Этого следовало ожидать.

С. всегда в прелестных платьях от Диора или Шанель. На одно платье тратит столько, что на эти деньги я мог бы жить месяцами. Да еще и жемчужное ожерелье с бриллиантовой застежкой. Кольца. Часы конечно швейцарские – "Патек–Филипп". Ее муж – какая-то крупная шишка в банке "Креди Лионне". Любовью он с ней не занимался более года. Она пришла к выводу, что он tante, но мог бы ведь хотя бы sans brio навести немножко "à voile et à vapeur"[2], как она однажды сказала.

С. опять ходила за покупками на рю Фобур Сент-Оноре. Прихожу с рынка, и вдруг консьержка вручает мне маленький перевязанный ленточкой сверток, доставленный лично. Флакон мужских духов от "Роже и Галле". И три куска ароматного мыла. Ох уж это высокомерие богачей!

Потом, едва я сел за стол, является сама – запыхавшаяся, не привыкла пешком на пятый этаж взбираться.

– У меня времени всего час, – говорит она; ее поцелуй воняет чесноком, которым она сдобрила завтрак.

– Но я только что сел за работу!

Она принесла с собой бутылку "редерер кристаль" и уже раздевается.

– Давай-давай, не тяни, – повелительно роняет она.

Сегодня только 300 слов. И все.

Париж, 22 октября 1951 г. П. свысока приглашает меня пообедать в дешевую забегаловку на рю Драгон и, конечно же, в ответ ожидает благодарности. Говорит, что разжился кое-какими деньгами в результате некоей темной сделки на паях с сообщником-менялой. Источая заботу, предла-

1. За неимением лучшего (*франц.*).
2. Педик... для порядка... Зд.: тень на плетень (*франц.*).

гает дать в долг. Я нуждаюсь ужасно, но отклоняю его предложение: он не из тех людей, у кого я могу позволить себе одалживаться. Его забота – всего лишь видимость. Он жутко неуверен в себе и навязывает свои услуги в надежде втереться в доверие к тем, кто лучше его.

Потом мы вместе доходим до Королевских кортов*, где ему особенно нравятся картины Сёра.

– Сёра приписывают изобретательность, говорят, будто он выдумал новый стиль, – возражаю я, – но он, как и многие импрессионисты, был, вероятно, просто близорук и изображал вещи так, как действительно их видел.

– Ну ты даешь! – отзывается П.

Париж, 29 октября 1951 г. Вся шайка за столом в кафе "Мабийон". Лео Бишински, Седрик Ричардсон, еще двое, чьих имен я не запомнил, какая-то девчонка с искрящимися волосатыми подмышками и конечно П., сопровождаемый обоими – его Свенгали и его Кларой. В ответ на фальшиво-дружественные приветствия я ненадолго остановился у их столика, стараясь не поддаваться на провокации Буки. Все в этой компании обкурены гашишем, что делает их еще глупее и скучнее, чем обычно.

Чтобы хоть как-то позабавиться, я стал выдумывать на всю артель общее прозвище. Йеху? Остолопы? В результате остановился на Шутах гороховых.

Они приехали сюда словно не набираться французской культуры, а болтать друг с другом. Ни один из них не потрудился хотя бы полистать Бютора, Натали Саррот или Клода Симона. Вечером, когда я иду (если есть деньги) смотреть постановку новой пьесы Ионеско или спектакль Луи Жуве, они в "Старой голубятне" орут, бисируя Сиднею Беше*. Собравшись за столиком в каком-нибудь кафе, они до хрипоты спорят, кто лучше орудует битой – Джо Ди Маджио или Тед Уильямс, а если на П. нападает его томительный хоккейный стих, то, соответственно, клюшкой – Горди Хоу или Морис Ришар. А то еще примутся друг с другом состязаться, кто вспомнит больше слов какой-то там песенки сестер Эндрюс*. Или реплик диалога из фильма "Касабланка". Прознают, что где-то идет комедия с Бадом Эбботом и Лу Костелло или мюзикл с Эстер Уильямс* – о, хлопают друг друга по плечам и радостно бегут туда все вместе, чтобы потом опять засесть в "Олд нэйви" или "Мабийоне" и гоготать часами.

Париж, 8 ноября 1951 г. Джордж Уитмен пригласил меня выступить с чтением в его книжном магазине. Наверное, с Джеймсом Болдуином не смог договориться.

Когда я начал, публики было сорок пять человек, в том числе и П. с приятелями, пришедшими явно чтобы только надо мною поглумиться. Да тут еще, откуда ни возьмись (хотя очень даже понятно откуда – их кликнул Бука), появились "буквалисты" и устроили обструкцию. Но они жестоко ошибаются, если думают, что им по силам меня устрашить. Несмотря на весь их вопеж и ржанье, я продолжал читать ради тех, кто пришел меня слушать.

П., которому наверняка приятно было видеть, как на меня нападают, пригласил потом меня выпить – с тем чтобы без помех всласть позлорадствовать. Непомерно внимательный, опять предложил денег взаймы. Спросил, не лучше ли мне вернуться в Монреаль и поискать ра-

боту учителя. "С твоим университетским образованием, да еще и медалью по филологии..." – мямлил он с плохо скрытой завистью в голосе.

– Кто умеет делать – делает, кто не умеет – учит, – ответил я.

Он обиделся и попытался сбежать не заплатив. Я удержал его, сказав, что пришел в кафе исключительно по его приглашению. Задетый за живое, он вскипел, стащил меня со стула и ударил в нос, так что пошла кровь. А потом все же сбежал, вынудив меня платить по счету.

То был не первый раз, когда П. за неимением аргументов пускает в ход кулаки. Я думаю, что и не последний. Он человек жестокий и отчаянный. Боюсь, не совершит ли он когда-нибудь убийства. [Запись в рукописной тетради № 31 (сентябрь–ноябрь 1951 г., с. 89) не содержит последнего предложения. Фраза "Боюсь, не совершит ли он когда-нибудь убийства" добавлена позже, постфактум. – *Прим. Майкла Панофски.*]

10

Привет-привет, это опять я. В новостях снова замелькал великий и несравненный Лео Бишински. Музей современного искусства устраивает ретроспективную выставку, которая затем отправится в Художественную галерею Онтарио – ура! наконец-то выход на мировую арену! На фотографии в "Глоб энд мэйл" видно, что Лео теперь носит парик, на который пошла, надо полагать, вся его коллекция волосков с причинных мест знаменитых манекенщиц – судя по виду изделия. Грудь нараспашку, сияющий, стоит в обнимку со своей двадцатидвухлетней любовницей, вылитой куклой Барби; ее руки обвивают его волосатый живот, необъятный, как бочка, в которых солят пастрами. Как я скучаю по Лео! Нет, в самом деле скучаю.

"Прежде чем приняться утром за работу, – по секрету сообщает Лео репортеру из "Глоб энд мэйл", – я ухожу в близлежащий лес и слушаю, о чем шумят деревья".

Однако на странице третьей той же газеты открывается нечто покруче.

Куда там Абеляру и Элоизе! Ромео и Джульетта? – отдыхают! Чак и Ди? Может быть, Майкл Джексон и сын дантиста из Беверли-Хиллз? Да ну! Берите выше! Сегодняшняя "Глоб" запузыривает истинно канадский блокбастер, печальнейшую повесть, полную любви и романтики. Какой-то неведомый Уолтон Сью вчера женился, тем самым завершив, по словам репортера "Глоб", "еще один акт почти шекспировской истории, где сплетаются любовь и деньги, верность и вендетта двух семей и в которой он и его жена оказались столь же невольными, сколь невероятными героями". Уолтон Сью, пятнадцать лет назад сбитый машиной и искалеченный в результате этого как физически, так и умственно, женился на прикованной к инвалидному креслу мисс Марии Де Саузе, страдающей от церебрального паралича. Их сочетали браком на "тайной" церемонии в Старой ратуше Торонто, где собралось больше прессы, чем родственников, пишет корреспондент "Глоб".

Проблема Уолтона Сью была в том, что его отец, в чьем распоряжении находились двести сорок пять тысяч долларов, полученные в качестве компенсации после того, печальной памяти, несчастного случая, был настроен категорически против женитьбы сына. Однако за день до свадьбы Уолтон был юридически признан неспособным управлять сво-

ей собственностью, и контроль над этими деньгами тут же перешел к Общественному Попечителю, коим является соответствующее учреждение провинции Онтарио. В результате Уолтон Сью и мисс Де Сауза были вынуждены переехать в дом инвалидов.

Я не пытаюсь выставить на посмешище эту пару, которой от всей души желаю *мазл тов*[1]. Для меня здесь изюминка в том, что умственная неполноценность, похоже, дала этому Сью лучшие шансы на удачную женитьбу, чем те, что когда-либо имелись у меня, а я в этом деле, можно сказать, ветеран: как-никак, а все-таки трижды пытался. Последний раз вступил в брак с женщиной, над которой "не властны годы, да и разнообразие ее вовеки не прискучит" ["Над ней не властны годы. Не прискучит / Ее разнообразие вовек". Шекспир. Антоний и Клеопатра, акт 2, сцена 2. <Перев. М. Донского.> — *Прим. Майкла Панофски*], но она в итоге сочла меня недостойным, и это еще мягко сказано. О, Мириам, Мириам, как томится по тебе мое сердце!

Была бы жива моя первая жена, я пригласил бы ее плюс Вторую Мадам Панофски и плюс Мириам на шикарный ужин в "Хуторок под оливами". Мы провели бы там симпозиум, посвященный крушениям брачных планов и надежд Барни Панофски, эсквайра. А также циника, волокиты, любителя выпить и поиграть на фортепьяно. К тому же, не ровен час, еще и убийцы.

Мой любимый монреальский ресторан "Хуторок под оливами" — живое доказательство того, что сей мятущийся, расколотый надвое город еще не лишился представления об истинных ценностях. Его спасение в том, что живущие в нем сильные мира сего не утрачивают привычки к удовольствиям. В Монреале не принято перекусывать на бегу или после полуденной партии в сквош перехватывать по-быстрому какой-нибудь салатик; этой болезни, присущей жителям Торонто, у которых в каждом глазу по доллару, у нас нет. Отнюдь: монреальцы собираются в "Хуторке под оливами" и сидят там, тратя на ланч по три, по четыре часа. Вдумчиво копаются в щедрых порциях côtes d'agneau или boudin[2], изысканные вина при этом пьют бутылками, а им вослед неспешно дегустируют коньяк и сигары. Именно здесь стороны состязательного процесса — непримиримые адвокаты с прокурорами, да и судьи тоже — встречаются, чтобы за дружеской беседой уладить разногласия, однако не раньше, чем попотчуют друг друга животрепещущей скабрезной сплетней. Здесь редко видишь жен, чаще любовниц. Крестный отец квебекских тори, у которого здесь постоянный столик, сидит, насосанный как клещ, и собирает дань, с видом до оскомины невинным. За соседними столиками министры провинциального правительства решают, кому дать, а кому не давать жирный строительный подряд, — сидят, выслушивают претендентов. У меня тут тоже свое местечко — за круглым столом еврейских грешников, где председательствует Ирв Нусбаум; здесь все мои преступления прощены или упоминаются только с целью вызвать взрыв хохота.

Сюда я приглашал Буку накануне бракосочетания со Второй Мадам Панофски.

А Бука, живи он поныне, был бы сейчас семидесятидвухлетним стариком и до сих пор, наверное, бился бы над тем своим первым рома-

1. Счастья и удачи (*иврит*) — традиционная еврейская здравица.
2. Баранины на ребрышках... кровяной колбасы (*франц.*).

ном, который должен был удивить мир. Вот ведь что во мне самое скверное. Мстительность. Но уже годы истекли с тех пор, как я со дня на день ждал, когда же он позвонит в мою дверь — не завтра, так послезавтра. "А ты читал Лавкрафта*?" Давно прошли ночи, когда я вдруг рывком вскакивал в четыре утра, бросался за руль и по какому-то безумному наитию мчал к своему домику на озере. Распахивал входную дверь, кричал, звал Буку по имени, все втуне, а потом сидел на пристани и смотрел на воду, куда он канул.

— Я видела его единственный раз, на твоей свадьбе, — сказала однажды Мириам. — Ты меня прости, конечно, но он был жалок. И не надо на меня так смотреть.

— Да я — ничего.

— Я понимаю: мы уже сотню раз проехали все происшедшее в тот ваш последний день на озере. Но у меня все равно такое чувство, будто ты что-то недоговариваешь. Вы там не ссорились?

— Да нет. Конечно нет.

По прошествии стольких лет милый моему сердцу домик на озере километрах в ста с лишним от Монреаля уже не радует меня так, как прежде. Конечно, когда в шестидесятые вдоль реки Святого Лаврентия построили шестиполосное шоссе, время на дорогу у меня сократилось до часа, а было ведь хорошо если два. Однако, к сожалению, из-за этого же шоссе озеро стало местом, где можно жить, работая в городе, а потом и вовсе появились компьютерно грамотные ухари, устроившие себе рабочие места прямо в коттеджах. Теперь уже не надо, добираясь до дома по предательскому проселку, разбитому лесовозами, ползти на первой передаче, петляя между торчащими валунами и стараясь не угодить в глубокую колею. Тогда я ездил с риском оторвать глушитель, который все-таки царапался, бился, и его каждый год приходилось менять. Нет, мне не жаль поваленных деревьев, частенько преграждавших путь, а вот ненадежного, узенького деревянного мостика через речку Чокчерри все-таки жалко: больно уж нравилось мне смотреть с него, как несутся во время весеннего паводка ее угрожающе вспухшие воды. Давным-давно его сменил нормальный железобетонный мост. А лесовозную дорогу, расширенную в конце пятидесятых, теперь замостили и даже чистят зимой от снега. И политический прогресс не обошел нас стороной. Это прекрасное озеро, настоящая жемчужина, которую про себя я продолжаю называть озером Амхерст, в семидесятые было переименовано в Лакмаркет комиссией de toponymie[1], которая не покладая рук занимается очищением la belle province[2] от названий, оставленных ненавистными завоевателями. Когда-то воды двадцатитрехмильного озера бороздили лишь каноэ и парусные яхты, теперь же лето нам страшно портят полчища моторок и воднолыжников. Мало того: то и дело пролетают над головой самолеты с натовской базы в Платтсбурге — рев при этом стоит, аж стекла дребезжат. Бывает, прогундосит в небе межконтинентальный лайнер, заходящий на посадку в аэропорт "Мирабель", а еще у нас есть трое олигархов, которые по выходным прилетают на собственных маленьких гидропланах. А вот в прежние времена наши еще не тронутые воды самолет, помнится, потревожил лишь однажды. Наверное, пожарный бомбардировщик — их тогда только испытывали, году примерно в пятьдесят девятом. Ну да, конечно, кто же еще: проревел над озером, хапнул там черт

1. По топонимике (*франц.*).
2. Букв.: прекрасная провинция (*франц.*); метонимия Квебека.

знает сколько тонн воды, снова набрал высоту и понес эту воду, чтобы сбросить на какую-нибудь дальнюю гору. Подумать только, когда я впервые сюда приехал, на озере было всего пять коттеджей, считая с моим, а теперь — господи! — больше семидесяти. Надо же, забавно: я скоро стану местной достопримечательностью, этаким старым чудаком первопоселенцем, соседи начнут приглашать меня на свои дачи, чтобы я веселил их детишек рассказами о тех днях, когда пятнистая форель кишела кишмя, зато не было даже электричества и телефонов, а не то что, скажем, кабельного телевидения или спутниковых тарелок.

На свою Ясную Поляну я наткнулся случайно. Дело было в тысяча девятьсот пятьдесят пятом году. Один приятель пригласил меня на выходные к себе на дачу, которая была на другом озере, но я не там свернул и оказался на дороге, проложенной для лесовозов. Дорога привела меня к домику, на вид брошенному, стоящему на высоком пригорке над озером, и вдруг оборвалась. Смотрю, к столбу покосившейся веранды приколочена табличка с надписью "Продается" и указанием, к кому обращаться. Дверь оказалась заперта, и окна заколочены досками, но одну доску мне удалось отодрать, и я влез внутрь, распугав там белок и полевых мышей. Хижину, как выяснилось, построил в тысяча девятьсот тридцать пятом году какой-то американец из Бостона, чтобы ездить сюда на рыбалку, и она уже десять лет как выставлена на продажу. Последнее обстоятельство меня не удивило, поскольку состояние хижины было кошмарным. Но она покорила меня с первого взгляда, и я приобрел ее вместе с окружающими десятью акрами* луга и леса, причем фантастически дешево — всего за какие-то десять тысяч долларов. Следующие четыре года я проводил там каждый летний выходной, питаясь бутербродами и обходясь керосиновой лампой; ночи коротал в спальном мешке, окружившись мышеловками, а днем ругался с неповоротливыми местными строителями, мало-помалу приводившими дом в состояние, пригодное для житья. На третий год установил бензиновый генератор, однако до того, чтобы сделать дом зимним и построить во дворе сараи и лодочный ангар, не доходили руки, пока я не женился на Мириам. И по сей день я содержу в порядке шалаш на дереве, где когда-то играли дети. Зачем? Ну, может быть, для внуков.

Вот, разволновался, принялся мерить шагами гостиную. Кто-то должен прийти в одиннадцать, будет брать у меня интервью, а вот кто — убей бог, не помню. И зачем тоже. Оставил сам себе записку-памятку, но она куда-то пропала. Вчера ехал на своем "вольво", собирался уже поворачивать к дому и вдруг растерялся — не знаю, как воткнуть третью передачу. Подрулил к тротуару, отдохнул, потом выжал сцепление и стал практиковаться в переключении передач.

Стоп. Поймал. Юная дама, которая ко мне придет, — это ведущая передачи "Кобёл с микрофоном" студенческого радио университета Макгилла. Между делом она работает над диссертацией о Кларе. Допрос на эту тему для меня не новость. Ко мне уже приходили или присылали письма феминистки со всего света — из Тель-Авива, Мельбурна, Кейптауна и — ну, того города в Германии, откуда Гитлер повел наступление на парламент. Да как же его — туда еще ездил британский премьер-министр с зонтиком. Обещал немедленный мир. Черт! Черт! Черт! Тот самый город, где у них бывает знаменитый пивной фестиваль. Пильзнер? Мольсон? Нет. Звучит как название народца в "Волшебнике из страны Оз". Или картины... ага: "Вопль" ["Крик". — *Прим. Майкла Панофски*] этого... как его... Мунка. Мюнхен! Да какая разница, я хочу сказать только то, что почита-

тельниц святой великомученицы Клары тьма-тьмущая, и всех их объединяют две вещи: во-первых, я для них воплощение гнусности, а во-вторых, они отказываются понимать, что Клара терпеть не могла других женщин, считая их своими соперницами по борьбе за мужское внимание, в котором она купа-а-а-лась.

Над каминной доской у меня и поныне висит один из Клариных чересчур многофигурных, болезненно-извращенных рисунков пером. Изображено на нем групповое изнасилование девственниц. Оргия. Разыгравшиеся гаргульи и гоблины. Радостно ржущий сатир в моем образе держит за волосы голую Клару. Она на коленях, а я пытаюсь всунуть ей в открытый рот, воспользовавшись моментом крика. Мне за это очаровательное видение предлагали аж двести пятьдесят тысяч долларов, но ничто не может заставить меня с ним расстаться. По мне, наверное, не скажешь, но на самом деле я сентиментальный старый болван.

Так что я приготовился к визиту *феминацистки*, как окрестил такого рода публику Раш Лимбо*. В носу, видимо, запонка, в сосках колечки и в каждой руке по кастету. Немецкая каска времен Второй мировой. Ботинки-говнодавы... Но нет, открываю дверь, стоит юная скромница, девочка-тростинка, темненькая, причем волосы не подстрижены под мальчика, а свободно лежат по плечам, да еще и мило улыбается, блестит бабушкиными очочками, вся такая изящная в платье от Лоры Эшли и туфлях-лодочках. Она сразу покорила меня тем, что восхитилась фотографиями звезд чечетки, развешанными у меня по стенам: Уилли Негритенок Ковен — создатель ритм-вальса; Козлоногий Бейтс, пойманный в полете; Братья Николас — честь и слава "Коттон-клаба"; Ральф Браун; молодые Джеймс, Джин и Фред Келли в костюмах гостиничной обслуги (фотография сделана в театре Никсона в Питтсбурге, год тысяча девятьсот двадцатый); и, конечно, великий Билл Боджанглз Робинсон, снятый в цилиндре, фраке и белом галстуке — фото что-нибудь года тридцать второго. Мисс Морган выставила магнитофончик, выложила пачку заготовленных вопросов, для разгона выступив с обычным "Как вы с Кларой познакомились?", "Чем она вас привлекла?" и так далее и так далее, и наконец пустила первую стрелу:

— Во всех источниках, которые я сумела отыскать, говорится, что вы, похоже, были безразличны к великим дарованиям Клары как поэта и художника и никак ее не поддерживали.

Мне было забавно, и я решил поддразнить мисс Морган.

— Позвольте вам напомнить о том, что сказала однажды в церкви Марика де Клерк, жена бывшего премьер-министра Южно-Африканской Республики: "Женщины незначительны. Наше дело обслуживать, лечить раны, дарить любовь..."

— А, так вы из этих, — потускнела она.

— "Если женщина вдохновляет мужчину на добро, — сказала мадам де Клерк, — он добр". Можно сказать — ну, хотя бы просто для затравки спора, — что Клара не выполнила это свое предназначение.

— А вы не выполнили свое по отношению к Кларе?

— Случившееся было неизбежно.

У Клары была боязнь пожара. "Это ведь пятый этаж, — скулила она. — У нас не будет никаких шансов!" Услышав неожиданный стук в дверь нашего номера, впадала в оцепенение, поэтому друзья приучились сперва объявлять о себе голосом: "Это Лео" или "Это Бу-ука! Страшный-ужа-асный! Кладите ценности в пакет и суйте под дверь!" Жирная пища вызывала у

нее рвоту. Еще она страдала от бессонницы. Но если дать ей хорошенько хватануть винца — засыпала, что, впрочем, не было однозначно хорошо, потому что ей снились кошмары, от которых она просыпалась вся дрожа. Не доверяла незнакомцам, а друзей так и вовсе подозревала во всех смертных грехах. Все вызывало у нее аллергию — ракообразные, моллюски, яйца, шерсть животных, пыль и любой, кто не реагировал на ее присутствие. Месячные приносили головную боль, судороги, тошноту и приступы раздражения. То и дело надолго нападала экзема. В комнате под окном она держала заткнутый глиняный горшок, "кувшин Беллармини"*, полный ее мочи и обрезков ногтей — это чтобы отгонять злые чары. Пугалась кошек. Высоты страшилась ужасно. От грома ежилась и каменела. Боялась воды, змей, пауков и людей как таковых.

Читатель, я на ней женился!

Не потому что я в те дни был похотливым двадцатитрехлетним мальчишкой, а она такой уж пантерой в постели. Наш роман, какой ни на есть, постельными изысками не блистал. Клара, с ее маниакальным кокетством и скабрезным недержанием речи, со мной во всяком случае, вела себя так же ханжески благонравно, как ее мать, о ненависти к которой она кричала на всех перекрестках; в том, что она клеветнически именовала "моими тридцатью секундами трения", она мне отказывала то и дело. Или стойко терпела. Или делала все от нее зависящее, чтобы убить всякую радость, какую мы могли выцедить из наших все более редких и никчемных соитий. Уж сколько лет прошло, а вспоминаются одни ее наставления.

— Нет, ты сначала вымой его горячей водой с мылом и, кстати, не вздумай в меня кончать!

Однажды она снизошла до того, чтобы сделать мне минет, и тут же ее вытошнило в раковину. Уничтоженный, я молча оделся, вышел вон и поплелся по quais[1] к площади Бастилии и обратно. По возвращении обнаружилось, что она собрала чемоданчик, сидит на кровати скрюченная и дрожит, вопреки многослойности шалей.

— Надо было мне уйти, не дожидаясь твоего прихода, — натужно проговорила она, — но мне нужны деньги, чтобы снять где-нибудь другую комнату.

Почему я не дал ей уйти, пока можно было сделать это безнаказанно? Зачем подхватил на руки, стал укачивать, успокаивать ее хныканье? Зачем раздел, уложил в постель и гладил по головке, пока она не сунула большой палец в рот и ее дыхание не стало ровным?

Весь остаток ночи я сидел рядом с кроватью, курил сигарету за сигаретой и читал тот роман про Голема в Праге — этого, ну, как его, он еще другом Кафки был*, — а рано утром пошел на рынок и купил ей на завтрак апельсин, круассан и йогурт.

— Ты тот единственный мужчина, что для меня очистил апельсин, — сказала она, уже работая над первой строкой стихотворения, вошедшего теперь в великое множество антологий. — Ведь ты не выкинешь меня на помойку, правда же? — спросила она голосом маленькой девочки, которая подлизывается к мамочке.

— Нет.

— Ты по-прежнему любишь свою сумасшедшую Клару, правда же?

1. Набережным (*франц.*).

— Честно говоря, не знаю.

Почему в том моем тогдашнем опустошении я не дал ей сразу денег и не помог переехать в другую гостиницу?

Моя проблема в том, что я не способен проникать в суть вещей. Пусть от меня ускользают мотивации и побуждения других людей — это со мной давно уж, — но как можно не знать причины собственных поступков?

Потом несколько дней Клара была само покаяние — послушная, вроде бы даже любящая, даже в постели она всячески меня поощряла, и лишь напряженность, ригидность тела выдавала ее, говорила, что ее пыл наигран.

— Ах, как хорошо. Как чудесно, — повторяла она. — Как ты мне нужен там, внутри.

Хрена с два. А вот была ли нужна мне она, тут можно поспорить. Нельзя недооценивать того, как много в каждом из нас от заботливой мамки-няньки, даже если это такой вздорный, сварливый тип, как я. Заботясь о Кларе, я чувствовал себя человеком благородным. Доктором Барни Швейцером. Матерью Терезой Панофски.

Вот и сейчас — сижу с сигарой в зубах в два часа ночи за шведским бюро, за окном двадцатиградусный морозный Монреаль, и строчу, строчу, пытаясь наделить хоть каким-то смыслом мое невразумительное прошлое; нет, списать свои грехи на счет юности и наивности не выходит, зато перед мысленным взором как живые встают те мгновения жизни с Кларой, воспоминания о которых греют по сей день. Она была великой насмешницей, могла заставить меня хохотать над самим собой, а этот дар не следует недооценивать. Бывали у нас и моменты идиллически безмятежные, я их тоже очень любил. Лежал, например, на кровати в нашей крохотной гостиничной комнатенке и притворялся, будто читаю, а сам следил за Кларой, как она работает за столом. Нервная, дерганая Клара совершенно спокойна. Сосредоточенна. Увлечена. На лице ни следа так часто портившего ее смятения. Я был непомерно горд тем, как высоко ее рисунки и опубликованные стихи оценивали другие, более сведущие люди, нежели я. Предвкушал, как буду выступать ее хранителем, защитником. Как обеспечу ее всем необходимым для продолжения работы, освобожу от забот о сиюминутных проблемах. Отвезу домой в Америку и построю ей мастерскую где-нибудь за городом, с верхним светом и пожарной лестницей. Буду укрывать от грома, змей, кошачьей шерсти и злых чар. Буду греться в лучах ее славы — этакий преданный Леонард* с его вдохновенной Вирджинией. Однако в нашем случае мне придется быть настороже, а то как бы она, обезумев, не забежала вдруг в глубокую воду с карманами, полными тяжелых камней. Йоссель Пински (тот выживший узник концлагеря, что стал потом моим партнером) парочку раз встречался с Кларой и не разделял моего оптимизма.

— Всяких этих цирлих-манирлих в тебе не больше, чем во мне, — говорил он. — И зачем мучиться? Она *мешу́гена*[1]. Вали от нее, пока не поздно.

Но в том-то все и дело, что было поздно.

— Ну, ты, конечно, хочешь, чтобы я сделала аборт? — вдруг огорошила меня она.

1. Ненормальная (*идиш*).

— Постой, постой! Минутку! — всполошился я. — Дай подумать. "Господи, — только и вертелось при этом у меня в голове, — мне двадцать три года. Христос всемогущий!" Пойду пройдусь. Я ненадолго.

Пока меня не было, ее опять вырвало в раковину. Возвращаюсь, смотрю — спит. Разгар дня, три часа пополудни, а Клара, с ее вечной бессонницей, крепко спит. Прибрался получше и час еще ждал, когда она встанет с кровати.

— А, явился, — проговорила она. — Герой-любовник.

— Я могу поговорить с Йосселем. Он кого-нибудь найдет.

— А то и сам справится. Ковырнет крючком от вешалки. Только я-то уже решила рожать. С тобой, без тебя — не важно.

— Если ты собираешься заводить ребенка, то мне, видимо, следует на тебе жениться.

— Это ты так предложение мне сделал?

— Я озвучиваю это как вариант.

— Ой, спасибо вам, ваше ашкеназское* высочество! — Клара сделала реверанс, потом выскочила из комнаты и бросилась вниз по лестнице.

Бука был непреклонен:

— Что значит — это твоя обязанность?

— Ну а разве нет?

— Ты еще хуже спятил, чем она. Заставь ее сделать аборт!

В тот вечер я искал Клару повсюду и в конце концов нашел в "Куполь", где она сидела за столиком одна. Я наклонился и поцеловал ее в лоб.

— Я решил жениться на тебе, — сказал я.

— Ух ты ах ты. Мне даже не надо говорить "да" или "нет"?

— Если хочешь, можем проконсультироваться с твоей "Книгой И-дзин".

— Мои родители на свадьбу не приедут. Для них это унижение. Миссис *Панофски.* Словно жена какого-нибудь шубника. Или владельца мелочной лавки "Все по оптовым ценам".

Я снял для нас квартиру в пятом этаже на рю Нотр-Дам-де-Шамп, и мы расписались в mairie[1] шестого аррондисмана. На невесте была шляпка-"клош" (мягкий колпак, натянутый по самые глаза), дурацкая вуаль, черное шерстяное платье до щиколоток и белое боа из страусовых перьев. Когда ее спросили, берет ли она меня в законные мужья, в стельку пьяная Клара подмигнула распорядителю и говорит:

— У меня пирог в духовке. Куда денешься?

Шаферами при мне были Бука и Йоссель, принесли подарки. Бука подарил бутылку шампанского "дом периньон" и четыре унции гашиша, запрятанного в вязаные голубенькие пинетки; Йоссель — набор из шести простыней и банных полотенец из отеля "Георг V"; Лео — подписанный набросок и дюжину пеленок; Макайвер же принес номер журнала "Мерлин" с его первым напечатанным рассказом.

Во время свадебных приготовлений я наконец улучил момент, чтобы заглянуть Кларе в паспорт, и каково же было мое изумление, когда я обнаружил, что ее фамилия Чернофски.

— Можешь не волноваться, — успокоила меня она. — Ты заполучил себе настоящую *шиксу* голубых кровей. Дело в том, что, когда мне было девятнадцать, я с ним сбежала, и в Мексике мы поженились. Это мой

1. Мэрии (*франц.*).

учитель рисования. Чернофски. Наш брак длился всего три месяца, однако стоил мне всех моих денег. Отец лишил меня наследства.

После того как мы переехали в нашу квартиру, Клара стала все больше засиживаться по ночам — что-то царапала в тетрадках или сосредоточенно раздумывала над своими, будто навеянными кошмаром, рисунками пером. Потом спала до двух или трех часов дня, выскальзывала на улицу и где-то пропадала, а вечером подсаживалась к нам за столик в кафе "Мабийон" или "Селект" и вела себя как преступница.

— А между прочим, миссис Панофски, интересно, где вы были весь день?

— Не помню. Гуляла, наверное. — Потом, покопавшись в пышных юбках, она объявляла: — Вот, я тебе подарок принесла! — и вручала мне банку pâté de foie gras[1], пару носков или (однажды и такое было) дорогую серебряную зажигалку. — Если родится мальчик, — сказала она, — я назову его Ариэль.

— А что? Звучит естественно, — одобрил Бука. — Ариэль Панофски.

— А я бы назвал его Отелло, — сказал Лео с кривой ухмылкой.

— Да пошел ты, Лео, — отмахнулась от него Клара, и ее глаза вдруг загорелись мрачным огнем: ею овладел один из все более частых приступов необъяснимо дурного настроения. Она повернулась ко мне. — А может, если хорошо подумать, лучше Шейлок?

Как ни странно, когда Клару перестало по утрам тошнить, играть с нею в семейную пару оказалось очень даже занятно. Мы ходили по магазинам, обрастали кухонной утварью, купили детскую кроватку. Клара смастерила мобайл, чтобы над ней повесить, и нарисовала на стенах детской кроликов, белочек и сов. Я, конечно же, занимался готовкой. *Спагетти болоньезе* – лапша, откинутая на дуршлаг. Салат из рубленой куриной печенки. И мое главное достижение, мое pièce de resistance – обвалянные в сухарях телячьи отбивные с картофельными *латкес* под яблочным соусом. К нам часто приходили на обед Бука, Лео с какой-нибудь из своих девчонок и Йоссель, а однажды даже Терри Макайвер, а вот Седрика, который не явился на наше бракосочетание, Клара у себя в доме терпеть отказалась.

— Почему? — спросил я.

— Какая разница. Просто не хочу его здесь видеть.

Йосселя она тоже не очень-то привечала.

— У него плохая аура. И я ему не нравлюсь. И я не хочу знать, что вы там с ним вдвоем затеваете.

И вот однажды я усадил ее на диван, подал стакан вина и говорю:

— Я должен съездить в Канаду.

— Что-о?

— Всего-то недели на три. Ну, максимум на месяц. Йоссель каждую неделю будет приносить тебе деньги.

— Ты не вернешься.

— Клара, не заводись.

— Но почему в Канаду?

— Мы с Йосселем организуем совместный бизнес по экспорту туда сыров.

1. Паштета из гусиной печенки (*франц.*).

– Ты шутишь! Торговать сырами. Позорище! Клара, ты, кажется, была в Париже замужем? Да. За писателем или за художником? Нет, за пархатым торговцем сырами.

– Клара, это деньги.

– Но это ж ведь подумать только! Я тут одна с ума сойду. Я хочу, чтобы ты поставил мне засов на дверь. А что, если пожар?

– А что, если землетрясение?

– Слушай, а может, у тебя с этими сырами так здорово пойдет, что ты и меня в Канаду выпишешь, и мы вступим в гольф-клуб, если они не перевелись еще там, и будем приглашать людей играть в бридж. Или в маджонг. А ни в какие такие блядские общества женщин при синагоге я вступать не стану и обрезание Ариэлю делать не будут. Я не позволю.

Мне удалось зарегистрировать в Монреале компанию, я открыл офис и нанял старого школьного приятеля Арни Розенбаума, чтобы он вел в нем дела, – и все это за три недели лихорадочной беготни. И Клара потихоньку привыкла, даже с удовольствием предвкушала очередной мой отъезд – а я летал в Монреаль каждые полтора месяца, – лишь бы я вернулся, нагруженный банками с арахисовым маслом, букетами цветов и по меньшей мере двумя дюжинами пакетиков изюма в шоколаде. Как раз во время этих моих отлучек она по большей части и написала, и проиллюстрировала рисунками пером свою книгу "Стихи мегеры", которая выходит нынче уже двадцать восьмым изданием. В нее включено стихотворение, посвященное "Барнабусу П.". Сие трогательное излияние начинается словами:

Он шкуру спускал для меня с апельсина, а чаще с меня,
Калибанович,
мой надзиратель*.

Я был в Монреале, вовсю там, что называется, крутился, Клара ходила на седьмом месяце, и тут вдруг как-то ранним утром мне в отель "Маунт Роял" позвонил Бука.

– Думаю, тебе стоит взять трубку, – сказала Абигейл, жена моего старого школьного дружка, которого я определил управляющим в наш монреальский офис.

– Слушаю.

На проводе оказался Бука.

– Давай по-быстрому, бери билет и первым самолетом дуй в Париж.

Приземлившись – черт, да как же тогда аэропорт назывался? Ведь он не был еще имени де Голля. [Аэропорт Шарля де Голля никогда ни под каким другим названием не существовал. Имеется в виду, вероятно, Ле Бурже. – *Прим. Майкла Панофски.*] Н-да... так вот, стало быть, приземлившись на следующий день в семь утра, я кинулся прямо в Американский госпиталь.

– Я пришел повидать миссис Панофски.

– А вы ей кто – родственник?

– Я ей муж.

Молоденькая медсестричка, полистав блокнотик, глянула на меня с внезапным интересом.

– Доктор Мэллори хотел бы с вами сперва переговорить, – сказала регистраторша.

Мне он сразу не понравился, этот доктор Мэллори, осанистый мужчина с бахромкой седых волос вокруг лысины – от него веяло невероят-

ным самомнением, такие пациента в упор не видят, если сложность случая не достойна его великого врачебного таланта. Он пригласил меня присесть и сообщил, что ребенок родился мертвым, однако миссис Панофски, здоровая молодая женщина, несомненно сможет родить еще. Игриво улыбаясь, он добавил:

– Я, конечно же, говорю вам это в предположении, что вы и есть отец ребенка.

Он замолк, видимо ожидая официального подтверждения.

– Ну да, я.

– В таком случае, – проговорил доктор Мэллори, щелкнув цветными подтяжками и явно наслаждаясь эффектом заранее заготовленного выпада, – вы должны быть альбиносом.

С бьющимся сердцем вникая в эту новость, я окинул доктора Мэллори самым, как мне хотелось надеяться, угрожающим взглядом.

– Ладно, я с вами еще свяжусь.

Клару я нашел в палате для родивших, где лежали еще семь женщин, некоторые уже нянчили новорожденных. Она, должно быть, потеряла много крови. Была бледна как мел.

– Каждые четыре часа, – сказала она, – мне к грудям прикладывают присоски и сцеживают молоко, будто я дойная корова. Ты виделся с доктором Мэллори?

– Да.

– Он мне все: "Ну вы народ!.. Ну народ!.." И сует чуть ли не в нос, сует бедное сморщенное тельце, как будто оно из помойного бака выскочило и на него набросилось.

– Он обещал, что я смогу забрать тебя домой завтра утром, – сказал я, сам удивившись тому, как спокойно звучит мой голос. – Приду пораньше.

– Я не хитрила с тобой. Клянусь, Барни. Я была уверена, что ребенок твой.

– Как же это, черт возьми, ты могла быть в этом уверена?

– Это было всего один раз, и мы оба были в стельку.

– Клара, нас тут, похоже, очень внимательно слушают. Так я зайду, значит, завтра утром.

– Меня здесь уже не будет.

У себя в кабинете доктора Мэллори не оказалось. Зато на столе лежали два билета первого класса на самолет до Венеции и клочок бумаги с подтверждением, что ему зарезервирована комната в отеле "Палаццо Гритти". Я записал номер комнаты, кинулся на ближайший почтамт и заказал разговор с отелем "Палаццо Гритти".

– Это говорит доктор Винсент Мэллори. Я хочу отменить заказ номера с завтрашнего вечера.

Последовала пауза: клерк рылся в бумажках.

– Совсем отменить? Все пять дней?

– Да.

– В таком случае боюсь, что вы теряете задаток, сэр.

– Да пошел ты, дешевый мелкий мафиозо! Нашел чем удивить, – сказал я и повесил трубку.

Бука, мой вдохновитель, мог мной гордиться. Наш главный мастер злых розыгрышей выделывал с людьми штуки куда худшего свойства, подумал я и отправился куда глаза глядят. В ярости. Я был готов убить кого угодно. В конце концов оказался, бог знает как, в кафе на улице

Скриб, где заказал двойной "джонни уокер", на ценнике заявленный как "уакёр". Прикуривая одну сигарету от другой, я с удивлением заметил в дальнем углу зала Терри Макайвера, угнездившегося за столиком с женщиной в возрасте, разодетой и непомерно накрашенной. На мой непосвященный взгляд, его "стройная и, в общем, не дурная собой" Элоиза представляла собой коренастую бабищу с отечным лицом, на котором явственно проступали усики. Поймав мой взгляд и не меньше моего изумившись, Терри снял со своего колена ее перегруженную перстнями руку, что-то ей прошептал и вразвалочку пошел к моему столу.

— Это занудная тетка Мари-Клер, — сказал он со вздохом.

— Да ну? Я бы сказал, влюбленная тетка Мари-Клер.

— Знаешь, она сейчас в таком состоянии, — зашептал он. — Ее пекинеса сегодня утром задавила машина. Представь. А у тебя-то чего такой жуткий вид? Что случилось?

— Да все сразу, но я бы сейчас предпочел в это не вдаваться. Ты что, неужто поябываешь эту старую кошелку?

— Черт, тише ты, — зашипел он. — Она понимает по-английски. Это тетка Мари-Клер.

— О'кей. Ладно. А теперь вали-ка на хрен, Макайвер.

Он ушел, но не раньше, чем сам отвесил мне прощальную плюху.

— На будущее, — сказал он, — я буду тебе весьма признателен, если ты перестанешь за мной следить.

Макайвер с этой своей "теткой Мари-Клер" выскочили из кафе, даже не допив того, что у них было в бокалах, и уехали, но не в "остинехейли", а в довольно-таки потрепанном "форде-эскорте". ["Форд-эскорт" начали выпускать в Англии только в январе 1968 года. — *Прим. Майкла Панофски.*] Лжец, лжец, лжец этот Макайвер!

Я заказал еще один двойной "джонни уакёр", а потом отправился на поиски Седрика. Нашел в его любимом кафе, где собирались тусовщики из "Пэрис ревью" и куда часто приходил Ричард Райт*, — это было кафе "Турнон" в конце улицы Турнон.

— Седрик, чувак, дружище, мне надо с тобой поговорить, — сказал я и под локоток, под локоток принялся выталкивать его из зала.

— Да можно же и здесь поговорить, — уперся он, высвобождая руку, и указал мне на свободный столик в углу.

— Позволь я куплю тебе выпить, — сказал я.

Он заказал vin rouge[1], а я — порцию виски.

— Ты знаешь, — начал я, — много лет назад мне папа сказал однажды, мол, самое худшее, что с человеком может случиться, это если он потеряет ребенка. Что на это скажешь, чувак?

— Ты что-то хочешь мне сообщить? Тогда давай, чувак, рожай уже.

— Да. Это верно. Очень в тему. Но я боюсь, что новость-то хреновая, Седрик. Ты сегодня потерял сына. То есть — как бы это?.. посредством моей жены. А я пришел сюда выразить тебе мои соболезнования.

— Ий-ёт-т-т-т.

— Ага.

— Я-то и понятия не имел!

— Вот и я тоже.

— А что, если он и не мой?

1. Красное вино (*франц.*).

— Вот это уже занятный поворот.

— Хрен-ново-то как, а, Барни?

— А мне каково?

— А ничего, если и я кое-чего спрошу?

— Валяй.

— На кой черт ты вообще на Кларе женился?

— Потому что она забеременела, и я посчитал это своим долгом перед моим будущим ребенком. Теперь моя очередь спрашивать.

— Давай.

— Ты что, трахал ее всю дорогу? И до того, и после?.. Я к тому, что мы все-таки были женатой парой.

— А она что говорит?

— Я сейчас тебя спрашиваю.

— Ий-ёт-т-т-т.

— А я думал, ты мне друг.

— Да при чем тут это!

И вдруг я, как бы со стороны, услышал собственные слова:

— Понимаешь, здесь для меня граница. Заводить шашни с женой друга... Я бы никогда не смог.

Он заказал еще выпить; на этот раз по моему настоянию мы чокнулись.

— Событие как-никак, — сказал я. — Не правда ли?

— И что ты теперь с Кларой будешь делать?

— А слабó забрать ее у меня, а, па-по-чка?

— Нэнси, пожалуй, не одобрит. Трое в постели. Н-нет, не мой стиль. Но все равно, спасибо тебе за щедрость.

— Да что уж там — я ведь от души.

— Вот это-то и греет.

— На самом деле я думаю, такое предложение с моей стороны — ох как расизмом отдает!

— Ха, Барни, чувачок, ты же не будешь связываться со злобным ниггером вроде меня. Я ведь могу и бритовкой чикнуть.

— Это мне не пришло в голову. Давай-ка лучше выпьем еще.

Когда patronne[1] принесла нам очередную порцию, я, пошатнувшись, встал, поднял бокал.

— За миссис Панофски, — сказал я. — С благодарностью за удовольствие, которое она доставила нам обоим.

— Ты сядь, а то упадешь.

— И то верно.

Тут меня вдруг затрясло. Пытаясь проглотить булыжник, застрявший в горле, я сказал:

— Ты знаешь, Седрик, честно говоря, я понятия не имею, что теперь делать. Может, мне следует тебя ударить?

— Да черт подери, Барни, очень неприятно говорить тебе это, но я же был у нее не один!

— Да ну?

— А ты и этого не знал?

— Нет.

— Она же на всех кидается.

1. Хозяйка (*франц.*).

— Да уж прямо на всех! На меня не кидается.

— Давай знаешь что? Закажем по паре чашек кофе, а потом можешь дать мне по морде, если тебе от этого станет легче.

— Хочу еще виски.

— О'кей. Теперь послушай старого дядюшку Римуса*. Тебе всего двадцать три года, а она законченная психопатка. Беги от нее подальше. Разведись с ней.

— Видел бы ты ее. Кровопотеря страшная. Жуткий вид.

— А у тебя что — лучше?

— Боюсь, как бы она чего с собой не сделала.

— О, Клара куда более крепкий орешек, чем ты думаешь.

— Слушай, а кто ей... это ты спину ей так расцарапал?

— Чего?

— Значит кто-то другой.

— Все, ладно, хватит. Finito. Дай ей неделю оклематься, а потом пусть валит.

— Седрик, — пробормотал я, внезапно вспотев, — что-то все кружится. Я блевану сейчас. Сведи меня в сортир. Быстрей.

11

Яркой (хной крашенной) Соланж Рено, когда-то игравшей Екатерину из "Генриха V" в нашем местном Стратфорде, давным-давно пришлось смириться с нескончаемой ролью франкоканадской няни в моем сериале про Макайвера, ветерана Канадской конной полиции. Я всерьез поставил себе за правило непременно находить работу для Соланж в каждом проекте, которым занимается наша "Артель напрасный труд", и делаю это неукоснительно начиная с семидесятых. Уже весьма теперь немолодая — как-никак шестьдесят с хвостиком, — но все еще нервически худощавая, она упорно продолжает одеваться как молоденькая инженю, однако во всем остальном я считаю ее женщиной, достойной всяческого восхищения. Ее муж, одаренный театральный художник, умер от обширного инфаркта, когда ему было слегка за тридцать, и Соланж одна воспитала и дала образование дочери, неукротимой Шанталь, ставшей теперь моим персональным секретарем. Субботними вечерами — благо молодые, якобы собственным умом всего добившиеся, бездарные, никчемные канадцы (все до одного мультимиллионеры) сидят по норам — мы с Соланж сперва обедаем в "Позе", а потом направляемся в "Форум", где nos glorieux когда-то были почти что непобедимы. Господи боже мой, подумать только: когда-то стоило красавцам в красно-белых свитерах перемахнуть через бортик, и пришлая команда разгромлена! Да, были в наше время мастера. Не хоккеисты — пожарные! Мягкие, но точные пасы. Молниеносные удары клюшкой. Защитники, которые умели забивать. И никакой этой зубодробительной рок-музыки в десять тысяч децибел, когда вбрасывание откладывается из-за того, что на телевидении запаздывают с рекламой.

Однако сегодня мой традиционный, хотя и с каждым разом все более огорчительный субботний выход в свет с Соланж, похоже, под угрозой. Оказывается, в прошлую субботу я опять вел себя по-хулигански, и ей было за меня неловко. Приписываемый мне проступок я будто бы совершил во время третьего периода. "Монреальцы" — эти мокрые курицы — уже проигрывали 4 :1 "Сенаторам" из Оттавы, и тут им в кои-то веки выпало

поиграть в большинстве, а они тянут и тянут: прошла минута, и ни одного броска по воротам. Саваж, идиот чертов, сделал передачу на пустое место, тем самым дав возможность захватить шайбу медлительному защитнику оттавцев, такому ездуну, что в доброе старое время он бы вообще вряд ли попал в хоккейную лигу Квебека. Потом шайбу принял Туржон, выкатился с нею на центр и, как в гольфе, забабахал в угол, куда тут же, отпихивая друг друга, кинулись Дэмпхауз и Саваж, схватившись в тучах снежной пыли чуть не врукопашную.

– Черт побери этого Туржона, – заорал я, – с его контрактом, по которому он зарабатывает тысяч по сто с гаком за каждый гол! Беливо платили всего-то пятьдесят тысяч долларов за весь сезон [За сезон 1970–1971 гг. – последний, когда Беливо играл за "Монреаль канадиенз", – ему заплатили 100 000 долларов. – *Прим. Майкла Панофски*], но он не боялся перетащить шайбу через синюю линию!

– Да я знаю, – сказала Соланж, горестно закатив глаза. – Дуг Харви так и вообще в год не больше пятнадцати тысяч получал.

– А ты откуда знаешь? Наверное, я тебе сказал.

– Не скрою, ты говорил мне это уж не знаю сколько раз. А теперь посиди, пожалуйста, тихо и перестань выставлять себя на посмешище.

– Да ты только взгляни! У ворот никого – они боятся налететь на подставленный локоть! Счастье, если нам Оттава, хоть и в меньшинстве, не заколотит еще гол. Черт! Был-лядь!

– Барни, умоляю!

– Им надо прикупить еще одного финского карлика вроде Койву, – бесновался я, присоединяясь к общему возмущению.

Какой-то безымянный "сенатор" выскочил из загородки штрафников, выкатился один на один к нашему перепуганному вратарю, который, естественно, лег плашмя слишком рано, и перебросил шайбу ему через локтевой щиток. 5 : 1 в пользу Оттавы. Болельщики с отвращением принялись славить пришельцев. На лед полетели программки. Я стащил с себя галоши и швырнул их, целясь в Туржона.

– Барни, что ты делаешь?

– Заткнись!

– Что-что?

– Ты дашь мне когда-нибудь сосредоточиться на игре или будешь непрестанно болботать?

В самом конце игры я вдруг заметил, что кресло обиженной Соланж пусто. Оттава выиграла 7 : 3. Я удалился в "Динкс" и, только залив горе парочкой стопок "макаллана", позвонил Соланж. Но к телефону подошла Шанталь.

– Маму позови, – сказал я.

– Она не хочет с вами говорить.

– Она сегодня вела себя как ребенок. Надо же – взяла и сбежала от меня. А я потерял галоши, на улице упал (скользотень жуткая) и чуть ногу не сломал, пока такси нашел. Ты смотрела игру по телевизору?

– Да.

– Этот кретин Савар не должен был брать в команду Шельо. Если твоя мать не возьмет трубку, я хватаю такси и через пять минут буду у вас. Она должна передо мной извиниться.

– Мы не откроем дверь.

– Слушай, мне от вас тошно. От вас обеих.

Снедаемый чувством вины, да еще и в столь поздний час, я не нашел ничего лучшего, как позвонить Кейт и рассказать ей, сколь плохо я себя вел.

– Что же мне теперь делать? – спросил я.

– Во-первых, пошли ей завтра утром цветы.

Но цветы я дарю только Мириам, и послать их кому бы то ни было, пусть даже Соланж, означало бы чуть ли не измену.

– Я подумаю, – пробурчал я.

– Может, конфеты?

– Кейт, ты завтра как – очень занята?

– Да нет, не особенно. А что?

– Что, если я на денек прилечу, и мы сходим, закатим себе шикарный обед.

– Где? В кафе "Принц Артур"?

Это ж сколько лет прошло, а помнит! У меня даже дыхание перехватило.

– Пап, ты там куда пропал?

– Закажи нам столик в "Прего".

– А можно я Гевина возьму?

Черт! Черт! Черт!

– Конечно, дорогая, – сказал я, но ранним воскресным утром все отменил. – Что-то я сегодня не в том настроении. Может быть, на следующей неделе...

Утром в понедельник я пошел в офис – хотя бы для того, чтобы показать подчиненным, что я еще не совсем спекся и могу не только счета подписывать, а там Шанталь с ходу огорошила меня дурной вестью. В нашем последнем, сожравшем кучу средств, пилотном фильме очередного сериала было полно содержательного, жизнеутверждающего действия: обжимающихся геев, всяких прочих милых ребят из "очевидных меньшинств", автомобильных гонок, кончающихся увечьями и кучами искореженного металла, изнасилований, убийств, намеков на садомазохизм; была даже подпущена кое-какая критика идиотизма современной жизни. Я надеялся, что фильм как раз удобно встроится в щель программы Си-би-си ТВ в четверг в девять вечера. Но нам предпочли еще более злокачественную дрянь, которую состряпала команда "Троих амигос" из Торонто. Уже второй раз за этот год жучи́ла Бобби Тарлис, dueño de la empresa[1] этих троих "амигос", делает нас как котят. Мало того. Внезапно у когда-то безотказного, могучего и непобедимого "Макайвера, ветерана Канадской конной полиции", упал рейтинг, и Си-би-си грозит от него отказаться. Они направили с визитом в мой офис троицу пустоголовых: заведующего литературной частью Гейба Орлански в сопровождении исполнительного продюсера Марти Клейна и режиссера Сержа Лакруа. Сметливая Шанталь с блокнотом в руках следовала за ними по пятам. Троица единогласно постановила, что нам придется перво-наперво перетряхнуть актерский состав. Ага, понятно, куда ветер дует: Соланж Рено, уже восемь лет, с самого запуска сериала, играющая незадачливую няню, стала слишком стара.

– Ее можно – ну, там – убить, например, – предложил Гейб.

– А потом что? – спросил я, закипая.

1. Владелец предприятия (*исп.*).

— Вы когда-нибудь смотрите сериал про спасателей с пляжа? Как его там — "Палм-бич", что ли?

— Вы хотите сказать, нам надо снять что-нибудь про то, как красотки в бикини размером с носовой платок кувыркаются в снегах севернее шестидесятой параллели?

— Ну, думаю, мы, как творческие люди, достигли консенсуса хотя бы в том, что без новой няни нам не обойтись, — сказал Гейб. — Вот, может быть, вас заинтересуют эти?

— Надеюсь, вы ее не трахаете, Гейб? Через три месяца после тройного шунтирования аорты! Стыд и срам.

— Бодриться надо, освежаться, Барни. Избавляться от сухостоя и валежника. Я тут собрал репрезентативную группу, дал им посмотреть два новых эпизода, и персонаж, которого они находят наименее симпатичным, оказался как раз няней, которую играет Соланж.

— Что касается сухостоя и валежника, то прежде чем уйдет Соланж, вы все получите под зад коленкой. Более того, я собираюсь поручить Соланж в этом сезоне постановку как минимум двух серий.

— А что она заканчивала? — спросил Серж.

— Читать-писать умеет. И в отличие от вас, тут собравшихся, не обделена хорошим вкусом. Так что, не слишком ли она образованна, вопрос открытый, но я свое решение принял. И вот что: проблема у нас не в Соланж, а в банальности сюжета. Как насчет чего-нибудь нетривиального для разнообразия? К примеру, введем в качестве злодея эскимоса. Или якобы мудрого индейского ясновидца, который делает свои предсказания, руководствуясь "Альманахом фермера". В общем, я, короче, понял. Теперь, когда индусам на службе в Канадской конной полиции разрешено носить тюрбаны, как насчет нового капрала, еврея в ермолке, который берет взятки и торгуется в супермаркете компании "Хадсон-бей"? Да валите уже все отсюда и без новых сценариев не показывайтесь. Причем быстро. Вчера!

Они вышли, Шанталь задержалась.

— Знаете, боюсь, что насчет Соланж они правы.

— Конечно правы, но, бог ты мой, она же твоя мать, и она нас обоих с ума сведет, если ей нечего будет играть! Она живет ради этого. И ты это знаешь.

— Вы действительно собираетесь дать ей попробовать себя в режиссуре?

— Не забегай вперед паровоза. Да, кстати, Шанталь: читать все эти сценарии — сил моих нет. Придется тебе за меня это делать. И догони Гейба, попроси оставить фотографии, — добавил я, избегая ее взгляда. — Думаю, надо бы мне взглянуть еще разок.

Затем я принялся разбирать стопку пришедших на мое имя писем непонятно от кого, которые принесла Шанталь.

Дакка
21 сентября 1995 г.

Сэр,

С огромным уважением молю усвоить, что навсегда останусь благодарным, если Вы соблаговолите сами прочитать и ответить на следующую мою почтительную просьбу. Я — Хандакар Шахтияр Султан, студент из Бангладеш. Моя мама умерла в детстве, и с тех пор мне пришлось много бороться. Несмо-

тря на множество проблем, я получил Английский диплом Даккского университета.

Много лет я жаждал и прилагал множество усилий, чтобы поехать в Канаду или любую такого рода страну, чтобы изучать искусство телевидения, в котором Вы спец. Но я погиб. У меня здесь нет никого, кто помог бы мне выскользнуть за границу.

Поэтому я пишу многим великим персонам вроде Вас в разных странах, чтобы помогли кто чем. Я бы хотел учиться в Вашей стране, если Вы сможете убедить в каком-нибудь университете или другом месте насчет стипендии, что было бы мне в самый раз. Если хотите, я мог бы остаться с Вашей семьей и служить Вам всевозможно.

Если Вы не можете это сделать, Вы уж будьте добры, пришлите мне какое-нибудь пожертвование (хоть 50 или 100 долларов хотя бы не трудно же) для взыскания необходимых денег на поездку в Канаду учиться. Многие мне кое-что уже прислали, и я уже собрал прилично. Надеюсь скоро взыскать достаточно денег, и моя мечта осуществится. Так что не забудьте и Вы кое-что приложить.

Если пошлете банкнот или вексельный чек, сделайте конверт непрозрачным и пошлите его *ценным* письмом. Счет № 20784, "Сонали Банк", филиал в Дилуше, Дакка. Или лучше всего МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕНЕЖНЫМ ПЕРЕВОДОМ.

Жду Вашего любезного ответа. Прошу прощения, если что не так.

Искренне Ваш,

ХАНДАКАР ШАХТИЯР СУЛТАН.

ЗАО "Артель напрасный труд"
Западная Шербрук-стрит, 1300
Монреаль, Квебек, H3G 1J4, Канада
5 октября 1995 г.

Рассмотрел лично Барни Панофски

Дорогой господин Султан,

Я послал, как Вы запрашивали, международный денежный перевод на 200 долларов в непрозрачном конверте на счет № 20784, "Сонали Банк", филиал в Дилуше, Дакка.

Кроме того, я поговорил о Вас с невероятно богатым профессором Блэром Хоппером из колледжа "Виктория" (Университет Торонто), Торонто, Онтарио, Канада, и он ждет от Вас письма. Однако лучше будет, если Вы не станете упоминать моего имени в Вашей переписке с этим многоуважаемым профессором.

Искренне Ваш,

БАРНИ ПАНОФСКИ.

P. S. Номер домашнего телефона упомянутого профессора 416–819–2427. При заказе звонка можете требовать оплаты разговора абонентом. Он будет рад слышать Вас в любое время дня и ночи.

Вот еще письмо. От Великого Антонио.

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА ВЕЛИЧАЙШИЙ ИЗ ВЕЛИКИХ СИЛА МЫШЦ 510 ФУНТОВ ИЛИ 225 КИЛОГРАММОВ, САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК В МИ-

РЕ. ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК, СИЛЬНЫЙ КАК 10 ЛОШАДЕЙ. ТАЩИТ 4 АВТОБУСА, СВЯЗАННЫХ ВМЕСТЕ ЦЕПЬЮ, ВЕСОМ 70 ТОНН 2200 ФУТОВ ПЕРЕД КАМЕРАМИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ЭН-БИ-СИ. В ТОКИО СМОТРЕТЬ НА ВЕЛИКОГО АНТОНИО ПРИШЛО БОЛЕЕ ПЯТИ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК.

Великий Антонио, сам житель Монреаля, оказался серьезным человеком и в приложении к письму прислал идею художественного фильма.

Кинофильм Великого Антонио. Сюжет № 1

Великий Антонио очень знаменит, впечатление на весь мир.

1. Антонио тащит 4 автобуса 70 тонн – Мировой Рекорд.
2. Держит руками 10 лошадей.
3. Тащит волосами 400 человек.
4. Один матч по рестлингу – чемпион!
5. А также Любовная драма с актрисой.
6. Примирение.
7. Под конец большой парад перед миллионами и миллионами зрителей. Главная улица в центре Токио, Нью-Йорка, а также Рио-де-Жанейро, Парижа, Лондона, Рима, Монреаля и всех главных городов мира.

Великий Антонио возбуждает любопытство во всем мире. У фильма будет большой рекордный успех, потому что зрители всего мира любят смотреть на Великого Антонио. Фильм будет стоить сто миллионов долларов, а на его съемки потребуется два года. Он принесет прибыли что-нибудь между пятью и десятью миллионами долларов. Во всем мире все хотят посмотреть на Великого Антонио и его загадочную силу. Великий Антонио непобедим. Великий Антонио написал сценарий и будет снимать фильм про Великого Антонио.

ВЕЛИКИЙ АНТОНИО – НАСТОЯЩАЯ ЗОЛОТАЯ ЖИЛА.

ЗАО "Артель напрасный труд"
Западная Шербрук-стрит, 1300
Монреаль, Квебек, H3G 1J4 Канада
5 октября 1995 г.

Рассмотрел лично Барни Панофски

Дорогой Великий Антонио,

С величайшим сожалением я вынужден отклонить предложенную Вами идею блокбастера, и, хотя ничего более заманчивого я многие годы не видел и не слышал, но мы слишком скромная продюсерская фирма, чтобы иметь возможность воздать Вашей идее должное, так что отнимать Ваше время было бы с нашей стороны безответственно. В то же время я переговорил с моим добрым другом Бобби Тарлисом из компании "Трое амигос" в Торонто, и ему Ваш проект понравился как никакой другой в прошлом.

Я искренне надеюсь, что смогу быть чем-то вроде повитухи по отношению к столь изумительному предприятию, поэтому прилагаю чек на 600 долларов, чтобы оплатить Вам билет на самолет до Торонто и обратно и прочие непредвиденные расходы. Адрес "Троих амигос" в Торонто: Йонж-стрит, 33. Предварительным звонком можете не утруждаться. Бобби ждет Вас. Чем ско-

рее, тем лучше, сказал он. Да, выдам-ка я Вам один секретик. Бобби — бывший чемпион Венгрии по рестлингу среди любителей, и он побился со мной об заклад на весьма значительную сумму, что сможет уложить Вас в двух схватках из трех. Я поставил на Вас, Антонио, так что не подведите. Как только попадете в его офис, бейте с прыжка двумя ногами. Он это оценит. Желаю удачи.

С уважением,

БАРНИ ПАНОФСКИ.

В пять вечера я заглянул в "Динкс" и там застрял, потом мы с Хьюз-Макнафтоном и Заком Килером, обозревателем из "Газетт", перебрались в "Джамбо", а еще позже, совсем почти уже утром, на пьяный угол, о котором знал один Зак. Шон О'Хирн однажды поведал мне о том, что "в старые времена, когда мы хотели узнать, где нелегально торгуют спиртным, мы устраивали засаду в машине с обычными, частными номерами — дожидались, когда Зак вывалится из "Джамбо", и ехали за ним. И всегда он находил, где хлебнуть. Как это у него получается, а?"

"У него это получается, — отвечал я, — потому что он необычайно приятный человек. Проницательный. Остроумный. Но это все вещи, которых вам не понять".

Однако в тот вечер Зак, только что вернувшийся из Торонто, куда он ездил на одно выступление по Си-би-си ТВ, действовал мне на нервы. На официальном приеме он наткнулся на Мириам с Блэром.

— Ты нас всех убедил, будто Блэр отпетый зануда. Ну, лихорадочной веселостью он не страдает. Но мне понравился. Если бы он был совсем уж олухом, что бы с ним делала такая женщина, как Мириам?

— А она тебе как?

— Выглядит потрясающе. И говорит, ты знаешь, очень остроумно — все этак намеками. Но вот новая девушка Савла ей как-то не очень. "Он, — говорит, — пьет из грязной чашки", — кажется, так она сказала. Кстати, и о тебе ведь беспокоится! Твои дети ей говорят, что ты пьешь слишком много. Как некрасиво!

Домой я добрался, должно быть, часам к четырем, причем ключ в замок вставлял двумя руками, но проснулся все равно рано и приговорил этот вторник к списанию. А раз так, надо отметиться в качестве папаши, посвятить день обзвону потомства. Начал с Майка. Его секретарша сказала, что они всей семьей уехали на уик-энд в Нормандию. Какой уик-энд? На дворе самый что ни на есть будний вторник. "На удлиненный уик-энд, — уточнила она. — Английский". Я стал звонить Савлу.

— О господи, ведь еще даже двенадцати нет. Я так и знал, что это ты. Перезвони попозже, пожалуйста, а, пап.

— Ну ясно, сиплый, прокуренный голос. Опять всю ночь пил, что ли?

— Вот уж кто бы говорил...

— Послушай, я не ханжа. Я никогда не против выпить, но *в меру*!

— Я вчера поздно лег, потому что читал автобиографию Джеронимо*. Слушай, а вдруг апачи как раз и есть одно из потерянных колен*? Джеронимо никогда не ел ни бекона, ни свинины. Племенное табу. Когда у него умер отец, апачи убили отцовского коня и раздали всю остальную его собственность. Апачи не пользуются богатствами умерших родственников. Им запрещает это неписаный племенной закон — они боятся, что иначе дети богатого человека будут радоваться его смерти. Собери все до кучи, что у тебя там есть в твоих лабазах каменных, папа, и раздай. Каролина тогда от злости с ума сойдет.

— Савл, извини мне мое занудство, но ты Кейт последнее время не звонил?

— Чтобы она прозрачно намекала, что я разгильдяй и неудачник, если живу так, как я живу?

— Она тебя очень любит.

— Ага. Конечно. Я, кстати, не посылаю больше Майку свои статьи. Он месяцами не может выкроить минутку, чтобы прочесть. Притворяется вегетарианцем, но только чтобы потрафить Ее Превосходительству, а вот когда был на прошлой неделе в Нью-Йорке, пошел с нами обедать — кажется, в "Палм" — и так и вгрызся там в огромный бифштекс. А уж Авиву изводил как только мог.

— Авиву?

— Она из Израиля. Пишет для "Джерузалем пост" — говорит, ладно, теперь можно, когда эта газета перестала защищать Арафата. Ну и его, естественно, понесло: стал говорить, как много он жертвует организации "Немедленный мир" и как несправедливо обижены палестинцы. Плевать ему, что террористы убили ее брата.

— Это с ней ты сейчас живешь?

— Вчера я слушал записи Глена Гульда "Гольдберг-вариации", смотрю, а она ноготки полирует. Утром встала раньше меня и давай вырезать все, что ей надо, из моей "Таймс", так что, когда я сел за завтрак, это была не газета, а сплошная система "виндоуз". Так что пришлось ее выставить. Ты лучше скажи, когда приехать собираешься? Ну, хоть на несколько дней, как в тот раз, а?

— Да, в прошлый раз мы с тобой здорово повеселились, скажи?

— Признавайся: ты любишь Майка, а меня считаешь недотепой, вот и спрашиваешь только о том, с кем я сейчас живу...

— Ты пьешь из слишком многих грязных чашек, мальчик мой.

— ...потому что я, по-твоему, не способен ни с кем установить зрелые человеческие отношения.

— Ты в самом деле хочешь, чтобы я опять приехал?

— Ну-у, да-а. А я и с Кейт, между прочим, разговаривал — вот, как раз на прошлой неделе. Мы поругались. Потому что перед этим я узнал, что мама приглашала их накануне вечером обедать и Кейт ни за что ни про что нагрубила Блэру.

— Ах, какой ужас. Не хватало, чтобы еще и вы из-за этого перессорились. Блэр для твоей матери, возможно, чуть-чуть слишком молод, но она с ним счастлива, и всем нам надо этому только радоваться. Кроме того, он поддерживает многие хорошие дела. "Гринпис", например.

— Да брось ты, папа. Ты же его ненавидишь. Скажи лучше, как ты находишь мою последнюю статью, которую напечатал "Американ спектейтор"?

— С моей точки зрения, это дезинформация, к тому же изуверская, но писака ты, конечно, лихой.

— Вот это я понимаю! Молодец! Прости. Бежать пора. Наташа пригласила меня на ланч в "Юнион-сквер кафе".

— Наташа?

— Почему ты не женишься на Соланж?

— Для этого я слишком хорошо к ней отношусь. Кроме того, знаешь, что американские суды постановили? Бабах, бабах — и пошел вон. [Нет, надо три бабаха. — *Прим. Майкла Панофски.*] А ты и в самом деле хочешь, чтобы я в скором времени опять к тебе в Нью-Йорк приехал?

– Да. Ой, я же забыл тебе сказать! Из "Вашингтон таймс" мне на рецензию прислали "О времени и лихорадке".

– Ты хочешь сказать, кто-то действительно собирается публиковать в Нью-Йорке Макайверово дерьмо?

– Не надо только волноваться.

– Ты меня пойми правильно. В этом вопросе я никогда не опущусь до того, чтобы давить на тебя. Давай пиши свою рецензию. Расхвали его до небес. Это твоя репутация, не моя. Все, до свидания.

Мой старший сын, первенец, не моргнув глазом передаривает ящик сигар "Коибас", который я ему привез, а теперь вот и Савл собирается предать меня долларов этак за двести пятьдесят. Ну я и потомство породил! Успокоив себя парой глотков виски, я поджег сигару и набрал номер Кейт.

– Ты там как – может, я не вовремя?

– Ой, папочка, я как раз собиралась тебе звонить.

– Кейт, до меня дошли сведения, что твоя мать на днях приглашала тебя с Гевином обедать, а ты вышла из себя и нагрубила Блэру.

– Да ну, вечно он к ней липнет за столом. Меня от этого блевать тянет.

– Дорогая моя, я понимаю твои чувства, но ты не должна огорчать свою мать. Потом ведь Блэр и к тебе, и к мальчикам хорошо относится. Очевидно, он не может иметь своих собственных детей, этим оно и объясняется в какой-то степени. А что значит *липнет к ней за столом?*

– Ну, ты ж понимаешь. Берет ее за руку. Гладит. Целует в щечку, когда встает, чтобы долить ей вина в бокал. Такие вот противные мелочи.

– Я тебе сейчас скажу кое-что, но ты никому не должна это повторять. Бедный Блэр из тех мужчин, которые не уверены в своей мужественности, потому-то он и ощущает необходимость демонстративно, на публике выказывать твоей матери знаки внимания.

– Я поняла так, что мама пожаловалась Савлу – он всегда был ее любимчиком...

– Думаю, он напоминает ей меня тех времен, когда я еще был для нее достаточно молод.

– ...а он наябедничал тебе. Ух, как я зла на Савла! Мы тут как-то с ним поговорили.

– Савл тебя обожает. Просит меня, чтобы я к нему снова в Нью-Йорк приехал. Что на это скажешь?

– Сперва приезжай к нам. Пожалуйста, папочка. Гевин сводит тебя на хоккей.

– Это на ваши-то "Хреновые листья"?

– И лучше бы ты свои дела с налогами ему передал, он такой в этом дока, да и денег с тебя не возьмет. А что ты планируешь на случай, если референдум выиграют сепаратисты?

– Не выиграют. Так что тебе по этому поводу волноваться нечего.

– Боже, какой ты бываешь высокомерный. Когда мы были детьми, с мальчиками ты мог говорить о политике часами, а со мной никогда.

– Неправда.

– "Нечего волноваться..." Зря ты так. Ты меня что – за дурочку держишь?

– Ну конечно нет. Просто я всегда считал, что у тебя своих проблем по горло.

Кейт преподает литературу в школе для одаренных детей, а раз в неделю по вечерам помогает иммигрантам осваивать английский в церковном подвале. И постоянно пристает ко мне, клянчит, чтобы я про-

финансировал съемки фильма о матери всех канадских суфражисток, несравненной и восхитительной Нелли Маккланг.

– Скоро Рождество, мы приглашены на праздничный обед к маме. Будет елка, а под ней менора*. Прилетит Майк с Каролиной и детьми, и Савл приедет, и они с Майком начнут пикироваться, едва переступив порог. В прошлом году я все плакала, никак остановиться не могла. Я люблю тебя, пап.

– Я тоже люблю тебя, Кейт.

– У нас такая семья была! Никогда маму не прощу, что она ушла от тебя.

– Это я виноват, сам ее потерял.

– Пора мне трубку вешать. А то сейчас разревусь.

Напряженность между Мириам и Кейт присутствовала всегда, всегда тлела. Я этого не мог понять. Все-таки ведь это не я, а Мириам рассказывала ей на ночь сказки, учила читать и водила по музеям, театрам и прочим увеселениям в Нью-Йорке. Мои родительские обязанности в основном сводились к тому, чтобы обеспечивать всем должный уровень жизни, поддразнивать детей за столом, предоставляя Мириам улаживать возникающие конфликты, и – а, ну конечно – собирать библиотечки, консультируясь при этом с Мириам. "Некоторые отцы, – как объяснил я однажды ребятишкам, – когда рождается ребенок, припрятывают для него бутылку вина, чтобы оно созрело к тому времени, как из ребенка сформируется взрослый неблагодарный балбес. Я делаю не так. Когда каждому из вас исполнится шестнадцать, он получит от меня не что-нибудь, а библиотечку из сотни книг, которые доставили мне наибольшее удовольствие во времена моей собственной несмышленой юности".

Однажды, когда Кейт училась в выпускном классе школы мисс Эдгар и мисс Крэмп, как-то под вечер она пришла домой и застала измотанную Мириам, которая, то и дело поглядывая на часы, подготавливала двух уток к запеканию в духовке. Во всем стремившаяся к недостижимому идеалу, Мириам выискивала последние, едва заметные корешки перьев и вытаскивала их щипчиками для бровей. На каждой газовой конфорке кипело по кастрюле. Своей очереди к духовке дожидались домашние хлебцы. Бокалы и рюмки, только что вынутые из посудомоечной машины, выстроились в ряд для осмотра на свет и повторного, если надо будет, омовения. Горку клубники в стеклянной миске еще предстояло общипать. Угрюмая Кейт прошла прямо к холодильнику, вынула йогурт, освободила себе местечко за столом и села читать "Миддлмарч"* с того места, на котором остановилась вчера.

– Кейт, будь лапочкой, почисти от черешков ягоду, а потом в гостиной взбей подушки.

Молчание.

– Кейт, мы на обед в полвосьмого шесть человек ждем, а мне еще душ принимать и переодеваться.

– А мальчики помочь не могут, что ли?

– Их дома нет.

– Когда вырасту, ни за что не превращусь в домохозяйку. Как ты.

– *Что?*

– Ведь это же наверняка даже и не твои друзья придут, а его.

– Ты ягоды почистить мне поможешь или нет?

– Сперва до главы дочитаю, – сказала дочь, выходя из кухни.

И надо же было случиться, что, когда Мириам зашла в нашу спальню, я с тоской смотрел на рукав чистой рубашки.

— Сколько раз я тебя просил, чтобы носила в другую прачечную. Не надо, не говори ничего. Я сам знаю, что у мистера Хихаса семеро детей. Но он опять расплющил мне пуговицу. Ты можешь ее сейчас пришить?

— Пришей сам.

— А что случилось?

— Ничего.

Я попытался обнять ее, но она отстранилась, принюхалась.

— А, черт! — вскрикнула она. — Там же хлеб. — И опрометью бросилась в кухню, я за ней.

— Все, он испорчен, — сказала она, и слезы потекли у нее по щекам.

— Да ничего подобного. Просто поджарился немножко, — сказал я и взял нож, чтобы соскоблить корку.

— Нет, так я подать его не могу ни в коем случае.

— Ладно, сейчас пошлем Кейт в пекарню "Бейглах".

— Твоя дочь, кстати, у себя в комнате, читает "Миддлмарч". — В голосе Мириам чувствовалось раздражение.

— Боже мой, да что же на тебя опять нашло? Тебе бы понравилось больше, если бы она читала "Космополитен"?

— Я не могу ее сейчас никуда послать. Она и так меня уже видеть не может.

— Как тебе такое в голову приходит?

— Ах, Барни, ты о своих детях ничегошеньки не знаешь. Майк себе места не находит, потому что у его девушки уже три недели задержка, а Савл торгует наркотиками.

— Мириам, сейчас мы не можем в это вдаваться. Уже десять минут восьмого, а я еще даже не переоделся.

Как только Мириам ушла обратно в спальню, я отправился к Кейт выяснять, что произошло.

— Послушай, Кейт, твоя мама не пожалела серьезной карьеры на радио, чтобы выйти за меня замуж, а если бы она мне отказала, я вообще не знаю, что бы я делал. Да и для тебя, и для мальчиков она очень многим пожертвовала. Более того: домохозяйка или не домохозяйка, но она самый умный человек из всех, кого я знаю. Так что сейчас же давай иди в нашу спальню и извинись перед ней.

— Ну хоть бы кто-нибудь понял, что чувствует ребенок! Мы всегда виноваты, что бы ни сделали, потому что взрослые всегда друг друга покрывают.

— Ты слышала, что я сказал! — нахмурился я, отбирая у нее книгу.

— Смотреть тошно, как она возле тебя увивается!

— А мне-то думалось, мы все друг возле друга увиваемся.

— Она с этой готовкой крутится с раннего утра, все силы на нее кладет, а твои друзья придут и сразу напьются до одури, даже за стол сесть не успев, потом наскоро — вжик! — обед проглотили, скорей-скорей, лишь бы до коньяка с сигарами добраться, а она столько сил потратила, и все впустую.

— Тебе надо пойти сейчас и извиниться.

Она извинилась, но я от Мириам за мое вмешательство благодарности не дождался.

— Ты обладаешь редкостным даром все только портить, Барни. Ты книгу у нее отобрал?

– Нет. Да. Не помню.

Но книгу я все еще держал в руках.

– Верни скорее ей, пожалуйста!

– Черт! Черт! Черт! В дверь звонят.

Предчувствуя, что состояние Мириам чревато бедой, я перед обедом много пил, но она опять удивила меня. Вместо того чтобы заботливо опекать самого скучного из гостей, восхищаясь изрекаемыми им банальностями, как делала обычно, она, похоже, встала на тропу войны. Первая ей на язычок попалась жена Ната Гольда, но та сама напросилась. Не надо было ей отпихивать от себя тарелку с жареной уткой – а то полезла, понимаешь ли, в переметную суму, висевшую у нее на спинке стула, выудила оттуда кисть винограда в полиэтиленовом мешке.

– Утка на вид очень вкусная, – задумчиво проговорила она, переворачивая порцию вилкой, чтобы исследовать на жирность, – но я на диете.

Пустоту воцарившегося молчания попытался заполнить Нат, сообщив, что на днях был на ланче у его любимого друга, госсекретаря по делам культуры в Оттаве.

– И знаете что? – поднял брови Нат. – Он никогда не читал Нортропа Фрая*!

– Ну так и я не читала, – сказала Натова жена, добавляя к горке виноградных косточек на своей тарелке еще одну.

– Конечно, там же нет картинок, – сказала Мириам.

Следующим выпороли бедного, ранимого Зака Килера. Он и сначала-то был необыкновенно мрачен, потому что к нам попал прямо с похорон Эла Мэки. Мэки, наш общий знакомый спортивный обозреватель, всегда по пятницам вместе с Заком вываливался либо из "Джамбо", либо из "Фрайди" (и то и другое заведение закрывается в два), и они переходили в Пресс-клуб, открытый до четырех. Зака расстроило то, что вдова Эла показалась ему, как он сказал, оскорбительно спокойной в момент, когда гроб с телом ее мужа опускали в могилу.

– Так ничего удивительного, – объяснила Мириам. – Она теперь, наверное, впервые за двадцать лет точно знает место, где искать мужа после десяти вечера.

Отдать ему должное, Зак от этих ее слов даже как-то ожил.

– Ты слишком хороша для него, – сказал он, целуя ей руку.

12

В то утро, когда я забирал Клару домой из больницы, нам пришлось на всех пяти лестничных площадках останавливаться, чтобы она могла отдышаться. Клара немедленно разделась до мешковатых, запятнанных красным трусов и сложного переплетения поясов и бандажей. "Это ради тебя. Гарантия целомудрия", – пояснила она. Разложила на столике у кровати набор пузырьков с лекарствами, кинула в рот таблетку снотворного, юркнула под одеяло, отвернулась к стене и заснула. Я устроился на кухне с бутылкой водки и чувством сгущающегося вокруг меня мрака. Просидев так несколько часов, я услышал, что она завозилась, и принес ей поднос с чаем и гренком.

– Ну, – сказала она басом, – и что теперь?

– Теперь тебе надо прийти в себя, а там видно будет.

Шлепая тапками, она пошла в уборную, по дороге заглянув в комнатку, которую мы собирались сделать детской. "Бедный маленький негритосик", — сказала она и тут заметила, что я там из диванных подушек устроил себе кровать.

— Тебе надо купить коровье тавро, — сказала она. — Раскалил бы его докрасна и выжег у меня между набрякших сисек большую букву "Б"!

— Я купил на обед телятины. Будешь есть в постели или со мной на кухне?

— Ты, видимо, так и не придумаешь, что со мной делать, пока из Амстердама не вернется Бука и не спустит тебе руководящее указание.

Но пьяный Бука был плохой указчик. Я ввел его в курс дела, а потом спрашиваю:

— Ты что там делал-то? В Амстердаме...

— Да так... по магазинам ходил.

Йоссель был более конкретен. Нажимал.

— Каждый раз, как я тебя вижу, ты пьян. Я нашел тебе адвоката. Наш человек. Лишнего с тебя не возьмет. Мэтр Моше Танненбаум.

— Нет, я не готов еще.

— Или ты думаешь, через месяц все как-нибудь само рассосется?

Чтобы убить в себе способность думать, я наливался водкой с самого завтрака, в результате следующая неделя почти что выпала, помню только, как мы предавались обмену колкостями. Непрестанно друг друга поддевали.

— Тебе получше, а, Клара?

— Можно подумать, это тебя заботит, жидоправедный ты наш!

В другой раз:

— Ах, нерадивая я, беззаботная! Я же должна тебя спросить, как дела в сырном бизнесе! Что "камамбер" — идет лучше, чем "брес-блю"?

— Н-нормально идет.

— Бедненький Барни. У него жена шлюха, а лучший дружок наркоман. *Ой-вей!* Как жестока судьба к нашему благовоспитанному еврейскому мальчику!

Однажды вечером Клара курила, что называется, не вынимая, и металась взад-вперед по гостиной, а я лежал на диване и читал, якобы ее не замечая. Вдруг она подскочила и выхватила у меня из рук книжку. Это был "Моллой" Беккета в переводе Острин Уэйнхауз. [Роман Беккета "Моллой" перевел на английский Патрик Баулз. Уэйнхауз переводила де Сада и написала книгу "Гедифагетика. Любовное обсуждение некоторых старинных обрядов, сцен каннибализма и того, как попадают в герои". — *Прим. Майкла Панофски.*]

— Как ты можешь читать такую несусветную дребедень? — пристала она ко мне.

Я этим воспользовался, чтобы отбрить ее, процитировав одного из ее любимых поэтов:

— Уильям Блейк в письме к человеку, который заказал ему четыре акварели, а потом разругал их, когда-то написал: "Великое всегда непредставимо Слабым". Или женщинам, мог бы он добавить. А дальше говорит: "Моих Трудов не стоит то, что можно сделать внятным Идиоту". Так что, может быть, дело тут и не в Беккете, а в тебе самой.

Вновь она взяла манеру засиживаться допоздна, писала в тетрадках, рисовала. Или часами сидела перед зеркалом, пробовала разные дикие оттенки помады и лака для ногтей, накладывала под глазами тени с блест-

ками. Потом заглатывала снотворную таблетку-другую и не шевелилась чуть ли не до следующего вечера. Однажды под вечер исчезла и вернулась через три часа с фиолетовыми в оранжевую полоску волосами.

– Боже правый, – только и смог вымолвить я.

– Ах ты мой внимательный, – запела она, часто-часто помаргивая и прижав ладонь к сердцу. – Ты заметил?

– Еще бы.

– Ты бы, наверное, предпочел цвет дерьма?

Бывали дни, когда она днем уходила и не возвращалась до полуночи или даже позже.

– Ты где пропадала – неужто опять умудрилась трахнуться?

– На такую, как я сейчас, даже clochard не польстится.

– Если у тебя до сих пор сильное кровотечение, надо показать тебя врачу.

Она послала мне воздушный поцелуй.

– Я к разговору готова. А вы, принц Чудокакойбаум?

– Конечно. Если не сейчас, то когда?

– Счастливой Хануки. Веселого Песаха*. Если хочешь развода, ты его получишь.

– Хочу.

– Но я должна предупредить тебя, что виделась уже с адвокатом, и она сказала, что, если ты со мной разведешься, будешь всю оставшуюся жизнь платить мне что-нибудь около половины всех своих доходов. А ты, слава богу, такой здоровенький!

– Клара, ты меня просто поражаешь! Вот уж никогда не подозревал в тебе такой практической сметки.

– Еврейские мужья сильны в одном. Они умеют кормить семью. Это я впитала с молоком матери.

– Я уезжаю домой. Назад в Канаду, – сказал я и про себя удивился, потому что это решение пришло ко мне в тот самый момент.

– А я думала, это я тут сумасшедшая. Что ты будешь в Канаде делать?

– Утопать в снегах. Добывать бобра. Весной варить кленовый сироп.

– Что бы ты обо мне ни думал, я не сволочь. Готова согласиться на годовую оплату аренды этой дыры плюс пособие пятьдесят долларов в месяц. Ого, смотри-ка, у тебя уже и щечки снова порозовели.

– Я завтра утром съезжаю.

– Давай, вперед! Я сразу же сменю замки. Не хочу, чтобы ты ввалился и все испортил, когда у меня тут будет настоящий ёбарь. И убирайся к черту отсюда сейчас же, – вдруг завизжала она и залилась слезами. – Оставь меня в покое, праведный мерзавец! – Ее вопеж сопровождал меня всю дорогу, пока я спускался по лестнице. – Почему не начать все с начала? Ответь! Почему?

В понедельник я нашел комнату в гостинице на рю де Несль, а под вечер – Клары как раз не было дома – набил чемодан необходимыми вещами и упаковал свои книги и пластинки в картонные коробки, чтобы забрать позже. Но когда я вернулся за ними в четверг (замки на входной двери никто покуда не сменил), я обнаружил, что кухонный стол накрыт к обеду на две персоны, причем со свечами. Может, она готовит что-то из негритянской кухни для Седрика, подумал я. В квартире явно попахивало, что я приписал поначалу тому, что газ на плите был зажжен, к тому же в духовке лежала сгоревшая курица. Тертый кар-

тофель в миске на разделочном столике подернулся плесенью. Кому это она, интересно, собралась делать *латкес*? Мне никогда не делала, объявила картофельные оладьи поганой еврейской жрачкой. Да еще и при свечах. Я выключил газ и распахнул кухонное окно. Однако вонь исходила из спальни, где я и обнаружил Клару, мертвую и окаменевшую, а рядом, на прикроватном столике — баночку из-под таблеток снотворного.

Очевидно, какие-то игрища все же ожидались, потому что супружница моя перед смертью надела свой самый соблазнительный, почти прозрачный черный пеньюар, который я же ей и подарил. Записки не было. Я налил себе слоновую дозу водки, осушил стакан залпом, затем позвонил в полицию и в американское посольство. Тело Клары унесли, чтобы хранить в морге, пока за ним не прилетят мистер и миссис Чамберс из Грамерси-Парка и Ньюпорта.

Когда, возвращаясь в свою гостиницу, я проходил мимо консьержки, она вдруг постучала в окошко своей крошечной выгородки и приоткрыла в нем щелку.

— Ah, Monsieur Panofsky.

— Oui.

Тысяча извинений. Оказывается, еще в среду пневмопочтой пришло письмо, но она забыла мне сказать. Письмо было от Клары, с требованием, чтобы я пришел к обеду. Она хотела "поговорить". Я сел на ступеньку и заплакал.

Через какое-то время во мне замельтешили мысли практического свойства. Можно ли самоубийцу, даже и ту, что покончила с собой не намеренно, хоронить на протестантском кладбище? Я понятия не имел.

Черт! Черт! Черт!

Потом мне вспомнилась история, возможно апокрифическая, которую Бука рассказывал про Гейне. Когда тот лежал уже "в матрацной могиле" в полной прострации, впадая в транс от морфина, его друг стал убеждать его примириться с Богом. Считается, что Гейне ответил: "Dieu me pardonnera. C'est son métier"[1].

Но я тогда не мог уповать лишь на это. И до сих пор не могу.

13

Вчера ночью, крутясь и ворочаясь в постели, я в конце концов сумел кое-как оживить лелеемый в памяти сладострастный образ миссис Огилви, взяв его за основу возбудительной фантазии.

Вот что у меня получилось.

Миссис О. устраивает мне перед всем классом нагоняй и возмущенно лупит по башке свернутой в трубку газетой "Иллюстрейтед Лондон ньюс".

— После уроков явишься в медкабинет!

Вызов в жутковатый, тесный медкабинет, оборудованный кушеткой, обычно значил, что предстоит порка. Десять горячих по каждой руке. В 3.35, как велено, вхожу, и миссис Огилви с сердитым видом запирает за мной дверь.

1. Бог меня простит. Это его специальность (*франц.*).

— Что ты можешь сказать в свою защиту? — требовательно спрашивает она.

— Да я вообще не знаю, зачем я здесь. Честно.

Ловким движением красных коготков она срывает целлофановую обертку с пачки "плейерз майлд", вытаскивает сигарету, прикуривает. Медленно влажным языком снимает приставшую к губе табачинку, устремляет взгляд на меня.

— Только я села за стол и начала читать вслух первые страницы "Школьных дней Тома Брауна"*, как ты тут же роняешь на пол карандаш — как бы случайно роняешь, а на самом деле специально, чтобы заглянуть мне под юбку.

— Неправда!

— А после, словно ты мало еще напакостничал, посреди урока литературы принимаешься тереть своего петушка.

— Я не делал этого, миссис Огилви!

— Клянусь, — говорит она, бросая на пол сигарету и расплющивая ее каблуком, — никогда в жизни я не привыкну к жуткой жаре, которую у вас в Канаде изо всех сил поддерживают в помещениях. — Она расстегивает и сбрасывает блузку. Остается в кружевном черном лифчике. — Подойди сюда, мальчик.

— Да, миссис Огилви.

— Ты ведь и сейчас тоже весь полон грязных мыслей!

— Нет, что вы!

— Не нет, молодой человек, а да. Вот же и доказательство — ну-ка, кто там барахтается? — С этими словами она расстегивает пуговицы моей ширинки и лезет туда невероятно холодными пальцами. — Ну ты сам взгляни на своего петушка. Разве есть в нем уважение к старшим? Тебе не стыдно, Барни?

— Стыдно, миссис Огилви.

Она продолжает трогать меня своими длинными красными ноготками, и на кончике выступает капля.

— Если бы это был леденец, — проговорила она задумчиво, — мне очень хотелось бы чуть-чуть его полизать. Ну ладно, не пропадать же добру. — Быстрым язычком она обежала головку, и тут же выступила новая капля. — Ну нет, — строго на меня глянув, сказала миссис Огилви. — Ведь мы же не допустим, чтобы поезд ушел со станции преждевременно, правда? — И тут она снимает с себя юбку и трусики. — А теперь я хочу, чтобы ты потерся им об меня вот здесь. Mais, attendez un instant, s'il vous plaît[1]. Двигать им надо не из стороны в сторону, а вверх и вниз, вот так.

Я стараюсь делать, как велено.

— Ну что ты все не так, черт тебя... Надо так, как будто ты спичку зажечь пытаешься. Понимаешь?

— Да.

И вдруг она начинает дрожать. Затем хватает меня за затылок, и мы вдвоем опускаемся на кушетку.

— Теперь можешь вставить его... молодец, и двигай им вверх и вниз. Как поршнем. На старт, внимание, марш!

На самом деле эти три странички — моя первая и единственная попытка писать прозу, мой краткий творческий взлет, произошедший с

1. Нет-нет, секундочку, секундочку. (*франц.*).

подачи Буки, который был убежден, что и я способен как блины печь то, что в нашей компании называлось "ГК" [Грязные книжки. — *Прим. Майкла Панофски*], для серии "Книга в дорогу". Однажды ближе к вечеру Бука затащил меня в офис Мориса Жиродье.

— Перед вами будущий Маркус ван Хеллер*, — представил он меня. — У него две замечательные идеи. Первая называется "Любимчик учительницы", — выдумывал он на ходу, — а вторая "Дочь раввина".

Жиродье заинтересовался.

— Хорошо, но я должен увидеть первые двадцать страниц, а потом можно будет заключить договор, — сказал он.

Но я так и не перевалил за страницу три.

Сегодня утром я валялся в постели, пока меня окончательно не разбудил почтальон.

Заказное письмо.

По меньшей мере дважды в год я смело могу рассчитывать на получение от Второй Мадам Панофски заказного письма — одного в годовщину исчезновения Буки, а второго сегодня, в день, когда суд выпустил меня на свободу, признав невиновным, тогда как в ее глазах я виновен так, что клейма негде ставить. Сегодняшнее послание оказалось, для разнообразия, удивительно лапидарным. Вот весь его текст:

> НИКОГО НЕ ПРЕДАДИМ, НИКОМУ НЕ ОТКАЖЕМ И НЕ ОТСРОЧИМ ИСПОЛНЕНИЯ СУДА ЛИБО ИНОЙ ЗАЩИТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ.
>
> *Великая хартия вольностей*,
> статья 40 (1215 г.)

Ничего не поделаешь, то тут, то там я на Вторую Мадам Панофски время от времени натыкаюсь. Однажды видел ее в отделе нижнего белья универмага "Холт Ренфрю", где я люблю послоняться. В другой раз мы столкнулись у кулинарного прилавка ресторана "Браун Дерби", где она отоваривалась огромным количеством *гефилте кишкес*, жареной грудинки, печеночного паштета и картофельного салата — казалось, она собирает народ праздновать бар-мицву*, но я-то знал, что все это она берет для себя. А последний раз я встретил ее в ресторане отеля "Ритц", куда (я забегаю здесь чуть вперед в своем повествовании) я пригласил обедать мисс Морган, лишь бы продолжить с ней дискуссию о девушках, впавших — быть может, не совсем еще безнадежно — в сапфическую ересь. Вторая Мадам Панофски была с двоюродным братом нотариусом и его женой. Подобрав со своей тарелки последние остатки соуса корочками хлеба, она вооружилась вилкой и принялась охотиться с ее помощью на лакомые кусочки мясца и картошечки на их тарелках. Конечно же, она метала в нас злобные взгляды, приметив, что на нашем столе царит бутылка шампанского "дом периньон" в серебряном ведерке. Когда за их столом расплатились, она ухитрилась пройти мимо нашего, остановилась, угрожающе скривилась в сторону мисс Морган, а потом повернулась ко мне и осведомилась:

— Как поживают твои внуки?

— Не оборачивайся, — сказал я. — А то можешь превратиться в соляной столп.

Вторая Мадам Панофски даже в девушках особой стройностью не отличалась, хотя была когда-то, надо отдать ей должное, женщиной прият-

ной полноты – *зафтиг*[1], как говорят евреи, но у нее давно уже вошло в привычку утолять непреходящую печаль едой. Теперь она по необходимости носит балахоноподобные кафтаны, скрывая под ними брюхо, которое сделало бы честь любому борцу сумо. Ходит с трудом, тяжело дыша и опираясь на палку. Она напоминает мне Тетти* Сэма Джонсона в описании Дэвида Гаррика*: "...очень жирная, с более чем выдающейся грудью и пухлыми щеками вызывающе красного цвета, достигнутого с помощью толстого слоя румян и усиленного обильным употреблением горячительных напитков, она всегда одета в причудливые, кричащие наряды и претенциозна как в речи, так и в поведении вообще". Говорят, друзей у нее осталось мало, зато она вовсю ублажает себя интимными отношениями с телевизором. Я с удовольствием представляю себе, как она в особняке, который покупал я, валяется на тахте, пожирая бельгийские шоколадки из стоящей перед ней лохани, и смотрит по телевизору одну мыльную оперу за другой; перед обедом вздремнет, за едой вместо вилки и ложки пользуется вилами и лопатой, а потом опять валится на тахту перед телевизором.

За завтраком я, как примерный гражданин, перелистываю "Газетт" и "Глоб энд мейл", чтобы быть в курсе той комедии, внутри которой мы существуем в нашем, уникальном даже для Канады, "отдельном обществе".

Такая здесь поднялась последнее время паника, что даже знавшие все наперед молодые еврейские пары среднего достатка, которые еще в восьмидесятых удрали в Торонто (скрывшись не столько от нескончаемых нападок и поношений, вызванных межплеменными склоками, сколько от приставучих, докучливых родителей), перепуганы не на шутку. Многие не знают, как отбиться от звонков стареющих мам и пап. "Герчик, я понимаю, она не очень-то нас обожает – твоя жена, эта транжира, но, слава богу, свободная комната у тебя имеется, потому что мы приедем в следующую среду и поживем, пока не найдем квартиру с вами по соседству. Ты не забыл, что мама не выносит рок-музыку, так что поговори с детишками (благослови их Господь), и если тебе так уж надо курить при нас, то кури на лестничной площадке. Мы ведь не будем никому мешать! Герчик, ты где? Герчик, ну скажи уже что-нибудь!"

Согласно последним опросам общественного мнения, ситуация с референдумом намечается ничейная, но в баре "Динкс" звучат шутки самого замогильного толка. Один из завсегдатаев, Сай Тепперман, фабрикант одежды, предвидя бойкот своих товаров во всей остальной Канаде, сказал: "Я серьезно подумываю, не начать ли мне вшивать в джинсы лейблы "Made in Ontario" на случай, если эти мерзавцы победят". Обозреватель "Газетт" Зак Килер, как всегда, выступал с шутками скорей детсадовского свойства. "А знаете, почему ньюфики за отделение? Они думают, что, если Квебек отвалится, им в Онтарио будет на два часа ближе ехать"*.

Мисс Морган, она же "Кобёл с микрофоном", в день ее первого визита сообщила мне, что собирается голосовать за независимость. "Они тоже имеют право на свою страну. Они *действительно* представляют собой отдельное общество".

– Как насчет того, чтобы со мной пообедать?

– Вы же годитесь мне в дедушки!

– Так. Следующий вопрос, пожалуйста.

1. Кровь с молоком (*идиш*).

— Если бы ребенок, который у Клары родился мертвым, был белым, вы бы ее все равно бросили?

— Вы хотите сказать, дошло бы у нас до развода или нет? Что ж, это интересный вопрос. Я мог бы сдуру подумать, что ребенок мой.

— Но в вас все же глубоко сидит предубеждение против афроамериканцев?

— Да ну, еще чего.

— Я снеслась с Измаилом Бен Юсефом, которого вы знали под его рабским именем Седрик Ричардсон, и он утверждает, что вы систематически посылаете ему бранные письма.

— Готов поклясться на головах моих внуков, что он лжет.

Она полезла в папку и протянула мне ксерокс письма, в котором некое общество "Старейшины Сиона" призывало учредить стипендии для черных братков, попавшихся на грабеже.

— Фу, какая гадость, — сказал я. — Это же просто дурной вкус!

— Но разве это не ваша подпись стоит внизу страницы?

— Нет.

Она тяжко перевела дух.

— Уже много лет Терри Макайвер — этот расист, этот *женоненавистник* — посылает людям оскорбительные письма от моего имени...

— Давайте это оставим.

— А если вы не хотите, чтобы приличные мужчины глазели на вашу очаровательную грудь, то почему вы не носите лифчик — тогда соски не проступали бы столь явно. Ведь это отвлекает, по меньшей мере!

— Вот что, мистер Панофски. Столько мужчин торчат на власти своего пениса и столько их меня уже и лапали, и щипали, что я предлагаю раз и навсегда закрыть эту тему. Женщины нетрадиционной ориентации потому вас и пугают, что вы боитесь той угрозы, которую они представляют для (кавычки открыть) нормальной (кавычки закрыть) патриархальной, авторитарной системы, основанной на подчинении женщин мужчинам.

— Не сочтите за назойливость, — сказал я, — но как ваши родители относятся к тому, что вы лесбиянка?

— Я называю себя не так. Я гуманосексуалка.

— А, ну тогда между нами все же есть что-то общее.

— Вы согласились на это интервью, чтобы насмехаться?

— А почему бы нам не продолжить дискуссию за обедом?

— Идите вы к чертовой матери, — сказала она, собирая вещички. — Если бы не вы, Клара была бы и сейчас жива. Это мне Терри Макайвер сказал.

14

Париж, 1952 г. Прошло всего несколько дней после смерти Клары, я нехотя выплывал из очередного водочного ступора, совершенно не понимая, где я, что со мной, и тут вдруг встрепенулся: вроде послышался какой-то звук — нечто среднее между царапаньем и стуком в дверь. Кыш, кыш отсюда, подумал я. Но стук продолжался. Опять, наверное, Бука. Или Йоссель. Мои преданные сиделки. Кыш, все кыш, подумал я, отворачиваясь к стене.

— Мистер Панофски, мистер Панофски, пожалуйста, — послышался незнакомый голос. Очень жалобный.

— Всен-нахх! Все! Я болен.

— Пожалуйста, — снова заныл незнакомый голос. — Я не уйду, покуда вы не откроете дверь.

Пять вечера. Я встал с дивана, в котором звякнули сломанные пружины, доплелся до ванной и плеснул себе холодной воды в лицо. Может, это какой-нибудь искатель дешевого жилья, он хоть избавит меня от этой квартиры. Я ведь дал уже объявление в "Интернэшнл геральд трибюн". Что тут поделаешь? По-быстрому собрал с пола грязное белье, пустые бутылки, тарелки с недоеденными сосисками или остатками яичницы и сунул все это в первый попавшийся ящик комода. Стараясь не споткнуться о картонки с Клариными вещами, пошел к двери и отпер. Передо мной оказался маленький, коренастый незнакомец с черной, тронутой сединой "вандейковской" бородкой и в роговых очках, увеличивавших его глаза, карие и печальные, как у спаниеля. Возраст его я оценил примерно лет в пятьдесят с небольшим. Человек в суконном зимнем пальто с каракулевым воротником и фетровой шляпе, которую он торопливо снял, оставшись в черной ермолке, пристегнутой к гладким седым волосам заколкой-невидимкой. Пальто было распахнуто, и я заметил, что плоскость его галстука аккуратно разрезана ножницами надвое.

— Что вам от меня надо? — спросил я.

— Что мне надо? Я ведь Чернофски, — сказал он. — Хаим Чернофски, — повторил он еще раз, как будто это все объясняет.

Чернофски? А, ее первый муж. Я мотнул головой, безуспешно попытавшись вытряхнуть оттуда бьющийся в ней отбойный молоток.

— Учитель рисования? — спросил я в полном отупении.

— Какой учитель рисования? Как у вас с *мамме лошн*? Вы понимаете идиш, осмелюсь я вас спросить?

— Ну, более-менее.

— Я ваш *мехутен*[1]. Кларин отец. Можно мне войти?

— Да, конечно. Я отойду на секундочку, ладно?

Я снова обдал лицо водой, вернулся — нет, это не галлюцинация. Мистер Чернофски никуда не исчез. Сцепив руки за спиной, он рассматривал рисунки пером, по-прежнему висевшие на стене.

— Я так понял, мистер Панофски, что вы художник?

— Это Кларины, — сказал я.

— Кларины. И зачем она такую гадость покупала?

— Она их нарисовала.

— Нарисовала. Я нечаянно заметил в маленькой комнате колыбель. У вас ребенок?

— Он умер.

— Таки вы потеряли сына, а я потерял дочь. Да не случится большего горя ни в вашем доме, ни в моем.

— Хотите кофе?

— Меня от него пучит. Особенно от этого французского, как его варят здесь. Но от чашечки чаю я бы не отказался, с вашего позволения.

Он расчистил себе место за столом, нарочито брезгливо смахнув с него крошки, и отодвинул подальше кружку с какой-то жижей, в которой плавало несколько сигаретных окурков. Чайную ложку он осмотрел и вытер краем скатерти.

1. Тесть (*идиш*).

— А лимон? У вас есть лимон? — спросил он.

— Извините. Чего нет, того нет.

— Того нет, сего нет, — буркнул мистер Чернофски и пожал плечами. Затем, посасывая кубик сахару и прихлебывая чай, сообщил, что он кантор синагоги "Б'ней Иаков"[1] на Брайтон-Бич. — Житье, конечно, не царское, — продолжал он, — но нас обеспечивают квартирой в доме, принадлежащем председателю синагоги, а он умрет, но не согласится позвать маляров, я уж не говорю, что у нас унитаз течет — у него жена бесплодная, я согласен — ужас! ужас! — и кому он оставит свое состояние? Хотя это его проблема. У меня хватает своих. Камни в мочевом пузыре, не дай вам бог дожить до такого! Еще у меня синусит, варикозные вены и мозоли — ой, какие мозоли на ногах! Из-за беспрерывного стояния в синагоге. Только ведь, слушайте, это что — разве рак? Ну и, конечно, перепадает по чуть-чуть, когда свадьба там или похороны. Они суют тебе пятьдесят долларов, так они за них хотят чуть не квитанцию, чтобы в налоговую представить, а еще я руковожу каждым седером[2] на Песах в "Строго кошерном отеле Файнстайна" в горах Катскилл. Каждый год им аншлаг обеспечиваю. Уж что-что, а голос имеется. Дар Всевышнего, будь Он благословен. Но где же этот Файнстайн меня поселяет в благодарность за те деньги, в которых купается? В комнатушке размером с чулан за кухней, а холодильник и кухонный шкаф на ночь запирает — вдруг я стащу бутылку кока-колы или банку сардин! А на работу мне целую милю пешком идти. Ну ладно, собрал, что мог, послал сюда Клару, вручив ее компании "Американ экспресс", — так я, куда ей здесь пойти, только и имел, что их адрес!

У мистера Чернофски было двое детей.

— Соломончик — молодец, настоящий *олрайтник*, женат, Господь благословил его двумя чудесными детьми. А учатся как! Отличники оба. — Он показал мне их фотографии. — Вы теперь им дядюшка. Милтон родился восемнадцатого февраля, а Арти — двадцать восьмого июня, запишите себе куда-нибудь, а то забудете. И, конечно же, Клара, *алеха ха-шолом*[3], - сказал он. — Вы, похоже, *эпес*[4], удивлены моим появлением.

— Мне нужно время, чтобы как-то все переварить.

— Время ему нужно. А каково мне, мистер? Я, можно подумать, знал хотя бы, что она вышла замуж — и это моя дочь! — Вкрадчивая, заискивающая интонация у него начала уступать место гневу. — Вы сказали, эти пакостные картинки рисовала моя Клара?

— Да.

Очевидно, состояние нашей квартиры вселило в мистера Чернофски смелость. Надо думать! На его брайтонский взгляд она, должно быть, выглядела притоном гопников, даром что поглощала все мои деньги. Он вытащил из кармана брюк белый льняной платок и промокнул им лоб.

— И уж само собой, о нас она ничего никогда не рассказывала?

— Боюсь, что нет.

1. Сыны Иакова (*иврит*).
2. Седер (*иврит*) — установленный порядок торжественной трапезы, ритуалов и молитв в первую ночь праздника Песах.
3. Да упокоится с миром (о женщине) (*иврит*).
4. Вроде как (*идиш*).

– Видали, он боится! Что ж, я, со своей стороны, весьма удивлен, что мисс Вертихвостка вышла замуж за еврейского мальчика. Я-то думал, это будет ниггер. О, она их обожала!

– Вы знаете, мне не нравится, когда кто-нибудь употребляет слово "ниггер", вы уж не обижайтесь...

– Да я не обижаюсь. Будьте как дома, называйте их как вам заблагорассудится, – проговорил мистер Чернофски, принюхиваясь в спертой атмосфере и морща нос. – Вот если бы вы были так добры, чтобы открыть окно, я бы сказал спасибо.

Я выполнил его просьбу.

– А если вы не художник, мистер Панофски, то уж позвольте поинтересоваться, чем вы, собственно, занимаетесь?

– Экспортом.

– Ага! Он экспортом занимается. Но бизнес в бардаке не делают. Как это – жить в такой трущобе! Пятый этаж, и никакого тебе лифта. Ни холодильника. Ни посудомоечной машины.

– Мы как-то ухитрялись.

– Вы думаете, я несправедлив. Но если бы ваш сын, ваша плоть и кровь, *алав ха-шолем*[1], остался бы в живых, вырос бы и стал вас стыдиться, каково было бы вам?

Я встал, нашел коньяк и плеснул себе в кофе. Мистер Чернофски сглотнул слюну. Вздохнул.

– Это я вижу у вас что – никак шнапс?

– Коньяк.

– Коньяк. Чти отца твоего и матерь твою. Заповедь есть такая. Вы ее хотя бы выполняете?

– С матерью не все просто.

– А ваш отец – можно спросить, таки чем же он зарабатывает?

– Он полицейский.

– Полицейский. Ах-ха. А сами вы откуда, мистер Панофски?

– Из Монреаля.

– Из Монреаля. Хм. Тогда, может быть, вы знаете Крамеров? Очень приличная семья. А кантора Лабиша Забицки?

– Нет. К сожалению, нет.

– Но кантора Забицки знают все! Мы вместе участвовали в концертах в зале Гроссингера. Люди заказывали билеты загодя. Вы уверены, что никогда о нем не слышали?

– Я не из набожной семьи.

– Но вы же не стыдитесь того, что вы еврей! – с плачем вырвалось у него, словно прорвало фурункул. – Как она! Как Клара.

– *Алеха ха-шолом*, – сказал я и вновь потянулся за бутылкой коньяка.

– Когда ей было двенадцать лет, она начала пучками выдирать у себя волосы – ни с того ни с сего. "Доктор Каплан, – сказал я (а он почтенный член нашей конгрегации – о, как он нам помогает!), – что мне делать?" – "У нее месячные начались?" – спрашивает. Фу ты ну ты! Откуда мне знать за такие вещи? "Пусть придет ко мне", – сказал он. И вы думаете, Клара была ему хотя бы благодарна? Ведь он с меня даже денег не взял! "Он меня тискал за сиськи", – сказала она. Это в двенадцать-то

1. Да упокоится с миром (о мужчине) (*иврит*).

лет! Ну и язык! На какой помойке она его только набралась? Ну ладно, моя жена ее держала, а я вымыл ей рот с мылом.

Ну и началось. Да что я говорю? Началось-то все это давно уже! Она как спятила. "Вы, – говорит, – не мои родители. (Вот уж нам-то было бы счастье!) Вы меня удочерили, а теперь я хочу знать, кто мои настоящие родители". – "Конечно, – я говорю, – ты дочь царя Николая. Или короля Георга английского. Только я забыл, кого именно". – "Я не еврейка, – говорит, – это я точно знаю. Так что немедленно говорите, кто мои настоящие родители. А пока, – говорит, – не скажете, не буду есть!" Так что в итоге пришлось нам насильно открывать ей рот (а уж кусачая-то была, не приведи Господи), да и вливать ей куриный бульончик через воронку. А она возьмет да и выблюет все прямо на меня, причем нарочно. Ой! Какой костюм хороший испортила! Просто *гебенште цорес*[1]. Потом я стал находить у нее под матрасом неприличные книжонки. Всё *переводы с французского*. "Нина" или "Нана" – что-то такое. Стихи этого выродка Гейне – он, понимаешь ли, тоже стыдился быть евреем. Шолом-Алейхем ей уже нехорош, этой мисс *Шкотценклотц*[2], дурынде неотесанной. Повадилась болтаться в Гринич-виллидже, дома не ночевать. Ну, тут я стал ее на ночь запирать в комнате. Как выяснилось, поздновато. Потому что она была уже не девушка. Оденется как шлюха – и на улицу. На нашу улицу. А люди-то видят! И они не молчат. Я мог лишиться своего поста в синагоге, и что тогда? Петь на углу? В подъезде? Я вот что вам скажу: ведь и Эдди Кантор* так начинал, а поглядите на него сейчас, с его тоненьким голоском и глазками навыкате. Клянусь, в нем роста метра полтора – это когда он в шляпе и на коньках. Но он уже миллионер, а что все эти *гоим*? Да они смотрят на него снизу вверх!

Ну всё. Это было уже через край. Ее дикие выходки. Грязь, которую она изрыгала. Иногда по десять дней не выходила из комнаты – сидит смотрит в никуда. Спасибо хоть доктор Каплан ее в психбольницу устроил. Она получала лучшее лечение, невзирая на расходы. Мы – ладно, мы обойдемся. Ей давали электрошок, последнее слово современной медицины. Приходит домой и вместо спасибо режет себе в ванне запястья. "Скорая помощь" тут как тут. А соседи сквозь занавесочки подглядывают. Миссис Чернофски было так стыдно, что она неделю из дому не выходила. Значит, мало мне моих дел, так еще и за продуктами ходи, а нет – так кушай бутерброды с сардинками.

Хочу, чтобы вы знали, мистер Панофски: вы не должны себя винить, потому что это не первый раз, когда она пыталась с собой покончить. И не второй. Доктор Каплан говорит мне, что это ее крик о помощи. Ты хочешь помощи, так попроси! Я что – глухой? Плохой отец? Чепуха какая. Мистер Панофски, вы еще юноша, – продолжил он, вытягивая из кармана огромных размеров носовой платок и сморкаясь. – Экспорт это высший эшелон бизнеса, значит, если работать как следует, успех придет. Вам надо снова жениться. Родить детишек. А что – какие-то картонки на полу... Если вы переезжаете, так я не стану вас винить!

– Это ее вещи. Оставьте мне ваш адрес, и я вам их отправлю.

– Какие, например, вещи?

– Одежда. Тетради с записями. Ее стихи. Дневники. Рисунки пером.

– И зачем они мне?

1. Зд.: полный кошмар (*идиш*).
2. Шкотц – вредный, клотц – неумеха (*идиш*).

— Есть люди, которые ее работы высоко оценивают. Вам надо показать их издателю.

— Дневники, говорите. Наверняка полные лжи про нас. Гадина. Хочет выставить нас чудовищами.

— Может, тогда лучше я о них позабочусь?

— Нет. Пришлите их. Я вам оставлю визитку. Пусть мой племянник посмотрит. Он профессор литературы в Нью-Йоркском университете. Уважаемый человек. Он ее во всем поддерживал.

— Прямо как вы.

— Как я? Ну, здорово как вы разобрались. Большое вам спасибо. После всех страданий, которые мы с миссис Чернофски перенесли! После унижения и позора!

— Электрошок. Бог ты мой!

— А что, если я расскажу вам, как бывало, когда она по десять дней не выходила из комнаты, иногда по две недели — еду мы оставляли ей под дверью. Однажды миссис Чернофски идет забрать пустую тарелку и вскрикивает так, что я уж думал, кто-то умер. А знаете, что было на той тарелке? Вы уж меня простите, но она сходила туда по-большому. Да-да, мистер. Вот что она отчубучила. В больнице рекомендовали сделать ей операцию — как это они называли? Фронтальная лаборатория. Но мой племянник, профессор, сказал нет. Я не должен этого разрешать. Думаете, я поступил неправильно, что послушался моего племянника?

— Да, неправильно, мистер Чернофски. Ох, как неправильно. Но не насчет этого, дурень ты чертов!

— Дурень чертов. Хм-хм. Значит, вот как мы говорим со старшими, а я к тому же только что потерял дочь!

— Убирайтесь отсюда, мистер Чернофски.

— "Убирайтесь отсюда". Вы думали, я был бы рад остаться в этой помойке обедать?

— Убирайтесь отсюда, пока я не повалил вас на пол и не вымыл вам рот с мылом!

Я схватил его за шкирку, как куклу выволок на площадку и захлопнул дверь. Он тут же начал молотить в нее кулаками.

— Отдайте шляпу! — повторял он.

Я принес ее, распахнул дверь и сунул шляпу ему в руки.

— Не очень-то она была с вами счастлива, — сказал Чернофски, — если дошло до того, что она сделала с собой!

— Вы знаете, мистер Чернофски, я вполне способен буквально спустить вас с лестницы.

— Ишь ты, ишь!

Я сделал шаг к нему.

— Человек в посольстве сказал мне, что. когда вы в четверг ее обнаружили, она была мертва уже два дня. [Меньше двадцати четырех часов. См. с. 149. — *Прим. Майкла Панофски.*] Однако стол был накрыт на двоих. И была сгоревшая курица в духовке. Так я вас спрашиваю, где вы были в ту ночь, а, мистер Панофски?

Я сделал еще шаг к нему. Он начал спускаться по лестнице, между этажами остановился, погрозил мне кулаком и стал орать: "Убийца! *Ойсвурф*! *Момзер*! *Цорес*[1] на тебя и твоих нерожденных детей! Чума! Уродст-

1. Подонок! Паразит! Горести, беды (*идиш*).

ва! – выкрикивал он, после чего плюнул на пол: – Тьфу!" – и бросился бежать, увидев, что я снова двинулся за ним.

15

Париж, 7 ноября 1952 г. Я полагал, что теперь, когда активизирована ее детородная функция, толстеющая Клара не будет столь неразборчивой сексуально, хотя и вряд ли возвысится до целибата. [В рукописи дневник Макайвера, хранящийся в "Библиотеке особых собраний" университета Калгари, содержит несколько иную запись: "...до целибата, противного ее никчемной, поверхностной натуре. Однако сегодня она снова пришла, чтобы, отрывая меня от работы, склонять..." См. Тетрадь № 112, с. 42. – *Прим. Майкла Панофски.*] Однако сегодня она принесла мне свое последнее стихотворение и, выслушав замечания, сопровождавшиеся изъявлениями поддержки, стала склонять меня к утехам, по части которых она редкостная мастерица, – с этаким еще ее змеиным язычком и последующим размазыванием спермы по физиономии. Говорит, это улучшает цвет лица.

П., должно быть, подозревает, что он рогоносец. В пятницу вечером я брел по бульвару Сен-Жермен, и что-то заставило меня обернуться. Мой третий глаз, как сказала бы Клара. Да, конечно же, вот он – скачет сзади, меньше чем в квартале от меня, а когда поймал мой недовольный взгляд, остановился у витрины книжного магазина, притворившись, будто меня не замечает. Et voilà, вчера вечером снова возник, тащился за мной по boul'Mich[1]. Я думаю, он занялся слежкой за мною в надежде застать нас вместе. Все чаще он без приглашения объявляется у моей двери и, притворяясь, будто заботится обо мне, приглашает на ланч в ту жуткую забегаловку на рю Драгон, да еще и благодарности от меня ждет.

– Я боюсь за Клару, – говорит он, пристально глядя на меня. Но я избегаю ловушки, которую он для меня расставляет.

Сегодня 670 слов.

Париж, 21 ноября 1952 г. Опять пришло письмо от отца, в котором я нашел три двойных управления, две неоправданных инверсии, и конечно же то и дело он грешит плеоназмами. Матери стало хуже, и она жаждет лицезреть меня перед кончиной, однако я не нахожу в себе никакого желания видеть ее в столь неприглядном состоянии. Я не могу ни отложить свой манускрипт в любой удобный для кого-то момент, ни рисковать тем, что подобный визит может вызвать у меня срыв рабочего настроения. Все эти споры! Мигрени! Кроме того, она обязательно попытается вынудить меня здесь же, у смертного одра, пообещать ей, что я останусь в Монреале, чтобы заботиться об отце, чье здоровье также ухудшается. Принимая во внимание подкаблучный характер отца, я сомневаюсь, что он надолго ее переживет. Они любят друг друга со школьной скамьи, а познакомились, естественно, на пикнике "Лиги молодых коммунистов".

Ничего сегодня не написал. Ни слова.

1. А тут, здрасьте пожалуйста.... Буль-Миш – бульвар Сен-Мишель (*франц.*).

После того как мисс Морган, презрев приглашение на ланч, пробкой вылетела из моей квартиры, я был в расположении духа самом скверном, однако решил его поправить, для чего нахлобучил соломенное канотье, нашел в углу антикварную трость с серебряным набалдашником и втиснул ноги в чечеточные туфли. Перебирая ногами под аккомпанемент компакт-диска с записью Кинга Оливера*, я размялся, потом через пень колоду изобразил "шим-шам-шимми", а затем – уже почти как надо – "Pulling the Trenches", но хорошее настроение все не возвращалось. Особенно бесило меня то, что оглушительно глупой, хотя и смазливенькой мисс Морган в "Фонде имени Клары Чернофски для Женжчин" выдали грант в две с половиной тысячи долларов, дабы она могла без помех закончить дипломную работу на тему "Женжчины-жертвы в квебекской романистике".

Опять mea culpa. Mea maxima culpa.

Дело в том, что именно Кларин двоюродный брат, тот самый высокочтимый нью-йоркский профессор, любовно сортировал ее рукописи и рисунки, снабжая ими издателей и арт-дилеров по мере того, как ее работы с годами фантастически росли в цене. Но сперва он настоял на встрече со мной в Нью-Йорке, тогда как я на эту встречу согласился нехотя, с раздражением ожидая нелегкого разговора с академическим занудой, к каковым по всегдашней моей манере судить не глядя я его причислил. "Пойми же наконец, – сказал мне однажды Хайми Минцбаум после очередного периода лечения у какого-то из своих мозгоправов, – ведь это просто защитный механизм. Ты убежден, что всякий, кто видит тебя впервые, считает, будто ты полное говно, и ты предпринимаешь упреждающие меры. Расслабься, *бойчик*! Когда они узнают тебя получше, они убедятся в том, что были правы! Ты и есть полное говно".

Норман Чернофски оказался мягким, даже, может быть, в чем-то наивным человеком, к тому же совершенно не корыстным. *Гуте нешума*, как говорила о таких моя бабушка. Добрая душа. То есть из тех, кто представляет явную и непосредственную опасность для себя и других. Узнав от своего отвратного дядюшки Хаима, что я пьяница, Норман на всякий случай назначил мне встречу в вестибюле отеля "Алгонкин", где я остановился, и сразу подтвердил мое предубеждение против него тем, что заказал себе воду "перье". Маленький невзрачный человечек в толстых очках, с носом-картошкой и волосами цвета олова, он пришел в вельветовом костюмчике, по плечам осыпанном перхотью и с пузырями на коленях, причем на галстуке красовались пятна соуса. Старинного вида школьный портфель, который он поставил рядом с собой, был так набит, что, казалось, вот-вот лопнет.

– Для начала, – заговорил он, – я должен выразить вам благодарность, что нашли время со мной встретиться и принести извинения за дядю Хаима, который понятия не имел, что мертворожденный ребенок Клары не был вашим, а вы из скромности не указали ему на это.

– Стало быть, вы прочли ее дневники.

– Конечно прочел.

– В том числе и последнюю запись о том обеде, на который я не явился.

– Тот удививший вас визит к вам дяди Хаима не мог быть легким ни для него, ни для вас.

Я пожал плечами.

— Пожалуйста, не поймите меня превратно. Я отношусь к дяде Хаиму с величайшим уважением. Он человек ожесточенный, да, хотя у него есть на то основания, однако у многих имеются столь же веские основания быть ему благодарными. И больше всего их у меня. Хаим первым из Чернофски приехал в Америку из Польши и с самого начала, отказывая себе во всем, откладывал каждый грош и посылал деньги родственникам. Если бы не его самоотверженность, мои родители так и остались бы в Лодзи, там бы родился и я, и все для нас кончилось бы Освенцимом, как это случилось с оставшимися там нашими родственниками. Однако дети многих из тех, кому Хаим помог сюда выбраться, мужчины и женщины, в Америке преуспевшие, смотрят на него теперь как на посмешище. Видят в нем атавизм. Еврея из гетто. Не хотят, чтобы он, набросив *талит гадол*, произносил по утрам *шахрит*[1] у них в гостиной — ну как же: дети смеются! — или в их загородных садах на Лонг-Айленде либо во Флориде подставлял бы солнцу свои бледные мощи, оставаясь в ермолке, — вдруг он опозорит их перед соседями? О'кей. Довольно. Я многовато болтаю. Спросите лучше мою жену. Готов согласиться, он человек ограниченный, упрямый, нетерпимый, но — поймите! — он до сих пор не может прийти в себя от того, во что превратились евреи в Америке. И я не сомневаюсь, что с вашей точки зрения он был непростительно жесток с Кларой. Но как можно ждать от него понимания и терпения в отношении столь своенравного, не по годам развитого ребенка в его доме? Она была такой трудной! Такое смятение в душе! Ах, бедная Клара, — сказал он и прикусил губу. — Когда ей было всего двенадцать лет, она, бывало, ляжет у нас в гостиной на пол, обложится книгами и рисунками и только тощими ножками дрыгает — то скрестит их, то раскинет. Я любил Клару и горько сожалею, что не смог ничего сделать, не смог защитить ее от... От чего? От этого мира, вот от чего, наверное.

— Так это, значит, были вы — вы приезжали в Париж, искали ее?

— Я. Но тут она в письме попросила меня не встревать, не беспокоиться, она, дескать, встретила хорошего человека — вас, мистер Панофски, — и он собирается на ней жениться.

Раз в неделю по вечерам Норман обучал чтению иммигрантов в Гарлеме. В составе группы активистов собирал одежду для отправки евреям в Россию, постоянно сдавал кровь в донорском пункте, а как-то раз даже выставлялся кандидатом от социалистической партии в законодательное собрание штата. Его жена Флора, учительница начальных классов, ушла с работы, чтобы заботиться об их единственном ребенке, мальчике, страдающем синдромом Дауна.

— Флора будет очень рада, если вы зайдете к нам пообедать.

— Ну, может, в следующий раз.

— Если бы здесь была Флора, она бы сказала, хватит *квецать*, без разговоров идемте к нам. Я зазвал вас сюда, потому что нашел издателя для Клариных стихов и галерею, заинтересовавшуюся ее рисунками. Но что касается ее дневников, тут уж можете быть уверены: даже если бы меня стали упрашивать, публиковать их нельзя, пока жив дядя Хаим и тетя Гитель — это и говорить нечего.

— А я? — спросил я с искательной улыбкой.

1. Молитвенное покрывало... утренняя молитва (*иврит*).

— Ну, вы! — тут он не был со мною согласен. — Если читать между строк, она была более чем благодарна вам за вашу преданность. Я думаю, она любила вас.

— По-своему.

— Послушайте, скорее всего затея кончится ничем. Однако мой долг сообщить вам, что дело может обернуться иначе и ее работы начнут приносить значительную финансовую прибыль, а в этом случае доходы от них по закону причитаются вам.

— Ой, да ну, Норман, не говорите чушь.

— У меня есть предложение, которое я советовал бы вам внимательно обдумать. Я сумасшедший. Спросите кого угодно. Однако на случай, если начнут поступать деньги, я хочу учредить фонд ее имени, чтобы помогать женщинам художественного или научного склада, потому что им по-прежнему чрезвычайно нелегко, — и пошел, и пошел сыпать цифрами: как мало женщин в штате Колумбийского и Нью-Йоркского университетов, как мало их вообще среди профессоров и как им приходится мириться с меньшими окладами и терпеть к тому же снисходительное отношение мужчин. — Я тут принес кое-какие бумаги, вот взгляните, — сказал он, расстегивая свой туго набитый портфель. — Вот: это отказ от права... это распоряжение о передаче третьим лицам... Возьмите с собой. Поговорите с адвокатом. Обдумайте все как следует.

Ничего я не стал обдумывать, мне было лишь бы понравиться Норману, и я не глядя подписал все документы в трех экземплярах. Лучше бы у меня правая рука отсохла. Поди знай, что этим я запускаю машину, которая погубит одного из тех немногих по-настоящему хороших людей, кого я когда-либо знал.

Продолжение следует

Примечания

1. Морли Каллаган (1903—1990) — канадский писатель, приятель Хемингуэя. Однажды в Париже в 20-е гг. во время боксерского поединка отправил Хемингуэя в нокаут (с. 7).

2. Меир Лански (1902—1983) — один из самых богатых и удачливых главарей мафии в США. По происхождению еврей из Гродно (с. 9).

3. Популярный в военные и послевоенные годы пассажирский и военно-транспортный самолет (выпускался с 1935 по 1945 г.) (с. 9).

4. Сэмюэл Джонсон (1709—1784) — английский литератор и издатель, автор первого толкового словаря английского языка (с. 9).

5. "Ситроен deux-chevaux" (букв. "две лошадки") упомянут не случайно. Это межевой знак, репер времени. Крытый брезеном "2CV", как для краткости писали его название, был первым французским массовым автомобилем. Кстати, "две лошадки" — это обозначение налоговой ниши, то есть класса машины, а не мощности двигателя, как можно подумать. Мощность первой его модификации была 9 л. с. (с. 10).

6. Вышедшая в 1956 г. книга американского социолога Уильяма Уайта (1914—2000) о том, что на смену индивидуалистической протестантской этике в современной Америке пришла этика корпоративная, ставшая религией приспособленчества (с. 11).

7. Еще одна книга о конформизме и корпоративном соперничестве американского писателя Слоуна Уилсона (1920—2003) (с. 11).

8. Колин Уилсон (р. 1931) — английский философ и писатель. Первая его книга "Аутсайдер" (1956), нашумевшая и ставшая бестселлером, действительно оказалась однодневкой (с. 11).

9. Сол Беллоу (1915—2005) и Альфред Казин (1915—1998) — оба дети еврейских иммигрантов. Беллоу — лауреат Нобелевской премии по литературе, Казин—литературовед, критик (с. 11).

10. Томас Бернхард (1931—1989) — австрийский писатель и драматург. Авраам Ноам Хомски (р. 1928) — американский лингвист и социолог, в середине 60-х ставший политическим активистом (выступал против войны во Вьетнаме) (с. 13).

11. Квартал в Иерусалиме, населенный ортодоксальными еврейскими фундаменталистами (с. 13).

12. Сейчас это скорее набор стандартных движений, применяющийся при обучении степу, чем собственно танец. Однако первоначально (в 20-е годы XX в.) шим-шам-шимми задумывался как комический танец, изображающий неудачные стариковские попытки танцевать степ (с. 16).

13. Имеется в виду Бруно Гауптман (1899—1936), американец немецкого происхождения, преступник, в 1935 г. похитивший и убивший двухлетнего сына знаменитых авиаторов Чарльза и Анны Линдберг (Чарльз в 1927 г. совершил первый беспосадочный перелет через Атлантику) (с. 17).

14. "Fortnum and Mason PLC" — магазин на Пикадилли (с. 19).

15. Зигфрид Сассун (1886—1967) — английский поэт и романист, известный своими антивоенными стихами. Участник Первой мировой войны, был дважды тяжело ранен и награжден орденом, но оставался в строю, благодаря чему его антивоенные протесты звучали еще весомее (с. 21).

16. "От тоски умирают чаще" — название одиннадцатого романа Сола Беллоу (1987) (с. 21).

17. Мейсон Хоффенберг (1922—1986) — личность, довольно типичная для литературной богемы эпохи битников и хиппи. Наркоман, знаменитый своим вызывающим поведением, образованностью и многообещающим талантом. Однако написал всего три книги — все для эротической серии парижского издательства "Олимпия-пресс" (одну из них в соавторстве с Саутерном). Альфред Честер (1928—1971) — сын еврейских эмигрантов, выходцев из России, чертами личности и литературной судьбой очень схож с Букой — наряду с Хоффенбергом, Честер один из его прототипов; конец жизни у него тот же, что у Барни. В 50-е гг. (как и Рихлер) жил в Париже, писал блистательные рассказы. Первый роман Честера (1957) назывался "Jamie is my heart's desire" — "Джейми, как томится по тебе мое сердце!" (ср. многократный рефрен Барни: "Мириам, как томится по тебе мое сердце!") и (по имеющимся сведениям) получился провальным. В дальнейшем Честер в основном занимался литературной критикой. Терри Саутерн (1924—1995) — сценарист и "новый журналист" (причислен к таковым Томом Вулфом). В конце жизни преподавал в Колумбийском университете и умер, подобно своему тезке из романа Рихлера, по дороге на работу (с. 26).

18. Картина Нормана Рокуэлла "Клепальщица Рози" во время Второй мировой войны была в США такой же иконой, как наша "Родина-мать зовет" (с. 30).

19. Айк — уменьшительное прозвище Эйзенхауэра. Лозунг его президентской кампании 1952 г.: "Мы любим Айка!" (с. 31).

20. Вильгельм Райх (1897—1957) — австрийско-американский психолог, был обвинен в шарлатанстве и умер в тюрьме (с. 32).

21. Пасионария — пламенная (*исп.*); псевдоним Долорес Ибаррури (1895—1989), лидера испанских коммунистов. Эль Компечино — крестьянин (*исп.*) — псевдоним Валентина Гонсалеса (1904—1979), легендарного генерала испан-

ских республиканцев, сражавшегося во время Гражданской войны (1936—1939) (с. 35).

22. Александр Митчелл Палмер (1872—1936) — министр юстиции США (1919—1921), центральная фигура периода "красной угрозы" (с. 35).

23. Десять видных сценаристов и режиссеров, отказавшихся в октябре 1947 г. давать показания Комитету по антиамериканской деятельности. В 1948 г. состоялся суд, приговоривший их к тюремным срокам от шести до двенадцати месяцев за неуважение к Конгрессу, после чего Американская киноассоциация внесла их в "черный список" (с. 36).

24. У. Б. Йейтс "Второе пришествие" (с. 36).

25. Три гола за один матч (с. 41).

26. Французская аристократка (1606—1673), основавшая в 1644 г. первую в Монреале больницу (с. 44).

27. Художник, автор серии комиксов со сквозным героем сыщиком Диком Трейси (с. 44).

28. Питер Кук (1937—1995) — английский художник-сатирик, писатель и комический актер. Джон Осборн (1929—1994) — английский драматург, автор знаменитой пьесы "Оглянись во гневе" (с. 47).

29. Уолтер Сэвидж Ландор (1775—1864) — английский писатель. "Воображаемые беседы" написаны в форме диалогов исторических персонажей (с. 48).

30. Новый мост — старейший мост в Париже (построен в XVII в.) (с. 50).

31. Престижный частный гуманитарный колледж в штате Нью-Йорк (с. 50).

32. Тереза Дефарж — героиня "Повести о двух городах" Ч. Диккенса. Эта злодейка и страстная революционерка непрестанно вяжет на спицах, в виде узора вывязывая имена врагов революции, которые должны быть казнены (с. 50).

33. Алистер Кроули (1875—1947) — один из самых известных мистиков и магов XIX и XX вв. (с. 50).

34. Крест с колечком наверху, древнеегипетский символ жизни. (с. 51).

35. Луи Фаррахан — афроамериканский лидер сепаратистской организации "Нация Ислама" (с. 52).

36. Анта Диоп (1923—1986) — сенегальский ученый (с. 52).

37. "Врата Хасмонеев" — название герба еврейской общины Монреаля. Хасмонеи (или Маккавеи) — жреческий род, правивший Иудеей в 167—37 гг. до н. э.; в 167 г. до н. э. возглавили народно-освободительную борьбу против политического, налогового и религиозного гнета греческой Сирии (с. 53).

38. Джузеппе ди Стефано (р. 1921) — итальянский певец (тенор). Элизабет Шварцкопф (р. 1915) — немецкая певица (сопрано). Кирстен Флагстад (1895—1962) — норвежская оперная певица (сопрано), прославилась как исполнительница вагнеровских партий (с. 56).

39. Коктейль на основе шампанского (с. 56).

40. Туристская деревня на острове в венецианской лагуне (с. 56).

41. Луис Риэль (1844—1885) — франкоканадский националист, организатор бунта метисов (канадцев франкоиндейского происхождения); на короткое время стал даже членом парламента; был повешен. Норман Бетьюн (1890—1939) — канадский врач, коммунист. Работал в 1936—1937 гг. в Испании, а затем в Китае, в коммунистической армии. Умер в Китае от заражения крови (с. 60).

42. Пьер Элиот Трюдо (1919—2000) неоднократно становился премьер-министром Канады (с. 60).

43. Перебазирование в 1935 г. частей Китайской Красной армии на скрытые базы в труднодоступных северо-западных районах (с. 60).

44. ФОК — Фронт освобождения Квебека, террористическая организация франкоговорящих националистов (с. 61).

45. Оксфам — благотворительная организация (с. 64).

46. Национальный парк на юго-западе Канады (с. 69).

47. Орентал Джеймс Симпсон (р. 1947) — знаменитый американский футболист, в 1994 г. был обвинен в убийстве бывшей жены и ее любовника, но оправдан судом присяжных. Процесс над ним стал национальным событием, широко освещавшимся средствами массовой информации (с. 75).

48. Старинное название Квебека (1791—1841) (с. 80).

49. Джордж Уитмен (р. 1913) — владелец известного парижского магазина книги на английском языке "Шекспир и компания". При магазине организовал бесплатную библиотеку и гостиницу, куда поселял молодых путешествующих писателей, которые ночлег отрабатывали двумя часами работы в магазине (с. 80).

50. Один из персонажей романа английского писателя Джорджа Дюморье "Трилби" (1894). Свенгали, обладающий способностью к гипнозу, сделал из героини романа свою марионетку (с. 82).

51. Здание бывших кортов. В середине XX в. там был музей (с. 88).

52. Мишель Бютор (р. 1926) — писатель, крупнейший представитель школы французского "нового романа". Натали Саррот (наст. имя Наталия Иванова-Черняк; 1900—1999) — писательница, представитель школы "нового романа". Клод Эжен Анри Симон (1913—2005) — писатель, лауреат Нобелевской премии (1985). Луи Жуве (1887—1951) — легендарный актер театра и кино. Сидней Бешe (1897—1959) — американский джазмен, кларнетист. "Старая голубятня" — студийный парижский театр (с. 88).

53. "Сестры Эндрюс" — ансамбль, у нас известный главным образом переложением еврейской песни "Bei Mir Bist Du Schoen" (1938), английский текст которой написал Сэмми Канн в 1933 г. (с. 88).

54. Эббот и Костелло — знаменитый комедийный дуэт. Эстер Уильямс (р. 1923) — бывшая чемпионка по плаванию брассом, ставшая затем средней руки кинозвездой (с. 88).

55. Говард Филипс Лавкрафт (1890—1937) — американский писатель-фантаст (с. 91).

56. Примерно 200 на 200 метров (с. 92).

57. Раш Лимбо (р. 1951) — популярный американский радио- и телеведущий (с. 93).

58. По имени кардинала Роберто Франческо Беллармини (1542—1621) — католического богослова, иезуита (с. 94).

59. Густав Майринк (1868—1932) — австрийский писатель, всемирную славу которому принес роман "Голем"; правда, Голема выдумал не он — он лишь использовал историю, которую сочинил в XVI в. рабби Иуда Лев Бен Бецалель Пражский (с. 94).

60. Муж Вирджинии Вулф (с. 95).

61. Ашкенази — евреи восточноевропейского рассеяния (с. 96).

62. Калибан — персонаж "Бури" Шекспира, дикарь (с. 98).

63. Ричард Райт (1908—1960) — американский писатель, негр, с 1951 г. жил в Париже, где и умер (с. 100).

64. Герой книг Джоэля Чендлера Харриса (1848—1908), написанных в духе негритянского фольклора (с. 102).

65. Джеронимо (1829—1909) — вождь племени чирикауа (апачи), в 1885—1886 гг. возглавивший сопротивление индейцев-апачей колонизации американцами и мексиканцами (с. 108).

66. 10 из 12 колен Израилевых были потеряны из-за ассимиляции с другими народами после завоевания в 721 г. до Р. Х. израильского Северного царства Ассирией. До сих пор существует поверье, что когда-нибудь потерянные колена

найдутся. Происхождение из потерянных колен Израилевых приписывают себе несторианцы, мормоны и т. п., вплоть до американских индейцев (с. 108).

67. Светильник (*иврит*) — традиционный еврейский семисвечник, символизирует древо жизни, семь дней творения и семь планет, известных древней астрономии (с. 111).

68. Роман Джордж Элиот (1819—1880) (с. 111).

69. Нортроп Фрай (1912—1991) — литературный критик (с. 113).

70. Ханука — освящение (*иврит*), праздник в честь победы еврейских повстанцев маккавеев над греко-сирийскими завоевателями (164 г. до н. э.); Песах (*иврит*) — еврейская Пасха, отмечается в память исхода евреев из Египта (с. 115).

71. Роман английского писателя Томаса Хьюза (1822—1896), где описывается пребывание автора в частной школе (с. 117).

72. Американский писатель-фантаст (наст. имя Хью Закари; р. 1928); автор эротических рассказов (с. 118).

73. Обряд совершеннолетия для мальчиков, выполняется в ближайшую субботу после того, как ребенку исполнится 13 лет и один день (с. 118).

74. Домашнее прозвище Элизабет, жены Сэмюэла Джонсона (с. 119).

75. Дэвид Гаррик (1717—1779) — величайший актер британского театра, прославился ролями в пьесах Шекспира (с. 119).

76. Квебек находится между Онтарио и Ньюфаундлендом (с. 119).

77. Эдвард Израиль Ишкович (1892—1964) — американский актер комического жанра; звезда водевиля, бурлеска, драматической сцены, радио и телевидения (с. 124).

78. Джозеф Оливер (1885—1938) — знаменитый в 20-е гг. джазовый трубач (с. 127).

Анна Вебер

Наведаться к Цербер*у*

Перевод с немецкого В. Седельника

Вступление Т. Баскаковой

Темные ангелы языка

Маленький роман сорокалетней немецкой писательницы и переводчицы Анны Вебер (после окончания школы она уехала во Францию, прожила там двадцать лет, недавно переселилась в Швейцарию, в Биль) был очень благожелательно встречен немецкой критикой, удостоен литературной премии Хаймито фон Додерера; в рецензиях отмечалось даже, что книга эта в чем-то близка прозе Томаса Бернхарда.

На первый взгляд роман представляет собой цепочку ничем не связанных между собой фантазий, словесных игр. Даже единственное описываемое здесь событие — путешествие в захолустный французский городок Сербер, поблизости от которого в 1940 году покончил с собой немецкий философ и эссеист Вальтер Беньямин, — происходит, кажется, лишь в воображении героини. За сдержанным, отчасти ироничным тоном повествования угадывается печаль, но ее источник долго остается неясным. Словами эта молодая женщина будто пытается заговорить себя же, отвлечь от одиночества, она все время кружит вокруг некоего центра — замалчиваемой ею беды. В этих словесных гирляндах всплывают и имена писателей-неудачников — тех, кого "исчезающе крохотные буковки", их тексты, в свое время не уберегли от несчастья, — Вальтера Беньямина, умершего в психиатрической лечебнице Роберта Вальзера, Одена фон Хорвата, нелепо погибшего в Париже накануне Второй мировой войны. "Из детства выныривает горбатый человечек и, продираясь сквозь дебри воспоминаний, ковыляет ко мне". "Горбатый человечек" — сказочный персонаж немецкой народной поэзии,

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2004
© В. Седельник. Перевод, 2007
© Т. Баскакова. Вступление, 2007

на которого в эссе "Берлинское детство", других текстах, в разговорах неоднократно ссылался Вальтер Беньямин, как на олицетворение пожизненно преследовавшей его неудачливости.

"Горбатый человечек" в чем-то перекликается с еще одним часто встречающимся беньяминовским образом, "ангелом истории", который тоже просвечивает сквозь текст Анны Вебер и был для Беньямина, если воспользоваться определением Пьера Буретца[1], "напоминанием о мучительности духовной жизни вообще". "Ангела истории", навеянного картиной Пауля Клее, Беньямин описал так:

> Глаза и рот широко открыты, крылья напряжены. <...> Взор его обращен в прошлое. Там, где появляется цепь наших событий, он видит сплошную катастрофу, которая непрерывно громоздит друг на друга развалины и швыряет их к его ногам. Он хотел бы задержаться, разбудить мертвых и вновь соединить разбитое. Но из рая дует штормовой ветер, такой сильный, что попадает в крылья ангела и он не может их прижать. Этот ветер неудержимо гонит его в будущее, ангел поворачивается к нему спиной, а гора развалин перед ним вырастает до неба. То, что мы считаем прогрессом, и есть этот ветер[2].

Процитированный отрывок Анна Вебер обыгрывает много раз. Но текст Беньямина она воспринимает так, словно речь там идет не об Истории (с большой буквы, истории человечества), но об истории "приватной", о ее личной истории. Она сама — как пишущий человек — в определенном смысле принимает на себя роль беньяминовского "ангела", хочет осмыслить свою нынешнюю боль и прошлые неудачи, "разбудить мертвых и вновь соединить разбитое". Она видит *себя* как "все возрастающую гору развалин" и о *своих же* органах восприятия говорит, что, "подобно ангелу истории, они повернулись к будущему спиной и напряженно всматриваются в прошлое".

И сам Беньямин, и определенно продолжающая его традицию Анна Вебер отказываются от позиции всезнающего автора, для них слово — не способ выстроить занимательный сюжет или дать четкие ответы на какие-то вопросы, скорее инструмент для ориентации в мире, но может — и просто жалоба, выражение отчаянья. Как мы узнаём примерно в середине книги, толчком для размышлений произносящей монолог женщины послужило известие о том, что ее отец находится при смерти. О своем воображаемом путешествии в городок, где когда-то покончил с собой Беньямин — очень значимая для нее фигура, ее "сверхотец", — героиня говорит: "Поездка в Сербер: она ведет меня к входу в смерть, туда, где язык перестает быть линзой и лупой, а переходит в бессвязный лепет, в чтение по слогам и, наконец, в молчание".

Тем не менее по Беньямину, именно такой "бессвязный лепет", простые попытки выговориться самому и, по возможности, правдиво обозначить то, что происходит в тебе и вокруг, и создают в своей совокупности пространство языка: общечеловеческое пространство духовности, помогающее прежде всего увидеть себя как часть целого:

> Человек *в своем языке* со-общает собственную духовную сущность. Но язык человека говорит словами. Человек, следовательно, со-общает свою духовную сущность (в той мере, в какой она поддается со-общению) постольку, поскольку он *именует* все другие вещи. <...> В именовании являет себя сущностный закон языка, согласно которому вы-говорить себя самого и за-говорить со всем другим есть одно и то же. <...> Впрочем, со-общение ве-

1. Автор статьи "Вальтер Беньямин" в кн.: "Евреи и XX век". Аналитический словарь / Ред. Эли Барнави и Саул Фридлендер. – М.: Текст–Лехаим, 2004.
2. "О понятии истории". Перевод С. Ромашко / НЛО, 2000, № 46.

щей предполагает такую степень обобщенности, что охватывает вообще весь мир, как неделимое целое[1].

Такое представление о литературе и языке, придающее им почти сакральный характер, резко отличается от взглядов на тот же предмет, преобладающих сегодня. Неслучайно в романе современные интеллектуалы, совершающие паломничество к могиле Беньямина (который, по иронии судьбы, стал культовой фигурой постмодернизма), подхватив лишь одну его идею — что в нынешнем обществе смерть в значительной мере вытеснена из сознания, — рассуждают о том, что литература будто бы вот-вот должна умереть.

Текст романа эту позицию опровергает. Хотя бы потому, что, когда героиня узнает об опасной болезни отца, она более чем когда-либо прежде ощущает потребность в слове, которое могло бы примирить ее со смертью близкого человека, с прошлой несчастливой жизнью.

Вебер — как некоторые другие, но очень немногие современные авторы — пытается подхватить и развить беньяминовскую концепцию слова, восходящую к модернизму рубежа XIX—XX веков, когда была заново сформулирована мысль о том, что поэт, творец есть прежде всего посредник между миром живых и миром умерших.

Память об умерших важна, среди прочего, и потому, что это есть память о культуре, о культурной традиции — еще один способ научиться не преувеличивать значение своего "я", а воспринимать себя как часть целого:

> <...> меня окружают одни только боги: я узнаю Гёльдерлина и Гёте, Роберта Вальзера и Готфрида Келлера, Кафку рядом с Мелвиллом, Мёрике и Мишо, Чехова и Виктора Гюго. <...> На долю секунды я бросаю взгляд назад, где бесконечными рядами неподвижно стоят писатели; тесно прижавшись друг к другу, стоят они, словно толпы ангелов в темных одеяниях, и молчат.

Свое ощущение, что такого рода умершие не только присутствуют рядом с нами — в своих произведениях, — но и способны, подобно ангелам-хранителям, оказывать нам поддержку, менять наше отношение к миру, героиня романа выражает посредством сжатой формулы: "...реальность большей частью состоит из нереального".

"Реальность" и "нереальное" (мир фантазий, мир творчества) нуждаются друг в друге, должны были бы друг друга дополнять, однако рассказываемая в романе история героини и ее отца показывает ситуацию — типичную для нашего времени, — когда соотношение между этими сферами нарушено: отец, представляющий элитарную культуру, принадлежит к семейству "отвернувшихся от жизни" (он, по сути, не замечает даже своего ребенка), ребенок же в результате оказывается отторгнутым от той культурной традиции, которую олицетворяет отец. И все-таки героиня романа, повзрослев, приходит к выводу, что для нее — для пишущего человека вообще — нет иного пути, кроме как вернуться к тому высокому пониманию слова, что было свойственно "Беньяминам". То, что в начале книги казалось словесной игрой, на самом деле — попытка нащупать, через слова, систему жизненных ориентиров:

> Взгляд, направленный снизу вверх, сделал из ребенка человека. Сознание собственной несостоятельности и ничтожности, которое ни на секунду нельзя изгнать, сделало из

1. Вальтер Беньямин. О языке вообще и языке человеческом.

него писателя. Лишь с большим опозданием и далеко не сразу он заметил: писать, рисовать, петь можно только снизу вверх, но ни в коем случае не сверху вниз.

Роман бессобытиен: отец не умирает, произносящая монолог женщина, пережив шок от его мнимой смерти, вполне буднично — не идеализируя этого человека — с ним примиряется; и все-таки "кульминация", которую по привычке ждет читатель, в книге присутствует:

<...> единственное открытие, сделанное на этих страницах, извлечено из самих слов, из их бунта, из преподанного ими урока: ты ошибаешься, думая, что мы "только" слова, говорили они мне. Мы не позволим тебе использовать нас, тем более злоупотреблять нами в своих целях; для вещей и явлений мы не пустая оболочка, мы — их второй дом.

ДЕНЬ в разгаре. На окнах вместо москитных сеток висит липкая паутина. Рядом дуб, озеро; луковичной формы купола, словно покрытые серой глазурью колпачки, навинчены на крыши домов. В такое пекло нагревается на солнце кирпич, от жары крошатся балконы. С моего свисает обрывок тонкой веревки. Можно представить себе многое — самоубийц подбирают в том же ритме, в каком они падают. Из расщелин в камнях тянутся к теплому воздуху цветы, лениво кивают мне и призывают последовать их примеру — закрепиться на бесплодной почве бумаги, но я не могу: едва я открываю глаза, жизнь ослепляет меня. А если держу их закрытыми, меня прямо-таки распирает, в голове стучат челюсти, трещит пишущая машинка, каркают вороны.

Почему никто не подсунет мне под дверь какое-нибудь послание, думаю я, и в тот же миг вижу лист белой бумаги, косо торчащий в дверной щели. Разглаживаю его и читаю.

В этом мире живут носороги и речные раки с прозрачным панцирем; есть павлины, веером распускающие хвосты с похожими на мотыльков "глазками"; есть бурлящие горы, они выплевывают камни, словно вишневые косточки, их тошнит пылающей лавой; есть мундиры, в которых люди маршируют по шикарным проспектам, высоко вскидывая колени; есть жирафы, которые, устав бродить по земле, стремятся к более высоким сферам. А ты сидишь и срастаешься со своим стулом в мифологическое двуполое существо.

Раскрыв веки, я открываю мир и намечаю для себя многое из того, от чего нельзя удержаться: с улыбкой всматриваться в настоящее и перепрыгивать через все западни, как через лужи; не затыкать больше рот, нос и уши, а держать их открытыми для любых впечатлений, чтобы спектакль не пропадал втуне, а декорации пользовались заслуженным вниманием. Все животные и люди влетают и вбегают к нам в поле зрения не шутки ради, да и облака вплывают в картину не без задней мысли.

Радуйся тому, что перед тобой возникает столько вопросов, заканчивается письмо. Или, может, ты думаешь, что в состоянии прожить хотя бы один день в мире без вопросов?

Я складываю листок самолетиком и отправляю в полет. Возможно, он и другим малодушным даст долгожданный толчок. Поток воздуха уносит его далеко.

По озеру плавают суда, на которых экскурсовод голосом диктора в аэропорту переводит для пассажиров окрестности в цифры: высота маяка дальней связи 120 метров, глубина озера Ваннзее в этом месте 25 метров, а длина судна — 77 метров. Таким образом, все складывается в привычную настольную игру или в математическую формулу без неизвестных, и пассажиры, оставшиеся целыми и невредимыми в измеренных вдоль и поперек окрестностях, причаливают к берегу.

По ночам маяк дальней связи подмигивает мне, а я подмигиваю ему. Так проходят ночи.

Внизу, на озере, прожектора отбрасывают легкую зыбь воды на деревья. Передвинутая на шелестящую листву поверхность озера дрожит вдвое сильнее: в серой листве тихо плещется отблеск озера.

Как только я вернулась в комнату, озеро, качнувшись, вползло следом. Мы садимся за письменный стол и принимаемся за дело. Рассказ и теперь вряд ли получится, мы это сразу чувствуем, хотя как приятно и удобно было бы продвигаться, цепляясь за нить сюжета, от одного эпизода к другому: маркиза выходит из дома, маркиза возвращается домой, садится в карету или ломает себе ногу. Ты знаешь, куда двигаться, или, что еще лучше, не знаешь сама, но позволяешь вести себя персонажам, которых, правда, ты сама и выдумала, потратив немало сил, но которые столь любезны, что уже ко второй главе обретают самостоятельность и ведут к неожиданному для всех финалу. Но вместо этого сидим мы, озеро и я, и ждем бутылочной почты с необходимыми указаниями, как легко и быстро написать толстую, захватывающую книгу. Бутылочная почта вскоре и впрямь всплывает, правда в виде бутылки виски, которая непостижимым образом вдруг оказывается на моем письменном столе. Собственно, к этой бутылке подходит иная, куда более жесткая проза, чем моя, к тому же тот, кто пьет виски, не ведет себя так, не позволяет языку увлекать себя, наоборот, он не поддается его соблазнам, он овладевает им и не позволяет водить себя за нос. Бутылку виски ставят рядом со старой пишущей машинкой, к примеру, марки "Олимпия", вставляют лист бумаги и начинают стучать по клавишам. В уголке рта зажата сигарета, время от времени на белую рубашку сыплется пепел, но пишущий (это мужчина) водит глазами справа налево вслед за движущимся листом бумаги и не замечает этого. Лучше всего, если это будет американец. Не вынимая сигареты изо рта, он звонит своему агенту и говорит: мне срочно нужны пятьсот долларов. Он неподатлив, как я, когда нужно отдать, он настойчив, когда нужно взять. Утром он просыпается с раскалывающейся головой, он просидел всю ночь в конусе света настольной лампы с металлическим абажуром, дергая за красную нить, которая то и дело хочет запутаться и завязаться в узел, пасмы повествования тщательно и целеустремленно сплетаются воедино, и, когда брезжит рассвет, финал остается открытым. Так и должно быть: цена открытого финала продолжает расти. А я между тем работаю над книгой с открытым началом, этим жанром на бирже пока еще не торгуют.

На дне бутылки меня ждет синее небо. О сне и думать нечего, точнее, о сне только и думаешь, ни о чем другом думать невозможно, до такой степени устаешь от судорожных попыток не размышлять и от выпитого (алкоголь ты совсем не переносишь), но сон так и не приходит, вместо него возникают слова, сказать, что бесчисленные, было бы пре-

увеличением, но во всяком случае несколько батальонов наберется, одна фраза рождает другую, буквы берутся за руки и в кратчайшее время образуют цепочку слов, которую я набрасываю на первую попавшуюся шею и стягиваю в безжалостную каллиграмму экзекуции.

То, что мне, собственно, мерещится, — это книга не в виде виселицы, а такая, в которой язык вывернут наизнанку, словно чулок. Выворачивать мир наизнанку — вот занятие, которое могло бы доставить мне непреходящую радость. Однако тут-то все и начинается: когда немец говорит "выворачивать наизнанку", он имеет в виду "выметать сор из своего нутра". Так оно и продолжается, одно недоразумение порождает другое, и если не добираешься до сути дела, вскоре исчезает и само дело, остаются только слова, которые ткут свой собственный автономный мир, в нем, разумеется, тоже можно жить, но каждый шаг там уже заранее проштампован. Уж лучше сразу упасть на диван и оглушать себя телевизором с помощью пульта дистанционного управления, тут уж точно не будет никаких неожиданностей, баловень-мужчина в окружении женщин, яблоко падает в десяти сантиметрах от яблони, а чтобы сдвинуться с места и выбраться из всего этого, нужны силы, которых как раз и нет.

За окном ветер привносит в мир движение, старые деревья из последних сил удерживают свои листья, их шелест угрожающе нарастает, потом снова гаснет, превращаясь в тихое шуршание. Я сижу напротив стены, обрызганной раздавленными насекомыми, и чувствую щекой дуновение ветра, движущегося мимо меня к какой-то неведомой цели. Все окружающее нас пространство, вплоть до невидимых далей, никогда не затихает, гонит по воздуху неохотно рысящие облака. Я слишком тяжела, чтобы вот так нестись туда, куда гонит ветер. Я завидую птицам в воздухе и рыбам в воде, они могут отдаваться на волю стихии или должны бороться с ней. Нам же приходится без всякой помощи или поддержки искать дорогу, по которой можно идти, тащить свои тяжелые конечности в гору, например, или на дерево, чтобы увидеть кусочек ландшафта и не растратить попусту день.

Все имеет одну и другую стороны, перебивает меня народная мудрость или кто бы то ни был. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что две стороны имеют очень немногие вещи: лист бумаги, дверь, может быть, занавеска, уже у простого кубика сторон по меньшей мере шесть, а у такого лишенного углов существа, как человек, стороны столь незаметно перетекают друг в друга, что их вообще невозможно различить.

Озеро маскируется под Средиземное море, поэтому трудно фиксировать взгляд на экране телевизора. Над озером все шире расползается синева, скоро она захватит и меня; только кирпичи, превращенные солнцем в огневую завесу, еще сопротивляются голубизне. Я жду, пока пронесется мимо первое растрепанное облако, и всерьез приступаю к работе. Но уже в самом начале трачу много времени на подыскивание подходящего жанра: для романа у меня слишком короткое дыхание, для новеллы недостает фантазии, для афоризма я слишком далека от какой бы то ни было истины. Пьесу любой театральный деятель тут же выхватит из рук и после соответствующего переваривания выплюнет тебе под ноги. Стихотворение комкает внутренние ландшафты и превращает их в бронзовые рельефы. Я благоговейно рассматриваю их, эти искусно выполненные творения: есть ли во мне хоть капелька подобного высокомерия?

Небо сереет и проглатывает паутину, но не того, кто в ней обитает, не паука, который прилепился к небу, словно застывшая в полете птица. Ласточка касается его своим элегантно изогнутым назад крылом. Вслед за па-

уком и птицей картину пересекает самолет. Внутри него теснятся люди, плечо к плечу, колено к колену. С согнутыми в коленях ногами болтаются они в воздухе, на виражах подставляя земле то правую, то левую щеку. При внезапном падении давления на их головы сваливаются кислородные маски, они прижимают их к носу, и тогда только все успокаивается, никто больше не требует бокал шампанского. В случае приземления на воду спасательные жилеты, автоматически надуваясь, прилегают к телам; по обеим сторонам в воду опускаются желоба, о каких вы не смели мечтать даже в самых фантастических купальнях. Но пока этого не случилось, все сидят, уткнувшись в свои газеты. Земля за иллюминаторами еще не изгибается горбом, она еще слишком близка. В кабине сидят парни, умеющие летать. Они — образец уравновешенности, глаза защищены темными очками.

Ежедневно в воздухе одновременно висят от пяти до десяти тысяч таких гроздьев человеческих. Тесно прижавшись друг к другу, люди мчатся сквозь атмосферу, в которой вечно царит прекрасная погода. Стюардесса раздает пассажирам леденцы и книжки с картинками; так и летят они сквозь безоблачную пустоту — вдогонку за временем или убегая от него.

Только животные не позволяют летящим мимо секундам, минутам и часам сбить себя с толку; одни спокойно пасутся на покрытых нежной травой склонах, другие, мелкие, — копошатся в мшистой лесной почве. Время не причиняет им особого вреда; они посвящены в его тайны и позволяют ему, словно всегда готовому прийти на помощь спутнику, вести себя по жизни. В последний час они уползают в кусты и умирают, тогда как мы в реанимациях ждем воскресения. О смерти они, без сомнения, знают больше нас, она не внушает им такого страха; лишь когда она приближается, они мельком задумываются о ней. Птицы в небе совершенно одиноки; ни одного человека еще не видели так далеко от земли за пределами космического корабля. Возможно, страхи настигают птиц в небе.

Наступает полночь. Я записываю все, что приходит в голову, всю свою прежнюю жизнь. На белой бумаге жирно выделяются даты; они лапидарно указывают на мгновения, которые, даже если собрать их вместе, не смогут образовать законченного периода.

Зачем я сижу здесь? Я ведь давно уже знаю: за буквами еще никому не удалось спрятаться. Я осторожно протягиваю руку к ближайшему человеку или к ближайшей планете. Все узы давно разорваны, думаю я, но в этот момент мой большой палец касается чего-то, что на ощупь кажется точной копией вечности.

Не знаю, о чем ты думаешь, не знаю, кто ты. Тебя привлекают все поры моего тела, даже белки моих глаз, пока вечер своим сумеречным светом вызывает их сияние. Не знаю, что за тобой скрывается. Ты висишь надо мной в неопределенной позе, твои длинные жадные пальцы тянутся ко мне, но не успел ты коснуться меня, как я уже ускользнула в другую страну. Здесь не полощутся на ветру флаги; когда я иду по лугу, не разбегаются в разные стороны кузнечики. Здесь я карлица, гномик среди гномов, любая щель служит мне прибежищем, любой ручеек кажется могучим потоком. Здесь мне все знакомо, здесь я хочу остаться. Деревья здесь не сотрясаются от смеха, завидев меня. Но и здесь мне в конце концов указывают на длинный проход, и свобода, о которой так любят поговорить, оказывается зажатой между этими внушающими страх стенами. Я пускаюсь бежать, но лед проламывается подо мной, и я с треском проваливаюсь в калейдоскопическое пространство. Позже ты соберешь меня. В каждой руке по осколку моего "я", ты соберешь в неглубокий сосуд разлетевшиеся столетия.

Мое лицо размокает от слез, вспухает как тесто. Я опускаю руку, раскрываю свою записную книжку и ищу кого-нибудь, чей телефон я могла бы набрать в своем бедственном положении (книжку попавшего в беду?). Но не нахожу никого. Там, правда, помечено много людей, но большей частью таких, которых нельзя беспокоить хриплым от слез голосом, тем более среди ночи, а тех, кого при известных обстоятельствах можно было бы побеспокоить, я сама не хочу утруждать. Хотя тех, кто с пониманием отнесся бы к моему горю, достаточно. Повозившись ночью с именами людей, способных сочувственно выслушать другого, я спрашиваю себя: зачем, собственно, эти имена в книжке? Но, как иногда говорят, все, что существует, имеет смысл, или по крайней мере так говорили в прежние, более надежные времена. Значит, записная книжка тоже имеет смысл. Но какой?

Снаружи ревет сирена, внутри реву я. Напрасно ищу я, всхлипывая, среди адресов и среди коллег по профессии товарища по несчастью. Словно затянувшийся триумфальный крик несется над озером вой сирены, пока не затихает в непосредственной близости от моего окна.

Небо надо мной поет свою тихую ночную песню. Я ложусь в постель вместе с матово поблескивающими звездами и рыбами, живущими в зеленоватой озерной глубине. На подушке рядом с моей головой по-братски сверкают метеориты и рыбьи чешуйки. Когда на рассвете я открываю глаза, волшебство уже стало вчерашним днем (описание жизни). Метафорическое резюме *моей* жизни: кто-то что-то говорит. Я внимательно вслушиваюсь и делаю вид, что поняла, о чем речь.

Утром повсюду сочится из земли и окутывает меня дым. Я ощупью пробираюсь по городам и лесам, влекомая черными едкими облаками, которые душат меня и одновременно поддерживают в вертикальном положении. Иногда завеса на мгновение разрывается, и я вижу, как живые люди рядом со мной горделиво распускают хвост или, пританцовывая, выводят на прогулку тележки для покупок. За колпаком из марева с электронной назойливостью и в то же время недосягаемо далеко звонит телефон. Кто-то пытается до меня дозвониться; или звонок адресован не мне, а кому-то другому? Существую ли я еще на этом свете? Телефон продолжает настойчиво трезвонить, внутри меня, вне меня, в другом месте.

Иногда, после долгого одиночества, в жизнь врывается счастье. Парить над дорогой в полупустом автобусе, ехать сквозь темный, пронизанный солнечными лучами лес. В автобусе не жарко и не холодно; записанный на пленку женский голос объявляет следующую остановку, которая тут же высвечивается над проходом: Рюбецальвег[1]. Я уже не раз ездила на этом автобусе. И однажды видела, как в него садился Рюбецаль.

Поездка по лесу длится недолго, скоро уткнемся в главную дорогу. Я кручу головой во все стороны, чтобы во мне запечатлелось все, что я в этот момент вижу: прорывающийся сквозь верхушки деревьев свет, прыгающие вдоль лесной дороги желтые светящиеся буквы, отраженные в окне автобуса, свою кожу, еще пахнущую зеленоватой от водорослей озерной водой, ребенка, без присмотра родителей катящего на детском велосипеде по лесной тропинке. Это длится лишь несколько минут. Лето скоро кончится, воздух, или, как говорят французы, "нижний слой воздуха", уже посвежел. Позже, после захода солнца, я снова

1. Тропинка Рюбецаля (*нем.*). Рюбецаль – сказочный дух Исполиновых гор. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

оказываюсь у озера. Внизу под темным небом еще долго светится вода. Я стою на парапете, пытаясь сохранить равновесие. Глубоко внизу мерцает, подмигивая мне, колеблющаяся поверхность воды. У проплывающих мимо судов видны только бортовые огни.

Вернувшись к себе, я пытаюсь думать о Новой Зеландии. Она тоже полнится жизнью, там — наряду с другими существами — живет много людей. Сколько бы я ни старалась, мне никак не удается вызвать в своем воображении эту одновременность жизней. При упоминании Новой Зеландии, как и других географических названий, из темных глубин моего сознания всплывают образы, снежные вершины гор или, быть может, длинные скалистые прибрежные полосы, но напрасно я изо всех сил пытаюсь мысленно облететь землю и вжиться в эти ландшафты, представить, что они существуют не вне времени, а одновременно с озером, раскинувшимся передо мной и набухающим от дождя, одновременно с мексиканцами и китайцами, с муравьедами и бокалами в форме тюльпана.

Вероятно, моя нога никогда не ступит на землю Новой Зеландии. (Ступит ли моя нога когда-нибудь на нетронутую землю?) Новозеландцам все равно, выпрыгну я сейчас из окна или же останусь сидеть за письменным столом. Но если бы вдруг из окон разом выпрыгнули все европейцы, то при известных условиях это имело бы для новозеландцев некоторое значение. Стало быть, мое существование, пусть и чисто теоретически, вероятно, тоже хоть что-нибудь да значит для остальных жителей земли. Но может ли это обстоятельство помешать мне выпрыгнуть из окна?

Иногда мне хочется подать новозеландцам знак, кивнуть им через моря, города и ландшафты. В такие моменты мне кажется, что я могла бы сообщить этим людям нечто важное.

Маленькой девочкой я не раз переживала внезапное исчезновение мира. С той поры я снова и снова пытаюсь описать это ощущение. С тех пор как я начала пытаться его описывать, оно больше не появлялось. Когда это ощущение перестало появляться, оно делалось для меня важнее. Я остерегаюсь — упаси бог! — на основании этих фраз делать вывод о каких-то всеобщих истинах. Если по одной только фразе можно судить об отвлеченной истине, значит, в этой фразе что-то не так. В отвлеченных истинах всегда есть нечто подозрительное. Значит, и последние две фразы никуда не годятся.

Это исчезновение мира протекало так: завтракала ли я за столом, шла ли по коридору или делала домашнее задание — мир вдруг куда-то исчезал. Все, что я до тех пор видела, все, что я знала, вдруг, качнувшись — нет, не качнувшись, на это не было времени, — исчезало. За какие-то доли секунды исчезали не только окружавшие меня знакомые предметы — исчезала вся Вселенная. Мучительно пытаясь описать пережитое, я уже наперед знала: передать это я опять не сумею. Может, я потому и не могу отказаться от этих попыток, что пережитое невозможно воспроизвести. Великое изумление перед фактом, что все это действительно существует, эти дымоходы, этот июньский нехрущ, эта вертолетная площадка, эти травинки, что мир действительно такой, каким я его вижу и не вижу, изумление перед миром вдруг превращается в совершенно иное — в пустоту.

У меня кружилась голова, я невольно закрывала глаза, но пока я их держала закрытыми, мир снова возвращался. До следующего исчезнове-

ния. Какие-то доли секунды я парила в безвоздушном пространстве; из-под ног у меня уплывал не только пол, но и весь земной шар, исчезало небо над головой, исчезали перила под моими пальцами.

Спустя десятилетия я снова кружусь вокруг этой мелькающей на мгновение пустоты и спрашиваю себя, почему мои головокружения прекратились вместе с детством. Разве не изумляюсь я миру столь же часто, как прежде? Изумляться-то изумляюсь, но, очевидно, это изумление больше меня не потрясает. Вероятно, взросление подводит к моменту, когда изумление переходит в простое удивление. Изумление означает: в это (это?) невозможно поверить. Кто удивляется, тот как бы говорит: смотри-ка, вот странная штука! С теми, кто удивляется, ничего не случается: они стоят в некотором отдалении от происходящего и весело поднимают брови. Тому же, кто изумляется, всегда грозит опасность. Если он сильно во что-то не верит, это "что-то", качнувшись, уплывает от него.

Если бы это состояние продолжилось, я бы падала сквозь себя все дальше и дальше, из ниоткуда в никуда. Врачам надоело бы мое неменяющееся состояние, и они вскоре надели бы на меня смирительную рубашку, в которой я все падала бы и падала до скончания века и дальше, за пределы времени, ибо для меня не существовало бы больше ни времени, ни конца, словно одинокая мумия парила бы я в вакууме, питаясь собственными мыслями. Ведь и тогда, в давнюю пору тех провалов, я всегда оставалась собой. Оглядываясь назад, я порой сожалею об этом: разве не было бы неизмеримо благотворнее выбираться иногда из капсулы своего "я", становясь совершенно невесомой? Не стоять на забетонированной "почве" фактов, неизменно сохраняя верность себе самой и тем впечатлениям и интеллектуальным установкам, которые внушает нам мир, а уметь выключить себя, как заморгавшую, готовую перегореть лампу?

Сны бесплотны, у них нет контуров. Словно прозрачные беловатые медузы плывут они сквозь ночь, то открываясь, то закрываясь в ритме сменяющих друг друга фантомных видений. Этими крылатыми легкими дышит видящий сны.

Ночью я встречаюсь с пауком. Он пробегает по мне, касаясь моего тела своими длинными, неуклюжими лапками. От этих прикосновений я просыпаюсь. Комната заполнена густым мраком, в котором паук раздувается и вырастает на напрягшейся коже моего живота до размеров слона – слона с нитеподобными, похожими на тончайшие барабанные палочки ножками. Я испуганно провожу рукой по животу и включаю свет. Комната снова мгновенно превращается в пустое пространство. Паук лежит на простыне, обхватив тельце всеми своими ножками; крохотный, непроницаемый, защищенный со всех сторон клубочек, который я щелчком большого и среднего пальцев сбиваю с кровати на темный ковер, где он сразу же исчезает из виду, избавляясь от дальнейшего преследования.

Как только я выключаю свет, на меня градом сыплются паучиные клубочки и окутывают черным покрывалом, под которым я не решаюсь пошевелиться. До выключателя уже не дотянуться, я лежу под блестящими бусинками паучьих тел и судорожно пытаюсь найти путь к спасению. Пока я ломаю над этим голову, мне вспоминается маленький мальчик, который вместе с матерью после обеда сидел со мной в одном железнодорожном вагоне и всю дорогу пытался придумать какую-нибудь шутку.

— Послушай, мама, — говорил он. — Я только что придумал шутку: здравствуйте, господин пекарь. У вас есть свежие плюшки? — Нет, зато есть печеные лягушки.

— И это ты считаешь шуткой? — устало улыбнувшись, спросила мать.

Мальчик придумал еще одну шутку, потом еще несколько, но едва он произносил их, раздавался голос матери:

— Но это же совсем не смешно.

В конце концов мальчик, чуть не плача, крикнул:

— Ну хоть что-нибудь должно же быть смешным!

Внезапно я понимаю, что смогу вырваться из этой паучьей тюрьмы, если придумаю смешную шутку. Я надолго задумываюсь, но мне, конечно же, не приходит в голову ничего путного, не вспоминается даже плохая шутка, не способная никого насмешить, а только жуткий смех Джека Николсона и еще более жуткий хохот Руди Каррелла[1], да еще Голден-Гейт-бридж, Снегурочка и аэропорт в Майне, но из всего этого шутки не слепишь, и я остаюсь погребенной под все более плотнеющим паучьим покрывалом.

На заре пауки-призраки исчезают, трамвай переезжает меня, двигаясь то в одну, то в другую сторону, люди на остановке отбывают, потом снова накапливаются, в полусне они садятся на сиденья с маскировочной окраской и движутся, словно в креслах на колесиках, в свои конторы, в полусне проводят рабочий день и свободное после работы время, чтобы потом усесться перед телевизором и наблюдать, как мир миллиметр за миллиметром обрушивается в пропасть.

Я люблю рисовать жизнь, которую не выбирала, в таких мрачных красках, чтобы потом не думать, что было бы правильнее ее не хотеть. Разве это правильно — не хотеть ее? Неужто я и впрямь не хотела ее или это она не хотела меня? И есть ли в этом хоть малейшая разница?

С тех пор как я отвожу ей все больше и больше места, одиночество разрастается во мне, будто живая изгородь из кустов ежевики. Чем бесприютнее я себя чувствую, тем сильнее одиночество, к которому я тянусь всей душой, словно на той границе, к которой меня тянет, есть нечто таинственное, нечто такое, что я могу увидеть и понять только там, с чем мне не встретиться лицом к лицу, когда я окружена теплотой и ощущаю себя защищенной. Словно одиночество может только тогда принести свои истинные плоды, когда становится почти невыносимым; словно оно может обернуться большим счастьем, когда доведено до крайности; словно я должна попасть в ад, пробыть там довольно долго и только потом — просветленной — вернуться в мир.

Я пытаюсь найти этот ад на географической карте и в самом деле очень скоро замечаю пса с оскаленной пастью, охраняющего вход. Меня не удивляет, что он сидит на границе, на границе между Францией и Испанией, чуть южнее Перпиньяна: место называется Cerbère — по имени Цербера, свирепого пса, охраняющего вход в подземное царство. Туда-то и тянет меня, туда, где побережье Средиземного моря постепенно снижается в направлении Марокко и Гибралтара, вплоть до городка, через который все проезжают, но в котором никто никогда не останавливается. Позади городка широко развернули плечи Пиренеи, а перед ним сверкает огромное, всасывающее небесную синеву простран-

1. Джек Николсон (р. 1937) — американский киноактер. Руди Каррелл (1934–2006) — популярный телеведущий, родился в Нидерландах, с 1965 г. работал в ФРГ на телеканале "Радио Бремен".

ство моря. И, конечно же, этот городок мог быть только безотрадным и никаким другим, причем трудно сказать, когда эта безотрадность выражена сильнее — во время туристического сезона или после него. Но именно эта безотрадность, эта зажатость между горами и морем, между возвышенностью и равниной, между сушью и влагой, именно эти ворота в подземное царство притягивают меня. Я не знаю, что́ я надеюсь там найти, а если бы знала, то меня бы туда наверняка не тянуло. Но я знаю, что хотела бы однажды в полнолуние услышать, как воет этот пиренейский пес, охраняющий вход в ад.

Внизу подо мной все еще лежит рябое озеро; его испарения лениво заплывают в мое никем не охраняемое логово. Приходит ночь и приходит день, потом снова ночь и день, ночь и день, пока окончательно не устанавливается ночь. Желтовато-тусклый свет проникает сквозь потолки длинных загонов. Звери двигаются апатично, с ленцой, которая так идет их большим телам. Вокруг меня выстроено нечто среднее между природоведческим музеем и зоопарком; это своего рода первый, доисторический зоопарк, в нем обитают маленькие динозавры и большие ящерицы, живые свидетели мира, давно ушедшего в небытие. В этом музее-зоопарке они прозябают под приглядом надсмотрщиков с широко открытыми глазами. Надсмотрщикам чужд принцип работы зоопарка, они присматривают за доверенными им живыми существами, не понимая, что и сами узники. Они кормят зверей и наполняют водой корыта, и звери не отказываются от корма. И все же через некоторое время начинается процесс распада, который невозможно остановить. У ящериц блекнет и без того вялая кожа, превращаясь в грязные темно-зеленые ошметки. У динозавров мясо отделяется от костей и, смешиваясь с соломой и экскрементами, сбивается в гниющий, испускающий светлые пузыри изоляционный слой. Испуганно и бессильно наблюдают надсмотрщики за тем, как у них на глазах разлагаются животные. Но животные не умирают. Чем дальше заходит разложение, тем агрессивнее они становятся. С развевающимися ошметками кожи носятся они по загонам, наполняя их пронзительными криками и стуком ударяющихся о ржавые решетки и двери тел.

Я нахожусь среди надсмотрщиков.

Звери скоро сломают заграждения.

И приходит день, и приходит ночь, и снова день сменяется ночью. Обеими ногами я прочно стою на земле и стояла бы непоколебимо, точно статуя, не будь земля рыхлым гумусом. Каждым своим шагом мы все глубже втаптываем мертвых в землю, пока другие не втопчут нас туда же. При непрерывном росте населения соответственно увеличивается и объем земного шара, живые утрамбовывают мертвых в почву, по которой можно ходить, так слой за слоем образуется все тяжелеющая планета, которая, вполне возможно, скоро выпадет из Вселенной.

Должно быть, Вселенная придает планете Земля столько же значения, сколько мы — одной клетке своего тела. Вселенная все расширяется, все потягивается, словно после долгого и глубокого сна; она безмолвно простирает свои сверкающие члены в самые потаенные уголки, за пределы того, что следует за Вселенной — если есть за ней еще что-нибудь, если за бесконечностью начинается еще одна бесконечность.

Вселенная — ребенок, который пробует, как далеко он может уйти. Желание найти границу вынуждает ее двигаться все дальше, но антилиберально настроенные родители никогда и ни в чем ее не ограничива-

ли, не ставили перед ней преград, разве только в самом начале, но Большой взрыв не привел к желаемому эффекту.

Когда я думаю о Вселенной, думаю всерьез, не дурачась, когда я тщетно пытаюсь мыслить о том, о чем мыслить мне не дано, я по ночам поднимаю глаза к звездному небу и даю себя загипнотизировать тихому мерцанию созвездий; когда я теряюсь перед этими далями, словно перед непонятной, написанной для более умных читателей книгой, в моей голове иногда случается Большой взрыв, от которого все до сих пор усвоенное и знакомое разлетается в щепки — в щепки, которые разносятся в разные стороны, и потом их уже нельзя собрать и сложить воедино. Быть может, головокружение и прошло бы, отвлекись я, когда размышляю и фантазирую, от себя самой. Вероятно, это невозможно не потому, что бесконечность или вечность трудно себе вообразить, а потому, что при этом всегда невольно примысливаешь и себя. Кто хочет освоиться в мире высоких слов, тому следовало бы сперва выскользнуть из собственного сознания и умертвить в себе более слабую половину, не поддающуюся совмещению.

Мысли ни к чему не ведут, этим-то они и хороши. Просто ты отдаешься им, а они отдаются тебе, ты играешь с ними, они больше не отпускают тебя и образуют поток, по берегам которого ты с удовольствием прогуливаешься, собирая мысли, которые уже не отпускают тебя, ты носишься с ними (кто носится с ними, носит заодно и себя самого), наталкиваешься на них, некоторые из них черные, им ты и предаешься. Белых, или красных, или синих мыслей не бывает, есть только черные и бесцветные. Мысли, которые ты перебираешь, которые нельзя соединить в целое, от которых нельзя избавиться, в которые ты погружаешься с головой. Вместе с тем существует *мысль*, ясная, как ключевая вода или как водка, и однажды тебе удается поймать ее. Как и предыдущие, она тоже ни к чему не ведет. Все они несвободны, но кто может сказать о себе, что он свободен? Они ходят по кругу в своей костистой клетке, и я какое-то время с удовольствием танцую в их хороводе.

Потом я снова выпрашиваю себе отсрочку, во время которой мысли неуклюже шевелятся и хотя бы на короткое время избавляют меня от своего шума и треска. В такие моменты я нажимаю на кнопки пульта дистанционного управления. Телевизор предлагает мне детектив о детской порнографии в видеобизнесе, который я однажды уже видела. Переключившись, чтобы не смотреть рекламу, на другой канал, я с удивлением обнаруживаю, что видела уже и документальный фильм об одном острове в России, на котором находится переполненная тюрьма для пожизненно осужденных; какое-то мгновение мне кажется, что однажды я пережила этот день точно таким, каким он был и продолжается, эффект дежавю, основанный не на иллюзии, а на реальности, если, конечно, и реальность тоже не покоится на иллюзии. На реальности, которая всякий раз предстает в разных вариантах: если не веришь одному, тут же следует другой, абсолютно идентичный первому, и так далее, пока не перестанешь упрямиться и не сделаешь вид, будто ты проглотила то, что тебе подсовывают, и окончательно присоединилась к тем, кто стоит на стороне реальности.

Конечно же, она существует, кто в этом сомневается (разве что я время от времени). С мыслью о несуществующей реальности играют многие, но уже при первом падении, когда поскользнешься на кожуре от банана, при первом болезненном уколе шипа на розовом кусте, при

первом прикосновении к твоему обнаженному плечу чужой руки все сомнения отпадают и сами превращаются в почти осязаемую реальность, валяются, сметенные в кучки, на полу и никого больше *всерьез* не интересуют.

Значит, она все-таки существует, эта реальность, только она значительно больше, чем обычно думают, обширнее самой Вселенной, ибо в наших головах она расширяется до немыслимых размеров. Все вымышленное, сочиненное, воображаемое многократно увеличивает реальность — окутывает ее, словно огромный, таящий в себе опасность колпак из испарений нашего мозга. Реальность большей частью состоит из нереального. Посреди этой нереальности внезапно возникает лещина, или же паровой каток невозмутимо утюжит обозримый мир. Потом обнаруживается голова (глаза, уши, рот и нос всегда служат поглотителю реальности воронками) и всасывает этот паровой каток в себя. Там он продолжает жить в обществе растений, животных, машин и людей, только теперь уже не потребляет бензин и не представляет опасности для окружающей среды. Он прокатывает тесто мыслей, пока оно не становится тонким, как пергамент, и пригодным для письма.

Я пишу: Цербер, пес, охраняющий вход в подземное царство, скоро ты будешь охранять и меня. Я бы немедленно отправилась в путешествие, все равно как — по воде, по земле или по воздуху. Я слышу, как в некотором отдалении работает веслом моя мама, но к моей маленькой средиземноморской гавани на испанском побережье не подплывает. Она медленно и монотонно подтягивает к себе весло, которое и на весло-то совсем непохоже, это скорее закрепленная ремнем черная пластиковая палка, которую она подтягивает обеими руками к груди, а затем отпускает, одновременно распрямляя колени и втягивая в себя воздух. Ягодицы скользят по сиденью вперед — назад, вперед — назад, пейзаж, проплывающий мимо, всегда один и тот же, пейзаж спальни со встроенным шкафом, гардиной и растением в горшке. Вот так и плывут люди по жизни, работая веслом, нажатием кнопки регулируя меру прилагаемых усилий. Мама не хочет затрачивать слишком много усилий, она достаточно напрягалась на суше. От меня это не требует особого напряжения, я с удовольствием ощущаю свое тело, то, как оно кряхтит, болит и прилагает все силы, чтобы сравняться с усталостью духа и вместе с ним снова и снова достигать исходной точки.

Сухое поскрипывание весла прекратилось, вместо него сразу за моей спиной, с другой стороны стены, начинает литься вода из душа, вплетаясь в паутину моих мыслей; мне кажется, будто я сижу с блокнотом у подножия водопада, который рассеивает и смывает осевший пласт моих мыслей, пока от него ничего не остается, и нужно начинать все сначала.

Где-то в глубине лает Цербер, пес, охраняющий вход в загробное царство: он зарыл в своем городе нечто такое, что только я могу вытащить на свет божий. Пусть поезд, везущий меня через всю Францию, идет как можно медленнее — у меня должно быть время, чтобы забыть все, что знала, и утратить жалкую уверенность, которую давало мне это знание. Прибыть в эту преисподнюю мне следует как можно более глупой и как можно более бодрой, чтобы найти дорогу к заданной мне загадке и в конечном счете разгадать ее или по крайней мере найти фразу, слово или букву, предмет или человека, в котором я узнаю

возможную разгадку. Так говорит Цербер, пес, охраняющий вход в преисподнюю.

Сваливается ночь, словно спелый сладкий фрукт, но внутри нее блестят клыки пса из преисподней. Кто доверчиво сунет сюда голову, тот ступит одной ногой в другой мир, оставит за спиной действительность с ее исстари знакомыми новостройками и новыми старыми городами и окунется в овеянную легендами, едва исследованную область воображения. Тот, кто туда прибывает, сразу же сталкивается с первой неожиданностью: местные жители считают действительность адом, а Цербера — псом-охранником. Все их усилия направлены на то, чтобы попасть в реальный мир как можно позже; однако, как известно, рано или поздно каждому приходится пересечь границу. В таком шаге они видят трагический конечный пункт и называют это "взглянуть действительности в глаза". Чтобы отодвинуть страшный миг на возможно более поздний срок или забыть о нем, они на протяжении всей жизни поворачиваются к этой границе и охраняющему ее псу спиной. Цербер смотрит на страну фантазии, как на картину Каспара Давида Фридриха[1]: он называет ее страной отвернувшихся. Если они что-то видят, то только внутренним оком, если слышат, то внутренним ухом, а то, что они обоняют, втягивает в себя их внутренний нос. Отвернувшиеся не знают того, что извне, так как превращают внешнее — неувиденное и неуслышанное — во внутреннее, чтобы оно расцвело и приняло удивительные формы, так как ничего другого от фантастических небылиц и не ждут. Если отвернувшийся берет в руки ложку, то для него это вовсе не ложка, а что-то вроде резонатора, чтобы лучше слышать; он пользуется им, пытаясь услышать звук трущихся друг о друга облаков, разгоняемых порывами ветра. Если отвернувшийся видит другого человека, то считает, что видит себя самого, и приветливо улыбается ему или сердито на него поглядывает, в зависимости от настроения. Отвернувшийся может иногда стать опасным; может даже ни с того ни с сего напасть на себя и заколоть кинжалом или разрезать себя на тонкие бумажные листы и потом переплести их в печальную или веселую книжку. Сколько бы он ни отворачивался, в конце концов отвернувшийся каждый раз оказывается перед самим собой, перед своим внутренним состоянием, перед дичком, лианообразные ветки которого все туже — внутренне — сдавливают ему горло. Когда он падает мертвым, к нему тут же подскакивает Цербер, хватает окончательно отвернувшегося за шею и перетаскивает на другую сторону границы, где его и хоронят на окраине царства действительности под слоем тяжелой, жирной и влажной земли, всегда лицом к этому царству. Если бы отвернувшиеся могли решать сами, они бы предпочли, чтобы их хоронили в соответствии с их восприятием жизни, то есть животом вниз, но в царстве действительности такого рода чудачества никого не интересуют, там начинают искать нотариально заверенное завещание, так называемую последнюю волю, и если не находят или же если желание быть похороненным животом вниз выражено недостаточно четко (а пренебрежение юридическими деталями — в характере отвернувшихся, они отворачиваются и от них), то покойника кладут так, как он привык валяться при жизни и как отныне будет лежать всегда — на спину. Поэтому в царстве действительности все идет

1. Каспар Давид Фридрих (1774—1840) — немецкий пейзажист, представитель раннего романтизма.

своим давно заведенным порядком. У того, кто тут поселился недавно, как правило, нет выбора, так как люди в царстве действительности знают только то, что видели сами или испытали на собственной шкуре, ничего иного они даже представить себе не могут.

Цербер стоит на границе и радостно виляет хвостом. Те, что привержены действительности, дают ему "Вискас", отвернувшиеся бросают через плечо в его сторону всякие забавные игрушки и что-нибудь для укрощения, все, что можно и чего нельзя разгрызть: летающие тарелки, разыскивающие свои подставки (те улетели много лет назад), заячьи уши из баранины, мышеловку, в которую по недосмотру попал дракон, старые затупленные шпаги, Spice Girls, деревянные яйца для штопки носков, взятую под залог бутылочку материнского молока, кожу медузы из мейсенского фарфора — ее, к сожалению, Цербер не сумел поймать на лету, и она разбилась на тысячи мелких осколков, один страшнее другого, так что на расстоянии десяти метров по ту и другую сторону от перехода через границу окаменели даже муравьи.

Насытившись, Цербер свертывает хвост колечком и ложится спать. Пока он отдыхает, границу можно пересекать беспрепятственно и бесконтрольно, но как только он открывает глаза, все перешедшие границу снова оказываются на прежних местах, словно никогда и не пускались в путь. Ведь чтобы переход был реальным, путнику надо заглянуть Церберу в глаза. В этом, правда, нет ничего, что внушало бы страх, напротив, глаза Цербера смотрят ему в лицо открыто и ободряюще.

На действительности надеты желтые штаны, но даже среди неотвернувшихся, идущих по жизни с открытыми глазами, ее видят лишь очень немногие. Я сама иногда, очень редко, замечала ее, когда мне удавалось задержать взгляд на упавшем к моим ногам листке или на дрожащем пятне света на белой скатерти, и при этом самой стать пятном света или листком. В эти секунды я и ловила действительность — то ее маленький кусочек, то гигантскую, едва умещавшуюся в поле моего зрения картину, — будучи одновременно ее наблюдателем и ее частью; мне казалось, будто я вижу себя изображенной на переднем плане пейзажа, стоящей под высоким небом и облаками. Когда я протягиваю руку, на картине появляется черная балка, и картина сразу кажется перечеркнутой, я снова разрушаю планы действительности, выскальзываю из нее в свою маленькую игру, в этой игре язык всегда пытается вытеснить и прогнать действительность, пока она вдруг, без предупреждения не исчезнет совсем, оставив меня наедине со словами.

И вот я стою одна посреди открытого поля, вокруг меня толпятся тысячи слов, многозначительных и банальных, мятежных и смирных, полновесных и пустых, бессмысленных и полных глубокого смысла. Я смотрю на них и еще не знаю, на что они пригодны, как их осмысленно связать друг с другом; я оказываюсь с глазу на глаз с целой ордой чужаков, которые пялятся на меня, словно ожидая, что я начну каким-то образом чередовать и развлекать их, но я не в состоянии предложить им ничего подобного. Окруженная словами, я стою спиной к пропасти, но вдруг сквозь толпу слов ко мне прокладывает дорогу Цербер, он высоко подпрыгивает и облаивает меня, не пойму, то ли радостно, то ли злобно. Встав на задние лапы, он оказывается на голову выше меня, я опрокидываюсь назад, прямо в бурлящую массу слов, погружаюсь, утопаю в них, радуюсь, что я живу среди них. Цербер прыгает за мной следом, чтобы спасти меня или утопить окончательно, некоторое время мы дру-

желюбно мутузим друг друга. Я обнимаю пса, словно лохматого любовника; смыслы плывут под нами, точно теплые течения.

Наконец мы вместе выбираемся из потока слов и стряхиваем с шерсти воду: вот так и получается хорошая книга, которая и поколения спустя будет лежать в школьных ранцах, упакованная в прозрачный целлофан. Прозрачная пленка способствует зоркости взгляда; благодаря ей пишущий отрывает взгляд от написанного и заглядывает за край страницы и собственной черепной крышки, бросает взгляд на ландшафт, где, словно длинные доски, стоят деревья. Посередине стволов ветер нарисовал белые вертикальные линии — наносы снега, налипшие только на одной стороне дерева. Вот так, выходит, и выглядит зима: как декоративный орнамент? Как маркировка? Как пружинящий шаг, как ослепление, как благосклонность закутавшегося в молчание мира? На дороге — лужи с осколками льдинок, следы людей и животных. Собаки вдавливают маленькие подушечки своих лап в белую штемпельную подушку; их моча прожигает желтые дыры в безупречной белизне снежного покрывала. В кронах деревьев висит вязкий туман, словно густое облако после долгой борьбы вдруг подчинилось силе тяжести и обрушилось в этот похожий на подушечку с иголками лес, на его протянутые к небу голые острые сучья. Да так и висит неподвижно, а птицы сидят на земле и дергают оставшиеся травинки: скворцы поднимаются в воздух, в кусте копошится лазоревка — сплошь беспокойные, нежные, неброские чудеса.

На горизонте уже видится путешествие, оно ведет из северного лета в южную зиму; сейчас самые благоприятные условия для того, что я задумала (но в чем заключается эта моя задумка?). На горизонте вырисовывается путешествие, оно ведет почти до самой могилы Вальтера Беньямина[1]. На карте видно: кто проезжает Сербер (Cerbère, т. е. Цербер) и, двигаясь дальше по ведущей вдоль побережья дороге, пересекает испанскую границу, тот оказывается в Пор-Бу. Даже если смерть живет по обе ее стороны, эта граница всегда останется границей между жизнью и смертью, между желанием жить и отчаянием, между бегством вперед и остановкой навсегда. Сербер расположен перед самой этой границей. Сербер — это маленькое преддверие ада, которое давно уже то притягивает меня, то снова отпускает, место, откуда путь ведет в иной мир, где путешественник добирается до самого конца и где он предстает перед самим собой как незнакомец.

Нет иного ухода, кроме смерти; есть только заглядывание в себя и — мысленно — выглядывание из себя, которое всякий раз застревает на полпути. Но если, с одной стороны, нельзя вырваться из своей оболочки, то, с другой стороны, пока идешь по миру с открытыми глазами, ты постоянно держишь себя в поле зрения. Только при очень немногих положениях тела (например, когда лежишь, откинув голову) удается — хоть и не совсем, но большей частью — вытеснить себя из собственного поля зрения — вплоть до кончика носа, который, как ни изворачивайся, все же торчит на виду и закрывает краешек того, что можно увидеть.

1. Вальтер Беньямин покончил с собой 26 сентября 1940 г., когда пытался бежать из оккупированной немцами Франции в Америку. Добравшись с группой эмигрантов до испанского пограничного городка Пор-Бу, он узнал, что именно в этот день граница была перекрыта и выданные во Франции визы считаются недействительными. Беньямину и его спутникам было предложено на следующее утро вернуться во Францию. Ночью он лишил себя жизни, а назавтра пораженные этим поступком пограничники разрешили всем остальным проследовать в Португалию.

Но чаще всего замечаешь кисти рук, белых и как бы чужих, высовывающихся из рукавов, нередко можно видеть предплечья, ноги и нижнюю половину туловища. Ты знаешь, что все это должен повсюду таскать с собой, более того, изо дня в день если не рассматривать, то — пусть даже опосредованно — воспринимать, что создает иллюзию, будто ты можешь выбраться из себя и разглядывать части своего тела извне. Если бы природа устроила нам, как рыбам, глаза на выпуклом, лишенном конечностей теле, то наш взгляд на вещи лучше соответствовал бы нашим духовным возможностям. Вместо этого мы, шагая, видим — в зависимости от положения головы — свои болтающиеся вперед-назад руки, а также длинные цилиндры ног и их вытянутые вперед окончания, размеренно прочерчивающие на видимой картине мира свои бездумные линии.

Но ты носишь в себе и образ невидимых глазу частей тела, и из видимого и *не*видимого, а только предчувствуемого — иногда волшебным образом, благодаря зеркалам и витринам, оказывающегося в поле твоего зрения, — складывается персона, внешний облик и параметры которой, даже когда об этом не думаешь, всегда присутствуют в твоем сознании, иначе ты бы постоянно на что-нибудь натыкался; точно так же ты держишь в голове и образ города, в котором живешь, и образ Земли, к которой привязан силой притяжения — достаточно крепко, чтобы не оторваться от нее, и достаточно свободно, чтобы передвигаться по ее поверхности. Как и при попытке зримо представить себе удаленные от нас, не доступные для зрения явления, мы часто ошибаемся, когда хотим мысленно увидеть свое тело в виде фотоснимка (хотя никто, вероятно, не пытался представить себе свое тело так, как когда-то представляли Землю — в виде плоского круга). Но что значит ошибаться? Словно толстая, неспособная вылупиться из куколки гусеница, торчишь ты в собственной голове и впитываешь в себя свет и краски, контуры и движения.

Еще вчера эта гусеница прогрызалась сквозь мягкую, пружинящую летнюю почву, вгрызалась в кишащую кузнечиками зелень лугов. А сегодня она вгрызается в зимние пейзажи, в ослепительные сплетения голых ветвей. Если бы зимний лес и впрямь не коренился в почве, можно было бы сказать о нем, что он так неподвижен, *словно врос в землю*. Снег сделал видимой каждую неровность, каждую паутинку, обозначил каждый изгиб поверхности, выбелил каждую веточку, обнажил разного рода мелочи, которые весь год никому не бросались в глаза. Дерево уже не просто ствол, удлиненный несколькими отходящими в стороны ветвями, — теперь это сотни хрупких сочленений и тончайших белых жилок, вышитых на небосводе, и вообще весь лес превратился в сплошную изысканную вышивку, в старательно выделанное чистое покрывало, какое можно найти разве что в бабушкином бельевом шкафу или на блошином рынке.

Я отправляюсь в путь. Дорога ведет меня по необитаемой бледно-голубой волшебной стране, покрытой светлым лаком приближающегося, но еще невидимого солнца. Словно никем не собранные валуны цвета охры, лежат на хрустальных полях безжизненные дворы. Вместе с инеем исчезает, кончается север; и вот уже свилеватая виноградная лоза тянет руки навстречу теплому воздуху. Похожие на декоративные фигурки в саду, стоят в воде фламинго: нежно-розовые плюшевые подушки, насаженные на иглы ног. Кажется, ты знаешь многое из того, что пролетает мимо, но это, конечно же, не так.

Цербер встречает меня навострив уши, в их розовых раковинах чуть слышно, будто далеко отсюда, шумит Средиземное море. Под мяг-

кий плеск прибоя я легко засыпаю и еще легче сбиваюсь с пути, особенно если не знаю, каков он, этот путь, существует ли он вообще. Иногда я бреду навстречу солнцу, оно просвечивает меня рентгеновскими лучами, не оставляя в темноте ни единого извива мысли, ни одной ниши с затаившейся там мечтой, и вымывает из меня малейшие мои тайны, хранимые и лелеемые, как берегут и лелеют зеницу ока; так оно освобождает место для великой тайны, по следам которой я и отправилась в это невзрачное приморское селение под названием Сербер.

Спустившись с гор, я захожу в продовольственный магазин и, следуя примеру серберианцев, с пустой корзинкой для покупок занимаю очередь в кассу. Хозяин магазина посылает нас, одного за другим, в очищенные от товаров проходы. Мы минут пять бегаем туда-сюда по этим проходам, но вскоре снова с пустыми корзинками и тележками оказываемся в очереди перед кассой. Отсюда мы прямиком попадаем в складское помещение. Нас привлекает все: разноцветные пудинги, красная столовая свекла, штабеля толстых плиток шоколада, — привлекает так сильно, что мы никак не можем решиться что-нибудь взять. Мы весьма обходительны. Что бы вам хотелось купить, спрашиваем мы друг друга, может быть, бутылку вишневого сока, яйцо-"сюрприз" или кусок колбасы? Мы улыбаемся, хлопаем соседа по плечу. А потом катим наши пустые тележки мимо прилавка мясника к кассе.

Я живу в комнате с зарешеченными окнами. Сидя на пластмассовом стуле, я вижу, как решетка разрезает море на толстые синие пластинки. На оконечности мыса, там, где кончается Сербер, стоишь, как и везде в этом мире, между двумя кладбищами, между двумя людьми, между двумя планетами. Море не попадает в поле моего зрения, оно плещется справа и слева. Соленую воду, как бы струящуюся из моего взгляда, я сначала принимаю за слезы. В доме моего отца звонит и звонит телефон, я не вешаю трубку, но отец занят, он умирает и не подходит к телефону. В сопровождении пса, который еще недавно был мифологическим Цербером, я перехожу, спотыкаясь о валуны, границу и кладу камешки на могильную плиту, под которой не лежат ничьи кости — по крайней мере там нет костей человека, чье имя выбито на плите. Мой отец несколько поторопился, решив, что умирает, и теперь медленно приходит в себя. Кто собрался навестить покойника, который не лежит под гробовым камнем, тому остается только смотреть в изогнутую трубу на море; там, говорят, в определенные часы можно увидеть его, покойника, в кривом зеркале колеблющейся воды.

Язык — мой помощник и сообщник, когда дело идет о том, чтобы отдалить от себя реальность и взглянуть на нее сверху вниз, словно с космического корабля, что раз за разом облетает Землю, — а иногда, при случае, и плюнуть на эту реальность. Увиденный с такого расстояния, мой отец даже не крохотный человечек, а всего лишь точка; вкупе со своей женой он — движущееся в пространстве буржуазное двоеточие. Язык — это линза, которая помогает развязать все узлы родственных чувств, освободить от искажений семейные узы и отдалить друг от друга скрепленные этими узами световые годы. В то же время это и лупа, готовая бесстыдно привлекать внимание к каждой щетинке на отцовском лице, к каждой пролитой в детстве слезе. Правда, в большинстве книг смотришь сквозь эту лупу как сквозь плохо вымытое оконное стекло.

Поездка в Сербер: она ведет меня к входу в смерть, туда, где язык перестает быть линзой и лупой, а переходит в бессвязный лепет, в чте-

ние по слогам и, наконец, в молчание. Словно гигантские мрачные развалины, высятся за моей спиной Пиренеи. В долине десятки железнодорожных путей идут в гору; "Сезам, откройся", — произносят машинисты, но гора не открывается. Встав здесь лицом к скале, можно стоять до тех пор, пока смещение континентов не раздвинет в стороны массы земли. Тому, кто станет смотреть на селение сзади, оно покажется железнодорожным тупиком, помещенным в ландшафт, — огромной чертой, подводящей итог прожитому, когда все сказано и нечего больше добавить.

В моих ушах еще звучит голос отца, а в глазах, как и у всех, кто не умер в юности, торчит шип детства, что в течение жизни пускает корни и разрастается. Я бреду вокруг Сербера по гребню хребта, под самыми облаками, опираясь на редкие сваи, которые, словно столбики балдахина, поддерживают тяжелое покрывало памяти.

Смерть таится повсюду — в месяцах и годах, в травах и волнах моря. Всякий раз, вглядываясь в ясное ночное небо, я думаю о множестве мертвых, парящих среди созвездий, свет от которых доходит до нас тогда, когда сами они уже давно погасли. Все происходящее мои зрачки улавливают с некоторым опозданием. Иногда это опоздание столь велико, что оно превосходит длительность воспринимаемого, но в принципе всегда и везде действует один и тот же закон: все, что я вижу, уже не существует; улыбка моего визави уже давно стала другой, если вообще не сменилась плачем или беспомощной гримасой; чайка летит уже не там, где я ее вижу; тучку, вплывающую в мои глаза в виде зайца, ветер давно уже превратил в ежа. Жив ли еще голос отца в тот момент, когда он достигает моего уха?

Потрясенные таким челночным качанием между рождением и смертью, органы восприятия цепляются за иллюзии. Не желая этого замечать, они живут в прошлом, они поклялись друг другу удерживать и подтверждать прошлое. Подобно ангелу истории, они повернулись к будущему спиной и напряженно всматриваются в прошлое, напору, толчкам которого они не в состоянии противиться.

Органы восприятия — или, если понимать это выражение буквально, "за-правду-приятия" (Wahr — nehmung) — обязаны своим названием тому факту, что все, что попадает в поле их действия, они принимают за чистую монету. Они не замечают, что их все время дурачат и обманывают, что они находятся во власти одной большой лжи, а потому благоговейно присматриваются и прислушиваются к этой большой лжи, за которой скрывается бессчетное множество мелких частных обманов. Серберианцы поворачиваются спиной к освещающему действительность солнцу и всю жизнь блуждают по подземным тоннелям; в конце их они, словно в подзорную трубу, видят, как поблескивает море, вздымая пенистые барашки волн.

К каждому вновь прибывшему в Сербер сразу же подбегает собака и все время, пока он находится здесь, бежит впереди, в двух шагах от него, иногда оглядываясь назад. На улице, на деревенской площади или на пляже не увидишь ни одного человека, которого не сопровождала бы собака. У стойки единственного кафе мужчины словно вырастают из свернувшихся у их ног взъерошенных клубков. Люди и животные похожи друг на друга, как и везде, но здесь это еще заметнее. Каждого человека в Сербере сопровождает животное-двойник, мгновенно переводящее его жесты и слова в собачьи жесты и звуки. С годами серберианцы

все больше походят на своих собак, а собаки — на них, пока те и другие окончательно не отождествлятся друг с другом. В конце жизни собака умирает как человек, а человек — как собака.

Все собаки отзываются на кличку Цербер.

Между Сербером и отцом, между похороненным на границе сверхотцом и мною, между апоплексическим ударом и морфием, между морем и горой громоздятся одно на другое слова, мешая чему-то подлинному найти себя в языке; поэтому язык сам отправляется на поиски этого подлинного, хочет выманить его из укрытия, и я чувствую, что укрытие где-то совсем рядом — в этом пограничном селении, которое выглядит как самое банальное место в мире: название на географической карте, вокзальная вывеска, препятствие на пути, которое необходимо преодолеть. Подлинное, как я его себе представляю, — это нечто такое, чего нельзя постичь, вокруг чего можно только кружить, некая горячая точка, в которой слова, реальность и воображение встречаются и с помощью которой, если удастся приблизиться к ней, можно прожечь изрядную дыру в любой достоверности.

Тем временем солнце заходит, как и повсюду в Средиземноморье об эту пору, только здесь красный шар укатился уже давно или, лучше сказать, ближе к вечеру растворился в небе, словно шипучая таблетка в стакане воды, окрасив в оранжевое темные силуэты гор. Море затихло и улеглось, точно заснувший зверь, у которого перестала топорщиться шерсть на загривке, душевные переживания улетучились, много краплака, сплошной краплак, сказала бы моя подруга Пия, пытаясь определить доминирующий цвет воды, но для меня это слово, краплак, не имеет никакого смысла — так, козий помет, или отбросы производства, или название какого-то ползучего растения, если слова и впрямь обозначают то, о чем напоминает их звучание.

Сербер в этот час давно уже лежит в тени, горы рано поглощают свет, а то, что не успели проглотить они, глотаю я. Тут страна теней, тут царит теневое время, приобщиться к этой затененности — на короткое время своего пребывания здесь — надеялся и Беньямин, для которого это место тоже было лишь промежуточным этапом, остановкой на-пути-туда-то, пока не выяснилось, что страна теней и есть цель, конечный пункт его путешествия. Он вышел еще до рассвета, взяв с собой только портфель, в котором лежала рукопись. Рукопись он потащил с собой в горы, и она пропала, превратилась в рукопись-тень. Сербер не лежал на его пути, он, чтобы не возбуждать подозрений, вышел из соседней деревушки Баньюль и направился прямо в горы. Я не иду по его следам, хотя у меня есть географическая карта, на которой отмечен его путь, кажется, этот путь стал сегодня местом паломничества туристов, по нему бродят или странствуют — в тени — посвященные всех стран, но сами они в тень не погружаются; вероятно, высоколобые пилигримы вбивают свои новомодные, напоминающие лыжные палки посохи из легкого металла в иссохшую землю и, добравшись до пустой могилы, кладут, как и я, камешек на могильную плиту; исполнив интеллектуальный долг, они отправляются пить испанское пиво.

Ночью небо ближе, чем днем. Когда все наконец успокаивается, я слышу, как слова лопаются в моем мозгу, мерцая, они медленно подплывают ближе, каждое само освещает себе дорогу, и, когда они оказываются так близко, что я могу ухватить их своими духовными пальцами, я слышу, как они взрываются, и на их месте постепенно появляются обра-

зы и запахи, звуки и краски, которые беспорядочно окружают, обшаривают меня, подкапываются под меня, и в этом хаосе звуков и образов они, слова, странным образом сохраняются в виде разбросанных как попало тактовых черточек и неприметных контуров, они позволяют взять себя в рот и вслух или беззвучно произнести, так возникают мысли, так ткется фраза. Мысль то сверкает, как молния, то с трудом складывается и раскладывается на части; фраза — та же молния, если она еще раз сверкнет в лупе времени и позволит себя принарядить, искусно сложить заново. Никто толком не знает, как все это бывает на самом деле, действительно ли фраза приходит окольным путем мысли. Сюрреалисты, к примеру, очень даже побаивались мысли и с нарочитой игривостью старались обойтись без нее, что им подчас удавалось. Стихотворение вообще не доверяет мысли и старается держаться от нее подальше; оно время от времени осторожно опирается на нее стопой, но тут же от нее отталкивается.

Я могла бы всю жизнь объяснять мир — себе и, может быть, другим, — переводя его в образы; в один прекрасный день все земные явления я бы вознесла или опустила в сферу метафорики; во всяком случае, перевела бы, перенесла этот мир куда-нибудь в другое место, и все бы существовало в двойном воплощении — как вещь и как сравнение, но сравнения вскоре утратили бы свою исходную точку и обрели бы самостоятельность, превратились бы в параллельный мир, в котором я в любой момент могла бы укрыться, ибо речь в конечном счете идет только об одном — найти такое место, где в любой момент можно обрести убежище. Параллельный мир был бы и дальше связан со старым хаотическим сплетением нитей, но как именно они связаны, никто бы уже не знал. Все слова и понятия остались бы прежними, только сочетались бы между собой по-иному; возникло бы впечатление, что какая-то мощная рука взяла и основательно смешала все вещи и явления вкупе с их названиями.

В новом мире я была бы более или менее одинока; связи и сравнения, созданные мной, не были бы понятны другим, поэтому путь ко мне остался бы им неизвестен. (Кстати, конкретное, позабытое значение используемых в "переносном смысле" выражений было бы — для равновесия — реабилитировано и ради последующих столетий избавлено от всего переносного, в результате очевидное и впрямь предстало бы перед нашим взором.) Лишь тот, кто читал мои книги, кто усвоил мой тайный язык и сопровождал меня в "иные края", мог бы мало-помалу научиться чувствовать себя в параллельном мире как дома.

Но что это за выдумки, тут же говорю я себе, что за бесплодные, пустые фантазии, нет никаких "иных краев", куда можно было бы убежать, а если бы и нашелся такой уголок, то моим долгом, долгом пишущей, стремящейся в процессе письма дойти до сути вещей и языка и не попасться к ним на удочку, было бы бежать от него как можно дальше и держаться как можно ближе к тому, что обыкновенно зовут "действительностью" и что делает вид, будто кавычки, которые, словно сережки на уши, я навешиваю на него справа и слева, ничем ему не грозят. Но тут снова дает о себе знать мое давнее недоверие к действительности, без кавычек мне не обойтись ни в этой фразе, ни на этой странице, ни в этой книге.

Когда Цербер рычит, требуя пищи, я кормлю его действительностью, ибо что может быть реальнее больных и покойников?

Без смерти действительности не бывает. Груши, мусорные контейнеры, фаустпатроны, человекообразные обезьяны, голуби — без всего этого она может обойтись, хотя, казалось бы, привязана к каждому насекомому; не будь смерти, она бы загнулась, ей бы пришел конец, конец совсем нестрашный, но все же конец, собирай вещички, все, что можешь собрать, полный ассортимент предметов, явлений и тварей.

Мой отец умирает, умрет, умер. Фразы, не подходящие ни для какой книги, ни для каких уст, спрягаемые глаголы, выплескивающиеся за пределы страниц и вскоре заполняющие всю комнату, комнату с зарешеченными окнами в Сербере и все другие комнаты, в которых я когда-либо жила, отец умирает, а по ту сторону горы и границы разбросаны кости сверхотца, если они уже не истлели за шестьдесят лет. А между умирающим и давно умершим стою я с мобильником в руке: звонок, улетающий за море, долго звучит в моем ухе. Он долго звучит под землей, долго трезвонит в отцовском доме у реки, но, как и следовало ожидать от мертвых и умирающих, никто не поднимает трубку. На сей раз эта уловка мне не поможет, я сама отрежу себе путь для бегства в иронию, и, когда я буду стоять, прижавшись спиной к стене, станет ясно, удастся ли мне опять выпутаться из этой серьезной ситуации, или же Цербер, оскалив зубы, вынудит меня капитулировать.

Ты, должно быть, думала, что это всего лишь игра? Хотела избавиться от одиночества благодаря еще большему одиночеству, когда наносила визит псу Цербер у на его посту у границы? Вероятно, не ожидала, что это милое создание сразу начнет кусаться, что оно не любит шутить с прибывшими издалека туристами? Ты добралась почти до порога преисподней и еще удивляешься, что те, кто подступает к тебе, все увеличиваясь в размерах, — это умирающий и мертвец. Полагаешь, что можешь и дальше без последствий играть со словами и мыслями, Цербера можно прогнать, но слова не столь безобидны и сговорчивы, как ты думаешь, они не позволят долго и безнаказанно использовать себя в твоих целях. Тебе было все равно, где расположено это место, как оно выглядит, что за люди тут живут, тебя притягивало к нему только название. Ты опять поверила, что сможешь тайком пробраться мимо действительности в собственное внутреннее царство и что духи, которых ты призвала на помощь, так же легко оставят тебя в покое, но ты ошиблась, действительность отбросила кавычки, как дезертировавшие офицеры выбрасывают погоны, и стоит перед тобой нагая, с издевательской ухмылкой на губах. (Или это всего лишь игра твоего воображения?)

В доме у реки умирает отец, а ты стоишь тут со своей флуоресцирующей записной книжкой и думаешь — думала еще три минуты назад, — что можешь играть со смертью в интеллектуальные игры и безнаказанно бросать ей вызов. Но слова и названия не этикетки, наклеенные на вещи, они живут собственной жизнью и наносят ответный удар тому, кто с ними дурно обходится.

Кладбище, где покоится Беньямин, лежит, словно маленькая шахматная доска, которую берут с собой в путешествие, над самым берегом; с площади, примыкающей к его отсутствующему праху, паломники могут любоваться восходом солнца. Однажды мне попались на глаза несколько почтовых открыток, которые сверхотец написал прадедушке; крохотные, нацарапанные пером буковки, словно по листу бумаги бегала птичка колибри, почти такие же крохотные, как на микрограммах

Роберта Вальзера[1], эти два человека отчаянно хотели исчезнуть, один выбрал безумие, другой бежал куда глаза глядят, лишь бы остаться в живых. В конечном счете и тому, и другому менее всего удалось затеряться в исчезающе крохотных буковках. Я уже не помню, что писал мой сверхотец прадеду, не знаю, удалось ли мне расшифровать хитроумные следы птички, помню только, что держала в руках и разглядывала эти реликвии с благоговейной бережностью, но и со строптивым скепсисом. И вот я всматриваюсь в испанское кладбище, что расположено в двух-трех километрах отсюда, и узнаю вдали памятник, который там воздвигли сверхотцу: точно оползень, съезжает каменная плита с кладбища прямиком в море, в принципе, она могла бы служить идеальным устройством для захоронения трупов в воде...

Потом наступает ночь. Как быстро ночи сменяют друг друга, день едва успевает блеснуть между ними своим тусклым светом. В этой неотвратимой пульсации тлеет безумие: включаешь лампу, выключаешь лампу, включаешь лампу, выключаешь лампу. Всем нам недостает мужества, чтобы додумать, довести эту смену света и тени до смерти. Но тишина — благо. Не лают собаки, не звонит телефон, только в голове иногда вдруг накатит приливная волна, угрожая слову, что с трудом прокладывает себе дорогу в трясине мыслей. Тишина стоит такая, что я, если сама время от времени не нарушаю ее, когда тихо вздыхаю или роняю карандаш на стол, кажусь себе глухой. Я провожу рукой по своему обнаженному предплечью, раздается нежный, приятный шорох. Пальцами я массирую голову, да так, что внутри что-то шуршит и потрескивает. Таким способом я составляю компанию самой себе и создаю собственную маленькую шумовую кулису, чтобы защититься от глухоты и лучше использовать окружающую меня абсолютную тишину. Пролети сейчас по комнате муха, ее жужжание показалось бы ревом пикирующего реактивного самолета, но муха не летит, и дерево за окном не скрипит. К счастью, когда делаешь глотательное движение, в ушах раздается тихое потрескивание, природа специально так устроила, чтобы ты чувствовала, что еще живешь, что звуки не отключились раз и навсегда. В тишине громче звучат мысли, внутренние голоса выводят мелодию четче, чем на фоне шума. В тишине я слышу приближение слов, когда они еще и не слова, когда одни из них упрямо и цепко держатся за серое вещество мозга, а другие торопливо подлетают, словно тени, и остаются или расплываются. В тишине уже можно распознать теневые изображения, задолго до того, как они доберутся до сознания; они посылают тихие сигналы-предуведомления, своего рода предисловия, сообщающие, что слова уже на подлете и высматривают место для отдыха или ищут, куда улететь. Я ли это ищу слова, или слова ищут меня?

На столе передо мной лежат большие сильные руки, которыми можно запросто вспахать поле или сдавить кому-нибудь горло. Будь это мои руки, я благодарила бы Бога или кого-то там еще, кто дал мне руки сильного человека, и попыталась бы сделать ими что-нибудь полезное, посадить дерево или построить дом, во всяком случае я бы с первого взгляда поняла, что это руки не мыслящего и пишущего человека, а ремесленника, крестьянина или лесоруба, я бы поостереглась взять в

1. "Микрограммами" принято называть фрагментарные записи — прозы и стихов, — обнаруженные в архиве швейцарского писателя Роберта Вальзера (1878—1956) и относящиеся в основном к последнему, бернскому, периоду его творчества (1921—1933). Последние двадцать три года жизни Вальзер провел в психиатрической клинике. Подборку материалов о Вальзере см. "ИЛ", 2007, № 7.

эти руки, например, карандаш и записать на бумаге какую-нибудь мысль — хотя бы из страха, что сломаю карандаш такими лапищами. Судя по всему, передо мной лежат руки, которые по недосмотру отрубил и оставил на моем столе лесоруб, причем лесоруб чрезвычайно ловкий и хитрый, вероятно он отрубил себе руки, чтобы наказать меня за мои ошибочные суждения о его способностях — и заодно задать мне загадку.

Вы не сомневайтесь, мне каждый день приходится — нет, не разгадывать, а осмысливать и обрабатывать изрядное количество загадок, и я окликаю неуловимого лесоруба, который хоть и может поздравить себя с тем, что перехитрил меня и спас лесорубовскую честь, но, оставшись без рук, вынужден искать другую работу. Когда я его разыщу, то предложу обмен: пусть он сам пишет или диктует или создает в своем воображении книги, а я буду валить деревья, распиливать их и складывать в штабеля — за себя и за него.

Так иногда, в приятном расположении духа, я сползаю к чему-то, что можно назвать образом или идеей, и жду, куда это меня приведет; временами это приводит меня всего лишь к куче дров, которую читатель, вероятнее всего, с ходу перепрыгнет, как перепрыгивают нарытый кротом бугорок земли.

Те, кого я люблю, умирают в течение всей жизни, каждый день для них — отсрочка и в то же время еще один шаг к могиле. Мой страх никогда не покидает меня, он откармливает смерть. В такой ситуации более чем желательно любое отклонение в сторону, но даже если ты и отвлекаешься от существа дела, если ходишь вокруг да около, путь все равно приведет тебя к тому же месту.

В этом месте нет света. Нет дня, который проходит, нет ночи, которая опускается или поднимается из низин. В этом месте с деревьев не падают листья, не вздувается простыня на ветру, не бьется о берег волна. Все неподвижно и глухо, птицы застыли на земле, их темные круглые глаза безжизненны. В доме заколочены окна и двери, вдобавок двери заперты изнутри на засов. За дверьми сидит в полном мраке женщина, на ней темные солнечные очки; тишина струится из наушников, надетых на голову. Дом примерно таких же размеров, как Земля, женщина сидит во внутренней, спрятанной в глубине комнате, словно фараон в пирамиде. Там нет ни лета, ни зимы, нет ни *раньше*, ни *позже*, есть только безмолвный дом, и в нем сидит женщина, которая ни о чем не думает и ничего не ждет. Существуй там усталость и сон, женщина наверняка бы устала, но она сидит, вперив глаза в застывшую темноту, темнота обволокла ее, как янтарь — насекомое. Там не "царит покой", ибо разве может царить покой в мире, где нет даже намека на движение. Женщина сидит во внутренней, скрытой в глубине дома комнате и не чувствует ни голода, ни боли, ни тревоги, ни отчаяния. Есть только женщина и дом и то, о чем никто ничего не знает. Эта женщина — моя мать.

В Сербере я иду искупаться под дождем, и пока я плаваю в море, слезы застилают мне глаза. При таком притоке воды и такой перенасыщенности солью море должно бы выйти из берегов; но вместо этого оно безропотно проглатывает дождевые капли и слезы, сморщив свое покрытое рябью лицо. На утесе стоит мальчик и кричит мне сверху раз за разом одно и то же слово, которого я не понимаю из-за шума падающих в воду капель. Мальчик голый, в руке он держит якорь или огромный рыболовный крючок и кивает мне или замахивается, чтобы швырнуть им в меня, тогда я закрываю глаза, как закрывают водопроводный кран, и отдаюсь на волю волн. Сверху до-

носится голос мальчика, он кричит "вода" или "беда" или "кидаю" или что-то вроде этого, во всяком случае нечто протяжное, звучащее как угроза или как последнее, долетающее уже из потустороннего мира слово. Я снова открываю глаза, теперь вместо мальчика на утесе стоит Вальтер Беньямин, в руке у него не якорь и не рыболовный крючок, а черный портфель, и я уже знаю, что в этом портфеле рукопись, которую он тащил с собой через горы в Испанию, сплошь изрисованные завитушками и крестиками, исписанные с обеих сторон черными чернилами листы без полей, которые он собирается без промедления швырнуть через мою голову в море; ты так держался за этот портфель, думаю я, так далеко его приволок, а теперь бросаешь в море, и в то же мгновение я понимаю, что так и должно быть, именно так, а не иначе. А может, то слово означало "туда"?

В кафе в Сербере под потолком висит телевизор, его живое, излучающее картинки и звуки тело захвачено в плен пауками; словно жирная муха, сидит он в паутине и ждет, когда его сожрут. За тонкой вуалью паутины весело гримасничают два молодых человека, затем они дают понять, что разучились говорить, ходить и думать, и это — в оглушающем шуме — им удается. С самодовольным видом шествуют они туда-сюда по экрану, не догадываясь, что их никто не видит и не слышит, посетители повернулись спиной к плененному пауками телику, они погружены в собственные проблемы, некоторые из них неподвижно сидят у стойки уже несколько дней, пауки и их уже почти полностью опутали своими сетями, на плечах и носах мужчин толстым слоем лежит пыль. Но вот снова начинается какое-то движение, хозяйка мокрой тряпкой проводит по лицам застывших у стойки мужчин и подвигает к ним полные стаканы. На полу лежат страдающие от жажды собаки, здесь все знают друг друга, подозрений никто ни у кого не вызывает. Я сижу в углу и позволяю паукам опутать себя — в надежде, что если проторчу здесь достаточно долго, то однажды меня, возможно, примут за одного из засидевшихся и упившихся завсегдатаев. Зимние ночи в Сербере тянутся долго, времени хватит, чтобы пересчитать все звезды и всех овец Пиренеев. Утром мужчины у стойки все еще сидят на высоких табуретах, уронив головы на скрещенные руки. Все пространство теперь напоминает кокон, заботливо укутанный густой паутиной. Над морем выглядывает солнце и тут же тускнеет; через мгновение Сербер снова погружается в ночь. Деревня, привыкшая к плотной затененности, не обращает внимания на отсутствие света. Мертвые и без того лежат за дымчатым стеклом, их вытаскивают и чистят только по воскресеньям, а живые знают каждый изгиб и каждую неровность в подземных ходах, по которым они ползком добираются до своих жилищ или до площади у самого моря. В Сербере отлично обходятся и без солнца.

Едва я успела вернуться в комнату и вставить неправильный цилиндр своего тела в световой конус, как на мое предплечье садится комар и позирует минуты две, изображая беспокойство и хлопотливость. Пока нижняя часть его тельца с прозрачными краплеными крылышками остается совершенно неподвижной, два передних щупальца размером с волосок на моей руке затевают боксерский поединок с невидимым противником. Насекомое размахивает несоразмерно длинными щупальцами, которые легко спутать с ножками, так яростно, словно собирается завоевать первое место в соревнованиях по африканским танцам или по меньшей мере довести себя до полного изнеможения, после чего ему останется только погрузиться в сон забвения. Насекомое и впрямь взлетает, но, пролетев около тридцати сантиметров, опять опускается на белую гарди-

ну, где потом много часов сидит неподвижно, составляя компанию своей тени. Затем на него снова что-то находит, оно яростно размахивает тонкими пиками, напоминая Дон Кихота, сражающегося со своей тенью. Комар сильно устает, да и у меня слипаются глаза, так как внутренне я тоже сражалась вместе с ним, поэтому его поражение — это и мое поражение. Вообще-то поражения легко присваивать. Труднее обстоит дело с победой, особенно если речь идет о таких пораженцах, как я.

Ранним утром насекомое поднимается на задние лапки, расправляет крылышки и выдает себя за беньяминовского ангела истории, правда, без локонов и больших ушей, которые пририсовал ему Пауль Клее[1]. Насекомое уставило на меня бесчисленные фасетки своих глаз, я кажусь ему высокой, все возрастающей горой развалин в роли истории[2], и оно говорит мне о том, что *надежды бесконечно много, но только не для нас*[3]. Из самого далекого прошлого дует сильный ветер и гонит нас перед собой; будущее — это пустое пространство, к которому мы повернулись спиной. Да и комар давно уже изгнан из рая.

Отец бестелесен, безног, бесплотен, как же он может умереть? Вся его телесная жизнь ограничивается жужжанием электробритвы. Отказ техники? Отключение электричества? Ветер гонит отца вдаль, в невидимую пустоту. Прямо на меня гонит он его в преисподнюю, на пороге которой сижу я в компании с Цербером. Если я останусь здесь, то смогу лично встретить всех своих покойников, одного за другим. Прошлое, Настоящее, Будущее: со своего поста у врат ада я вижу, как они, в строгих официальных костюмах, выходят на берег и отражаются в море. Настоящее рядом с Прошлым и Будущим кажется не больше трехлетнего ребенка, то и другое, оба взрослые, с двух сторон держат Настоящее за руки. В мерцании воды они дружно сливаются в одно целое; на экране телевизора, висящего под потолком кафе в Сербере, лежат в гробах длинные ряды покойников. Мужчины у стойки поворачиваются к ним спиной и опускают взгляды в наполненные пивом или вином стаканы ближайшего будущего, в неисчерпаемых запасах которого они, видимо, не сомневаются. Напротив меня сидят два паломника, заглянувшие сюда на пути к Беньямину, и близоруко разглядывают мое лицо сквозь круглые стекла очков.

Не примечательно ли, говорит один другому, что смерть в наше время можно увидеть только на экране и что теперь она ни одному человеку — по крайней мере пока не подойдет его очередь — не попадается на глаза нигде, если не считать телевизора?

Оба знают, какое место в истории занимает их время, чего можно ожидать от общества, которое изгнало смерть в хосписы и на телеэкраны — видит бог, этим оно оказывает себе плохую услугу, брало бы лучше пример со Средневековья, когда смерть оставалась еще реальной, ужасной и повсеместной, вот это были славные времена, единодушно решают паломники и, чокаясь, пьют за них.

Кто, подобно этим двум, благодаря учению Мастера понял суть девятнадцатого столетия[4], для того и двадцатое, и даже двадцать первое

1. Рисунок Пауля Клее "Ангелус Новус" был для Беньямина чем-то вроде талисмана . В эссе "О понятии 'история'" Беньямин воспользовался этим образом, назвав его "ангел истории", чтобы выразить свою концепцию времени.
2. Отсылка к эссе Беньямина "О понятии 'история'". См. цитату из этого эссе во вступлении.
3. Цитируется запись Франца Кафки.
4. Имеются в виду культурологические работы В. Беньямина, и прежде всего его неоконченная книга "Пассажи", посвященная Парижу, который Беньямин называл "столицей девятнадцатого столетия".

не заключают в себе никакой тайны: все так ясно, литература агонизирует, ведь кроме смерти рассказывать не о чем, словесность вырождается в неудержимое заикание, в икоту, которую невозможно изгнать из современных библиотек и которой неведомы ни смерть, ни вечность.

Так говорят оба паломника, а в моей голове снова и снова умирает отец, и мне тоже хотелось бы знать, какое значение имеют вещи и как они между собой связаны, и являются ли знаки, которые я вижу, действительно знаками, посылаемыми кем-то — но кем и с какой целью, — и почему именно сейчас я нахожусь в этом месте, к порогу которого приходит умирающий отец? Я тоже хотела бы знать, что́ все это значит.

Всем известно: когда происходят какие-то события, нельзя не попытаться найти между ними связь и смастерить себе из этого личное послание, потакая весьма распространенной потребности получать вести откуда-нибудь, хоть с того света. Ага, думаешь ты, есть же где-то там кто-то, кто не забыл обо мне и хочет мне о чем-то напомнить, и ты, находясь в том или ином расположении духа, читаешь это мнимое послание как ответ или как загадку, а то и как приказ. Вот так ты создаешь себе сверхчеловеческого визави, всегда имеющего что тебе сказать или объяснить. Важную роль при распознавании и истолковании этих посланий из космоса играет близость во времени или одновременность самых разных событий, иначе в череде каждодневных происшествий не поймешь, какое из них исполнено тайного смысла.

Но не станем же мы превращаться в спиритистов, говорит отец, пришедший в себя после предсмертного часа и снова обретший способность звонить по телефону. Только потому, что ты оказалась в Сербере, когда это случилось.

Но кому хочется жить там, где не бывает символических знаков, где каждая вещь существует сама по себе и не связана проводом или нитью мысли с другими явлениями, где никто не обращается к кому-нибудь из другого мира? Разве знаки не адресованы каждому, кто воспринимает их как знамения? *Читать то, что никогда не было написано*[1], — кому этого не хочется, кто не хотел бы читать все воспринимаемое нами как книгу? Каждый камень, каждую лисицу, каждый мост можно ведь рассматривать как букву, слог или слово, так почему бы не соединить эти элементы в утверждение или, может, вопрос? Может быть, мы отчасти обладали такой способностью, но за тысячелетия утратили ее. Бог же обладает этой способностью в абсолютной мере, он читает Небо и Землю как собственную рукопись, и каждый раз, когда он переворачивает страницу, опускается ночь и снова наступает день.

Перед тем, как он в бессчетный раз перевернет страницу, я в вечерних сумерках иду прогуляться по лесу. Но не успеваю сделать и десяти шагов, как передо мной оказывается косуля и смотрит на меня широко раскрытыми глазами. Она стоит неподвижно, словно гипсовая статуя из стихотворения[2], и я тоже стараюсь, хоть и с меньшим успехом, привести

1. Цитата из пьесы Гуго фон Гофмансталя "Безумец и Смерть" (заключительный монолог Смерти, где перечисляются главные качества человека). На эти слова ссылается В. Беньямин в эссе "Диалектический образ": "Исторический метод есть метод филологический, в основе которого лежит Книга жизни. 'Читать то, что никогда не было написано' — сказано у Гофмансталя".

2. Отсылка к стихотворению "В парке" немецкого кабаретиста Иоахима Рингельнаца (1883–1934): герой стихотворения видит ночью замершую косулю, возвращаясь под утро, застает ее в том же положении, дотрагивается до нее рукой и обнаруживает, что косуля — гипсовая.

свое тело в состояние покоя. Мы стоим и смотрим друг другу в глаза, словно соревнующиеся гипнотизеры, ни одна из нас не опускает взгляд, ни одна даже на миллиметр не сдвигается с места (я, видимо, едва заметно покачиваюсь), — и тут я постепенно замечаю то, чего не замечала, когда шла: как шумно живет вокруг нас лес, как громко шуршат жуки в сухой листве, как повсюду в ветвях хлопочут птицы. В тот самый миг, когда я замерла, начали жить деревья и кустарники.

Вдруг косуля срывается с места и исчезает в подлеске. Природа о чем-то усердно шелестит и шепчет про себя, только я стою на тропинке неподвижно и смотрю на то место, где только что была косуля. Я хочу продолжать прогулку, но в моих ногах больше нет желания идти дальше, гулять по лесу, они словно налились свинцом, в них засело горькое упрямство, и я знаю, что не сдвину с места ногу, не поставлю ее впереди другой, я буду стоять на месте и смотреть, как мимо меня пробегают дикие животные, птицы начнут садиться мне на голову и вить гнезда в изгибе моего локтя, придет лето, потом осень, за ней зима, и люди, когда-то знавшие меня, обо мне забудут. На всем белом свете будут смеяться и убивать, танцевать, рассказывать истории и запускать в небо воздушных змеев, а я медленно, не пуская корней в землю, обернусь частью леса. Я замечаю, что пока еще могу поворачивать белки глаз вправо и влево, справа взгляд достигает поляны, слева он сразу же упирается в деревянный забор, правда, виден еще и кусочек неба, похожий на лужу, а внизу мягкий ковер из листьев, на котором валяются упавшие ветки и буковые орешки. Я одна в лесу, ни один человек не проходит мимо. Холодает. В поле моего зрения вползают и тут же исчезают живые существа, всё, что способно двигаться — листья, улитки, дрозды, облака, — убегает и улетает от меня. Время от времени мимо прошмыгивает, смущенно кашляя, ежик. Когда-то, годы спустя, то же место в лесу снова пересекает косуля, на минутку останавливается передо мной, безо всякого страха обнюхивает мой правый рукав и убегает.

Из детства выныривает горбатый человечек и, продираясь сквозь дебри воспоминаний, ковыляет ко мне. Его так скрючило, что я не могу заглянуть ему в глаза, он часами роется на чердаке в бесчисленных ларях и ящиках, где сложены карманные ежегодники, я складывала их туда многие годы. Я долго верила, что с помощью таких ежегодников могу обозревать и удерживать в памяти прошлое, пока вдруг не обнаружила, что почти все сохранившиеся в них заметки, в большинстве сделанные скорописью, теперь стали для меня неразборчивы или непонятны. Там встречались имена, совершенно мне не знакомые, места, в которых я наверняка никогда не бывала. Я прошло и больше никому не доступно, говорило Прошлое, в этом и заключалось его до банальности простое послание — видимо, единственное, которое оно еще в состоянии передать. И вот горбатый человечек склонился над старыми ежегодниками и внимательно их перелистывает. Бумага все стерпит, хрипло произносит он, и я впервые в жизни догадываюсь, что́ сие значит. Бумага нетерпелива, спустя некоторое время говорит человечек, и я — непонятно каким образом — сразу улавливаю смысл и этих его слов. Однажды впитанное бумагой Прошлое не прошло, оно принадлежит сухому Настоящему бумаги.

Бумага все стерпит, думала я раньше, бумага не сопротивляется, когда ты исписываешь ее острым пером или тупым карандашом. А когда всю испишешь, она даже поворачивается к тебе обратной стороной — пиши, мол, дальше, пока на некогда безупречно чистом листе не останется ни одного светлого пятна. Бумага терпелива, ей надо много терпения, чтобы

без возражений принять и вынести все, чем ежедневно нагружает ее человек: страхи, сомнения, финансовые подсчеты, последнюю волю, списки намечаемых покупок, романы, объяснения в любви...

А человечек не может оторваться от моих старых ежегодников; в отличие от меня он, кажется, даже разбирает написанное. Пока он читает, горб его все набухает и набухает, и под тяжестью горба человечек опускается на пол. Когда-нибудь горб вырастет до таких размеров, что заполнит собой весь чердак и придавит меня к наклонной стене, и если это всего лишь сон, то самое время в испуге проснуться.

Отец был с Беньямином на "ты", Беньямин для отца – друг семьи. Из глубины милостиво улыбается Гофмансталь[1], в глазах ребенка отец принадлежит другой семье, семье Беньямина. Семья Беньямина живет по ту сторону горы и границы, ребенок с матерью – на краю света. Там, в семье Беньямина, они говорят на языке, который ребенок никогда не учил и который невозможно выучить. С этим языком рождаются, новорожденные уже бегло на нем говорят, а все, кто им не владеет, тут же разоблачают себя как чужаки, не имеющие отношения к семье. Между ребенком и семьей высоким куполом вздымается гора. Семья не любит посторонних. Разве небо недостаточно просторно, разве не раскинулось оно – сверхвеликодушно – надо всем человечеством? Разве мало того, что море, приветливо синея, блестит для всех? Так нужно ли еще и купаться в нем вместе с другими?

В воображении ребенка отец и Беньямин врастают друг в друга, очки Беньямина садятся на благородный нос отца, беньяминовские усы окрашиваются в рыжеватый отцовский цвет, вместе смотрят они на ребенка – благосклонно и недоуменно – сквозь толстые стекла очков. Язык отца для ребенка – это язык Беньямина, а язык матери – язык обыкновенных смертных. Ребенок бросает Цербер у кость через границу, на отцовскую территорию, и как только кость падает на землю, там вдруг оказываются тысячи скелетов, они словно неожиданно выползли из земли, костями усеяно все побережье, между ними бегает туда-сюда сбитый с толку пес и возвращается к ребенку с пустой пастью.

Издалека до ребенка доносятся приглушенные, хорошо обдуманные звуки отцовского языка; в языке отца ребенок понимает только паузы. Из отцовской семьи он знает только отца и еще несколько знаменитостей, вошедших в историю немецкой культуры, это святые, обступившие отца и дружески похлопывающие его по плечу. На групповом снимке отец улыбается и безмятежно смотрит в камеру, а ребенок не без горечи думает, что в окружении святых легко добродушно улыбаться и быть уверенным в себе; кто взирает на землю с такой высоты, у того не вызывают отвращения простые смертные.

Иногда отец спускался с Олимпа и смешивался с народом. Во время одной из вылазок на его пути оказалась мать, которая еще ни разу не видела такого героя вблизи. В тот же вечер она родила трехголового, безволосого и беззубого ребенка, сразу же завопившего во все три глотки. (Позже мотив трех глоток будет играть в литературном мире повзрослевшего чудовища незначительную, но весьма любопытную роль.) Когда ребенку исполнился годик, он написал отцу первое письмо: "Дорогой отец, – писал

1. Гуго фон Гофмансталь (1874–1929) был первым авторитетным литератором, который оценил критический талант Беньямина и напечатал его эссе "'Избирательное сродство' Гёте" в своем журнале "Нойе дойче байтреге" (1924–1925).

он, – я теперь бойскаут и каждый день пою веселую песенку". В языке отца слова "бойскаут" не было и песенок в его мире не пели, песни доносились из стереоустановки, их автором был Густав Малер. В шесть или в шестнадцать лет ребенок впервые побывал у отца в гостях. Дом отца был такой огромный, как Немецкая государственная опера; все стены, потолки и подвальные помещения состояли из штабелей книг, чего ребенок, правда, не заметил, так как еще не видел ни одной книги. За столом сидела женщина, красивая и молодая, она умела очень прилично говорить на отцовском языке. Уже за ужином между нею и отцом завязался оживленный разговор, в котором хотелось принять участие и ребенку, но ребенок сидел молча, подолгу размешивая каждое слово, приходившее ему на ум, в чашке с чаем. Так все и происходило: можно было ввинтиться в чужие мысли и, словно играя, нажимать на самые разные кнопки, можно было скрыться в языке, как в ладно сидящем костюме, и ар-гу-мен-ти-ро-вать. В тот раз разговор вскоре растворился в тихом и монотонном бормотании: отец с гладко выбритыми розовыми щеками вышел из ванной комнаты и сразу собрался в музей. Все музеи города возведены вокруг отцовского дома, так что, если отец отправлялся в музей, долго идти ему не приходилось. Дом отца тоже был музеем. Внутри него громоздились ценности мировой культуры, а ребенок смотрел в пол и робко жался к стене рядом с фигурками индонезийского театра теней.

Мать же тем временем была пристегнута ко второй половине земного шара, она крутилась на кухне, вытирала пыль, экономила каждый пфеннинг, комары впивались ей в руки и ноги, собаки рычали на нее, а змеи кусали в мочку уха, чего конечно не решились бы проделать с отцом, да у него и ушей-то не было, ребенок даже не знал, есть ли у него ноги и руки. Должно быть, в семье Беньяминов не было ни ног, ни ушей, хотя бы потому, что в этой семье не нуждались ни в ногах, ни в ушах, ибо любая территория, которую можно измерить шагами, любой звук, который можно услышать, – все было уже где-то вычитано или получено от рождения и потому содержалось в головах Беньяминов. Но у ребенка на каждой из трех голов красовалось по паре огромных ярко-красных ушей, да ног у него было значительно больше, чем полагается иметь более-менее цивилизованному существу.

Ребенок ничего не мог сказать, ему ничего не приходило на ум, и так продолжалось все годы детства и юности. Он смотрел на свои ноги, и каждая нога была неподвижной частью света, он смотрел на руки, и каждая рука была чужой планетой, на которой отсутствовали условия для человеческой жизни, он смотрел в небо, а там восседал среди облаков отец и, сочувственно улыбаясь, взирал на землю, ребенок окидывал взглядом ценности мировой культуры, собранные в доме отца, а они потягивались и зевали в ответ. По вечерам все шли в театр и смотрели на артистов, которые бились головой о стены из папье-маше и громко, до изнеможения кричали; или шли на концерт, и музыка нарастала, заполняя все кругом, пока ребенку не начинало казаться, что он вот-вот взорвется; потом в антракте пили апельсиновый сок, а музыка все звучала и звучала в ушах вплоть до следующего утра.

Отец знал все алфавиты от начала до конца и от конца до начала, он мог читать их в зеркальном отражении и требовал обязательного школьного образования для кошек. У кошек вздымалась на загривке шерсть, они шипели на ребенка, словно на шелудивую собачонку, и ребенок огрызался в ответ, словно шелудивая собачонка.

Утром ребенок просыпался, во сне он летал над горами и долами, но проснувшись, снова оказывался в доме отца, он лежал в постели и не мог больше летать, зато небо летать могло, через чердачный люк было видно, как оно пролетает мимо, или, может, это дом плыл по воздуху, а небо стояло на месте? В доме отца каждое утро ребенок чувствовал себя как в поезде, когда не знаешь, твой состав тронулся с места или тот, что стоял на соседнем пути.

В отцовском доме ребенок не видел никого, кроме самого отца, его жены и чужих богов, что в виде масок и статуй невозмутимо вглядывались застывшими глазами в широкие коридоры и просторные залы.

Ребенок гордился, что может хоть несколько дней быть причастным к жизни отца, и в то же время боялся выдать себя, опростоволоситься. Во время коротких визитов к отцу он научился прикрывать пустую, лишь слегка замутненную клочьями тумана голову, натягивая на лицо умную улыбку или напуская на себя рассеянную задумчивость, и так хотя бы ненадолго отодвигал угрозу разоблачения. Это искусство маскировки позже еще не раз помогало ему в иных жизненных обстоятельствах; правда, такая тактика предполагает, что ты как можно меньше бываешь вне дома, упорно сторонишься людей и в первую очередь избегаешь всех членов семьи Беньяминов, которым ничего не стоит вывести человека на чистую воду. Но уж если контакт с другими людьми неизбежен, то важно быть постоянно настороже в ожидании момента, когда могут всплыть имена, обстоятельства или оценочные суждения, — чтобы из-за невнимательности не нарваться на какой-нибудь каверзный вопрос собеседника. В доме отца ребенок основательно овладел этим искусством и сегодня без труда может, например, внушить заговорившему с ним корейцу, что разбирается во всех нюансах его мысли.

Холлы в доме отца были сплошь увешаны предками — написанными маслом портретами; все они походили на отца, словно художник всякий раз использовал его в качестве модели, меняя только прическу — то строгий косой пробор, то старинный парик с белокурыми волосами — и подбирал одежду соответственно эпохе и роду занятий да иногда, если требовалось, пририсовывая двойной подбородок. Предки отца были видные мужчины, отдававшие себе отчет в своей значительности; умными глазами смотрели они в будущее, заранее предугаданное ими в образе зрителя из другой эпохи, которого они умели так подчинить своей воле, что казалось, будто ты подошел к ним, приняв их приглашение, или что тебя допустили к аудиенции, и ты отнюдь не случайно оказался в этом просторном холле.

Отцовская династия восходила к давно прошедшим столетиям, когда еще можно было завоевывать территории и распространять христианскую веру, когда крестьянские девушки, хотели они того или нет, отдавались господину графу и графы населяли окрестные подворья своими внебрачными детьми. Кое-что из тех особенностей мышления, что были присущи этой длинной династической линии, попало отцу в кровь и все циркулировало и циркулировало в ней, добираясь до последнего пальца на ноге и возвращаясь обратно.

Теперь ребенок стал взрослым человеком и носит фамилию, которую можно прочитать на обложке этой книги, а не фамилию отца. Ему бы никогда не пришло в голову произнести слово "отец" или похожую вокабулу, каким-либо образом связанную с собственной семьей, языком пишущего, на котором говорит его внутренний голос, если бы отец совер-

шенно неожиданно, так что никто не мог ему помешать, не втиснулся в картину, причем как раз в тот момент, когда повзрослевший ребенок с мыса в Сербере смотрел вниз, на кладбище, на котором Беньямин не был погребен, но имел свой надгробный камень. Перед этим надгробным камнем выросший ребенок постоял и положил камешек на могилу, что, без сомнения, сделал бы и отец, о котором он при этом вспомнил. Ребенок снова попытался оказаться достойным отца и почувствовать себя причастным к блеску семейства Беньяминов, но попытка и на сей раз не удалась — и я потащилась, перелезая через пыльные обломки породы, обратно в Сербер, в анонимность своего существования.

С тех пор я и вою здесь с собаками, охраняющими вход в преисподнюю, и превращаю все ответы в вопросы. Во мне сидит, затаившись, ребенок, но я не знаю, тот ли это ребенок, каким была я сама, или же это дитя, которое я произведу на свет; сжав кулачки, оно не приемлет мира, которого совсем не знает; его тельце, его ручки и ножки освещены далеким молочным светом. Самолеты прорезают ночь, готовясь к следующей войне; дитя и знать ничего не хочет обо всем этом, оно сворачивается в крошечный клубок и замирает во мне, словно жизненно важный, неотделимый от моего тела орган.

Сквозь сплетение голых ветвей на молочно-сером, глотающем снежные хлопья небе вдруг вырисовывается горизонт. Цербер лежит, свернувшись, у моих ног и видит тревожный, шерстистый, загадочный сон. Словно огромные брошенные птичьи гнезда, висят в кронах деревьев пучки омелы, под которыми не сидят целующиеся парочки. Все двери распахнуты настежь, видны пустые помещения с белыми стенами. Перед окнами — бесшумная и непроницаемая жизнь, в которой на каждом повороте, как грозно указующие персты, вырастают из земли дорожные знаки. Автомобили обтекаемой формы медленно подъезжают к перекресткам и вскоре снова теряются в снежной замети. Снег, не торопясь, засыпает темное пятно там, где только что стоял автомобиль, засыпает даже абсолютно чистый лист бумаги на моем письменном столе. Во сне Цербер дергает несуществующий поводок.

В Сербере останавливаются все поезда. Конечная станция. Пассажиров просят покинуть вагоны. Еще совсем недавно расстояние между рельсами по обе стороны границы было неодинаковым. Сербериянки целое столетие перегружали лимоны и апельсины из испанских вагонов во французские, чтобы и север мог погреться у этих маленьких, излучающих сияние сладко-кислых солнц. Сколько жизней прошло за работой, которая немного позже стала ненужной. Сколько случилось смертей, которые пару лет спустя удалось бы предотвратить. Люди всю жизнь таскали на себе ящики, и вот незадолго до того, как они рухнули бы от усталости, двум правительствам вдруг приходит в голову мысль сделать расстояние между рельсами одинаковым. Возможно, не имеет никакого значения, что именно люди делают — пока они вообще что-то делают, пытаясь одолеть тишину и заполнить свою жизнь делами, движением, шумом. Не проистекает ли работа писателя, художника, композитора из потребности в занятии, которое в течение весьма короткого времени грозит стать ненужным именно потому, что в своей бесполезности всегда было жизненно необходимым? Или, быть может, вообще не бывает бесполезной деятельности? Бесполезных смертей?

Сербериянки перетаскивали цитрусовые от одного железнодорожного пути к другому, день за днем, месяц за месяцем, год за годом. На се-

вере Европы, куда после долгого путешествия наконец прибывали апельсины и лимоны, никто не выражал им свою благодарность. Вскрытая бледными пальцами голландцев или шведов кожура апельсинов источала тонкий аромат. Какое значение имеют в жизни человека один-единственный день, час, тишина и красота, опустошительность и непреложность каждого мгновения? Во времена, когда еще не было телефона, я бы уже не застала отца в живых. Когда мы лучше используем свое время: при жизни или после смерти?

Снег на улице растаял, в небе растаяли облака; под слабыми лучами солнца засыпанное снегом место, где раньше стояла машина, расплылось, стало пространством жизни. На лужайке прыгает Цербер, радуясь потоку путешественников, которым нужно изо дня в день переходить через охраняемую им границу. Я стою рядом с ним и смотрю в сторону границы: видимость — всего несколько шагов, дальше взгляд тонет в тумане. Только покойникам туман нипочем. Терзая себя, они непроизвольно выворачивают свои пустые глазницы — обращая их к тем местам, откуда пришли. Я смотрю каждому умирающему в лицо. Даже близкие мне люди, перейдя эту границу, становятся чужими, их лица мрачнеют, тела тускнеют, и вскоре туман поглощает их вялые движения. Велосипедисты в ярких костюмах, наклонив ошлемленные головы к рулю, по деревянному настилу переезжают через границу, но и им, несмотря на мускулистые икры и твердые, как кость, ляжки, уготован скорый конец.

Я поворачиваю назад и все глубже проникаю в царство живых: на моем пути встречаются странники и люди, идущие за покупками, мимо проезжают поезда и автомобили, и каждый второй человек, заключенный в своей шкуре, жаждет, чтобы на него обратили внимание, пока он недолго парит в бесконечности между началом и концом, между первым криком и последним хрипом, в своей абсолютной непохожести и в то же время похожести на других. Как уверенно кружит каждый по своей привычной орбите! Как безо всяких сомнений отдается своей особенной — вплоть до мельчайших деталей, прежде всего до этих самых деталей, — специально для него скроенной, ведущей прямиком к цели жизни! У многих есть профессия, они, например, орнитологи, ассистентки стоматолога, полицейские. Я завидую точности их жестов, четко очерченной сфере их ответственности, их форменной одежде. В каждой такой шкуре заключено существо, которое может сказать о себе: "я", "мой желудок", "мое чувство долга" или "все безнадежно". В каждой скрывается отец или мать, фантом или тайные желания, каждое такое существо хоть раз тянулось одной рукой к звездам, а другой — к диктатору.

В тишине комнаты я пытаюсь внести порядок в сутолоку моих созданий и видений. Между тем наступает ночь. Уличные фонари блестят в окне, как прямоугольные светила в созвездии Большой Змеи. Над этим созвездием сверкают в темноте небесные бриллианты — бесчисленные дырочки, и возникает сито, сквозь которое я безуспешно пытаюсь проникнуть взглядом. Небо напоминает усеянные пятнышками листы, на которых, если соединить нужные, для простоты пронумерованные точки, проступает рисунок, лицо или дракон, внезапно, будто по мановению волшебной палочки, выделяющиеся на фоне прежде совершенно хаотичной световой россыпи. Луна — самая большая из дыр, вдавленных в эту черную жесть, или жесть — это противень, и луна лежит на нем, словно маслянисто-желтая ванильная булочка.

Многое приходит в голову, когда вглядываешься в небо, особенно если даешь себе труд задуматься над увиденным; я поочередно затаскиваю к себе в дом явления природы, людей и то, что они изобрели, и пытаюсь понять, обладает ли все это образной выразительностью и многозначностью. Материя только и делает что изменяется, но при этом не убывает и не прибывает — подобным образом и к мышлению, похоже, нельзя прибавить хоть что-нибудь существенное. Все новое возникает из мгновенного соединения в уме двух уже существующих, но пока никем не сведенных воедино вещей, принадлежащих к несхожим мирам.

Сороки с целеустремленностью подброшенной трости рассекают небо: круто взмывая вверх и изо всех сил, будто в панике махая крыльями, они пытаются как можно точнее выписать прямую линию. Для воробьев вертикаль не идеал: камешками падают они с неба и каждый раз в нужный момент спохватываются и с озорной легкостью снова вспархивают в небесную синь. Высоко вверху надменно, не шевеля даже перышком, кружит коршун; с одинаковым презрением взирает он — сверху вниз — на мышей-полевок и на людей, и — снизу вверх — на пролетающие над ним самолеты.

Вот так и вторгается раньше или позже в картину, которую я вижу, каждое живое существо, каждый камень, каждая лестничная ступенька, и все хотят, чтобы я их осмотрела и каждому дала толкование; все видимые твари и предметы каждый день предстают новыми загадками. Так, по крайней мере, кажется тому, кто держит глаза открытыми. Но если как следует поразмыслить, то приходится признать, что все толкования видимого, вплоть до желания быть истолкованным, которое ему приписывается, в действительности всего лишь собственное желание наблюдателя понять или хотя бы упорядочить видимый мир, его личное, без устали повторяемое толкование самого себя. В каждом цветке, в каждом мерцании свечи, в каждой траектории, оставляемой в небе птицей, даже в предчувствии сверхъестественного наблюдающий снова и снова видит — по крайней мере до тех пор, пока не подавит в себе потребность объяснять увиденное, — только собственный стыд, собственную ярость, собственное возмущение, собственное отчаяние. Этот эгоцентризм неизбежен, он — врожденная невозможность мысленно выйти за пределы своего "я", перепрыгнуть через себя, заглянуть вперед, назад или в то, что делается у тебя под ногами. В позе павлина или мимике шимпанзе можно увидеть только те варианты поведения, на которые способен ты сам.

Семья Беньяминов — это особая порода животных. Я не знаю, по каким законам здесь живут, кто главенствует — самцы или самки, сколько жизнеспособных детенышей в среднем они производят на свет и выращивают. Но немного поупражнявшись, все же можно по некоторым унаследованным способам поведения и по определенным рефлексам без труда опознать представителей этой категории млекопитающих. Проводя ежегодно неделю каникул в доме отца, ребенок тайком занимается полевыми исследованиями, отмечая особенности в тамошнем образе жизни и все, что кажется ему необычным. Так, судя по всему, инстинкт приказывает членам отцовской семьи не складывать чистые тарелки в стопку, как это делают в доме ребенка, а ставить их в шкаф вертикально, рядом друг с другом. Через начищенные до блеска стекла буфета ребенок недоверчиво разглядывает расписанные вручную фарфоровые творения, которые еще столетия тому назад в своей вертикальной бесполезности избавились от названия и функции "тарелки" и

теперь снисходительно взирают на простую посуду, как разряженные придворные дамы — на забрызганных грязью крестьянок.

Точно так же определенного рода имена, такие, как Зигфрид или Мехтильда, а еще некоторые выражения отвергаются как неподобающие общественному положению Беньяминов и могут привести к автоматическому отказу при чьей-нибудь попытке вклиниться в их семейный клан. А желающих тем не менее хватает; иной, пытаясь проникнуть в сферу Беньяминов, думает, что достаточно сослаться на свои выдающиеся интеллектуальные заслуги или даже, за неимением таковых, вступить в родственные отношения через брак. Иногда вопрос о принятии или непринятии в семью остается нерешенным годы или десятилетия; одного неверного слова или умного выражения лица бывает достаточно, чтобы чуть-чуть склонить весы в ту или иную сторону. Вопрос с ребенком, к примеру, стоит с момента его рождения и останется нерешенным до самой смерти. Эта продолжающаяся всю жизнь нерешенность — лучший исход, на который может надеяться проситель. В большинстве случаев ходатайство отвергается уже после короткого испытания.

Мама провалилась не на первом, а на одном из последующих испытаний; со временем ей опостылело одиночество и она вышла замуж за человека по имени Вилли — одно его имя, хотя он и не думал предлагать себя в родственники, служило гарантией провала и говорило о невозможности приема в отцовскую семью.

Ребенок по-прежнему раз в году садится в самолет, который летит к отцу, и, чтобы дитя не потерялось, улыбчивая стюардесса вешает ему на шею табличку с фамилией то ли матери, то ли отца, теперь уже и не вспомнить, во всяком случае с чьей-то фамилией. Когда ребенок прибывает на место, ему бросаются в глаза новые необычные вещи. Так, например, в семье отца живут словно и не люди, а бестелесные создания. У них, собственно, есть только руки и лицо. Шлепанцами, халатами, грелками и туалетами там не пользуются в принципе. В помещении, которое не служит потребностям тела, может свободно располагаться и развиваться дух. В доме ребенка, напротив, у тела есть торс, к которому прикреплены руки и ноги, есть у него также подмышечные впадины, лобная и носовые пазухи и еще много других непонятных полостей. И это большое, вездесущее тело нужно беспрерывно очищать, кормить и согревать. Тут уж не хватит ни времени, ни сил для наслаждения красотой и стремления к высшим сферам.

Единственная высота, к которой стремится ребенок, причем с первого дня и до последнего, — это дом отца, где так много места занимают поставленные стоймя тарелки, где есть масса доставшихся от предков подушек, на которых удобно спать, где царит — это сразу бросается в глаза — вполне заслуженное самодовольство. Отец обитает в горних высях. Здесь не уместно желание забраться еще выше, здесь остается лишь взирать с высоты на долину и радоваться чистому воздуху.

За эти вершины, к которым нельзя приблизиться даже после очень трудного подъема, на которые можно только смотреть снизу вверх, о которых можно только мечтать, ребенок, оглядываясь назад, благодарен отцу. Взгляд, направленный снизу вверх, сделал из ребенка человека. Сознание собственной несостоятельности и ничтожности, которое ни на секунду нельзя изгнать, сделало из него писателя. Лишь с большим опозданием и далеко не сразу он заметил: писать, рисовать, петь можно только снизу вверх, но ни в коем случае не сверху вниз. И он был

рад, что принадлежит, раз уж без этого нельзя обойтись, к тем, кто благодаря своему искусству, своим жалким способностям, своему внутреннему волнению или спокойствию, умению окликать и вслушиваться ощупью пробирается в области, в которых не рождаются, которые завоевывают самостоятельно, — в девственные выси и глуби. Ибо только от этих низин и возвышенностей ведет путь — даже если его так и не удастся найти — в обетованную землю, под гостеприимные своды, в некое небесное царство.

В глубине комнаты заработал холодильник, внезапно нарушив тишину и прогнав чувство одиночества. Когда стемнеет, повсюду освещаются прожекторами достопримечательности, памятники зодчества, замки и церкви. Ночью власти предержащие, то есть те, кто включает и выключает свет, компрометируют себя. Скройся вдруг мир от наших взглядов днем, у них не возникло бы сомнения в том, что достойно быть увиденным, а что — нет. Им никогда бы не пришла в голову мысль освещать строительный кран, шатающийся камень в кладке, дерево или птичий след на песке. Другой, по меньшей мере столь же уверенный в себе властитель неизменно, иногда сразу после обеда освещает луну и звезды, даже если облака, что случается не так уж и редко, самым нахальным образом пытаются поставить под сомнение ценность небесных тел как достопримечательностей.

Я вношу бургомистру предложение: предоставить мне право выбирать заслуживающие освещения участки общинной земли, а заодно — и право использовать ежегодно выделяемые на вечернюю иллюминацию общественных строений деньги для освещения понравившихся мне объектов. Бургомистр отвечает: "Многоуважаемая госпожа Вебер, сердечно благодарим Вас за предложение словом и делом помогать нам при освещении городских достопримечательностей. К сожалению, в настоящее время мы не видим оснований для изменений в программе ночного освещения нашей общины. Мы полагаем, что как замок, так и исторические фасады Рыночной площади наши сограждане, а также гости, в том числе и те, что приехали издалека, должны видеть и ночью. К сожалению, в нашем бюджете на текущий год не предусматривается дополнительное расходование энергии. Надеемся на Ваше понимание и дружески приветствуем Вас. Бургомистр Отто Люкс, по поручению бургомистра... <далее неразборчиво>".

Вот так, чтобы сделать жизнь разнообразнее, приходится затевать вымышленную переписку и воображать смену руководства. Луна тем временем незаметно выбралась из окна и отплыла в направлении горизонта, где она намерена демонстрировать свой покрытый пятнами лик обитателям другой стороны планеты. На ее гладкой поверхности видны четко очерченные континенты, затемнения, "лунные области", окруженные молочно-белым морем, капли которого в ясные ночи падают на землю. Да и звезды — это рассыпанные по всей Вселенной брызги света; ими заканчиваются три части Божественной комедии. Ад запрятан глубоко в голове, в средоточии человеческого существования, в центре земли. Как вокруг камушка, когда его швырнешь в озеро, на поверхности воды образуются концентрические круги, так и вокруг большого камня по имени Земля выстраиваются девять небес. Потом, если тоска жива, а надежда исчезает, начинается ад — и сужается кругообразно до тех пор, пока и он не утомится и не прекратит движение. У входа в третий из этих кругов стоит, дрожа от ярости, с налитыми кровью глазами

Цербер, разевает три свои вонючие пасти и терзает несчастных призраков, мучениям которых в его когтях не видно конца. Он воет так, что страстно желаешь только одного — не иметь ушей, но это желание, конечно же, не исполняется, как не исполнились и другие, предыдущие. Обитатели ада — тени, вбивающие в землю гвозди дождя и града. Когда-то они тоже кутили и обжирались и вот превратились в легких, лишенных объема призраков, которых изо дня в день терзают, топчут и облаивают. Пока я двигаюсь по кругам ада, луна уплывает все дальше по своей накатанной орбите. Когда брезжит рассвет, для африканцев он — как слезящийся глаз и горячая капля на раскаленном камне пустыни.

Война. Ребенок и отец, американцы, испанцы, румыны, йеменцы, кенийцы, британцы, чилийцы, японцы — все погибли. Были когда-то отец и дитя, были миллиарды отцов и детей. Луна как ни в чем не бывало кружит над землей, так продолжает бормотать про себя радио в автомобиле, который давно уже врезался в дерево, и все, кто в нем был, разбились насмерть. Из газет уже не узнаешь, как произошла катастрофа, ибо все журналисты мертвы. Писатели, которые до последнего мгновения что-то заносили в свои записные книжки и планировали создать главное произведение своей жизни — эпос войны, — мертвы тоже. В руинах теперь обитают только тени, ранее населявшие девять кругов ада. Они растолстели, округлились и во весь голос распевают скабрезные песни. Во время воздушного налета скончался после долгой агонии и Цербер. Весь день сияет солнце.

Роману, который есть не что иное, как претендующая на правдоподобие сказка, можно было бы придать счастливый конец. Но в книге с открытым зачином, небогатой на выдумки и трюки, призванные подогревать интерес читателя, такой конец показался бы фарсом, зато она допускает множество других финалов. Одним-единственным лишним слогом, даже одной-единственной буквой каждую написанную фразу, каждую мысль легко вывести из равновесия и заставить двигаться в ином направлении. Как романист пытается держать в голове всех своих персонажей и вводить их в текст по мере надобности, так и я изо всех сил стараюсь не давать растекаться словам, слогам и буквам и не поддаваться приятной инерции, которая соблазняет меня уступить ее притягательной навязчивости, стремится — с первой до последней фразы — взять меня на буксир. Тут нужна осторожность: кто отвлечется хоть на мгновение, того расползающиеся во все стороны буквы тут же разорвут на части и четвертуют, и сможет и захочет ли он в дальнейшем писать книги, это еще вопрос. Фабула берет романиста, а вслед за ним и читателя за руку — или на поводок — и ведет его по дороге, может довести до Аляски или завести в таиландский бордель, а то и в уютную комнату второстепенного персонажа, чтобы он отдохнул там немного от писательского труда. Меня же слова ввергают в сумятицу звуков и значений, в дремучий лес, сквозь чащобу которого мне, если я не застряну, предстоит проложить путь.

Ветер гонит мимо моего окна нескольких прохожих, на них темно-синие шапки, их покрасневшие лица наклонены в сторону шоссе. Над перекрестком висит зеркало в красно-белой рамке, в нем отражается безжизненный, почти абстрактный ландшафт, который с утра до вечера разглядываю только я одна. Прохожие проходят мимо него, словно посетители музея, что, углубившись в свои путеводители, не удостаивают взглядом выставленные картины. У одного из них при себе фотоаппарат.

Фотографы — это обладатели переносной рамки, которую они нажатием кнопки могут наложить на все, что попадется им на глаза. Фрагменты, на которые они разбивают мир, мгновенно и безо всякого сожаления освобождаются от своих взаимосвязей и делают вид, будто они всегда существовали в виде отдельных самостоятельных композиций. Пишущему рамкой служит фраза, в которую он может втиснуть частичку видимой и слышимой природы или цивилизации (в этом его преимущество перед фотографом, ведь его охотничьи угодья распространяются и на то, чего нельзя ни увидеть, ни услышать). Между двумя знаками препинания можно уложить многое, чего не совместить ни в повседневной жизни, ни в объективе фотоаппарата. Луна скрылась за облаками и ускользнула от человека с фотоаппаратом, но не от меня: она, словно мерцающая морская жемчужина, раз и навсегда погружена в мой внутренний мир.

Отец — это тоже человек с фотоаппаратом, странствующий по жизни своих детей и запечатлевающий на пленку все этапы их жизни: вот они ползают на четвереньках по линолеуму, вот пытаются встать на свои изогнутые колесом ножки, вот они со школьной сумкой в руке и принужденной улыбкой на лице, вот прислонились к поручням огромного корабля. Разве отец не тот самый человек, что, когда корабль отплывает, стоит на берегу и машет рукой?

Этими словами можно бы и закончить книгу, такой конец вполне сгодился бы и для экранизации: сначала средним планом ребенок, одной рукой уцепившийся за поручень, а другой робко машущий оставшемуся на берегу, далее камера наезжает на его лицо и видно, как по щеке стекает слезинка. Потом наплывом отец: стоит на причале, размахивая платком, и ободряюще улыбается вслед удаляющемуся кораблю. И наконец, последний кадр: виден только корабль, он уже так далеко в море, что ребенка невозможно разглядеть.

Ребенок — это существо, которое знает, что такое разлука.

Однажды — каждый понимает, что такое может случиться, но никто в это по-настоящему не верит, — в картину вмешивается некто и меняет персонажей местами: грустный ребенок стоит на берегу, а отец, ободряюще улыбаясь, медленно удаляется вместе с кораблем. Это последнее расставание. Отец исчезает за горизонтом.

Пусть луна укроет его не саваном или ореолом святости, а теплым одеялом, пусть набросит ему на плечи мягкий светлый плащ. Пусть девять небес, словно переплетающиеся радуги, раскинут над ним свой свод. Пусть простит он меня, вечно стучащуюся к нему, вечно ожидающую знака, пусть извинит за назойливое стояние перед дверью и за просьбу впустить в дом. Пусть хранит его Цербер, поставленный часовым у входа в третий круг ада. Пусть будут ему грядущие годы весело журчащими ручьями, тенисто-зелеными лесами и поросшими мхом тропинками.

Так звучит молитва, которую я творю. В окне, словно красные глаза скрывающегося за деревьями хищного зверя, загораются задние фары автомобиля. Тихо и сыто заурчал мотор, и огни, то скрываясь в сплетении ветвей, то снова появляясь, проворно удаляются, мелькая в густых зарослях кустарника. Я так часто молюсь в последнее время, что Господь Бог лишь лениво отмахивается или закрывает уши руками. Кто больше не может молиться, тому остается немного дел. Я путешествую и со временем превращаюсь в неизменяемое, для меня самой чужое место, которое окружают, точно толпа любопытных, разные ландшафты;

я превращаюсь в озеро или в тихую рощицу, которую люди некоторое время рассматривают, а потом забывают.

Завтра, надо думать, тоже будет день. Как вчера и позавчера, меня страшно раздражает парковка перед окном. Я опускаю голову и наклоняюсь к жучку, июньскому нехрущу, что взбирается справа от меня вверх по занавеске, с трогательной наивностью пытаясь собственными силами покрыть толстую, сплошь белую материю маленькими точечками и сделать из нее занавеску в мелкий горошек. Когда надежда покидает его, он иногда расправляет похожие на парашютики крылышки и взлетает. Беспомощно и бесцельно, как заведенный, он быстро кружит по комнате — крохотная растерявшаяся игрушка, которую природа, следуя одному из "капризов", коим мы обязаны своей самобытностью и вообще своим существованием, создала вдобавок к другим крылатым существам. Высоко над ним висит, раскинув крылья, коршун, словно приколотый к небу мотылек, не обращая внимания ни на меня, ни на взлетевшего игрушечного жучка, ни на облака, лениво проплывающие над ним. Животные не интересуются друг другом, разве что одному понадобится другой для совокупления или насыщения. Несмотря на то, что оба они — существа крылатые, нехрущ июньский для коршуна просто не существует. Для меня же этот жучок с самого начала — тварь удивительная, мистическая, друг и спутник. Не дающий сбить себя с толку. Непостижимый. Обреченный на следующий день умереть.

С утра до вечера передо мной восемь квадратов окна. В каждом равномерно распределены свет и тень, сплавлены воедино краски. Квадрат, в котором умещается мир. Какой смысл скрывается за этой вертикальной игрой между небом и землей, за мельканием живописных картин по ту сторону стекла? Картины меняются ежесекундно, но едва заметно, ты будто смотришь снятый для предельно замедленного показа фильм, сюжет которого станет ясен лишь после того, как пленку прокрутят еще раз со значительно большей скоростью; только тогда зритель, возможно, поймет, какие мысли мелькали в голове создателя фильма во время съемок, что он хотел сказать, с какой целью день за днем заставлял выступать исполнителей главных ролей — солнце и луну, а также бесчисленное множество составляющих массовку созвездий. Сплошные метафоры, которые мелькают в голове и делают вид, будто они могут объяснить загадочные явления и их закономерности, Великую Смену Кадров за окном. Передо мной — восемь квадратов окна, теперь уже погасших, напоенных мраком.

Я бреду нетвердой походкой вслед за тяжелым грузовиком, но эта деревня называется не Cerbère и расположена она не на границе, и уж точно не на границе со смертью. Или все-таки? В этом призрачном городке сейчас время карнавала. Женщины из евангелической общины играют в Дикий Запад и наряжаются в индианок. Очевидно, однако, что вот-вот нагрянут грабители; жители городка ищут спасения в бегстве, магазины безжизненны, салуны, которых здесь множество, покинуты, пусты. Осталась только я одна, должно быть, меня забыли предупредить, или я была уже мертва. В каждом поскрипывании прогнивших балок я слышу знакомые шаги, каждый глухой крик ночной птицы кажется мне стуком захлопнувшейся автомобильной дверцы. Я все жду и жду; похоже, даже гангстеры забыли о своем намерении ограбить городок.

Говорят, на земле живет много миллиардов людей. Когда я выхожу из дома и бреду куда глаза глядят, мне не попадается ни одна живая душа. А когда остаюсь сидеть за столом, уставившись, как всегда, в окно, мне ино-

гда кажется, что угловым зрением, справа или слева, снаружи я замечаю какое-то движение, кого-то вижу. Боясь разочароваться, я не поворачиваю головы: за окном и без того много интересного, даже если не видишь ни одной живой души. Рамку окна снова пересекает пролетающая вдали птица, но мне с моего места кажется, что она летит точно вдоль проводов высокого напряжения, словно их для того только и натянули, чтобы по ним могли ориентироваться заблудившиеся птицы. Чего только не увидишь и не поймешь, по собственной прихоти меняя угол зрения; по крайней мере можешь освободиться от узости однозначной постановки вопроса. Если бы можно было в любое время самому решать, как подвергнуть предмет духовному или визуальному рассмотрению — в непосредственной близости или с расстояния в несколько тысяч километров, сбоку, сзади или снизу, — то выявилось бы великое множество новых значений и непредсказуемых взаимосвязей. Тогда человек не был бы прикован к своей весьма ограниченной точке зрения, лишь слегка варьируемой в рамках его духовной и телесной подвижности, а располагал бы поистине бесконечным арсеналом воззрений и интерпретаций. А вместо этого ты всегда, даже если считаешь, что у тебя "уже нет никаких перспектив", имеешь только одну точку зрения, одну перспективу, которую можно всего лишь перенести в другое место. Моя перспектива сегодня — окно, перспектива застекольня, откуда многое можно обнаружить и как следует разглядеть, но ни к чему нельзя прикоснуться.

Не двигаясь, я смотрю в окно: снаружи ни ветерка, не шевельнется даже веточка, не вспорхнет вдали птица. На секунду мне кажется, будто то, что внутри, и то, что снаружи, вдруг слились в моментальный снимок, и в печальном выражении моего застывшего лица на мгновение мелькает нечто комическое. Справа в картинку влетает ласточка и расстраивает тайное мое желание: замерев в неподвижности, ускользнуть от будущего. А ведь, вероятно, только так и можно было бы избежать поступательного движения времени — благодаря строго соблюдаемой неподвижности. Постепенно начинают подрагивать и другие компоненты картины, главным образом голые ветки. Словно трясущиеся старики, тихо покачивают они своими высохшими сучками-пальцами. Должно быть, старики потому и умирают, что им больше не удается посредством абсолютной неподвижности удерживать смерть на расстоянии, по возможности не попадаться ей на глаза.

Звонит телефон, и почти не дававшая о себе знать жизнь мгновенно меняется до неузнаваемости. Отец намерен совершить блицпутешествие и собирается нанести мне короткий визит. Слова "короткий визит" и "блицпутешествие", особенно если они всплывают в одном предложении, вызывают у меня искреннее восхищение. Это же одно удовольствие — слышать, как немецкий "блиц" подставляет ножку благородному французскому "визиту". Путь отца от одной иностранной художественной коллекции к его собственному собранию произведений искусства проляжет мимо моего оконного квадрата. За окном все еще свободно одно место для парковки. Место второго водителя, как всегда, на заднем сиденье.

Я смеюсь и плачу в кулак — в кулак, который показываю отцу и небу. Сегодня этот кулак сжался в книжку, в бессильное мелькание черных буковок на белой бумаге, которое стесняется своей недоброты, но все же ни разу не доходит до истинного богохульства. На горизонте все еще виден корабль. Я стою и, подняв руку, машу чужому человеку. Его черты на-

поминают мои собственные — как и его слабые и сильные стороны, постоянно перетекающие друг в друга.

Отец совершенно не выносит упреков, любила повторять мать, уже четверть века не имевшая возможности в чем-нибудь его упрекнуть. У меня время от времени такая возможность была, но я, вероятно памятуя о материнском предостережении, так ею и не воспользовалась, хотя появилась на свет в виде очень живого, от года к году набирающего вес, старательно оберегаемого упрека. И вот я, живое воплощение этого упрека, сижу у окна и провожаю глазами воображаемые корабли; передо мной не озеро и не море, а Рейн, мощно катящий свои воды внизу, за деревьями; доверься я ему, и он понес бы меня на себе — несколько сот километров и дальше, мимо отцовского дома. Отец стоял бы высоко над рекой, рядом с ним на подоконнике — великолепная старая модель парусника со сложной оснасткой, и смотрел бы на меня как на проплывающий мимо предмет. Или его взгляд, не задерживаясь на мне, устремился бы к противоположному берегу, где находится еще один дом, принадлежащий отцовской семье. Старый кот трется у его ног и мурлычет от удовольствия, которое сам же себе и доставляет. В наступающих сумерках дремлют в глубине дома высокочтимые предки. Так воды реки соединяют происхождение человека с историей неизвестных ему праотцов.

Но я не бросаюсь в Рейн, а только вглядываюсь каждый день в долину, по которой он, вгрызаясь в почву, с незапамятных времен прокладывает себе путь. В ясную погоду ландшафт легко обозрим, как настольная игра; виднеющиеся там и сям островерхие церкви напоминают раскиданные на игральной доске фишки, к которым со всех сторон подтягиваются селения. Атомная электростанция раскрыла свои дымящиеся кратеры. Над ними раскинулось бескрайнее небо, оно мягко и светло ширится, по его нежной голубизне, словно венки из пены, неведомо куда и зачем плывут облака. Оно играючи занимает две трети пространства, это невесомое, нарисованное одним старым голландцем — маслом на холсте, — со всех сторон обнимающее землю небо.

Говорят, земля круглая, но поверить в это сейчас труднее, чем когда бы то ни было, так плоско стелется она, сложенная в щедрую мозаику полей, пока не рассеивается в дымке и не исчезает из виду. Повсюду вздымаются в небо, словно остро отточенные карандаши, шпили церквей, создавая обманчивое впечатление присутствия рядом с нами времени, которое давно миновало. Вторгаясь в эту равнину, теряешь ощущение дали; остаются только истоптанная обочина дороги и шанс затеряться в нежных небесных красках, в насыщенной синеве и молочной белизне, что придают бесконечности глубину.

Иногда, когда небо, как сегодня, кажется бескрайним и глубоким, я, запрокинув голову, пытаюсь проникнуть взглядом в само время. Ночью звезды признают мою правоту, подмигивая мне из своего одиночества и немыслимо далекого прошлого. И даже когда они движутся над землей, глаза нередко теряются в минувшем: вон та стена тянется из далекого прошлого в наш век, а вон то дерево пустило корни в давно истекшем столетии. И только небо хранит время, которое нельзя ни постичь, ни объять мыслью, а можно только предугадывать и предощущать: то бездонное, вызывающее головокружение время, когда появились на свет звезды и возникла Вселенная. Земля — сестра звезд, но мы слишком близки к ней, она плотно укрыта тем новым, что добавилось за время ее

существования, что было создано человеком, поэтому она постоянно отталкивает от себя взгляд созерцателя. Для того, кто вглядывается в ночное небо, время больше не кажется шахтой или открытым с обоих концов туннелем, по которому ему предстоит пройти в заранее заданном темпе. Скорее, оно длится во всех направлениях сразу, окаменевшие миллионы лет мчатся сквозь мрак, ловя солнечный свет и перебрасывая его друг другу.

Пока меня занимают мысли о времени — в каждой, даже ничем не примечательной *мысли* таятся разные *смыслы*, это запечатлелось и в языке, — мимо проезжает машина, внутри которой раздаются, словно мерные удары сердца, глухие низкие звуки. Пульсируя, ползет этот обнаженный о́рган по склонам: толстокожее животное посреди кротких окрестностей, чуждых и безразличных ему. Подчас такие же бухающие ритмы слышатся в квартирах и целых домах: там уютно расположились живые существа, с удовольствием доказывающие себе и другим, что они еще дышат и пока не умерли.

Внизу, в селении, и доказывать ничего не нужно; там не вздымается ни одна грудь, не течет по хрупким артериям кровь. Даже масленица не способна оживить эту глушь. Трактор волочит за собой безжизненные карнавальные тела от деревни к деревне, мимо кладбищ, на которых могилы с аккуратно разрыхленной граблями почвой и регулярно сменяемыми букетами цветов кажутся низенькими обеденными столами. Слово "блицпутешествие" снова приходит мне в голову. Если бы здесь кто-нибудь внезапно, без предупреждения, умер, он попал бы на ухоженную, неизменно содержащуюся в чистоте территорию, где не потерпят ни одного увядшего листочка, ни одной пустой вазы или брошенного садового шланга. На заботливо украшенных столах уложены ступеньками каменные плиты, напоминающие аккуратно расставленные тарелки, перед которыми вскоре займут свои места гости.

Отец нанес смерти блицвизит, постучал и просунул голову в дверную щель, потом в глубине зазвонил телефон и снова вернул его к жизни. Над холмистыми полями вертолет иногда рассеивает известь. Темными клубами сыплется она из подвешенных на канатах к брюху вертолета шаров, болтающихся туда-сюда над кронами деревьев; кажется, будто кто-то размахивает над лесом кадильницами. Храм, в котором служат эту мессу, простирается от одной опоры мысли к другой, от горизонта к горизонту. В его нефе поют тысячи невидимых птиц, сквозь этот огромный музыкальный ансамбль прошмыгивают, пригнувшись к рулю, велосипедисты в красных трико. Меня ошеломляют красота и равнодушие каждый день, каждую секунду меняющихся окрестностей, с непоколебимым постоянством из века в век повторяющих эти перемены, ошеломляют таинственность и превосходство природы, частью которой вроде бы являемся мы. Ошеломляет ощутимый бег времени. Считается, что смертность дана человеку в наказание за грехопадение. Но так ли это? Разве животным отравляет жизнь то, что они смертны? Истинное наказание — это, скорее, знание о неизбежности смерти, ежедневные напоминания о ней. Каждый раз, открывая глаза, мы видим, как все вокруг дышит и растет, разлагается и умирает — и все же с незапамятных времен продолжает существовать. Быть животным. Пугливо прятаться в кустарнике. Натренированным глазом искать пищу; когда приходит время, следовать зову особи другого пола. Но как же тягостно быть человеком! Как утомляет необходимость размышлять или вера в то, что ты что-то знаешь! Животные с давних пор превос-

ходят человека. Не случайно именно собаке, надсмотрщику мертвых, доверено изо дня в день глядеть в глаза смерти. Собака издали замечает приближение отца; невидимыми шагами, медленно, но неотвратимо приближается он к стерегущему вход в преисподнюю.

Под сводами храма с медленно качающимися кадильницами хватает места для выросшей в целую книгу неприязни и не ко времени затеянных распрей. Самолет пересекает правый верхний квадрат окна, не замечая, что траектория его полета и след, оставляемый им в небе, из-за искривлений стекла превращаются в извилистую линию. Бесчисленные облачка испещряют небо под ней серовато-розовыми крапинами. Но и эта кропотливая работа без всякого почтения уничтожается неровным стеклом. Под ногами паучка, что бодро прогуливается по этому стеклу, сияющая картина мало-помалу начинает тускнеть. Вскоре заботливо распределенные по поверхности шарики смыкаются в дырявое плиссированное покрывало, за которым все дальше простирается, теряясь в невообразимом, Вселенная. Сегодня я снова пропустила момент, когда меняется соотношение света и тени и вступает в свои права ночь; момент, когда облака уже не выделяются темными пятнами на словно освещенном изнутри фоне, а внезапно становятся бледноватыми изображениями на вечернем небе. Несколько секунд спустя темнота замазывает оконные стекла густой масляной краской. Ночь лишает меня возможности бежать во внешний мир; она каждый вечер одаривает меня моим отражением в зеркале окна. Но кто-то могучей рукой вымесил в нем тесто моих черт; одна половина лица получилась выше другой, нос вытянулся бугром влево и вниз: на бархатисто поблескивающем оконном стекле Фрэнсис Бэкон нарисовал мой портрет.

Сталин умер, а я все еще живу, радуется отец, чей день рождения ежегодно совпадает с днем смерти Сталина. Я поздравляю его по телефону. Тон с той и другой стороны вполне подобающий.

Я никогда не срывалась на неподобающий тон: он годами висел на кончике моего языка, словно капля воды на древесном листе, но так ни разу с него и не сорвался. Но вот он срывается и оскверняет эти чистые страницы своей безвкусицей и неуместностью. Можно попытаться найти верный тон; неверный рано или поздно обратится против тебя же. Всю жизнь я старалась найти верный тон и все же рада, что иногда становилась жертвой ложного. В ложном тоне скрыто больше правды, чем в верном, он неопровержим и, если заставляет себя услышать, звучен и ясен. Не правильнее ли ложный тон в конечном счете? Если не мешает желание смириться или примириться, он вдруг оказывается тут как тут, вытесняет доброжелательность, неудержимо рвется вперед, с громыханьем катится по странице, задевает автора и читателя или сталкивает их лбами и затем куда-то улетучивается.

По утрам облачко моего дыхания поднимается вверх, и я поражаюсь собственному пыхтению, которое то изнутри, то снаружи проникает в уши, такое близкое и громкое. Издаваемые телом шумы, не считая тех, что возникают исключительно в голове, таких, как глотание или треск в ушах (при зевании), воспринимаются как внешние раздражители и самым естественным образом сливаются с общей шумовой кулисой — с пением птиц и гулом автомобилей, с журчанием ручья и дребезжанием мопедов. Через глаза и уши ты проникаешь в себя как в чужое, воспринимаемое снаружи явление.

Когда я пытаюсь отвлечь свои органы чувств от себя и обратить их на внешний мир, взгляд мой падает на старую высокую стену, вдоль которой я иду. В ее тени хорошо шагается. Но тут впереди, в двух шагах от меня, от края стены отделяется камень и обрушивается мне под ноги. Тут же возникает мысль: камень ждал, пока я пройду мимо, и промахнулся только потому, что слишком рано отделился от стены. Ветка, попавшая на Елисейских Полях в Эдена фон Хорвата[1], прицелилась точнее. Так возникает еще одна мысль — о предопределении. Совпадение двух, с нашей точки зрения непредвиденных, но в то же время некой неведомой инстанцией не только предвиденных, но и специально подстроенных событий рождает в человеческом сознании смутное предчувствие, что будущее — задолго до того, как оно наступает, — подстерегает нас на подгнивших лестничных ступенях и в разболтанных тормозах, в тканях собственного тела и в перепадах атмосферного давления.

От будущего, притаившегося в каждом готовом отвалиться кирпиче, можно было бы спастись только в одном случае: зная, в каком месте какой кирпич тебя ждет. Погруженная в свои мысли, я поднимаюсь, опустив голову, по склону и сталкиваюсь с согбенной старухой. Я чуть не бросила в нее предназначенный ей "кирпич", но в последнюю секунду подхватила ее и уберегла от падения. Видимо, иного будущего, кроме несчастливого, в предметах нет, а если и есть, то оно не доступно нашему восприятию. Ощущение счастья, которое может вызвать в человеке живая или неживая природа — например, покрытая мхом лесная тропинка или дерево в цвету, — всегда бывает только настоящим или прошедшим. В отличие от несчастья, от несчастного случая, катастрофы, счастье, похоже, отнюдь не всегда поджидает нас в этом мире.

Но вот я добралась до вершины холма. Передо мной раскинулась замершая в ожидании дождя долина. Поднимается буря, и листья деревьев теперь трепещут, словно оказавшиеся в воздухе беспомощные птенцы. Ветер нетерпеливо раскачивает и трясет деревья, ему, видимо, надоела их весенняя невозмутимость, и он всеми силами пытается вытряхнуть из них их тайну. Он тормошит дома, трясет ставни и вот-вот сорвет их с петель. Я стою посреди разбушевавшейся стихии и смотрю, как ветер по всем правилам искусства прилизывает и чистит раскинувшуюся внизу равнину. Ветер вырывается из-за одиноко стоящей неподалеку ивы и бушует так мощно и громко, что я удивленно разглядываю хилое деревце и спрашиваю себя, как оно в одиночку способно издавать такой вой.

На длинных тонких ногах, таких же, какие отделяют от земли и мое тело, приближается отец; я вижу, как он, этот блицвизитер, бредет по сотрясаемой бурей долине. С вершины холма я соскальзываю в детство, в ребенка, каким когда-то была, там у меня достаточно причин для жалоб; я достаю список с упреками, который собираюсь предъявить отцу. Он еще не слышит меня, а я уже открываю рот в крике: блицвизит, блицвизит, блицвизит! — несется в долину моя жалоба.

Пока я смотрю на приближающегося отца, гора поднимает меня все выше и выше в небо; меня окружают одни только боги: я узнаю Гёльдерлина и Гёте, Роберта Вальзера и Готфрида Келлера, Кафку рядом с Мелвиллом, Мёрике и Мишо, Чехова и Виктора Гюго. Я не осмеливаюсь повернуть голову и открыто посмотреть им в глаза, вместо этого я верчу

1. Эден фон Хорват (1901—1938) — австрийский драматург, автор двух романов и прозаических заметок; погиб в Париже во время грозы, убитый обломившейся веткой дерева.

зрачками и пытаюсь поймать их сначала одним, потом другим уголком глаза. На долю секунды я бросаю взгляд назад, где бесконечными рядами неподвижно стоят писатели; тесно прижавшись друг к другу, стоят они, словно толпы ангелов в темных одеяниях, и молчат. Мне бы потихоньку убраться отсюда, пока еще есть время, пока никто не заметил моего непозволительного вторжения. С другой стороны, меня так и подмывает остаться в этом кабинете восковых фигур, по крайней мере до прихода отца, который будет здесь с минуты на минуту. Кто не мечтал о том, чтобы произвести на отца благоприятное впечатление? Пусть бы он увидел, как я — в первых рядах — позирую для этого группового портрета. Разве не поблекла бы мгновенно на этом фоне моя рано подмеченная им ограниченность и несостоятельность?

Некоторое время я не решаюсь тронуться с места, ноги свело судорогой. И смотри-ка, отец и впрямь подходит, прежде чем я успеваю решить, что мне делать — незаметно уйти или остаться. Уже издали он радостно машет мне рукой; я — гипсовая фигура в кругу олимпийских богов. Ау, эй, кричит он, уже почти на моей высоте, и я, охваченная внезапным сомнением, оборачиваюсь: от богов словесного искусства не осталось и следа.

Ау, эй, отвечаю я с едва заметной радостью в голосе и спрашиваю его о путешествии, о самочувствии остальных членов отцовской семьи, обращаю его внимание на долину Рейна, раскинувшуюся насколько хватает глаз и еще дальше, на ее замки и зубчатые стены с бойницами. Отец оживленно рассказывает о музеях, которые он посетил, о купленных в далеких антикварнатах первых изданиях книг, а я бы с удовольствием рассказала ему (да так и не решилась) о толпе авторов, только что окружавших меня и укреплявших мой тыл, хотя я их об этом не просила, о том, что иногда, внезапно очнувшись от полудремы, я чувствую под своей головой писателей — то как колючую подушечку с иголками, то как потешных ночных бахвалов и предвестников снов. Спускаясь вниз, я с горечью думаю: но когда они тебе в самом деле понадобились, рядом не оказалось ни одного.

На проводе высокого напряжения сидит воробей и ничего не знает о токе, текущем под его лапками. Чудовищное напряжение присутствует рядом с ним, но он его не замечает. Это наводит на мысль или по крайней мере на предположение, что и я пребываю в непосредственной близости от могучей и в известных обстоятельствах опасной силы, существование которой все время ускользает от моего сознания. Я недоверчиво разглядываю стул, на котором сижу, потом снова поднимаю глаза к окну. Воробей беззаботно протягивает навстречу ветру свой клювик, что-то роняет и исчезает.

Продолжая размышлять, я прихожу к мысли, что неведомая сила, существующая рядом со мной, тоже, возможно, ничего не знает обо мне. Я все время исхожу из того, что эта сила видит больше моего. А что, если мы просто живем рядом и не воспринимаем друг друга? Сосуществуем в общем для нас, но распавшемся на разные острова восприятия мире?

Я с завистью разглядываю книжную полку, на которой, тесно прижавшись друг к другу, стоят романы. С каким бы удовольствием я родилась романистом или по меньшей мере стала им! В романе я называла бы себя то Норой Новолун, то Розой Резак, то Хельгой Хиляги и под этими именами переживала бы невероятнейшие приключения. Я выве-

ла бы на его страницах целые народы, одни на Востоке, другие на Западе, горы я заставила бы извергать потоки лавы, а главных героев — проливать потоки слез, на сто тридцать второй странице я родилась бы заново индейским вождем или торговкой розничным товаром. Через триста страниц я бы как ни в чем не бывало вышла в образе Галы Бунгалоу из толпы людей, выступающих в защиту несправедливости, войны и загрязнения окружающей среды, и вскоре обняла бы отца, который в романе был бы совсем не моим отцом, а уже пожилым, но крепким строителем по имени Адальберт Штифтер[1]; он стоял бы в желтой каске на стройплощадке и усталой рукой белил кирпичную стену.

Никогда в жизни я бы не удовлетворилась, как иные авторы, только сменой имен, по возможности достоверно воспроизводя при этом все остальное — внешний вид, характеры и обстоятельства. Нет, я бы воспользовалась благоприятным случаем, чтобы изобразить вещи совершено по-новому, на свой вкус и лад. И каким захватывающим могло бы быть действие! Вместо того чтобы только сидеть в комнате и предаваться размышлениям, я бы один за другим или даже — в разных обличьях — одновременно объездила все континенты, исследовала все племена, облазила все горы, я встречала бы на своем пути хищных животных, которые, чего доброго, еще и сожрали бы меня на последней странице. Само собой, я вплела бы в фабулу и любовную историю, возможно, между ныряльщиком в морские глубины и астронавткой, и так как дистанция между ними, без которой любовная связь вряд ли долго продержится, была бы и впрямь достаточной, я, постаравшись, даже довела бы дело до счастливой развязки. А так?..

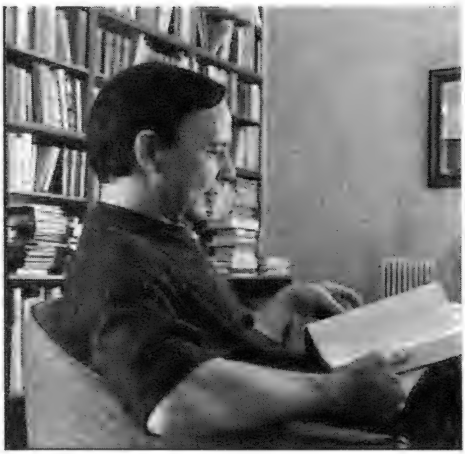
А так мне, по примеру иных авторов, вставляющих в начало или в конец своих книг слова благодарности, только и остается, что извиниться перед всеми — сочувствующими? симпатизирующими? соучастниками? — за начало, которое и не начало вовсе, и за конец, который вряд ли заслуживает этого названия, ибо он настолько открыт, что его насквозь продувает ветер, а дождь может до нитки промочить тех, кто терпеливо дожидается подобающих заключительных слов.

Этот зияющий финал не таит в себе ни разоблачения, ни объяснения, ни неожиданного поворота; дугой напряжения по необходимости служила нить или струна, натянутая между словами и предложениями, и единственное открытие, сделанное на этих страницах, извлечено из самих слов, из их бунта, из преподанного ими урока: ты ошибаешься, думая, что мы "только" слова, говорили они мне. Мы не позволим тебе использовать нас, тем более злоупотреблять нами в своих целях; для вещей и явлений мы не пустая оболочка, мы — их второй дом.

Я опускаю внутреннее перо, закрываю глаза и вслушиваюсь в их говор.

1. Адальберт Штифтер (1805–1868) — классик австрийской литературы. Здесь он, кажется, выступает в роли ибсеновского Строителя Сольнеса, но именно строителя — "работника" (Bauarbeiter), а не, как характеризуется Сольнес в немецком переводе пьесы, "начальника стройки" (Baumeister).

Кристиан Бобен



"Порой встретишь в книге какую-нибудь фразу, которая тебя особенно тронет, и захочется ее запомнить и носить с собой... А книгу Бобена хочется выучить наизусть целиком... Он дает нам веру в себя, показывая, как это просто — быть счастливым" — так один из читателей отозвался в Интернете о творчестве Кристиана Бобена.

Французский писатель Кристиан Бобен родился в 1951 году в Крёзо, небольшом промышленном городе в Бургундии, где его родители работали на шинном заводе "Шнайдер". В университете будущий писатель изучал философию, и, хотя впоследствии он будет отзываться об этих занятиях как о напрасно потраченном времени, все же он на всю жизнь сохранит любовь к Платону, Спинозе и Кьеркегору, да и его собственное творчество будет отличаться философской глубиной.

Первые произведения Бобена увидели свет в начале 80-х, но широкая известность пришла к нему только в 1993 году, после выхода в свет книги "Всеменьший", посвященной святому Франциску Ассизскому. Она была удостоена нескольких литературных наград, среди которых премия "Дё Маго" и Большая премия за католическую литературу. Сегодня, несмотря на успех и признание, Бобен по-прежнему живет в провинциальном Крёзо. Сам он считает себя "узником колыбели" (так называется один из его последних романов), а благосклонная критика зовет Бобена "писателем-затворником" и "улыбчивым отшельником".

Творчество Кристиана Бобена одни литературоведы склонны относить к так называемому позитивному минимализму — направлению, объединяющему писателей, которые воспевают нехитрые радости повседневной жизни, насыщенность каждого прожитого мгновения[1]. Другие, а вместе с ними и служители католической церкви, находят, что произведения Бобена близки к духовной литературе, и в некоторых из них, как, например, в уже упомянутом "Всеменьшем", видят возрождение агиографической традиции. Возможно, правы и те и другие. Бесспорно одно: у читателя, взявшего в руки книгу Бобена, создается впечатление, что писатель знает секрет человеческого счастья и хочет поделиться им с читателем.

1. Сюда же относят, например, и писателя Филиппа Делерма, чья книга "Первый глоток пива и прочие мелкие радости жизни" ("ИЛ", 2002, № 7) одним своим названием иллюстрирует суть "позитивного минимализма".

Секрет этот удивительно прост, но всякий раз звучит как откровение: в любой, самой привычной и незаметной вещи заключено чудо, и это чудо можно увидеть. Для этого нужно хотя бы на время забыть о тщеславии и карьере, об общественной жизни и политике — обо всей этой "взрослой" суете — и вновь обрести детскую способность удивляться и радоваться любому пустяку: цветку, дереву, дождю, чужой улыбке...

Не всегда можно определить жанр произведений Бобена — роман, стихи в прозе, эссе, письма или все это вместе. Его тексты невелики, в них может не быть сюжета и действующих лиц, а есть зарисовки, мимолетные впечатления, которые служат автору источником размышлений.

До сих пор голос Кристиана Бобена звучал на русском языке только однажды: в 2001 году в издательстве "Монопресс" вышел русский перевод его повести "Все заняты". Сегодня читатель имеет возможность познакомиться с двумя другими его произведениями: аллегорической новеллой "Эквилибрист" и романом-дневником "Автопортрет у радиатора".

В 1995 году в возрасте 44 лет скоропостижно скончался близкий писателю человек, его подруга. Начиная с романа "Живее живой", вышедшего в 1996 году и посвященного ее памяти, во многих произведениях Бобена звучат отголоски той трагедии. Есть они и в обоих публикуемых произведениях.

Что бы ни писал Кристиан Бобен, везде он проповедует радость любви и бытия, но музыка его слов печальна. Эта радостная печаль созвучна последнему поучению Христа ученикам в Евангелии от Иоанна: "Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет". Библейская аналогия не случайна. Произведения Бобена полны прямых отсылок к тексту Священного Писания и к житиям святых. Но Бог не только в Библии. "Поэзия — в самом воздухе и лишь немножко — в книгах. Так же и святость мы находим в самой жизни, и лишь немножко — в монастырях", — поясняет писатель в одном из своих интервью. Кристиан Бобен ищет Бога в самой жизни. Бог — это любовь и красота. Надо только снова научиться его видеть, как умели когда-то в детстве.

Анна Чупахина

Эквилибрист

Новелла

Перевод с французского Анны Чупахиной

КОГДА я впервые повстречал человека с лошадиной головой, у меня не было с собой ни кусочка сахару.

Это было зимой. Я шел по проселочной дороге. Я часто так гулял, всякий раз повторяя один и тот же путь. И земля, и небо неистощимы. Всегда поджидает что-то новое, что-то удивительное. Обочины были покрыты ледяной коркой. Время от времени я бросал туда камни. Мне нравилось, как лед трескается не раскалываясь. Я словно инкрустиро-

© Le Temps qu'il fait, 1998
© Анна Чупахина. Перевод, вступление, 2007

вал его камешками, и они казались мне алмазами, застрявшими в паутине. Так проводил я время, разглядывая камни, лед и небо, отраженное во льду.

А времени было предостаточно: незадолго до этого меня уволили из страховой компании, где я прослужил двадцать три года. Я был слишком стар, чтобы снова искать себе место. Конечно, ничего подобного мне никто не говорил. Хватило того, что я сам себе сказал: двадцать три года — это много. Пора подумать и о других вещах, нельзя же провести всю жизнь за работой, это было бы просто несерьезно.

Кидать камни в лед и охотиться за тем, что я называл "божьими бабочками" — красивое место в книге, улыбка на чьем-то лице, солнечные блики на стене... — вот что было гораздо серьезней и созвучней моему настроению тех дней.

В тот раз любовь к "божьим бабочкам" привела меня к жестокому насморку, а еще — к тому человеку с лошадиной головой.

Погруженный в раздумья, он тяжело брел по лугу. Я не решился его побеспокоить. И уже собирался двинуться дальше, но гулкий звук шагов по мерзлой земле привлек его внимание. Он подбежал рысцой к деревянному барьеру высотой в полметра. На нем были черные джинсы и белая рубашка. Когда он наклонял голову, грива красиво ниспадала на шею. Большие темные глаза были похожи на две сливы, сорванные с ветки. Дружба рождается из пустяков. Я проникся симпатией к человеку с лошадиной головой, заглянув в лиловую ночь его спокойных глаз.

Очень рад вас видеть, сказал я одинокому обитателю луга. Я собирался сказать вам то же самое, отвечал он, встряхивая гривой на ветру. И мы засмеялись, почувствовав, как рождается наша дружба. Вернее, засмеялся я, а он заржал. Было уже довольно поздно. В карманах у меня нашелся только табак. Я сказал, что приду завтра и принесу ему сахару. Он улыбнулся. Если хотите. Вы знаете, где меня найти: я никогда не ухожу с этого луга. А сахар — не стоит, я его не люблю. Мне нравятся только яблоки.

Назавтра он был там же, такой же — ну или почти такой. Он переодел рубашку и джинсы. Ночью шел дождь, сказал он. Не люблю ходить в мокрой одежде.

В тот день, как и во все последующие дни, нас разделял барьер. Всегда должно оставаться небольшое расстояние — немного воздуха, немного разлуки, немного пустоты или полуметровый деревянный барьер, — чтобы произошло нечто.

Ну что, все еще без работы? — спрашивал при каждой встрече мой новый друг. Все еще, а точнее — навсегда, отвечал я. И мы продолжали беседу с того места, где прервали ее накануне. Нас чаще занимали две темы: поэзия и цирк. Два способа быть со звездами на "ты", говорил мне человек с лошадиной головой.

До того как поселиться на этом лугу, я работал в цирке эквилибристом. Мы исполняли номер с моей подругой, женщиной с головой кобылы. Каждый вечер на семиметровой высоте мы совершали маленькую прогулку по проволоке. Моя подруга шла с одной стороны, я — с другой. Мы встречались посередине, целовались и возвращались обратно, только уже на руках. Десять лет без единого падения. А потом случилось это. Вначале сущий пустяк. Подруга пожаловалась на боль в спине. Она хотела пойти к врачу, но все произошло слишком быстро. Появились две шишки, которые всего за ночь превратились в пару крыльев. Зрители были довольны: они решили, что это усовершенствованный трюк. Особенно радовались дети. Для них ведь нет ничего невозможного. Тело молодой женщины, голова лошади, пара голубых крыльев за спиной — детей ничто не смущает. В шатре была дыра: накануне парусину трепало грозой и било градом. В дыру задувал ветер. Не беда, представление отменять не стали. Мы начали номер. Когда мы с ней прошли каждый свою половину проволоки, мы поцеловались, как всегда — быть может, чуть крепче, чем всегда, — и тут подруга захлопала крыльями и в мгновение ока вылетела в прореху купола. Аплодисменты не смолкали целый час. Больше я ее не видел.

Дойдя в рассказе до этого места, человек с лошадиной головой посмотрел поверх моего левого плеча так, словно в небе вдруг появилось что-то необыкновенное. Я оглянулся. Там ничего не было. Он воспользовался этим и прошелся по лугу. Когда он вернулся к барьеру, в его глазах плескался океан. Я притворился, будто ничего не заметил.

После того представления я разучился ходить по проволоке. Потеряв подругу, я утратил легкость. Знаете, это было как детская игра — подниматься на семиметровую высоту, только чтобы встретить там ее. Я испытывал такую радость, приближаясь к ней, что ради этого мог творить чудеса. Теперь же я взбирался наверх снова и снова, но, сделав три шага по проволоке, неизменно падал. Директор цирка предложил немного переделать номер: сменить костюм. Оденьтесь клоуном, сказал он мне. Тогда ваши неловкие падения станут смешными. Он не заблуждался. Да-да, он был абсолютно прав: настоящие артисты черпают силу в своих горестях. То, что портит им жизнь, они обращают себе во благо. Я попытался. Однако падал я слишком по-настоящему. Я уходил со сцены в синяках, но так никого и не рассмешил. Пришлось оставить цирк, найти другую работу.

Я перепробовал едва ли не все занятия, которые годятся для такого человека, как я. Приятнее всего, наверное, было работать дворником в одной маленькой школе. На переменках дети вскарабкивались мне на плечи. Мы делали по двору несколько кругов галопом.

Пришла усталость, а вместе с ней — крошечная пенсия. Я нашел этот луг. И теперь отсюда не ухожу. Сперва я читал. Дни и ночи напролет. Потом это прошло. Не хочется понапрасну обижать книги. Они доставили мне много счастливых минут. Ведь книги приходят к нам от деревьев. Некоторые из них об этом помнят: слова в таких книгах порой шелестят, как листва акаций. Но я жду гораздо большего. Не спрашивайте меня, чего именно я жду. Я не сумею вам ответить. Одно знаю наверняка:

вся мудрость мира, собранная в книгах, ничем мне не поможет. Я жду чего-то большего, чем то, что можно записать. Но взгляните, небо заволакивает. Вам лучше вернуться. Яблоки вы сегодня принесли отменные. Вы покупаете их на рынке?

Шло время. Грива моего друга забелела, я же становился все чувствительнее к северному ветру. К беседам о книгах прибавились рассуждения о том, что лучше всего помогает от ревматизма. Мы были единодушны: лучшего средства от ревматизма не существует. Тело подобно лодке. В детстве оно легкое, будто мечта о плавании, белый бумажный кораблик. Со временем бумага намокает — и кораблик тонет. Живите в ладу со своим ревматизмом, советовал мне человек с лошадиной головой, ведь это доказательство того, что вы еще на этом свете, что вы живы. Ничто не должно мешать нам беседовать и, беседуя, искать истину. Ничто не должно портить удовольствие от наших встреч.

Кажется, это было во вторник. Никогда не видел его таким сияющим. Я нашел, сказал он мне. Я понял, чего жду, — правда, не до конца, но я нашел слово, чтобы назвать это. Никогда не отгадаете. Я все же попытался: Бог? смерть? любовь? Ничего подобного, отвечал он. Вы ищете среди высоких материй. Наверное, эта ошибка неизбежна. До сегодняшнего утра я и сам ее совершал. А все гораздо проще — я жду весны.

Вероятно, я выглядел глупо. Он пояснил, что имеет в виду. Говорил он взволнованно. Привожу его речь слово в слово. В ней не было безумия, даже если может показаться обратное. Я знаю. Мне случалось видеть сумасшедших. Они бывают спокойны или гневливы, болтливы или неразговорчивы. Но все они погружены в одинаковую черную печаль. Слова, что я услышал в тот день, были исполнены света и радости.

То, что зову я весной, начал он, не связано ни с погодой, ни со временем года. Конечно, меня не оставляет безучастным майское воскрешение природы, эта юная чистота воздуха, от которого так пылает сердце и заливаются смехом девушки. Но ведь всегда можно возразить, что за этим воскрешением вскоре опять придет зима — капельница с холодной смертью. Наталкиваясь друг на друга, несутся в хороводе времена года. То, что зову я весной, размыкает эту цепь и все прочие цепи тоже. Весна может случиться в самую темную пору года. И это одна из ее примет: нежданно явиться, вмешаться, переломить — и в результате освободить.

В тот день я принес своему другу корзину яблок. Не безвкусный гольден, а мелкий, щербатый, но необыкновенно сочный ранет. Он похрустел яблоком и продолжал.

Вижу, вы удивлены. Вижу, вы не понимаете меня. Нестрашно: весну нельзя постичь, и именно поэтому она вмещается в трижды ничто — шум, тишину и смех. Кстати, о смехе. В школе, где я работал, училась девочка, ее мать погибла во время пожара. На переменках я любил смотреть на эту девочку. У нее в глазах была капелька серьезности и море смеха. Она знала свою маму всего четыре года, но, похоже, эти четыре

года вобрали в себя больше любви, чем четыре столетия. Глядя в ее лицо, я думал: пока ее мать была жива, она влила в душу ребенка бокал шампанского — вот откуда в глазах у девочки искорки. Эта мысль, посетившая меня тогда, была вешней. Из этого не следует никаких выводов. Весна потешается над выводами. Она приходит, чтобы уже никогда не кончиться. Это в ее природе — быть бесконечной.

То, что зову я весной, полно противоречий. Весна нежна и жестока. Мы не должны удивляться такому сочетанию. А если удивляемся, то потому, что жизнь делает нас рассеянными. Нам не хватает наблюдательности. Если всмотреться как следует, если приглядеться не спеша, мы изумимся, поняв, какая сила скрыта в самой крохотной маргаритке. Желтенькая, незатейливая, она пришла в мир, пробившись сквозь смерть и пустоту. Она пришла в мир, выстояв в беспощадной битве. То, что зову я весной, — явление того же порядка. Оно лучится, как маргаритка, или блестит от пота, как борец на ринге. Ни покоя, ни залога победы.

Одно за другим, он догрыз два последних яблока из корзины.

Другая примета весны — того, что я зову весной, — в том, что с ее приходом мы покидаем свое обычное место. Мы... как бы это сказать... перемещаемся. Представьте себе гостя, который раньше, чем вы успеваете предложить ему сесть, не спросясь, усаживается в ваше любимое кресло. У каждого дома есть любимое кресло. Сначала вы испытываете легкое недовольство. А потом, очень скоро, вы ощущаете свежесть новизны. Почти ничего не изменилось, но это "почти" меняет все. Вы садитесь в другое, непривычное кресло, вы смотрите на все под другим углом. Да, вы по-прежнему у себя дома, но вам непривычно — и это замечательно. Мы слишком быстро свыкаемся с тем, что имеем. Слава богу, иногда приходит весна, нарушает установленный порядок, и оказывается, что ничего своего у нас никогда не было, и это открытие — самая радостная вещь на свете.

Он замолчал и прижал уши, словно ощущая что-то неприятное. Я спросил, не мучит ли его дергающая боль между лопатками, на которую он жаловался накануне. Уже нет, отвечал он, все прошло. Должно быть, меня просквозило на холодном ветру.

Хочется поточнее выразить свое отношение к книгам: пусть они и не дают мне того, чего я жду, зато делают мое ожидание спокойным и неизменным. Возьмите, я переписал это для вас сегодня ночью. Когда я нашел это стихотворение, у меня перехватило дыхание. Красота всегда на меня так действует. Именно такой я представляю свою смерть: однажды я повстречаюсь с чем-то таким чистым, что не буду знать, что и подумать, не буду знать, что и сказать, и от этого у меня перехватит дыхание — навсегда. Не тревожьтесь, я всегда жил в предчувствии грядущего исчезновения, и это ощущение — благодатное. Оно упрощает жизнь и дает свободу. Ну, читайте же. Стихотворение написал англичанин. Его звали Уильям Блейк. Он жил в эпоху Просвещения. Это был человек неистовый и простодушный. В его стихах не говорится о весне, и, однако, нет ничего, что было бы к ней ближе:

...Единой Великой Улыбке
Суждено на устах человечьих
Единожды вспыхнуть в пути
от Колыбели до Гроба.
Но достаточно ей расцвести –
И впадает в ничтожество Злоба[1].

Я взял из рук моего друга листок. Чтобы прочесть роман, нужно часа два или три. Чтобы прочесть стихотворение, нужна целая жизнь. Я прочел его. Я далеко не все понял, но когда принимаешь что-то целиком, все понимать и необязательно. Мне показалось, что, пока я читал, по небу проносились вереницы облаков, зажигались и гасли звезды, пролетали ночи и дни. Когда я поднял голову, моего друга уже не было. Я звал его и повсюду искал, но тщетно. Луг был пуст. Я догадался, что нашим встречам пришел конец и я его больше не увижу.

Я пошел на рынок. Купил яблоко. Я выбирал его немыслимо долго. Яблоко было маленьким, невзрачным, битым и очень сочным. Я ел его медленно. Так я прощался со своим другом. Мудрая кормилица, жизнь заставляет нас подолгу прожевывать слово "прощай".

На память о человеке с лошадиной головой мне осталось немного. Английское стихотворение да несколько пучков конского волоса, приставших к барьеру. А еще я сберег его слова и затаенную в них радость. Я вернулся домой, чтобы их записать. Войти в дом было нелегко: с некоторых пор он парил в воздухе, сантиметрах в тридцати над землей. Он поворачивался на ветру, и у меня всегда был новый вид из окна.

Но это уже совсем другая история, я расскажу ее как-нибудь в другой раз.

Автопортрет у радиатора

Роман-дневник

Перевод с французского Анны Чупахиной

Суббота, 6 апреля 1996 г.

Каждую неделю я встречаю их там, где улица сбегает с горки. Я уношу их домой и наблюдаю, как им живется. С виду это цветы. Но только с виду. В любой вещи всегда многое скрыто от глаз. Взять хотя бы эти тюль-

1. У. Блейк. Улыбка (из сборника "Манускрипт Пикеринга"). Перевод А. Парина.

© Éditions Gallimard, 1997
© Анна Чупахина. Перевод, 2007
Печатается с небольшими сокращениями.

паны: с ними в квартире звучит радостная и теплая нота. Я не умею обходиться без книг, но они не так щедры, как цветы. Ведь книгам не дано умирать, возрождаться и умирать вновь, навсегда. Врачует только преходящее. В том, что притязает на бессмертие, утешения не найти.

Воскресенье, 7 апреля

Я жду. Я ждал всю жизнь. И буду ждать всю жизнь. Невозможно облечь в слова, чего именно я так жду. Как знать, что положит конец столь долгому ожиданию? Я его не тороплю. Каждый день я проживаю целиком, без остатка, но все в нем неплотно, воздушно. То, чего я так жду, не зависит от времени. Объяснить это не в моих силах. Да и нужно ли все всегда объяснять?

Я стал писателем или, вернее, оказался писателем, чтобы распоряжаться своим временем — чистым, свободным от всевозможных серьезных дел.

Понедельник, 8 апреля

Едва проснувшись, я ищу то, без чего дню не стать днем, — искорку радости. И нахожу без труда. Радость может быть в чем угодно. Она приходит в одно мгновение и остается на весь день.

То, что я называю радостью, рождается из малого и нежданного. Луч света резвым молоточком ударяет в бронзу обыденности. Исторгнутый звон наполняет воздух, звенит все ближе, льется вдаль.

Наша радость пробуждает ото сна Господа.

Вторник, 9 апреля

На вопрос, от которого я всегда чувствую себя неловко, "Что ты сейчас пишешь?", отвечаю, что пишу о цветах и что в другой раз выберу предмет еще более скромный и неприметный. Чашку черного кофе. Приключения вишневого листка. Но и сейчас мне есть чем заняться: в прозрачной вазе лопаются от смеха девять тюльпанов. Я вижу, как они легонько подрагивают — это пролетающее время задевает их своим крылом. Тюльпаны лучезарно беззащитны, и я записываю под их диктовку: "По-настоящему важно только живое, а по-настоящему живет лишь то, что обречено на гибель".

Среда, 10 апреля

<...>

Чем явственней приближение конца, тем больше цветы льнут к стеклу — будто они все хуже и хуже слышат, что нашептывает им свет. Оглушены неизбежностью смерти. Тюльпаны просят свет повторить, что он сейчас сказал, — и, если можно, чуточку громче.

Полное ведро света. Одним махом окатить из него белые, точно кафельная плитка, листы бумаги.

Четверг, 11 апреля

Краешки лепестков чернеют и съеживаются, как бумага, поднесенная к пламени.

Нынче вечером или самое позднее утром мы расстанемся, я впущу в дом юные тюльпаны, они не заменят мне вас, но продолжат вашу работу, и свет так же запляшет на их свежих личиках; благодарю вас, вы славно потрудились, благодарю от всего сердца, что разделили со мной этот кусочек жизни, он был для нас тихим и ясным — до изнеможения.

<...>

Пятница, 12 апреля

В квартире новые тюльпаны, они еще робеют, длинные лепестки плотно сжаты, словно клешни краба, они розовые, розовато-оранжевые; нужно быть художником, чтобы оказать им достойный прием, кем-то, кто способен перенести их образ прямиком в душу, не прибегая к словесной трескотне.

<...>

Воскресенье, 14 апреля

Господи, для чего ты выдумал смерть, для чего допустил такое, ведь земная жизнь так сладка, твой рай, наверное, ослепителен, раз в нем можно не скучать по земле; конечно, ты знаешь в этом толк, если сумеешь подарить мне радость, такую же чистую, как прозрачный воздух апрельского утра; да, тебе должно хватить таланта и умения любить, чтобы в твоем раю мне не пришлось тосковать по этой жизни — хрупкой, тихой, быстротечной.

Понедельник, 15 апреля

Я живу не всегда. Я не могу быть живым целый день. Да и кто может? Говоря "целая жизнь", имеют в виду "всё", но не "целое": жизнь плотно заткана снаружи, а внутри разрывы, дыры, прорехи так и зияют кругом.

Детство тянется, тянется, тянется. Потом наступает взрослая жизнь, длится одну секунду, а в следующий миг уже вспыхивает и струится смерть.

В последнее время я похож на мышь, что живет под дубовым паркетом в заброшенном доме. Я грызу тишину, и впереди ее видимо-невидимо — столько, что больше я отсюда не выхожу, даже по ночам.

Вторник, 16 апреля

Моя жизнь еще прекраснее, когда меня в ней нет.

Каждое утро я выхожу на улицу за газетой, трогаю свет, разглядываю витрины, вдыхаю свет, выкуриваю сигарету, вкушаю свет.

<...>

Среда, 17 апреля

Все-таки люди, даже святые, не такая уж загадка. Сразу, едва прикоснувшись, по единственной фразе отличу Хуана де ла Круса от Терезы Авильской. Святой Хуан де ла Крус, хочет он того или нет, рассуждает как мальчишка, нетерпеливо стремясь к обобщениям, умозрительности, абстракции. Он мужчина, ему нужно созидать и упрочивать. А святая Тереза Авильская, будто шаловливая рыбка, плещется, смеется.

Ты так любила жизнь, что проглотила ее целиком, вместе со смертью – бывает, малыши съедают персик вместе с косточкой так быстро, что не успеваешь их остановить.

Они клонятся к окну уже не так, как вчера. Понятно, ведь сегодня дождь и небо затянуто тучами: не видно солнечного света – нет няньки, чтоб их кормить, ласкать, баюкать. Они предоставлены сами себе.

<...>

Четверг, 18 апреля

Кровопролитие – горстка розовых лепестков на красном ворсе ковра. Цветы еще сохраняют форму, но исхудали за прошлую ночь так, будто чья-то безжалостная рука схватила их, смяла, *предупредила.*

От каждого, кого встречаю на пути, я чего-то жду и получаю это, поскольку этого жду.

Да, это правда, твоя смерть жестока, как смерть ребенка. Та же боль в каждом нерве, то же чистое страдание. Слово "чистое" очень важно. В нем твоя черта, твоя примета: даже исчезнув и причинив этим страшную муку, ты ухитрилась подарить немыслимую чистоту и даришь ее снова и снова, даришь неудержимо, даришь неустанно.

Пятница, 19 апреля

Запах свежескошенной травы возле дома наполняет этот день высшей благодатью. Что бы ни случилось дальше, все станет лишь дополнением. Мне скажут, что не стоит придавать слишком большое значение такому пустяку, и все же: деньги, работа и успех, книги и любовь – ничто так не пьянит, как пригоршня срезанных травинок, отдающих свою маленькую ароматную душу в объятия воздуха.

Суббота, 20 апреля

Встречаясь с тем, что ранило тебя больнее всего, ты начинала смеяться. Тебя больше нет, но я усвоил твой урок и сегодня скажу так: "То, что грозит нам гибелью, множит наше богатство".

Страсть единственная, неотступная, непреодолимая, наваждение стойкое, неизлечимое – под его властью становятся писателем или сходят с ума. Мое собственное наваждение, упрямое, неизменное, – это образ женщины с детьми. Это видение, хотя привычней его вряд ли найти, мгновенно уносит меня в края, где царят благоговение и безрассудство. И я не против этого безрассудства. Я отвергаю напыщенную рассуди-

тельность и, не раздумывая, меняю ее на лучезарное безрассудное обожание. Я не знаю, отчего этот образ так волнует меня. Знаю только, что именно в нем я нахожу подлинную чистоту и величайшую радость. Чье-то лицо, слово, упавший с дерева лист тоже могут увести меня туда, где сияющие волны восторга прорывают плотину сознания. Но эти лицо, слово и лист есть символы второстепенные, проистекшие из главного: во всем, что меня волнует, всегда есть частичка материнской любви — так жизнь заботится о своих беспомощных детях.

На кухне прелестные крохотные розочки. Две из них поглощены беседой, склонили головки друг к другу. Смотрю на них, прежде чем уйти, и потом мне кажется, что я ушел, не выключив свет.

Воскресенье, 21 апреля

Ты часто повторяла одну фразу, ты где-то ее вычитала, я так и не знаю, в какой книге, она тебе очень шла, она была тебе совершенно впору, как Золушке ее потерянная туфелька: "Каждый живет не на своем месте, и это к лучшему, ведь от идеального совпадения жизнь была бы невыносимой".

Какие же болтушки эти розы.

<...>

Воскресенье, 28 апреля

Часами лежу в спальне на кровати и наблюдаю, как ветром колышет портьеру. Кто-то сочтет это занятие — если это можно назвать занятием — унылым или, скажем, меланхоличным. Бывают дела поинтереснее? Ничего подобного. Скорее, наоборот: неподвижность тела и трепет занавеса представляют самое удачное выражение радости. После столь насыщенно проведенных часов (да-да, именно так — насыщенно) еще и писать — это почти излишество.

Иногда мне хочется умереть — как нетерпеливому ребенку раньше времени открыть подарок.

Нечасто встретишь четырехлистный клевер, это диковина, почти чудо. Да, согласен. Но я считаю чудом и обычный клевер-трилистник, я не устаю удивляться самым простым вещам и себе самому, недолгому гостю в их мире.

Понедельник, 29 апреля

Меня не было дома весь день, и вот что я застаю по возвращении: тюльпаны изгибаются, тянутся, жмутся к свету да так отчаянно, что я почти смущен, словно раскрыл чужой секрет, подглядел что-то запретное.

Вторник, 30 апреля

Жизнь. Я вижу ее во всем, что ранит и мучит, преграждает дорогу, сбивает с ног. Жизнь — это то, что перечит, когда от нее требуешь молчания, что, опрокидывая все расчеты и ожидания, освобождает от тусклой обыденности твоего "я".

Вчера видел твою могилу. Не ту, куда тебя опустили (ее я видел тоже), а ту, из которой ты, улыбаясь, исходишь вновь и вновь: вчера ты ненадолго устроилась в букете незабудок. Чуть позже я узнал твой голос в музыке дождя на шоссе, а когда открыл дверь квартиры, ты уже была там, в тишине гаснущего дня.

Четверг, 2 мая

Пишу быстро-быстро. Хочется, чтобы слова в моем дневнике были так же легки, как то, что осталось — и цветет, ликует, торжествует — от твоей жизни, после того как ее рассеяло, распылило, растворило твоей смертью.

Истина — не в вырытой яме. Истина — в бесконечной любви, которую можно обрести, даже когда кажется, что ничего уже не осталось. Достаточно одной секунды, чтобы узнать ее и понять (хотя слово "понять" здесь не совсем подходит), что этой бесконечности требуется вместилище такое же бесконечное, как она сама. А яма в земле не настолько велика, чтобы все это вобрать.

Среди моих друзей есть пруд, несколько деревьев и почти все цветы на свете. Почти, но не все: я не люблю лилии за их непомерное "я-так-шикарна-в-этом-платье" и не доверяю гвоздикам — никогда не знаешь, живы они или умерли. Даже увянув, они все те же. Мне всегда кажется, что гвоздики сделаны из бумаги, а стоит мне взглянуть на лилии, как я сразу чувствую себя анархистом.

Когда я вырасту, то женюсь на святой Терезе Авильской. Или на святой Терезе из Лизьё. Пока не знаю.

Пятница, 3 мая

На дороге из Шалона в Бург в воздухе кружила пыльца: я понял, что ты где-то рядом, танцуешь, как прежде, вьешься в незримом танце.

<...>

Воскресенье, 5 мая

Я богач. Мои сокровища неисчерпаемы, если тратить их без оглядки.

Сегодня день без цветов. Но свет, который могут излучать только они, остается со мной.

Понедельник, 6 мая

Я бык. Крылатый бык — вот кто я такой. У меня пара маленьких, не крупнее шишки, крыльев, торчащих за спиной между лопаток. Крылья почти всегда сложены. А когда приходят в движение, то колеблют так мало воздуха, что бык отрывается от земли всего на миллиметр — но, чтобы летать, этого хватает. С избытком.

Вторник, 7 мая

Юный майский дождь, лукавый, резвый, живой, ты журчишь, лепечешь, щебечешь, ты болтаешь без умолку, и пусть я не разбираю слов, зато ясно слышу твой заливистый смех, когда ты пляшешь и плещешь об асфальт: жизнь и смерть — радость, чуда круговерть.

Десять роз на кухне, десять — на письменном столе, вместе — двадцать любовных писем.

Мужчины? Нет, я о них ничего не знаю. Совсем не знаю отцов. А тем более мужей. Получается так: я вижу одних женщин и детей. Если хочешь что-нибудь в этой жизни разглядеть, сперва придется от чего-то другого отвернуться. Таково правило: как ни смотри, непременно что-нибудь да выпадет из поля зрения — к святым это, разумеется, не относится.

<...>

Четверг, 9 мая

На розы в кухне больно смотреть. Вялые и поникшие — я бывал таким в детстве, если хотя бы на день оказывался вдали от дома.

Дом — это место настолько уединенное, что там может поселиться роза.

Пятница, 10 мая

Твоя смерть — черный остров в океане света. И нет лодки, чтобы к тебе приплыть. Нужно уметь ступать по светящейся глади. Я должен научиться. Я научусь.

Воскресенье, 12 мая

Снова розы. Самые красивые, из красного бархата, — на кухне. Мне их слышно из той комнаты, где я пишу.

Интересно, где ты сейчас? На кладбище, в земле, в гробу — все это не ответ.

Понедельник, 13 мая

Не знаю, как и почему, но сегодня утром я очутился в вихре былых образов, мимолетных, словно угаданный за воротами сад или молния, блеснувшая сквозь густую листву аллеи.

Девушка на залитой августовским солнцем улице в нормандском городке. Ее окликает священник в сутане. Я иду по другому тротуару и не слышу его слов, но вижу, как заливаются краской щеки девушки.

Человек на улице в Рубе. Смотрю на него из машины. Он идет быстрым шагом, а прохожие оборачиваются и смеются. В руке у него веревочка, за которую он катит деревянного утенка на желтых пластмассовых колесиках.

Малиновка в роще Сен-Сернен. Красуется передо мной, совсем близко. Малиновка сердится. Стыдитесь, кричит она, в чужой дом не вваливаются вот так, без предупреждения — и я не могу с ней не согласиться.

Все эти образы и сотни им подобных дремлют в глубине моей души. Ничем не связанные, забавные, безмолвные. Они не поучают, не наставляют. Лишь дарят негасимую радость, над которой не властно время.

Одним уже лет двенадцать или пятнадцать, другим — всего пара месяцев. Скажем так, их возраст определить невозможно, они сохраняют вечную свежесть детского рисунка.

В каждый свой приход смерть рвет в клочья еще одну книжку с картинками.

Вторник, 14 мая

Беспокойному свету розы неизменно твердят: "Пустяки, это все пустяки".

По вечерам на деревьях возле дома в один и тот же час начинают петь птицы. Это похоже на разбойничью пирушку: гвалт, хохот — и вдруг все смолкает. Тишина. Все разлетелись по гнездам. Нельзя засиживаться допоздна, завтра предстоит важное дело — налет на ближайший лес.

<...>

Четверг, 16 мая

Здесь, там, повсюду — взаимопроникновение видимого и незримого. Неплотно задернутая штора, приоткрытая дверь, из-за которой сквозит лучик света. Незримое помогает видеть, без него мы остались бы в непроглядной тьме.

Пятница, 17 мая

Не люблю, когда о Боге рассуждают как о чем-то само собой разумеющемся. И не люблю, когда о вере судят как о скудоумии. Не люблю знающих, люблю любящих.

Бывает, солнечным днем в улыбке случайного прохожего можно ясно различить отсвет Бога. Только и всего. Это так просто. Но ведь никто и не говорил, что простота не может ошеломлять.

Суббота, 18 мая

Ты промчалась по этой жизни так, что никто и ничто не смогло тебя остановить, и ты продолжаешь свой бег — в смерти тебя тоже нет. Ты не покоишься в ней. Ты проходишь ее насквозь, движешься дальше, глядя во тьму широко распахнутыми глазами.

Почти ничего не делал сегодня. Занимался тем же, чем и всегда, — ждал чуда. И оно произошло. Оно случается каждый день; бывает, даже в последнюю секунду — и это всегда именно то, чего никак не ожидаешь.

Воскресенье, 19 мая

В нашем мире мне интересна только радость. То, что я зову радостью, — явление того же свойства, что и жизнь: радость сверкает, как слеза на щеке, как лютик в траве, и свет, исходящий от них, одинаково ярок.

Сегодня купил цветы, похожие на вьюнки. Цветочник сказал мне их название. Что-то на латыни. Лучше я назову их по-своему, придумаю особое имя, для них одних. Пока они живут со мной, я буду называть их "ловушки для фей".

Вторник, 21 мая

Я в постели, и мое тело, тяжелое и бесформенное, еще не вышло из сонного оцепенения. Лежу не шевелясь, не открывая глаз и слушаю голоса мира, долетающие из приоткрытого окна. Вдалеке проходят машины. Во время дождя они рассекают воздух с таким звуком, словно кто-то медленно рвет шелковую ткань. Чуть ближе — обрывки беседы двух прохожих. Ветер путает фразы, отсекает слова. Совсем рядом — птичьи трели, ясные, громкие, будто чьи-то крепкие руки выжимают воздушный холст и с него искристыми капельками стекают нотки. Это утреннее вкушение звуков с самого детства приносило мне огромную радость. Именно так я всякий раз заново постигаю благо быть живым. Все на месте, всего вдоволь. Через несколько минут я встану. Или останусь в постели до конца своих дней. Ничего еще не решено. А пока я просто слушаю голос мира, в котором меня нет.

Среда, 22 мая

Она выходит из ванной, я сушу ей волосы полотенцем, и мы беседуем. Говорим, говорим без умолку, друг с другом и с игрушками. Она ведет беседу с той непосредственностью, что свойственна ее пяти годам. Словами она, как бабочка усиками, пробует жизнь, и в этот вечер, сидя передо мной в желтом халатике, глядя мне прямо в глаза, серьезно спрашивает: "А правда, что умирают одни только взрослые, а дети никогда не умирают?" Отвечаю наобум, не для того, чтобы объяснить, а лишь бы поскорее уйти от этой темы: "Правда". Она смотрит на меня. В ее взгляде — доброе лукавство старого восточного мудреца. Помолчав, она говорит: "А помнишь девочку Софи из нашей школы, помнишь, я говорила, что она попала в аварию и умерла? Значит, ты соврал? Врать нехорошо, надо всегда говорить то, что знаешь, все как есть, даже о смерти". И она смеется и возвращается к своим игрушкам. Вечно непредсказуемый ангел жизни заглянул в ванную комнату и снова принес верный совет.

Четверг, 23 мая

Так не люблю покидать свою комнату, что порой доходит до смешного. Интересно, давно ли я почувствовал вкус к такой жизни? Наверное, я был пассивным всегда. Когда я родился, на мою колыбель обрушился дом, и спустя годы я так и живу, не помышляя выбраться из-под накрывших меня балок, черепицы и оклеенных обоями стен. Но и отсюда мне виден кусочек неба, и этого хватает, чтобы душа переполнялась радостью и восторгом.

<...>

Воскресенье, 26 мая

Лилии. Не знаю, что на меня нашло, но я приютил у себя цветы, которые совсем не в моем вкусе. Может, из-за того, что мне они были не по душе, да, именно так — ради удовольствия поспорить с самим собой, хотя бы раз пойти наперекор своим привычкам. И правильно сделал. Я влюбился в них с первого взгляда.

Маленький ребенок отбирает все силы у тех, кто с ним нянчится, но в какую-нибудь тысячную долю секунды он может подарить неизмеримо больше, чем все то, что забрал, — чудо одного словечка или улыбки.

"Неизмеримо больше, чем всё" — так называли любовь в детстве, это — ее ласковое домашнее прозвище.

Порой в напевах этой жизни мне слышится дальний отзвук твоего смеха — словно молния, сразив дерево, в ветвях которого ты порхала, не убила тебя, а только оглушила и забросила далеко-далеко.

Понедельник, 27 мая

На рассвете две лилии из трех сломались, обессилев под тяжестью цветков. Я срезал ножом измученные стебли. Лоснящиеся, белые в оранжевую крапинку цветы раскрываются все больше и больше. Теперь вода сразу ударяет им в голову, а вместе с водой, наверное, и одиночество, покой, безоглядное наслаждение жизнью.

Возможно, так и ты под грузом совершенств внезапно надломилась, и пришла смерть, чтобы отсечь все лишнее. Отныне свет льется тебе прямо в душу, и плоть для этого не нужна. Такое крайнее, запредельное жизнелюбие вполне в твоем духе.

Вторник, 28 мая

Лилии терпят все: табачный дым, аромат кофе, музыку в два часа ночи. Делить кров с холостяком не так уж просто. Но несмотря ни на что они в прекрасной форме. В них уже нет прежней чопорности, и это хорошо: истинной красоте гордыня не к лицу. Истинная красота — это что-то беспечное, непринужденное, это нечаянный дар.

Наступит день, когда, чтобы прочесть книгу, достаточно будет коснуться ее обложки — и в нас полностью, без остатка перейдет свет заключенных в ней слов. В тот день мы поймем, что нас больше нет, ведь пока живы, мы обречены упорно, буква за буквой познавать книгу жизни и гадать о непостижимом.

Четверг, 30 мая

Десять часов утра на земле: со стаканом белого вина в руке смотрю, как свет играет со столиками кафе в чехарду. Десять часов утра на небе: ты, должно быть, еще нежишься в постели, полуразбуженная ангелами, что затеяли уборку по соседству.

Неприметные, незначительные пустяки, не нужные никому, кроме Бога: сорная трава, пылинки, печали бедняков.

Для читателей писатель всегда мертв, даже если на самом деле он еще жив. А с певцами наоборот: даже умерев, они продолжают жить. Значит, нужно стараться, чтобы книга пела.

Пятница, 31 мая

Об одном из своих концертов Моцарт написал: "Блистательно, но не хватает простоты".

Суббота, 1 июня

Не так давно мне захотелось купить дом. Захотелось — и расхотелось. Таковы многие мои желания: однажды вспыхнув, назавтра угасают. А вот сейчас мне нужен не дом, а лилии, розы и тюльпаны: я живу в том, что радует глаз, и нотариус для этого ни к чему.

Я буду писателем, пока это приносит мне радость и заставляет удивляться. Если когда-нибудь радость и удивление свернут на другую дорогу, я последую за ними.

Понедельник, 3 июня

Бывает момент, когда наша жизнь под влиянием радости или боли собирает воедино все то, что было по ней разбросано, как если бы все жители города разом оставили свои дела и собрались на центральной площади. Это может случиться в любом возрасте: и в два года, и в сорок лет. И то, что возникнет в тот миг, мы будем носить в себе до последнего вздоха.

<...>

Вторник, 4 июня

Я долго спал и проснулся разбитым, хмурым. Но прошло несколько минут, и ко мне вновь пришла радость. Ее вернули мне средства, куда более надежные, чем любое лекарство, — собачье тявканье, донесшееся с улицы, и невероятное спокойствие лилий.

<...>

Иногда я думаю о той тысячной доле секунды, за которую ты поняла, что мертва, — ибо я верю, что смерть осознается. Едва оформившись, эта мысль наталкивается на неясную преграду, отскакивает и снова возвращается ко мне, но уже такой: "В тысячную долю секунды ты испытала настолько чистое одиночество, что тебе открылось знание мира, которое никогда не будет доступно живым, которое позволено лишь ангелам".

Заботы о самих себе — вот что обременяет живущих. Может, это и есть тот мешок с песком, который умершие сразу выбрасывают из своего воздушного шара и, взметнувшись ввысь, исчезают из виду.

<...>

Пятница, 7 июня

Вчера перечитывал твои письма. Исписанные страницы – будто голоса: слова значат одно, а почерк, как и голос, говорит совсем другое. Порой прямо противоположное. Рука выводит на листе движения души подобно тому, как дрожащая игла сейсмографа отражает на бумажной ленте неощутимые подземные толчки. Твой почерк – это вылитая ты. Приветливый, спокойный, бесконечно щедрый. Я был рад повидать твою душу.

Суббота, 8 июня

В твоей смерти, как в любом исчезновении, есть неизвестное и мучительное. Изо дня в день отделяю одно от другого, чтобы они не смешивались. Страдание порождает тьму, неизвестное дает свет.

<...>

Понедельник, 10 июня

Все эти люди, которых я вижу в чужих городах, их лица, руки, спины, их тела, которые умрут раньше или позже меня, все эти незнакомые мне жизни – я прижимаю их на мгновение к своему сердцу, и все они, да-да, все без исключения: мужчины, женщины и дети, – восхищают меня тем, с какой отвагой они живут, просто живут, все они кажутся мне достойнее меня самого; возможно, эта мысль странная и даже нездоровая – тогда я буду надеяться, что такой недуг неизлечим, раз он приносит мне столько радости.

<...>

Четверг, 13 июня

Лилии засохли. Истлели, точно мумии. Я купил сегодня розы с лепестками не больше ногтя, белыми у основания, бордовыми по краям – как юбочки, на которые пролили красное вино.

Твоей смерти скоро год. Она начинает лепетать и делать первые шаги.

Чтобы меня напугать, напугать по-настоящему, достаточно, чтобы кто-нибудь сообщил мне о своем приходе, – у меня мгновенно появляется ощущение, что моему одиночеству будет нанесен смертельный удар. Вскроется старая рана, и я снова потрачу уйму времени на ее врачевание. А если мне скажут, что заглянут совсем ненадолго, я окончательно потеряю голову.

<...>

Суббота, 15 июня

Розы заняты своим делом. Распускаются, дарят себя. Те, что в кухне, дольше не вянут. А у тех, что живут в комнате, у семи девочек в белых

юбочках, испачканных красным вином, общая ваза, но разные судьбы. Вот одна из них совсем повесила головку, точно сраженная плохим известием. А ее соседки будто ничего дурного и не слыхали.

Этим утром рядом со мной по бульвару шла моя смерть. Как и я, она пряталась от солнца под платанами. Она явилась без предупреждения: внезапно я понял, что не хочу больше жить. Никто ничего не замечал. Впрочем, в этом и не было ничего примечательного. Со стороны это выглядело так: в тени платанов бредет нескладный человек, бросает в почтовый ящик пару писем, затем садится за руль и едет к родителям обедать. За столом нас было пятеро. Отец — и за спиной у него, будто поверженный ангел, отчаяние путника, заблудившегося в преклонных летах. Мать была одна, наедине с собою. А моя смерть весь обед просидела у меня на коленях. Вполне можно не хотеть жить и одновременно есть мясо с жареным картофелем. Я вернулся домой, лег на кровать. Полежал несколько минут. Потом встал, сварил кофе и открыл томик стихов. От книги шел свет. Мне показалось, что именно в это мгновение, тихо-тихо пройдя сквозь дверь, смерть ушла из моего дома. Ее час еще не настал, а может, ей вдруг сделалось дурно от красоты прочитанных строк; да, наверное, моя смерть не выносит книг, а предпочитает удушливый дурман телевизоров и радиоприемников.

<...>

Понедельник, 17 июня

Розы отдали все, что могли, и теперь умирают, и это тоже способ отдавать себя.

Я очень далек от доброты и любви. Доказательство — я о них пишу.

Ласточки свили гнездо под балконным козырьком — эдаким длинным открытым ящиком, нависающим над стеклянными дверями. В прошлом году здесь гостили пчелы. Я все гадал, для чего нужен этот ящик. Теперь я знаю. Это приют для пчел, ласточек и слов, которые я только что написал.

Я тотчас забываю о том, что сделал или сказал, если только делал или говорил по-настоящему, с полной самоотдачей, не отвлекаясь ни на что другое. "Настоящее совершённое" не оставляет во мне никакого следа.

Вторник, 18 июня

Беспокойство порождает красоту — так заданный вопрос побуждает найти ответ. У истоков великой поэзии, прекрасной музыки и вечной архитектуры лежит тревога, которую уняли, задав ей форму, ритм и размер.

Все наши страхи — из детства. Чтобы нас успокоить, красота нам рассказывает сказки. В изголовье детской кроватки усаживается людоед, открывает книгу и заводит: "Жили-были..."

Топор, а не кружево. Романский стиль, а не готика. Лучше резать, рубить, упрощать, чем деликатничать, усложнять и медлить.

<...>

Четверг, 20 июня

Твоя старшая дочь подарила мне кассету, на которую записала свои любимые песни. В конце записи слышны голоса: вот твоя дочь, еще маленькая, твой муж и вдруг — твой голос, единственный и родной. Там совсем чуть-чуть. Чтобы все расслышать, нужно включить погромче. Ты обращаешься к дочери, говоришь ей: "На стол залезать нельзя". Говоришь очень тихо, почти устало, но эта усталость добрая, веселая. Я впервые слушал пленку, когда ехал по ночному шоссе. Невероятно, какую власть над душой имеет голос: тебя нет уже долгие месяцы, но твоя беспечность вновь звучит во тьме, ты оставила своим детям удивительное, живое наследство, одну незначительную фразу — "На стол залезать нельзя". Они забрались на него все по очереди: хотя в словах был упрек, их подталкивал к этому твой голос.

Пятница, 21 июня

Кручу-верчу словами так и эдак. А дорога в твою тихую лучезарную даль — ровная и прямая.

Не люблю слово "религиозный". Предпочитаю слово "духовный". Духовное в нас то, чему не хватает этого мира, что не уживается ни с каким из миров. А вот если "духовное" выцветает, то и получается "религиозное".

Некоторые слова Христа, в которого я верую, для меня невыносимы. Я не могу их постичь. И не хочу постигать, так как знаю, что иначе мне пришлось бы от многого отказаться. Это знак, по которому я узнаю, что в словах заключена истина: она в том, что мне совершенно "не подходит".

Суббота, 22 июня

Если бы мне пришлось составлять резюме — такую особую бумагу, которую надо предъявлять будущему работодателю, как некогда рабов заставляли показывать зубы, — в нем зияли бы пустоты и провалы во времени, как у того, кто вышел из тюрьмы или из комы. Я не помню, где я был бóльшую часть своей жизни, и не исключено, что меня тогда и в самом деле нигде не было.

Воскресенье, 23 июня

Смерть падает в жизнь подобно камню, брошенному в пруд. Сперва брызги, паника в прибрежных зарослях, хлопающие крылья и бегство врассыпную. Потом круги по воде — расходятся все шире, шире. Наконец водворяется покой, но это не прежняя тишина, нет, это тишина... как бы объяснить... оглушительная.

Понедельник, 24 июня

Возле ребенка жизнь полна. И в уединении жизнь полна. Мне не дается середина — непостижимое умение быть с собой и одновременно с другими. Я не способен разумно обращаться с вещью под названием "мир". Меня не научили этому вовремя, когда положено учить таким вещам. И если я не могу погрузиться в душу собеседника или в свое одиночество, мне делается тоскливо, я перестаю видеть, перестаю слышать. Моя жизнь скачет, будто смешная белка: я перепрыгиваю из полноты в ничто, из пустоты в целое, ловко избегая переходных пространств.

Вприпрыжку ли, нет ли, но пора отправляться к цветочнику за новыми розами. Нынешние гостьи склонились над дневником, они уже не в силах впитывать свет и раздвигать стены.

Вторник, 25 июня

От изнеможения к бодрости — в этом направлении течет каждый мой день.

Детективный роман — и вдруг страницы, которые ничего не добавляют к интриге: увлеченные рассуждения о живописи импрессионистов. Чудеса такого рода — отступления, прогалины, пустыри — вот что я разыскиваю в книгах. Будь это страницы художественного альбома, они не произвели бы на меня такого впечатления. И если бы детектив каждой строкой следовал только за сюжетом — тоже. Но нет: в самый разгар катастрофы там замедляют шаг, закуривают сигарету и размышляют об игре света на цветущих вишнях.

Искусство общения — величайшее из искусств. Те, что хотят всюду блистать, ничего в нем не смыслят. Истинно беседовать означает любить, а истинно любить означает пылать, а не блистать.

Среда, 26 июня

Я пишу не дневник, а роман. Главные герои романа: свет, боль, радость, былинка и несколько пачек крепких сигарет.

Четверг, 27 июня

Давно пора посвятить вам несколько слов. Вы здесь уже два дня, а я вас до сих пор не поприветствовал. Начнем с вас, ирисы. Мне нравится, как вы изящно, будто на острие шпаги, нанизываете лоскутки света. А вы, те, что в комнате, — я позабыл ваше имя. Крепкие стебли, увенчанные чудом лиловых соцветий. Я не помню, что рассказывала о вас цветочница. Думаю, вы не обидитесь, если я позволю себе называть вас "неведомые". Не нужно сердиться, ведь это так красиво: неведомые в лиловом на исходе дня.

Пятница, 28 июня

От тебя ни помощи, ни совета. Ты отрешена от меня и ото всех, кого любила или просто знала. Ты охвачена беспредельной слабостью мерт-

вых, что сродни беспомощности младенца. Кто-то кормит тебя, обнимает, помогает взрослеть, там, в том чистом мире, который в нашем мире воображению не подвластен.

Суббота, 29 июня

Изнемогающие ирисы. Три дня они ногтями царапали свет, но вот повержены сами, а свет все так же невредим.

Почему я так боюсь лета? Дело не в твоей смерти, этот страх появился раньше. Мне кажется, дело в том, что лето восславляет юных, живых и благополучных — эдакое зловещее самоупоение мира, презревшего сирых и убогих. В этом времени года нет места узникам и больным, старикам и нищим. Летом они еще незаметнее, чем всегда. Молча вглядываются в синеву неба, которое о них забыло.

Фраза, которую я мог бы записывать каждый день: "Я о чем-то размышляю, но не знаю, о чем".

<...>

Четверг, 4 июля

К тебе можно прийти по дороге, что ведет на кладбище от дома твоей матери. Дорога поднимается, поворачивает и снова идет вверх. Потом аллея. Слева школа, будто рисунок в детской книжке. Чуть дальше, картинкой из той же книжки, — церковь. Снова недолгий подъем — и вот белые ворота кладбища. Твоя могила справа. Перед ней широкая гладь луга. А дальше — ничего. Небо, светлое даже в пасмурный день. На дороге, идущей вверх, я оказываюсь нечасто, но путь, которым следую изо дня в день, тоже неизменно ведет к тебе: наслаждаться дарованной мне жизнью, а в прочее время ждать, просто ждать, как ждет зеленая трава у твоей могилы и как, наверное, ждешь и ты.

Пятница, 5 июля

Лучик неясного света, я не знаю, откуда он и надолго ли останется со мной: сегодня я зову его Моцартом, завтра нареку Богом, послезавтра — детством. Каждое из имен по-своему верно, но ни одно не полно.

Мне на плечо, как птица,
цветное время село.
Кормлю его
румянцем роз,
что продает цветочник
на улице Мартир.
А птаха чистит клюв
о листья этой книги.

Воскресенье, 7 июля

Интересно, а что именно производит меня или, вернее сказать, воспроизводит меня на свет, ведь я норовлю то и дело из него ускользнуть? Отвечу так: сегодня это стакан белого вина (если быть точным, два стака-

на "Антр-де-Мер" 1994 года), стихи шведского поэта (всего страничка, не больше) и мысль о тебе, а в этой мысли — ни единого слова, только улыбка. Пожалуй, это все. И вот что важно: хватило бы и чего-то одного. Но почему я вынужден день за днем возвращаться в мир, разве нельзя было родиться раз и навсегда? И что общего у стакана бордоского вина с грезами шведского поэта и нездешней улыбкой? Ответа нет, да это и не важно, потому что на самом деле я не ищу ответов. Если я их найду, то не буду знать, что с ними делать. Мне нравится, когда всюду цветут загадки, вот как сегодня — в виноградниках Бордо, на берегах шведских озер и на широкой светлой поляне по ту сторону бытия.

Он вернул меня к жизни уже дважды. Все-таки из вежливости следует назвать его имя: Тумас Транстрёмер. Шведский поэт. В предисловии сказано, что он по образованию психолог, наш современник, и что в 1990 году он утратил дар речи. Иногда какое-нибудь его стихотворение взлетит, трепеща крылышками, к моим глазам, покормит, как птенца, а потом растворится во тьме, из которой возникло, где черпает свои силы оно, а значит, и я.

<...>

Пятница, 12 июля

В кафе работает телевизор. Звук выключен. Картинки шлепаются одна на другую, точно игральные карты, и кажется, эта игра может длиться дни и ночи — века. И вдруг на экране — концентрационный лагерь, евреи, которым палачи с хохотом режут бороды. Никто в кафе этого не видит, сюжет быстро сменяется другим, а потом рекламой. Громкие голоса, звон посуды: изверившаяся жизнь продолжает свой неукротимый бег. Только отныне, если я вновь услышу вздор о "цивилизации зрительного образа", то вспомню это кафе, эти страшные лики, каждый — воплощение муки, потонувшие в безразличии летнего дня, опошленные, именно опошленные, осквернённые беспечностью, с которой их использовали как невнятный фон, как декорации для купли-продажи. Люди, промелькнувшие на экране, жили, надеялись, боялись, источали ужас, худший, чем смерть. Теперь эти лица свалены в братскую могилу изображений, откуда их выгребает телеиндустрия: все идет в ход, все опять забыто, попрано, унижено. Творцы, создавая законченные формы, накапливают и оберегают истинно ценное. Производство, а значит, и телепроизводство, разрушает его, и взамен вызревает не "цивилизация", а сущее "варварство образа".

<...>

Среда, 17 июля

На время позабыть о себе — и тогда что-нибудь с тобой произойдет.

Перечитываю жизнеописание Терезы Авильской, написанное ею самой. Впервые я прочел его пятнадцать лет назад. За внешней покорностью святым отцам мне слышится биение свободного и даже дерзкого сердца, всецело поглощенного радостью бытия. Эта дева одержима и мятежна. Одержима любовью, мятежна от любви.

<...>

Четверг, 18 июля

Глупость — абсолютный антипод любви. Глупость с ее самоуверенной физиономией и неспособностью осознать себя. Живущие в дуплистом древе глупости даже не догадываются, что глупы, и этим отличаются от умалишенных: у тех случаются проблески, когда безумный хотя бы на миг осознает свое безумие. Впрочем, глупцам это знание ни к чему, ибо они торжествуют в каждом сделанном шаге, в каждом произнесенном слове, и, торжествуя, идут напролом, и, напирая, торжествуют. Бывают образованные глупцы. Бывают, и это совсем не редкость, глупцы хитрые. И почти все глупцы сентиментальны — одна пустота влечет за собой другую. И лишь одно невозможно — глупец, способный любить. Два несовместимых полюса, не терпящих друг друга. Ни связать их, ни слить воедино. Война, только война. Должно быть, они воюют от сотворения мира. А исход битвы еще далек, так далек, что впору впасть в отчаяние, ведь глупости в этом мире так привольно. В наши дни, помимо прочего, она принялась за телевидение. У глупости отличный нюх на выгодное дельце. Она всегда очень занята, трудится не покладая рук, и по своей сути (если допустить, что у нее есть суть) глупость предприимчива и драчлива. Ее не вразумить и не испугать. Глупость — это скала, которую небесная влага орошает без всякой пользы.

Пятница, 19 июля

Читая Терезу Авильскую, испытываю то же упоение, что и пятнадцать лет назад. В этой книге многие слова мне непонятны: "раскаяние", "сожаление", "вина"... — и, однако, все в ней для меня родное, знакомое, радостное. Любая книга дает почувствовать присутствие автора, в любой есть некая вибрация — здесь она подобна трепету листвы или пламени. Потрескивание, шепот, кружение... Надо бы сделать выписки. Но я ничего не пишу. Для чего удерживать, приберегать? Я верю, что прочитанные страницы переходят в меня и становятся мной. Никому ведь не придет в голову что-то записывать, сидя под высоким деревом или у огня. Тихо и неторопливо — ибо урок долог, а наставник терпелив — постигаем мы, каково это быть высоким деревом или хотя бы листом, каково быть пламенем или хотя бы искрой.

Воскресенье, 21 июля

<...>

"Мне не нужна вера в Бога, чтобы веровать в Бога" — я не понимаю этой фразы. В который раз спотыкаюсь о нее, переписываю в дневник, потом вычеркиваю. Сегодня я оставил ее в покое. Стук в дверь всегда сулит нам некий дар. Всегда? Даже если стучится смерть? Именно так, всегда. И даже если смерть. Но почему я так в этом уверен? Не знаю. И не хочу знать. Часто самые яркие озарения приходят ко мне, повернувшись своей темной стороной, — значит, горит в нас, наверное, и другой светоч, кроме огня разума и здравого смысла. Что за светоч? Не знаю. Уверен, хоть и ничего об этом не знаю. Что-то или кто-то во мне разбирается в этом лучше, чем я сам. Почти всегда это что-то или этот кто-то молчит. Он живет своей жизнью, а я живу своей. Но иногда, вот как теперь, наткнувшись на эту странную фразу — "Мне не нужна вера в Бога, чтобы веровать в Бога", — мы замечаем друг друга и раскланиваемся.

Сплю во тьме, просыпаюсь во тьме, ем, читаю и хожу — во тьме, во тьме проходит жизнь, но когда в этой тьме я берусь за перо, я вижу только свет, свет повсюду.

Понедельник, 22 июля

Смирение — заколдованный ключик. Только тебе покажется, что крепко держишь его в руках, как он исчезает.

За этот год навсегда утрачен звук твоего голоса, раздававшийся в светлом чертоге времен: благая весть этого звука, присущая одной тебе манера говорить и дышать, радость, что охватывала всех, каждого, кто слышал твой голос, предвещавший твое появление.

<...>

Пятница, 9 августа

Провел неделю в деревне, где ты похоронена. Пришел на твою могилу всего один раз и ничего с собой не принес. У ворот кладбища росли мелкие желтые цветы. Я сорвал цветок и положил к портрету на надгробие. Очень скоро ветер подхватил его и унес к тебе — дальше, дальше, прочь от давящего мрамора и сырой земли.

Одиночество, лишь им одним я и живу. Одиночеству внимаю, одиночество кормит и пестует меня. Возводит ли оно стену между мной и людьми? Наверное, да, но стена эта непрочна, как речная запруда, что строят дети из камешков и травы. Их запруда пропускает воду, и мою стену нетрудно преодолеть — просто надо уметь это делать так, как делают вода и дети.

Суббота, 10 августа

Теперь слушаю только Моцарта, и, мне кажется, это добрый знак. Что может быть чище этой музыки? Она сравнима разве что с журчанием рек и лепетом младенцев. Но ее совершенство ничего не доказывает, что бы там ни говорили, тем более существование Бога. Впрочем, недоказуемо ничье существование, не только Бога. Его можно лишь принять или отвергнуть, а это совсем иное, и по форме, и по сути. Доказывать — удел сыщиков и ученых. Принимать — стремление влюбленных. Моцарт ничего не доказывает, он проясняет. Не помню, откуда я взял этот анекдот (вычитал в какой-нибудь очень серьезной книге, не иначе, ведь улыбка прекрасно уживается с серьезностью): перед лицом Господа ангелы исполняют Баха, а в своем кругу — играют Моцарта. Конечно, для Баха это немного обидная шутка, но если не подтрунивать над теми, кого любишь, то над кем же тогда подтрунивать? Итак, вот эскиз моих дней: черный кофе, коричневый табак, небесный Моцарт.

Понедельник, 12 августа

Все время чувствую, что мне вот-вот откроется что-то важное, и, разумеется, этого никогда не происходит. Что именно? Не знаю. Я уверен, что

оно существует и могло бы перевернуть мою жизнь. Это "что-то" – здесь, совсем рядом, оно со мной повсюду, обгоняет мои мысли и не проникает ни в одну из них. Это ощущение, которое я безуспешно пытаюсь объяснить, у меня с детства. Иногда я думаю так, как записал в начале дневника: "Я жду... И буду ждать всю жизнь". А иногда, как нынче утром, говорю себе: "Меня ждут. Не знаю где, не знаю кто или что, но я уверен, что меня ждут".

Девочка моя, до четырех лет ты бегала по земле материнской любви, а потом эта земля разверзлась, ушла из-под ног, и ты узнала главное: опоры земной жизни ненадежны, они хрупки, подвижны, зыбки. Это нужное знание, но оно пришло к тебе слишком рано. Необходимо заблуждаться, чтобы постичь истину. Необходимо верить в бессмертие наших любимых, чтобы, повзрослев, однажды понять, что это бессмертие – самообман, и выстоять под ударом этого открытия, понять, что отныне мы должны любить безоглядно, не требуя от любви ничего, кроме сиюминутной радости, которой исполнена любовь.

Вторник, 13 августа

За спиной пропасть. Чтобы туда не соскользнуть, хватаюсь за былинку. Цепляюсь за нее уже сорок пять лет, и она меня держит, это чудо, но она все еще держит.

Книга – мать читателя.

Четверг, 15 августа

Вот что сказала женщина, которая страдает от различных недугов и вынуждена время от времени лежать в психиатрической больнице: "Я рада, что у меня с головой не в порядке, в глубине души я очень этому рада". Вряд ли я смогу объяснить, что именно я услышал в этой фразе, но она поразила меня здравостью и жизнелюбием – эти качества нечасто встретишь в речи так называемых нормальных людей.

Обычное мое состояние: хочу писать и не пишу. Будто чья-то свинцовая длань весь день давит на правую руку, не давая ей пошевелиться. Пытаюсь переупрямить себя, и тогда к первой помехе прибавляется вторая – скука. Скучно делать что-то, не вкладывая в это душу. Тягостность и скука – вот советчики, которые направляют мою жизнь, единственные, кого я слушаюсь. Они неразговорчивы и только указывают на то, чего я должен сторониться. А так они молчат. Их мотивы мне неведомы, я просто поступаю, как они велят, и мне этого довольно. Мне нравятся мои ленивые помощники: один отягощающий и другой, наводящий скуку. Я занимаюсь делами только в их отсутствие. А когда они возвращаются, я все бросаю, ложусь на кровать, и мы выкуриваем сигарету – одну на троих.

<...>

Четверг, 22 августа

В доме снова цветы. Мне их недоставало. Для кухни выбрал розы – чуть темноватые, быть может. Они похожи на великосветских дам, скованных условностями своего сана. Чопорные манеры, поджатые губы. Ну

что ж, посмотрим. Пройдет совсем немного времени, и они раскроются, почувствуют беспечность и веселье — все то, чего не встретишь в их кругу. А для гостиной я купил цветы, которых прежде никогда не видел: петушиные гребешки. Крупные, забавные, стебли сельдерея в пурпуре кардинальской мантии. Их ребячливость примиряет с надменностью роз.

Пятница, 23 августа

Светское общество на кухне по-прежнему холодно и неблагосклонно, лишь одна роза вдруг отважилась распуститься под презрительным взглядом своих сестриц и теперь предается безудержному веселью в потоках неистового света, льющегося из окна. Интересно, откуда взялись эти розы, какое у них было детство, если сейчас они так неуступчивы? Знают ли они, что жить им не больше недели и что, настаивая на соблюдении приличий, все они, за исключением одной хохотушки, только впустую растрачивают время?

Суббота, 24 августа

День еще не кончился, но это не помеха: словно котенка, беру день за шкирку, чтобы придержать на пару мгновений и внимательно рассмотреть все, из чего он складывался, прежде чем наступил вечер. Лица. Семья в магазине оптики: женщина выбирает новую пару очков, а ее муж, отец и сестра стоят рядом и высказывают мнения с таким воодушевлением, чуть ли не аплодируя каждой новой оправе, что создают в этом чрезвычайно "шикарном" магазине атмосферу ярмарочного балагана. Выхожу за дверь, где меня ждет подлинное счастье: на отполированных ступеньках лестницы пляшет свет. Возвращаюсь домой — призрачные голоса на автоответчике и бесстрастные розы. В этом кусочке дня была и книга, я купил ее ради одной-единственной, будто отлитой из золота, фразы. Сейчас перелистал книгу, но больше ничего интересного не нашел. Значит, я купил эту фразу за сто тридцать восемь франков. Ну что же, день еще не угас, осторожно возвращаю его на землю и до глубокой ночи смотрю, как резвится этот черно-белый котенок.

Сделать хотя бы раз то, чего не делаешь никогда. Свернуть хотя бы на день, на час с дороги, проторенной привычками.

В этих записях я часто веду речь о смерти — что делать, я не властен над своими словами, но если от этого чтения кому-то захочется отведать доброго вина, навестить любимого или опоздать на работу, вот тогда моя книга станет по-настоящему радостной.

Понедельник, 26 августа

Мое молчание, на которое порой сетуют дорогие мне люди, обращено не к ним, а ко мне самому. Я первый задаюсь вопросом, почему я так подолгу молчу. И не нахожу ответа. Знаю только, что, если оборвать это молчание раньше, чем оно завершится само собой, я почувствую себя несчастным, неприкаянным. Из меня получился бы преотличный Спящий Красавец, хотя даже столетний сон вряд ли показался бы мне долгим.

Когда ты умерла, в моей квартире появилась лишняя комната. Она небольшая. Сегодня из нее доносились шум и чье-то ворчание. Я никогда туда не вхожу. Кажется, то, что там живет, сразу на меня набросится, открой я дверь. Я разговариваю, пишу и смеюсь в соседней комнате. В этом нет ничего особенного. Это даже вполне естественно: в каждом доме есть такая запретная комната. И всего-то нужно хотя бы раз туда заглянуть. То, что представляется оголодавшим тигром, может оказаться котенком, лакающим из блюдечка молоко. Но пока не откроешь дверь, этого не узнать.

Вторник, 27 августа

Ничего интересного, если не считать дождя. Но ведь дождь не "ничто", дождь отдаляет от нас небо, как отодвигают мебель, когда затевают большую уборку; он поет, умывая стекла, лица и помыслы, он готовит явление того, кто приходит сразу после дождя, кто любит, чтобы все сияло и пахло новизной, — явление доброй феи или младенца Иисуса.

Среда, 28 августа

У Моцарта есть такие пассажи, слушая которые не могу удержаться от смеха; я и в самом деле смеюсь — так смеются ловкому фокусу, забавной рожице, детскому словечку.

Я ищу непредвиденное и ничего более. Всегда, повсюду. В излучинах беседы, на тропинках книги, в тонких узорах неба. Караулю, подстерегаю. И всякий раз то, на что никак не рассчитываю, оказывается именно тем, чего я жду.

Читая Евангелие, но только неторопливо, можно различить, как среди устремленных к небу слов вдруг зазвучит гимн плоти и бренной жизни: вот плещут волны озера Тивериадского, люди пекут рыбу, достают из корзин хлеб, в чашах танцует вино, а дивная фраза святого Луки позволяет увидеть и услышать, будто наяву, как "ученики Его срывали колосья и ели, растирая руками".

Умершие — это дети, которые однажды грозовой ночью обрели дар новой жизни, свободной от любых уз.

Бывают моменты, когда я люблю каждого, кто входит в мою жизнь, даже если его желания мне странны или неприятны. И так вдруг захочется взять телефон, позвонить одному, другому — всем без исключения и сказать: "Я люблю тебя всего, целиком, люблю все, в чем ты на меня не похож, люблю тебя таким, каков ты есть, потому что ты живой". И я не делаю этого только потому, что боюсь завершить свои дни в психиатрической лечебнице, пребывая в абсолютном безумии и абсолютной радости.

Четверг, 29 августа

Твоя младшая дочь вернулась с Крита. Ее отец рассказывал ей легенду о Минотавре. Девочке хочется в него поиграть. "Я Ариадна, а Минотавром будет он", — заявляет она, показывая мне плюшевого мишку с поли-

нявшей мордочкой. В парке часами напролет наблюдаю, как снует в кустах отважная Ариадна пяти с половиной лет, сжимая в руке оранжевую веревочку, чтобы не заблудиться. Мимо идут прохожие, улыбаются при виде Минотавра, прикинувшегося добродушным медвежонком. Те, кто здесь, и те, кого нет, настоящие и выдуманные — все входят в игру, откликаясь на зов чистого голоска. "Вот Федра, — говорит она мне, показывая на пустоту рядом с собой, прореху из воздуха и солнца, — а за Федрой моя мама". Она произносит это, и на секунду я вижу тебя, я действительно тебя вижу и не удивляюсь: тебя показало мне слово, а не глаза, глаза для этого не пригодны.

<...>

Воскресенье, 1 сентября

Сегодня необыкновенный свет — небо старается.

Вечер в кругу семьи. Бывает, что семья нужна людям, чтобы самим уже не существовать. Бывает, но не всегда. Поистине удивительно видеть тех, чье одиночество проступает на семейном фоне, как старинные лики, писанные по золоту. Вот моя мать — все так же кокетливо не хочет фотографироваться. Сестра — вдруг словно помолодела. Отец играет с черной кошкой. Дом пронизан лучами света, он похож на корабль, где пассажиры говорят на разных языках, хотя они в этом плавании уже так давно, а в первые двадцать лет и вовсе собирались трижды в день за одним столом.

Вторник, 3 сентября

Идеальный читатель — неспешен.

Смерти вольготно в суете. Неспешность обескураживает, сбивает ее с толку. Разумеется, умрут оба: и спешащий, и неторопливый, но неторопливый успеет проделать несоизмеримо больший путь, чем торопыга.

Неизменно думай о тех, кто рядом с тобой, окружай их вниманием, искренним, неустанным, ни на миг не забывай, что тот или та, с кем ты говоришь, пришли из иных миров, что их вкусам, мыслям и поступкам предшествовала долгая история, в ней участвовало множество людей и вещей, которых тебе никогда не встретить. Постоянно напоминай себе, что тот или та, на кого ты сейчас смотришь, ничего тебе не должны, они не принадлежат к твоему миру — в твоем мире нет никого, даже тебя самого. Такое мысленное упражнение полезно для ума и воображения, оно довольно трудное, но помогает испытать наивысшее наслаждение — полюбить в человеке то, что в нем есть, его загадку, а не то, что тебе примерещилось, чего ты боишься, на что надеешься, чего ищешь, ожидаешь и требуешь.

Среда, 4 сентября

Холодно, отопление не работает. Я только что включил радиаторы, и они издают звук льющейся воды, нежную песнь дождя, ласкающую слух

того, у кого есть приют, крыша над головой. Временами пробую батареи рукой — они все такие же холодные, но их пение согревает душу. Я сижу за письменным столом, за такими столами писали в старину: с одной стороны стенка, удобная ниша для ног. Стол учителя. Когда все шло ко дну, мой отец спас его из частной школы, где преподавал черчение. Школа была при заводе, в ней учили детей тому, что могло им потом пригодиться для работы на том же заводе — не больше, но и не меньше. Завод был мощный, огромный — настоящий гигант, его дыхание слышал весь город. В легких великана сновали тысячи рабочих, превращая воздух в пушки и локомотивы. В шестидесятых годах XX века великан захворал и стал чахнуть. К восьмидесятым наступила агония, и тысячи рабочих, прикованных к умирающему, задыхались в его чреве. Сейчас великан уже почти не подает признаков жизни, ему делают искусственную вентиляцию легких. Я, как и все прочие жители этого города, обитаю внутри великана, в одной из частей его тела, на кончике пальца — моя квартира находится на городской окраине. И я пишу. Я не способен серьезно относиться к этому занятию, хотя вот уже шесть лет я не делаю ничего другого, и это приносит мне достаточно денег, чтобы жить и спать крепким сном. Вчера я ходил платить налоги. Там видел безработного. Я должен был отдать часть своих денег, и то, что я отдал, ничуть не нарушит моего сна. Тот человек, примерно моих лет, приходил просить, чтобы у него не забирали то немногое, что у него осталось. Почему люди и их судьбы так несхожи? Я рад, что мои книги дают мне хлеб и сон. Всегда принимаю то, что мне дается. Но, глядя на этого человека, я все думал, что не понимаю писателей, которые, скроив страдальческую мину, твердят о муках творчества, о том, как трудна их работа. Работа — это то, что однажды могут отобрать. Я видел писателей бедных, но никогда не встречал писателей безработных, лишенных возможности писать, лишенных радости рассказывать истории, ведь писать — значит испытывать чистую радость, а все прочие разглагольствования на эту тему возмутительны. Мне сорок пять лет, встреча с одной молодой женщиной ослепила меня, перевернула мою жизнь или, вернее, дала обрести равновесие, ее приход был исполнен сияния и красоты, он был подобен ветру, что овевает лепестки розы. Теперь ветер стих, вот уже год и месяц как она покоится в земле, а мое сердце по-прежнему в цвету. В моей крови все те же розы, хотя и не совсем те: их алый цвет стал более глубоким, стойким, однако в нем не прибавилось черноты. Мне сорок пять лет, и я хочу жить, и хоть иногда это желание блекнет и немного отступает, но, если какой-нибудь пустяк способен меня убить, еще меньшее, чем пустяк, меня воскрешает — так желание жить вновь целиком захватило меня нынче утром, когда я услышал пение холодных батарей, только и всего, а потому я думаю, что, даже опять заплутав, я не кану безвозвратно. Таков мой автопортрет сегодня, в среду 4 сентября 1996 года, завтра, а может, даже сегодня вечером он изменится. Я написал его с тем, чтобы вы написали свой, на свой собственный лад, поставили число и показали кому-то, кого вы любите. Те, кто нас окружают, порой становятся к нам невнимательны. Те, кто идут по нашей жизни, делают это вслепую, не всегда хорошо представляя, кто мы и где находимся. Так почему бы им не рассказать? Вам я рассказываю об этом сегодня, в среду 4 сентября 1996 года, в одиннадцать часов двадцать минут утра, в холодной поющей квартире.

Четверг, 5 сентября

Сегодня мне показалось, что я вижу тебя. Ты шла по тротуару мимо соседнего дома. Тот же силуэт, та же легкая, стремительная походка. Всего несколько секунд — и твой призрак рассеялся, на его месте возникла молодая женщина, ничем на тебя не похожая, разве что прической. Незнакомка и не подозревала, какую бурю вызвало во мне ее появление, лишь на миг воскресив и тотчас погасив надежду на встречу с тобой. И все же я смотрел на эту случайную прохожую с признательностью. Когда наши пути пересеклись, я улыбнулся ей, втайне благодаря за то, что на мгновение она уступила тебе место среди живых. А затем моя душа вновь обратилась к незримому — туда, где место каждого принадлежит только ему одному и где никому не нужно исчезать, чтобы появился другой.

Пятница, 6 сентября

Меня интересует самое малое. Крошечное, микроскопическое. На вопрос "Чем вы занимаетесь в жизни?" я хотел бы ответить так, как не решусь ответить никогда: я занимаюсь самым малым, я защитник былинок. Мир — такой, каков он есть, — скверен, я это знаю и чувствую так же, как и вы, хотя, быть может, не столь остро: былинка оберегает от многих напастей. Все они мне знакомы. Но не о них я хочу говорить. Это не моя роль, не та роль, что досталась мне волею случая. Мир катится в пропасть, согласен. Разве можно с этим не согласиться? Когда я начал писать, мир уже катился в пропасть. Я стал писать о том, что выстояло, а это всегда оказывалось самое малое и в то же время безмерно великое, именно потому, что выстояло, потому, что сияние дня, словечко ребенка или былинка побеждали самое худшее. Я говорю от имени самых малых. Стараюсь их расслышать. Я не мечтаю о безмятежном мире. Такой мир был бы мертв. Мне по душе битвы и противостояния, ибо в них жизнь. Я ищу не покоя, но радости, верю, что радость нужно искать повсюду, не пренебрегая ничем, и лучше всего — в обычной, неприметной жизни. Этим утром я ввел в свой дом совсем простые розы. В них нет ничего примечательного. Они розовые, только и всего. О них нечего сказать, можно только написать — о них, а лучше с ними. Вот кто я такой, вот чем я занимаюсь: я забочусь о розах и былинке. Я пишу о простых вещах, чтобы сообщить простую вещь: мир гибнет, но жизнь невредима. Передаю вам призыв былинки, неуязвимой в своем величии: начните все сначала — с первым лучом солнца, под сенью розовых роз. И, как говаривал приятель Рембо, "наряжайтесь, танцуйте, смейтесь! Я никогда не смогу прогнать Любовь за порог"[1]. Ни любовь, ни былинку.

<...>

Понедельник, 9 сентября

Я ушел ранним утром, вернулся в ночи, открыл дверь — и меня радостно встретили розы. На их лепестках читалась усталость. Напоил их во-

1. А. Рембо. Озарения. Перевод Михаила Кудинова.

дой, а себе поставил сонату Моцарта, что, в сущности, одно и то же — та же свежесть, льется, пьется.

Вторник, 10 сентября

Сейчас записал новое сообщение для автоответчика: подобрал на берегу стихотворной реки несколько камешков-слов, гладких и блестящих. Что угодно, лишь бы не "сообщение". Автоответчик — лучшее, что можно было выдумать в пику телефону. Современная техника, соединяя людей, преследует одну-единственную цель — исполнять любое их желание немедленно, едва оно зародится. Способность не замечать веса и плотности времени присуща ангелам. Но любовь есть полет, и ей нужны и этот вес, и эта плотность. Лишь оттолкнувшись от них, любовь сможет взмыть к небу. И чтобы сберечь это время, я не снимаю трубку — и мой автоответчик читает стихи.

Суббота, 14 сентября

Тот чудной человек в боулинге. С виду лет пятидесяти, дряхлеющее тело, неловкие руки, а в глазах — простодушие мальчугана, впервые попавшего на ярмарку. Впрочем, он и в самом деле в боулинге впервые. Он приступает к игре с чрезвычайно серьезным видом, словно берется за незнакомую работу. На лице сосредоточенность, отходит от дорожки, собирается с силами и кидается с шаром в руках вперед. Пол гулко трясется, так что становится страшно, в последний момент он отпускает шар, опять и опять забывая присесть, шар с грохотом падает на дорожку и через пару метров скатывается с нее, падает в желоб, а кегли где-то там, вдалеке, стоят себе не дрогнув — им нечего бояться. Человек записывает на листке результаты: ноль, еще ноль... Он смеется над своей неловкостью, ему нравится быть здесь, нравится набирать такие плохие очки, и он начинает все сначала: замах, бешеный рывок, потеря равновесия, грозовые раскаты и неподвижные кегли. Он смеется все громче и громче — король двоечников, повелитель грома, — и еще долго, до самого вечера, во мне звучит его радость — рай, должно быть, похож на этот кусочек легкомысленной жизни. Наверное, рай состоит из тех же вещей: вот радость, вот детская неуклюжесть, а вдалеке, как спокойные кегли, незыблемые вечные ценности.

Понедельник, 16 сентября

Все-таки благоразумие мне не по душе. Оно слишком напоминает смерть. Предпочитаю безрассудство, но не то, каким одержимы безумцы, а то, от которого хочется танцевать.

Вторник, 17 сентября

Вчера после обеда я влюбился в дерево. Оно живет на обочине одной не слишком важной дороги, километрах в десяти отсюда. Его листва нависает над дорогой. Войдя в тень этого дерева, я поднял голову и взглянул на ветви: так, переступив порог храма, невольно устремляешь глаза к своду. В древесной тени было теплее, чем в церковном сумраке. Одно из самых любимых ощущений в моей жизни — бродить с кем-нибудь по ле-

су или в поле, болтая о том о сем. Беседа держит спутников рядом, а в природе происходит что-то такое, что порой заставляет их умолкнуть – заставляет, не принуждая. При виде этого дерева во мне зазвучало безмолвие совершенной красоты. Несколько мгновений мне незачем было размышлять, говорить, писать и даже – да-да, именно так – незачем жить. Меня подхватило и подняло на несколько метров над землей, темно-зеленые руки в сияющих веснушках солнечных лучей баюкали меня, как ребенка. Это длилось секунды, но эти секунды были долги, так долги, что все еще тянутся сутки спустя. Я не вернусь к тому дереву – не вернусь еще долго или вообще никогда. То, что случилось вчера, переполняет меня. Не стоит желать повторения. Не стоит, не нужно: за пригоршню секунд это дерево наградило меня радостью, которой хватит на ближайшие двадцать лет. Не меньше.

Среда, 18 сентября

Вы пригласили меня поговорить о моих книгах. Конечно, такая просьба – знак вашего расположения. Но я по собственному опыту знаю (а это самый действенный способ познания), что иная любовь может нам только навредить. Вот как я понимаю ваше приглашение: "Приходите поболтать с нами о ваших книгах, чтобы тем самым лишить их силы и смысла". И вот что я вам отвечу: вишневое дерево отдает свои плоды густой траве и лакомкам-воробьям. Случается, что его вишни пускаются в путь и пляшут на базарах, но само дерево непреклонно в своем одиночестве на ветру. В уборе из белых цветов оно думает о том, как заалеет новым румянцем, и, целиком отдавшись своему делу, не помышляет о странствиях.

Улучив момент, ты выпрыгнула в окошко, точно дитя, влекомое в сад чьим-то далеким пением. Ты скользнула так быстро, что забыла взять с собой вдруг ставшее невероятно тяжелым тело. В той счастливой стране, которую ты называла "священным краем", есть сад – он огромен, тем более для маленькой девочки. Возможно, ты и теперь еще там, во власти грез. Ты слышишь, как я зову тебя? Тебе не страшна теперь сырая, хмурая осень?

Часто думаю о стихотворении "Дверь" Аполлинера. В нем звучит голос юноши, который понял, что детство кончилось, и осознал горькую необходимость *добывать свой хлеб*. Господь Бог и святые покинули его, вокруг остались одни дельцы с их скучными бумагами. За этим откровением следует речь долгая, тихая и прекрасная: нередко люди находят в жалобах тайное наслаждение. Но в моей душе запечатлена последняя строка. Она стоит отдельно от прочих, облитая белизной страницы. Эта строка – голос матери, ее ответ ребенку, который предпочел бы не жить вовсе, чем познавать истинную жизнь и боль утраты:

Мой мальчик что еще могу я дать работай[1].

<...>

1. Г. Апполинер. Дверь. Перевод Романа Дубровкина.

Воскресенье, 22 сентября

Возможно, это выглядит странно: каждую неделю я приношу две охапки цветов в дом, где живу один. Как бы там ни было, мне уже не избавиться от этой привычки. Отчасти она обращена к тебе. Это началось сразу после твоей смерти, так я могу открыть в темноте полтора десятка окошек — по количеству цветов — и впустить в дом свет. Но твоя смерть не единственная причина того, что мой дом круглый год в цвету. Когда, возвращаясь из цветочной лавки, я переступаю порог своей квартиры, я счастлив мыслью, что иду кормить витающих вокруг невидимок. Эти невидимки не мертвецы и не живые существа. Они питаются моей тишиной, моим одиночеством — и двумя букетами свежих роз в неделю. Я не знаю, кто они и откуда. Знаю лишь, что они были здесь всегда, что самые радостные минуты моей жизни — их заслуга и что несколько граммов сиреневых или розовых лепестков не слишком высокая плата за нелегкий труд быть моими спутниками.

Четверг, 26 сентября

Утром сел за руль. Проехал сотню метров и, посмотрев в зеркало заднего вида, испытал странное чувство, которое усилилось, когда я взглянул на заднее сиденье. Машинально поправил зеркало, и этот жест напомнил мне, почему вчера я повернул его именно так: девочка моя, ведь я возил тебя на прогулку. Я усадил тебя на детское сиденье, а чтобы не спускать с тебя глаз и в то же время следить за дорогой, наклонил зеркало. Сегодня ты уже в школе, но достаточно было тронуть зеркало — и ты вернулась и на мгновение опять уселась сзади, веселая и незримая. Некоторые обычные поступки в обычной жизни порой могут сделать то, чего никак не ждешь: отринуть материальное и сотворить чудо.

Пока ты веришь во всемогущество любви, ты веришь только в это всемогущество и ни во что больше. Любовь непобедима, это правда. Но непобедима она в той же мере, в какой и беззащитна перед тем, что ее убивает.

Понедельник, 30 сентября

Совершенно ничего не делал сегодня, разве что открыл утром окна в комнате и на кухне, впустил в дом облака, позволил их молчанию соприкоснуться с царящей в комнатах тишиной. Да, вот что я сделал сегодня: распахнул окна в день, только и всего, но из этого "только" родилось множество вещей, о которых я узнал потом, гораздо позже. Вечером, когда облака снова двинулись в путь, а в дом пробрался непрошеный холод, я закрыл окна. Было восемь часов. В окно кухни я увидел, как на елку прилетел воробей. Он неуклюже сел на ветку — и она закачалась. В этом движении, в этом соединении малого с огромным я узнал портрет моего дня и тут обнаружил, что счастлив, что моя душа полна.

Вторник, 1 октября

Нынче утром бьется в приступе ярости ветер, срывает с деревьев листву, будто осужденных безжалостно выволакивают из камер, чтобы бро-

сить в лапы смерти, а благодать этого рассвета перед казнью в том, что, прежде чем слиться со своей тенью на земле, листья рвутся и бунтуют до последнего вздоха.

Любая чужая жизнь кажется мне более настоящей, чем моя собственная.

Твоя смерть разрушила меня и затем воссоздала по-иному. Это так же мучительно, как и любовь — да это она и есть; но такая любовь неуловима, ибо слишком чиста.

Истинная книга не та, где кто-то с нами говорит, а та, где кто-то слушает нас, умеет нас услышать.

Среда, 2 октября

Листаю сборники стихов так, как женщины на распродажах роются в коробках с вещами: нахожу стихотворение, бросаю его и заглядываю в следующее, пропускаю страницы, возвращаюсь к началу, колеблюсь, раздумываю, наконец решаюсь — и уношу с собой некий образ, и целый день счастлив, доволен своим ценным приобретением.

<...>

Среда, 9 октября

На почте за столом возле дверей сидит старик. Он медленно пересчитывает стофранковые купюры, которые только что получил. Купюры новенькие, хрустящие. Прилежно, спокойно, отрешенно он дважды их пересчитывает. В этой картине есть что-то умиротворяющее. То ли сдерживаемое дрожание рук, то ли свечение, исходящее от высохшего лица, а может, что-то еще. Глядя на него, думаю о том, как в старческом сердце звучит жизнь, когда она снова и снова пересчитывает оставшиеся дни, — возможно, этот звук похож на шелест новеньких хрустящих банкнот.

Пятница, 11 октября

Розы утомлены долгой беседой со светом. Взял оба букета, подрезал стебли и поселил всю компанию на кухне в "вазе призрения". А место на письменном столе заняла мимоза — солнечные птенчики, золотистые котята, Пасха в середине осени.

Скособочившись — вот как на самом деле я живу: слегка повернув плечи, в постоянной готовности уйти от удара.

Чем я занимаюсь целыми днями? Тебе интересно это знать, хотя ты сама терпеливо лежишь в толще земли и круговерть солнц и лун тебе уже не важна? Очень просто: я учусь любить живых так, как теперь люблю тебя, — любовью тихой и нежной, свободной от суетных желаний и претензий.

Понедельник, 14 октября

Твоя смерть заставила меня потрудиться. Эта книга — явное тому подтверждение. Это даже не дневник, это лесоповал, подобный тому, что лесорубы устраивают в чаще. Глухие удары, звонкие удары, кругом сучки, ветви, поваленные деревья, костры вспыхивают тут и там, но постепенно, мало-помалу что-то проступает, и вот работа закончена, и на месте чащобы — ясная поляна.

Среда, 16 октября

Черпаю благо отовсюду, любая встреча щедро одаривает меня, но при одном условии: я ни в коей мере не должен ощущать свое превосходство над тем, кто стоит передо мной, будь он даже глупец или дикарь. Это не значит, что я люблю "всех". Напротив: я люблю "каждого", любовью подчас грубой и, если надо, воинственной.

Понедельник, 21 октября

Бледно-голубое небо со следами прошедшего ненастья, рыжие деревья, блеск и сияние, ласковый ветерок — а ты умерла и всего этого не видишь. Как знать, может, что-то другое теперь тебе видно в тысячу раз отчетливее, но вот эта несовершенная красота тебе недоступна. Именно о ней я хочу написать, чтобы подарить ее тебе, а равно и всем живущим и страдающим — ведь это одно и то же. Нынешний мир ужасен. Многие едва находят способ выживать, и было бы неплохо, если бы однажды сильные мира сего расплатились за все, что причиняют слабым. Отмщение? Нет, речь совсем не об этом. Скорее, о радости обновляющейся жизни, в которой больше ни о ком не будут судить по его положению в обществе. А будут смотреть глаза в глаза. Отвечать словом на слово. Только так, и никак иначе. Но сильные сами никогда ничего не выпустят из рук, значит, нужно у них отобрать. Что отобрать, деньги? Нет, деньги — это симптом их болезни, деньги — это сама болезнь. Нужно добиться у них того, на что они больше всего скупятся, — взгляда, лишенного презрения. Простого человеческого взгляда. "Простого" — это совсем не просто. Вот о чем я задумался сегодня, сидя над страницей дневника, собираясь описать сущие пустяки: бледно-голубое небо со следами прошедшего ненастья, рыжие деревья, блеск и сияние, ласковый ветерок. Но, быть может, это не такие уж и пустяки. Иногда это проявляется на картинах: какой-нибудь натюрморт, скажем, фрукты на столе, вдруг содрогнется от грохота окружающего мира, вступит в противоборство с этим дьявольским шумом и утвердит свою чистую ноту. Его оружие — нарисованные фрукты и стол. Красота — это способ противостоять миру, не сгибаться, отвечать на его исступление энергичным спокойствием. Мое оружие — слова. Чтобы писать, мне нужны пачка сигарет, чашка кофе и полное одиночество. Розы, купленные сегодня утром, тоже мне помогают: их перламутровая белизна перекликается с матовой, как слоновая кость, бумагой и выманивает черную тушь фломастера. Возможно, сегодня я напишу страницу. Возможно, через полгода я закончу эту книгу. А что дальше? Это меня не беспокоит. Бывает, я строю планы, а бывает, у меня их нет совсем. Я предпочитаю послед-

нее. Ведь тогда смеешься радостнее всего. Я дарю тебе, умершей, этот смех. Добавляю к нему несовершенную красоту сегодняшнего дня: бледно-голубое небо со следами прошедшего ненастья, рыжие деревья, блеск и сияние, ласковый ветерок.

Вторник, 22 октября

Она погружалась в предсмертные муки. Огромная смерть ворвалась в крошечное тельце и принялась его терзать. Крылья дрожали, бились о шершавый бетон террасы. Когда день застает ночную бабочку врасплох, она становится похожа на жалкого пьянчужку, унылого картежника, бредущего из казино, на существо, пережившее конец света, конец собственного света. Неистово трепеща крылышками, бабочка ползком добралась до застекленной двери и, вдруг собравшись с силами, решила, что нет, еще рано, не сегодня, — и взмыла в тускло-желтом свете. Чем выше она поднималась, тем скорее возвращались к ней силы. Она исчезла. Невозможно начать день удачнее. Только этого ищу я в мире и в книге — сначала в мире, а потом в книге: вслед за страданием — освобождение и полет.

Воскресенье, 27 октября

Моя жизнь, или, лучше сказать, самая неуловимая, самая строптивая ее частичка, та, что за неимением лучшего имени зовется душой, — так вот, моя душа кутается в дымок, вьющийся над чьим-то садом, обнимает спящие на кухне розы, пляшет вокруг меня на корешках книг, не замечая почему-то моего дневника, а я жду ее, отрешенный, опустошенный, как голубятня — улетевших голубей. Это повторяется часто-часто. Меня это не тревожит, но догадываюсь, что однажды всему настанет конец: моя душа станет такой легкой, что забудет вернуться, и кто-нибудь скажет обо мне: "Он умер", — потому что ускользание души называют именно так.

<...>

Вторник, 29 октября

Между двадцатью и тридцатью годами почти все мои знакомые женились или выходили замуж, а я взирал на них с удивлением. Мне казалось, что для того, чтобы с кем-то жить, не важно с кем, нужно обладать недюжинной силой, которой я лишен, наподобие той, что приписывают героям древних легенд. Я и теперь так думаю. Картины семейной жизни вызывают у меня изумление вперемешку со страхом, как в детстве — сказки про людоедов и добрых фей.

Среда, 30 октября

Розы не распустились. Всего лишь день — и их настиг злой рок. Поникнув головками в бурых крапинках, они вымаливают взгляд — не обыденно-равнодушный, а ласковый: "Полюби нас. Мы неважно выглядим на свету. Мы не сумели выполнить нашу работу, принести красоту, мы ничего не можем с этим поделать, но, пожалуйста, люби нас, отыщи в себе ту любовь, для которой внешность не важна. Полюби нас за то, что

мы есть: вот такие, поблекшие и хворые, но живые, просто живые, а значит – прекрасные".

<...>

Понедельник, 4 ноября

На кухне гвоздики и мимоза, приятный глазу союз красного и желтого. У лепестков гвоздики такие же краешки, как у гирлянды стружек, вылезающей из карандашной точилки.

Мои занятия почти детские: смотреть, играть. Смотреть, не отрывая глаз, даже в самый разгар игры.

<...>

Воскресенье, 10 ноября

Господи,

сегодня все вопиет о том, что ты покинул нас: промокшее небо, стылая земля и голос этого священника – чуть теплая водичка в грязном стакане. Как часто в тех, чье ремесло – говорить с нами от твоего имени, куда меньше благодати, чем в раннем жаворонке, вьющемся в синем небе.

Господи,

я пишу это в 1996 году, в стране, которая множит свое богатство и своих нищих. Этой земле не принести доброго урожая. Слова, что здесь произрастают, звенят дождем и десятифранковыми монетами.

Господи,

один человек рассказывал мне о женщине, на которой женат тридцать лет. Его душа выплескивалась в слова, как фонтаны в жаркий день бросают искрящиеся брызги в простертые руки прохожих. Подобные чудеса так редки, что о них нужно писать. Этот человек поведал мне, с какой ребячьей радостью он в отсутствие жены находит по всему дому яблочные огрызки, забытые его лакомкой. А я, Господи, я брожу по своей тихой маленькой жизни, словно по загородному дому, и по-детски всюду ищу знаки того, что ты доволен нами, и нахожу их, и радостно смеюсь, видя следы твоего пребывания – сердцевинки небесных яблок.

Господи,

это не ты покидаешь нас, это мы прогоняем тебя. Прости нас снова. В какой-нибудь миллиардный раз. У каждого из нас есть целая жизнь, чтобы встретиться с тобой до того, как его накроет черная волна. Одной жизни, даже короткой, на это хватает с лихвой. Поэтому терпи, Господи, прощай, надейся – и чуточку громче стучись в рассохшиеся деревянные души. Трудись.

<...>

Воскресенье, 24 ноября

Бывало, у твоей могилы, разукрашенной цветами и эпитафиями, я думал о том, что твое беззащитное тело достойно более скромного наряда — строгого белого камня, на котором лучи света вырезали бы свои стихи, или зеленого травяного покрывала, как на английских кладбищах. Но теперь этот беспорядок мне по душе. Он сродни тому, что ты обычно устраивала на своем письменном столе. В этом я снова вижу твою главную добродетель — всегда думать только о любви, а в этом помышлении нет места маниакальной тяге к порядку или роскоши.

Самый одинокий обретает больше других.

Понедельник, 25 ноября

Все, кто красуются на телеэкране: специалисты-экономисты и ведущие ток-шоу — все они делают одно общее дело. Они призваны давать народу пищу для размышлений, будить воображение телезрителя. В действительности же все наоборот. Заставить бы этих людей увидеть свои передачи глазами тех, кто находится в домах призрения, больницах и тюрьмах. Самый верный способ понять общество — это смотреть на него оттуда, где человек брошен на произвол судьбы, и выстраивать свое мышление именно так, снизу вверх. И тогда приметишь все фальшивое, мертвое, ненужное и изумишься еще многим чудесам: запечатленным на пленке животным, деревьям, лицам, прекрасным словам, порой срывающимся с губ. Ведь с обществами, как с людьми: все настоящее в них всегда строптиво, непослушно, упрямо, настоящее пытаются усмирить, призвать к порядку, заставить замолчать, а оно все возвращается, возвращается без конца к своему изначальному виду. Сюда относится и желание писать. Сюда относится все, что наперекор всему стремится жить.

Тюльпаны склонились низко-низко, словно придворные перед своим господином. В последнее время король-солнце не показывается. А цветы все равно готовы его приветствовать — на всякий случай.

Больше всего на свете я люблю быть один. Это моя болезнь. Мое здоровье проистекает из моего недуга.

<...>

Понедельник, 2 декабря

Два воспоминания из прошлой недели, еще не разъеденные кислотой бегущего времени. Сперва та неуклюжая девчушка лет шести, что натыкается на мебель, падает на лестнице, поскальзывается на траве в парке. Ее мать отчасти озабоченно, отчасти растроганно говорит мне: "Ну что ты будешь делать, как моя малышка родилась, так с тех пор и шлепается". Затем другая женщина с десятилетней дочерью, в ресторане. Весь вечер девочка то и дело встает, подходит к матери, прижимается к ней лицом и, закрыв глаза, замирает так на несколько мгновений в ангельском забытьи. Какими женщинами они вырастут — та кроха, что спотыкается о настоящее, и та, что дремлет в объятиях фей? Девочки-

девочки, те, кто дал вам жизнь, кажутся вам королевами. Но если бы вы знали, как хрупко их королевство, вы задрожали бы от страха. Девочки-девочки, жизнь необычайно податлива и переменчива. Вам придется повзрослеть, оставить милый дом и влиться в хоровод на Авиньонском мосту[1]. Вот увидите, это совсем нетрудно и не так уж страшно. Падайте, девочки. Падайте, спите, смейтесь, вам нечего бояться, ведь у вас уже есть все — любовь, подаренная однажды, останется навек.

Вторник, 3 декабря

Радушие и упорство — вот квинтэссенция жизни.

Среда, 4 декабря

Она психотерапевт, и вот однажды, не касаясь врачебных тайн, она рассказывает мне о человеке, которого называет своим "любимым пациентом". На одном из последних сеансов он произнес тоном, каким обычно сообщают об ожидающемся улучшении погоды: "Скоро наступит исцеление". Этот рассказ меня порадовал. На моем языке, не таком емком, как у "любимого пациента", это означало бы следующее: я единственный творец всего плохого, что есть в моей жизни. Все хорошее случается в те редкие минуты, когда я не предпринимаю никаких усилий и тем самым освобождаю для него место. Плохое — это то, к чему я приложил руку. Хорошее — то, чему я позволил быть.

Нашел одно твое письмо, двух- или трехлетней давности. В нем ты пишешь, что хотела бы, чтобы на твоей могиле были бы такие строки: "И с легким сердцем, легкими руками держись за жизнь и отпускай ее". Твоя старшая дочь собирается вырезать их на доске. Не на мраморной, а на деревянной, уточняет она. И она права. Мрамор — для мертвецов, а ведь ты не мертва, пусть даже и умерла.

Суббота, 7 декабря

Старьевщик, собирающий лоскутки света, — что за дивное занятие.

Понедельник, 9 декабря

Истина кружится, толкается, исчезает и появляется вновь, напевает, спорит сама с собой, порхает и никогда не попадает в плен ни к убеждениям, ни к привычкам. Истина — это то, чем я не владею, то, чем владеть никому не под силу. Иногда она пронизывает нашу жизнь, как солнечный луч — листву, и хотя эти озарения случайны и редки, они означают, что мы здесь не напрасно.

Дети — примета своих родителей, их тени в солнечный день.

"Воскреснуть? Но это же так просто. Сомнения или уверенность здесь ни при чем. Нужно просто верить". (Из беседы с былинкой.)

1. "На Авиньонском мосту" — детская французская песенка. В каждом новом куплете в кругу танцующих появляются новые лица: дамы, господа, музыканты, аббаты, прачки и т. д. (*Прим. перев.*)

Четверг, 12 декабря

Беру в руки художественный альбом. Закрытая книга невероятно тяжела. А откроешь — становится легче перышка. Несколько столетий назад один монах нарисовал эти фрески на стенах своего монастыря. Налетел ветер, сдул их, будто пыльцу, и принес сквозь толщу веков в этот книжный магазин. Лики Христа на голубом фоне. Кладу книгу на стол. Я мог бы ее купить, но для чего, чтобы похоронить в книжном шкафу? Что мне действительно необходимо, кроме самых простых вещей, в которых отказано многим: крыши над головой, еды, одежды? Снова беру книгу, вдыхаю синеву. Мне легче обойтись без живописи, чем без роз на письменном столе. В последнее время я был к ним не очень-то внимателен. И они отплатили мне за это, умерев в одну ночь. Мне хочется иметь этот альбом у себя, и это желание мне не нравится. Оставляю книгу, придавленную ценой и собственной тяжестью, и нехотя выхожу из магазина. Пройдя с полкилометра, обнаруживаю над шинным заводом ту же невесомую синеву, изрезанную гофрированным железом крыши, что и на фресках монаха, такой же свет, точь-в-точь, но теперь он — *дарованный*. Поневоле задумаешься: отчего это художники бросают писать, а издатели художественных альбомов разоряются.

Суббота, 14 декабря

Желать нравиться — значит отдавать свою жизнь в кабалу тем, кому хочешь нравиться, угождать той части их натуры, что инфантильна и ненасытна. Тот, кто ищет благоволения толпы, подобен рабу, у которого миллионы хозяев.

Зеленый-презеленый, желтый-прежелтый — тюльпаны с подростковым максимализмом упрощают мир.

Наползает сумрак. Летом он спускается с деревьев и окутывает плечи. Зимой — исходит от земли, проникает в тело через ноги. Если его не остановить, сумрак наполняет кровь и змеится прямиком к сердцу.

<...>

Вторник, 17 декабря

Я очень рано понял, чего не хочу — всего того, что могло составить мое предполагаемое будущее. Брак, работа. Вещи, расписания. Живые люди, довольствующиеся такой малостью, лишь притворяются, что живут, — вот как я думал тогда. Сегодня для меня так же очевидно, что и умершие только притворяются мертвыми. И те и другие мне кажутся какими-то ненастоящими. И живым и умершим чего-то не хватает. Писателю иногда удается шире взглянуть на подобные вещи. Я могу писать, только если иначе невозможно, если меня побуждает к этому радость. Но так пишут не все. Творчество многих похоже на колесо старой мельницы, которое приводят в движение мутные струи горьких воспоминаний. Когда по едва уловимым, но все более многочисленным приметам я отыскал дорогу, что выве-

ла меня из детства, я начал притворяться — это единственная возможность выжить в обществе. В годы, когда я притворялся студентом, я читал много философских трудов. Что осталось во мне от этого чтения? Что осталось от ночей, так глупо потраченных на эти книги? Сплошной туман. На улице, где я рос, около нашего старого дома в тротуаре были трещины. Они и сейчас там есть. Часами я разглядывал их изломы и бросал в них шарики. Об этих трещинах-змейках я вспоминаю с большей теплотой, чем о многих великих мыслителях. Я дарю свою любовь тому, что дарит мне радость. Почти такую же радость, как игра в шарики, мне доставило чтение Спинозы. Детали прочитанного уже не восстановить. Я лишь с благодарностью вспоминаю дыхание этого человека и некоторые его мысли или, вернее, рассказы о радости, ибо размышление — это тоже рассказ, только в более строгой форме. Спиноза утверждал, что радость приумножает наше существо. Именно с этой целью я и пишу: чтобы растить себя и других песнью и любовью. То, что дождь, снег и солнце делают с тротуаром, покрывая его трещинами и выманивая через них травинки, мне нравится делать с чистым листом бумаги. Ко всему прочему у меня — равнодушие, безучастие. Со всем прочим я поступаю как все — притворяюсь.

<...>

Пятница, 27 декабря

Ненастоящее — то, что вызвано исключительно нашими страхами и потребностью в утешении: любовное увлечение, литература (кроме поэзии), представление о мире, почерпнутое из газет, обольщение, месть, почести, уверенность в том, что ты сам себе хозяин, документы на собственность, календари, ежедневники.

Неопровержимо настоящее: голод, холод, поэзия — вся целиком, Моцарт, зубная боль, радость, свет каждого времени года, голоса, которые нам больше не услышать, жажда справедливости, отсутствие любви и снова радость, радость без конца.

Суббота, 28 декабря

Тюльпаны после смерти шуршат под рукой, точно мятая бумага. Их по-прежнему навещает свет, но уже ничем не может им помочь. Не знаю, зачем я так долго держу их у себя, наверное, потому, что они еще не все мне досказали.

Все больше люблю эту жизнь, к которой все меньше причастен.

Вторник, 31 декабря

По утрам ко мне приходит красота мира. Она садится прямо передо мной. Каждый день она выбирает новое место. Сегодня я проснулся, а красота мира уже ждала, задумчиво облокотившись о белые ворота дома напротив. Вчера я купил цветы, кремово-белые розы, и красота мира уселась на них по-турецки. Красота мира застенчива, преисполнена

смирения и кротости. Она может обернуться невидимкой и, никем не замеченная, пронестись на крыльях Моцарта или в кавалькадах Баха. Красота мира не гнушается и джазом. Она так прекрасна, что не гнушается ничем. Для нее всюду пристанище, всюду храм, всюду сцена. Нынче утром она положила свои белоснежные руки мне на плечи. Заглянула в глаза, сказала: тебе нужно брать пример с меня — подолгу спать, надолго замирать, укутавшись в небытие и тишину, ты видишь, как все это мне к лицу? И красота мира затанцевала на моем столе; танец был неумелый, а потому прелестный. Я улыбался. Я сварил себе третью чашку кофе, первые две были не в счет — первые две никогда не в счет. Красота мира уселась на краешек чашки, сказала: угадай, откуда во мне такая свежесть? Не знаю, отвечал я, подвинься немножко, я боюсь проглотить тебя вместе с кофе. Она рассмеялась, закружила по дому, сунула нос в мои тетради, подняла упавший с кресла свитер, выглянула в окно и, вернувшись, воскликнула: моя свежесть!.. Знаешь, если я теряю надежду, то в тот же миг — в тот же самый миг — обретаю ее вновь, от этого чудесный цвет лица, ведь правда? Тут красота мира устремилась во все стороны сразу, а я отправился варить четвертую чашку кофе.

<...>

Среда, 8 января 1997 г.

<...>

Если мнишь себя автором, единственным творцом своей судьбы, то однажды вдруг поймешь, что ты погребен под своими успехами и неудачами, а рядом никого нет, ты один, как и Господь. И пусть мое имя высечено на книжном склепе, по счастью, эта блажь обошла меня стороной.

Что причиняет слабую боль? Когда нечего читать. Когда покидаешь дом, чтобы сесть в поезд. Неизбежность понедельника, накатывающая на воскресный вечер. Взгляды продавщиц в дорогом бутике, считающих себя необыкновенными, под стать своему товару.

Пятница, 10 января

Идем с твоей старшей дочерью по заснеженному кладбищу. На могиле твой портрет, ты снялась в фотоавтомате три или четыре года назад, для какого-то документа. Фото запечатлело тебя в твоей будничной беспечности. Волосы растрепаны, глаза блестят, море по колено. Всякий раз, глядя на этот снимок, я заново твержу урок: фотография — на камне, а та, что на фотографии, — под камнем. Но вскоре мерцание твоей улыбки открывает мне высшую истину: кончено, ты больше не мертва. Смерть уже позади, теперь ты будешь жить вечно.

<...>

Вторник, 14 января

Охапка анемонов, красных и лиловых, похожа на стайку школьников. Придвинулись вплотную к свету, будто одноклассники, обступившие новенькую, что пришла в класс посреди учебного года.

Среда, 15 января

Посмотрите, как человек идет по улице и подходит к вам. Посмотрите, как он ест, сидя в одиночестве за столиком в ресторане. Посмотрите, как он говорит с теми, кого любит. Посмотрите на него в любой момент его жизни, всего полминуты — и вы узнаете о нем все, пусть даже эти знания не из тех, что попадают в учебники. То, что вы увидите, называется "стиль" — индивидуальная манера быть всегда самим собой. И в жизни, и в творчестве. Тридцать секунд музыки Моцарта — и вы знаете его всего, до донышка. Тридцать фраз — и вы представляете себе автора книги лучше, чем он представляет себя сам. Тридцати секунд все-таки многовато. Пусть будет десять. Десять секунд Моцарта — и вы понимаете, что́ он перенял у Гайдна и из какого страдания вырывается эта легкость и будет рваться вечно, потому что "стиль" — он и в этом тоже, в том, что каждый придумывает для себя, чтобы выстоять перед той тенью, что сгущается в нем с первого дня жизни.

Пятница, 17 января

То, что приходит за неимением чего-то другого: честолюбие, деньги, желание помыть окна, разложить фотографии, гнев, тяга к путешествиям.

То, что самоцельно и самоценно: когда шнуруешь ботинки малышу; когда залпом, не отрываясь читаешь книгу, а кругом ночь; когда меняешь воду цветам; след воробьиной лапки на нетронутом снегу; любовь.

Суббота, 18 января

Мне никогда не удавалось разделить присутствие и отсутствие, отличить выигрыш от потери. Слабость ли это зрения, исключительная ли зоркость — не знаю, но нарождающаяся любовь всегда пела мне ту же песнь, что и любовь, облаченная в траур. Я ощущаю жизнь словно музыку, а как всем известно, музыка обладает волшебным свойством появляться и исчезать в один и тот же миг.

<...>

Среда, 29 января

Книги здоровые сочиняются в тиши. Они родятся в сознании писателя, подобно тому как в блаженном забытьи возникают сновидения. Такие книги пишут, чтобы и дальше спокойно жить и мирно спать. Больные книги создают, чтобы вмешаться, разбить, отвергнуть. Что-то в них сродни ошалевшей физиономии заспанного человека. Их пишут в смертельной тоске. Авторы борются с миром или, что еще хуже, с тем сплавом мира и самого себя, о котором, к несчастью, хорошо знает всякий, кто уже немолод. Больные книги привлекают читателя одной своей лихорадкой. Чуть сильнее жар — и смерть неминуема. Всего должно быть в меру. Единственное мерило — детство, да и то если оно в чистых ру-

ках, а чисты одни младенцы. В больных книгах — агония и родовые муки. Только если опорой для каждой строки служит ощущение утраченного детства, такая книга сможет вынести ярость, проклятия, обиды и при этом не растерять любовь. В 1939 году Бернанос пишет "Униженных детей". Это дневник и не совсем дневник. Это взгляд на войну из Бразилии, взгляд на Францию из тропиков, взгляд на Бога из детства. Создавая ее, Бернанос напрочь забыл о каких-либо литературных приемах, она вышла из-под его пера изодранная в клочья, раскаленная докрасна. В ней нет самолюбования автора. Он искренен, как яблоня в саду. В 1939 году яблоня Бернаноса принесла горькие плоды. Он вернул из прошлого того ребенка, ясноглазого мальчишку с худыми коленками, каким был когда-то, и сказал ему: давай, давай расскажи, я сам не смогу, мне мешают годы и усталость, а ты сумеешь, ты еще ничем не избалован, ты всегда рассказывал лучше меня. Если в моей жизни и есть что-то достойное — а его катастрофически мало, — то это твоя заслуга, это досталось мне в наследство от тебя, так что давай, не ленись. Больные книги зовут к себе больных читателей. Сам не знаю, как так получилось, но мне есть что сказать об этой книге. Я много читаю. Наверное, глотать столько типографской краски вредно для здоровья. Я прочел Бернаноса, побуждаемый гневом. Мне запомнилась одна его фраза. Она была написана в прошедшем времени, но я воспринял и привожу ее в настоящем: *миром правят люди, которые не созданы для счастья*. Я переиначу ее по-своему: угнетение других начинается с угнетения самого себя. Небытие не в смерти, а в самой жизни. Небытие — в душах людей, чья тоска растет вместе с их властью. Небытие — это забвение детства, радости и любви. Небытие — это господин, у которого есть еще более могущественные хозяева: честолюбие, алчность, злопамятство. Бернанос дает превосходный портрет Гитлера — ничтожного человечка, озлобленного поражением Германии в Первой мировой войне, в расцвете юности испепеленного этой злобой, иссушенного убеждением, что его оставили в дураках — его, молодого ефрейтора, немецкого гражданина, да просто обыкновенного славного, хоть и не очень-то доброго малого. Как говорит Бернанос, в двадцать лет Гитлер умер, ибо всю жизнь гнить в холодном болоте истории — это все равно что умереть. Его могущество — следствие его смерти. Книга Бернаноса направлена против таких людей, против грязных животных, вскормленных злобой, объевшихся своим "правым делом". Секреты истории — злосчастные секреты. Они попадают вот в такие книги — резкие, неопрятные, болезненные. Самый большой секрет состоит в том, что в мире нет человечности. Здоровые книги создаются для досуга. Больные призывают трудиться над собой — и не только над собой. Ибо настоящий секрет в том, что в мире *пока* нет человечности. Но человечность придет. Мы движемся снизу вверх, с самого низа. Мы находимся так низко, что даже не можем заглянуть в глаза ребенку. Но мы знаем, что делать: надо постараться вдохнуть жизнь в то, что пока мертво. Все не так просто, скажут нам. Нельзя же огульно противопоставлять мир детства всему остальному. У вас все только белое и черное, оттенки способны различать только взрослые. Эти унылые бедолаги всегда считали, что в мире все крайне сложно и, чтобы понять что к чему, нужно долго взрослеть. Такие разглагольствования

ствования о сложности мироустройства не что иное как подлость, и другого слова тут не подобрать, подлость, если это говорят ребенку, чтобы заставить его замолчать. Ты рассуждаешь о духе и протесте, но ты сам не понимаешь, о чем говоришь. Подожди, вот станешь таким, как мы, тогда сможешь судить обо всем со знанием дела. Эти люди прочли бы нотацию даже Христу. Ваша история прелестна, сказали бы они. Да, вам повезло родиться мечтателем. Ну что же, пожалуй, мы последуем за вами, но сперва приведем в порядок кое-какие дела. Беда в том, что, когда все дела приведены в порядок, душа уже окостенела. Вот и все, что я сумел сказать о книге Бернаноса. Ее можно было читать вчера. Ее можно будет прочесть через три тысячи лет. Больные книги живут дольше всех.

Суббота, 1 февраля

Два склада ума. Первый довольствуется рациональным. Движется от причины к следствию, от предпосылки к результату, из начала в конец. Следствие, результат, конец — места его отдохновения. Вот где я начал путь, а вот где проведу ночь. Сдвигаю вместе два и два и засыпаю на четырех. Ищу, нахожу — и в том, что я нашел, заключено ровно столько, сколько я искал. Второму складу ума нужна любовь, и ему нет покоя. Он не идет от чего-то устоявшегося (причины, начала, "дважды два") к тому, что вянет, едва его коснешься (следствие, завершение, "четыре"). Он движется от вечной новизны к вечной новизне, от неведомого, что таится в нас самих, к тому неведомому, что сокрыто в других. Такому уму не сделать передышку, не достичь конечной цели, не найти повода возгордиться, не обрести наконец заслуженный покой. Здесь не бывает конечной цели, только движение, движение без конца. Это движение напитывается любовью: чем сильнее любишь, тем глубже должен познать предмет своей любви, а значит, полюбить его еще сильнее, сильнее во сто крат.

Четверг, 6 февраля

Игра. Правила просты. Сегодня четверг, 6 февраля 1997 года. Одиннадцать часов двадцать минут утра. В половине двенадцатого ты умрешь. Есть десять минут, чтобы в последний раз что-то написать, ничего не вымарывая, "не каясь", как говорят художники. Отлично. Беру то, что вижу перед собой, за оконной рамой — замечаю, что рама грязная, ну, что поделать, на уборку уже нет времени. Итак, беру дневной свет, деревья и дома, по которым мокрой щеткой прошелся дождь. Грудой валю все это на страницу. Чтобы проложить тропинку между деревьями, домами и светом, делаю следующее: обо всем, что происходило со мной до этого дня, часа, минуты, секунды, говорю только хорошее. Одиннадцать часов тридцать минут, игра окончена, я умер — закрываю тетрадь и отправляюсь за покупками.

Вечная жизнь, будто в насмешку, прячется в жизни повседневной. Ее проще увидеть, чем услышать. Она изъясняется языком глухонемых, она — в движении рук, в свечении лиц.

Среда, 12 февраля

Знаешь, я устал. Сигареты без счета, долгие путешествия на ковре-самолете из спальни в гостиную, из гостиной в спальню, приближающийся день твоего рождения (ты родилась 18 февраля 1951 года), весенние обманки среди непреклонной зимы, книги, которые я читаю, хоть они и не очень-то много мне дают, вздорные речи одного журналиста о чудесах вычислительной техники, долларовая зелень неба, под которым ставят на колени целые народы, ноющая боль в правом плече, неутолимая жажда внимания и сердечности — знаешь, я устаю от всего этого, и так хочется, чтобы ты помогла мне, хоть ты уже не в силах никому помочь, но я написал эти строки — и стало легче, а дальше я буду брать пример с тюльпанов на моем столе: принимать усталость как благо, припадать к жизни, чтобы испить из нее свет, как делают звери, когда лакают дождевую воду; забыл тебе сказать — правда, у тебя теперь всегда хорошая погода, — забыл сказать, что в дни засухи, скорби или тоски всегда бывает слабый ветерок, небольшой просвет или даже минутный ливень, что все худшее недолговечно: на прошлой неделе был день, когда я перестал чего бы то ни было ждать, я был похож на большого грустного пса, с которым никто не гуляет, в этот день я услышал по радио стихотворение и у меня захватило дух — красота дышит свободнее, чем мы, и, проникая в нас, она теснит нам грудь, и вот стихотворение, не спросясь, пронизало прокуренный воздух комнаты, и я понял, сколько еще нужно написать, полюбить, пережить, и мир еще даже не начинался — вот что я услышал по радио, ведь правда, это хорошая новость?

<...>

Понедельник, 24 февраля

Бессмертная литература — сказки, мифы, предания — появилась на земле вместе с первыми людьми. Благодаря ей люди не погибли от стужи и населили землю. Огонь и голос рассказчика возникли одновременно, оба давали тепло и не подпускали близко диких зверей. Вот как, должно быть, пришла в мир литература: одному нездоровилось, другой, присев рядом, завел рассказ об утренних рассветах, о грозовых закатах, про карнавал богов, и вместе с голосом сказителя во тьму просачивался свет. В те времена, когда люди, чтобы рассеять тьму, населяли свои пещеры разноцветными призраками лошадей, бессмертная литература уже существовала на свете. Она зародилась в тот миг, когда через брешь в плоти в чью-то душу впервые проник страх: в душу охотника, которого ужалила в пятку змея, ребенка с блестящими от лихорадки глазами, истекающей кровью женщины, распростертой у очага, ослепшего рисовальщика зубров или старика с коченеющими ногами. Бессмертная литература — самый древний лекарь на свете. Она старше письменности. До того как литература попала на глиняные дощечки, она заставляла крепнуть голоса, унимала сердечную боль. Она врачует и теперь, всякий раз когда мать склоняется над оцепеневшим от усталости ребенком

и рассказывает ему сказку, поет песенку. Никакой разницы между произнесенным словом и написанным никогда по-настоящему не было. Письмо — младшая сестра устной речи. Письмо — позднее дитя, оно появилось на свет, когда некто, путешествуя из своего одиночества в чужое, зажег в пространстве меж двух одиночеств Млечный Путь из слов. Говорящий с нами любит нас. Слово, лишенное любви, невнятно и напрасно. "Я не знаю, о чем с тобой говорить, поэтому убиваю тебя"; любовь — это попытка убежать от повседневного взаимного умерщвления. Любовь — это всего лишь дружеское участие, с которым одно одиночество может поговорить с другим и, если надо, проводить его во мрак. Не хочу, чтобы ты страдала. Не хочу, чтобы твой взгляд померк за тяжелой, обагренной кровью завесой. Слушай. Слушай меня. Внимательно слушай каждый мой рассказ, запоминай каждое имя. Я не хочу, чтобы ты умерла, — и я бинтую твои раны лоскутами бессмертной литературы: вот сказки, мифы, легенды, романы и рассказы, поэмы и молитвы. Венера, Ева, Ифигения, Беатриче, Федра, Анна Каренина... Бесчисленные сестры милосердия по первому зову приходят к нам из бессмертной литературы. Благословенна бессмертная литература и то упорство, с которым она негромко, тихим голосом родника говорит с нами. Чудотворна вера, на которой, как плющ, обвивший дерево, покоится эта литература: пока с нами кто-то говорит, умереть невозможно.

Четверг, 6 марта

Побудить взяться за перо может что угодно — утрата или радость, китайские тени воспоминаний, белый кит, Троянская война или запах лилий; но истинный предмет любой книги, единственная ее тема — это читатель, который держит эту книгу в руках, и волнение, которое он испытывает от чтения, от нежданной встречи с самим собой.

Трудно говорить о Боге, не нагромождая при этом гору нелепостей. Говорить о Боге бессмысленно, но можно говорить с Богом и в Боге. Если эта фраза покажется вам нелепой или выспренней, тогда, чтобы стало понятнее, можно поменять слово "Бог" на "любовь", ведь Бог и любовь равновелики. Итак, трудно говорить о любви, не нагромождая при этом гору нелепостей. Говорить о любви бессмысленно, но можно говорить с любовью и в любви.

До сих пор ушибаюсь о доски твоего гроба. Все еще силюсь что-то осознать, хотя, наверное, осознавать тут нечего, просто мне нужно достичь того высшего разумения, что видит хорошее не только на свету, но и во тьме, такого странноприимства рассудка, что не выставит за порог непостижимое, как незваного гостя или чужеземца.

Безумцы, прокаженные, бесноватые, немые, слепые, немощные — Христос терпелив со всеми. Лишь две разновидности людей ввергают его во гнев, перед ними он бессилен — глупцы и догматики. Тех и других роднит самодовольство. Никто и никогда не заставит их понять одну простую вещь: ключ к высшему познанию — в любви. Глупость и догма-

тизм — две косности, два способа почувствовать власть над миром. Никто и никогда по собственной воле не выпускает власть из рук, пусть даже эта власть иллюзорна.

Пятница, 7 марта

За три дня ни одного цветка, и это к лучшему: я слишком привык к их свету. Дошло до того, что я перестал отличать эту привычку от любви к цветам. Немного одиночества расставит все по своим местам.

Нынче утром некто из девяностых, чем-то похожий на меня, бреясь перед зеркалом в ванной комнате, оцарапал себе подбородок. Слабая боль воскресила кого-то еще, кто в пятидесятых обдирал себе коленки и локти в школьном дворе. Тот, второй, был похож на меня гораздо больше, мы вышли с ним из ванной комнаты и продолжили наш день. А того, первого, я оставил бриться в зеркальном плену.

Суббота, 8 марта

Разочароваться страшнее, чем впасть в отчаяние. Разочарование — это оскудение души, недуг, поражающий жизненные пути разума, которые, закупориваясь, мало-помалу перестают пропускать свет.

Все, что у меня есть, и все, чего нет, равно придает мне силы и веселит душу.

Воскресенье, 9 марта

Читаю Гёльдерлина. Вернее сказать, упиваюсь им. Его стихи подобны горным рекам. Зеленый ледяной сумрак. Темное бурление. Когда ты была жива, когда не обрела еще нового пристанища и загадочной нездешней улыбки, ты говорила: мне трудно его читать. Он слишком прост и слишком велик. Да, это так. В его поэзии есть что-то, перед чем робеешь. Великолепие иных стихов заставляет по-детски воскликнуть: это мне? Это правда мне? Столько золота, такая доброта — и все это для меня, вы не ошиблись? Завершая день, переписываю несколько строк — несколько солнечных зайчиков на твою могилу, для тебя, правда для тебя: "Воздух звенит ликованьем, а город и шумные рощи / Полны веселых детей вновь засиявших небес. / Рады друг другу при встрече, толпой беззаботной и шумной / Бродят повсюду они, равно любезны богам. / Дружба к ближнему светится в их загоревшихся взорах, / Всех наделил красотой некий божественный дух"[1].

Понедельник, 10 марта

Смерть — тяжелый багряный занавес. Пьеса окончена — и занавес падает, актеры снимают костюмы, стирают грим и выходят через служеб-

1. Ф. Гёльдерлин. Штутгарт. Перевод Е. Эткинда.

ный подъезд на пустую белую дорогу. Чуть помедлив, они расходятся, неся в себе тихую радость от выполненной работы и возвращения домой.

Вот картина моей жизни. Картинного в ней мало: я пришла и запела. То стыну от холода, то пылаю от зноя, и вновь пою. Я проста, безыскусна и неповторима. Однажды я исчезну. Этого никто не заметит. Конец будет не громче начала. Кончина — не конец. Я исчезну, но песнь моя останется. Она переживет меня, ибо мне не принадлежит. (Автобиография былинки.)

Среда, 12 марта

В одном "я" много "нас". Среди этих многих один молчун порой берет все в свои руки, и тогда остальные, облегченно вздохнув, принимаются друг с дружкой болтать.

Пятница, 14 марта

Руки в брюки, на ходу пинаю старую консервную банку. Иногда останавливаюсь, задираю голову и смотрю на отведенный мне квадратик неба. Или зажигаю сигарету и насвистываю песенку. Я жду. Временами что-нибудь случается: буйное торжество света, внезапное прояснение зрения. Но обычно ничего не происходит. Так я и живу, шагая по чародейке-земле. Не могу представить, что однажды перейду это поле, заросшее одуванчиками, терниями, чудесами. Я просто хожу по нему — туда-сюда. Просто брожу. Нехитрые желания, никаких планов. Никогда не принимал на веру мудрые сентенции вроде "Человек — творец своей судьбы". Не верю никому, кроме Бога.

<...>

Вторник, 18 марта

Думаю, меня не волнует почти ничего. Я написал "думаю": можно ли быть до конца уверенным, что ты настолько неуязвим? За этот факт цепляется другой: мне ничто не безразлично. Итак, вот пара крыльев, которые меня носят: отстраненность и приязненность. Первое крыло увлекает ввысь меня, второе помогает забрать с собой то, что я вижу. Разумеется, махать крыльями нужно одновременно, иначе падения не избежать.

Среда, 19 марта

Я — пустынная площадь, выметенная неясным мартовским светом. Я — платан во дворе детского сада воскресным утром. Я — дом из красного кирпича на краю заброшенной шахты. Я — стираное белье на чердаке деревенского дома. Я — клубы пыли под кроватью, картинка в забытой книге, холщовый мешок в грузовике на исходе базарного дня. Я повсю-

ду, где что-то ждет, не ожидая ничего. Подбираю то, чем пренебрегает мир. Ненужные вещи — мои лучшие советчики. Беру у них уроки, над ними — шефство. Пишу о них.

Пятница, 21 марта

Думаю о тех, кто устремляется на край света, в командировку или просто так. Думаю о тех, кто едет в поездах, плывет на кораблях, летит в самолетах. Желаю вам отыскать столько же чудес, сколько расцветает в городе, из которого я никогда не уезжал. Подобно великим покорителям пространства, я вел путевой дневник. Мой корабль, тяжелый и неповоротливый, — это дом, в котором я живу. Мой поезд с разрисованными граффити вагонами отправлялся каждый час — этим поездом был свет и краски нового дня. Дневник заканчивается незадолго до Пасхи 1997 года. Я начал вести его перед Пасхой 1996-го. Пасха — самый таинственный день в году. Все, что люди называют Историей, осеняет тайна Святой субботы. Творчество, любовь и труд — вот что нужно, чтобы попасть в воскресенье, нужно терпеливо ждать, размышляя о дожде, солнце и Боге. Дом-корабль скользит над пучиной времени. Я не знаю, когда он войдет в порт и что это будет за остановка. Быть может, когда путешествие завершится, вы скажете, что красота мира — пустой звук. Я говорю, что в ней смысл всего. Вы верите своим глазам и здравому смыслу. Я верю своей радости. Поживем — увидим. Но, боже мой, как сладок воздух! Мы выходим в открытое море весны. Середина дня. Во всем движение. Во всем покой.

Сергей Завьялов

"*Сожжение всех слов от* A *до* Z"

Французская поэзия не знала своего Пушкина (Гомера, Данте, Гёте и т. д.). Вернее сказать, когда таковой появлялся, ему как-то удавалось *ускользнуть* от исполнения посмертных обязанностей, от кавычек, делавших его "Пушкиным", "Гомером" (и т. д.). Возможно, это свойство французской культуры вообще: десяток художников-импрессионистов и философов-постмодернистов, композиторская *Шестерка* там, где в другой стране из любого имени создан был бы "нерукотворный памятник" персонального культа. В чем тут дело: в плотности ли ее артистического и интеллектуального пространства или в раблезианском неприятии монолога как еще одного проявления "постничества"?

С нею все время происходят скандалёзные вещи (lisez – scandalisez[1], как рифмовал тот же Рабле): то прижизненные кумиры подозрительно скоро становятся одиозны (но при этом остаются неповерженными, лучшим свидетельством чему знаменитый ответ Андре Жида на вопрос газеты "Эрмитаж": "Quel est votre poète?" – "Victor Hugo, hélas"[2]); то последующие поколения начинают культивировать висельников (Вийон, Нерваль), шизофреников (Лотреамон, Арто), клошаров (Бертран, Жильбер-Леконт).

Но стоит только "проникнуться" этой идеей "всерьез" и попытаться подмять под нее историю французской поэзии, как та немедленно *ускользнет*, оставив "идеалиста" с герцогом Карлом Орлеанским или Сен-Жон Персом в руках.

Как *ускользнет* и сама Франция: попробуйте-ка очертить ее границы, исходя из "нормальных" "европейских" представлений: страна-народ-язык. Что тут всё проблематично, догадался еще автор первого хрестоматийного текста о ней (Gallia est omnis divisa in partes tres... et caetera[3]), из которого становится ясно, что настоящая Gallia это как раз никакая не Gallia, а вот Belgium – это, пожалуй, что настоящая Gallia и есть. И это правда: до Второй мировой войны в трехстах километрах к западу, востоку, а главное – "широкопростирающемуся" (как сказал бы Гомер) югу от Парижа (к северу – никак, там – море) по-французски говорили лишь лица "с повышенным социокультурным статусом". Так лица, наделенные таковым, говорили на нем по всему миру.

А с чем в руках оставит *амат*ёра французская поэзия? Хотя разве что только еще польскую (тут "старый спор славян", поэтому – другая исто-

© Сергей Завьялов, 2007

1. Читайте – негодуйте (*франц.*).
2. "Кто ваш <любимый> поэт?" – "Виктор Гюго, увы" (*франц.*).
3. Вся Галлия разделена на три части... и прочее (*лат.*). Начало "Записок о Галльской войне" Гая Юлия Цезаря. (*Прим. ред.*)

рия вопроса) переводили на русский язык так плотно. И ведь до последних лет переводят. Ничего подобного антологии "Новые голоса" 1981 года[1] или серии "Билингва" начала 2000-х годов[2] ни по какой другой литературе мы не имеем. А изданные, вероятно, в подарок Полифему "700 лет французской поэзии"[3]?

Но картина остается все той же: *un coup de dés jamais n'abolira le hasard – бросок костей никогда не отменит случая,* в том смысле, что этот случай остается единственным нашим *капитаном.* И не только нашим: французская поэзия ни в малейшей степени не является экспортным продуктом. Вот где уж все по-настоящему: непонятно – значит (и прежде всего) и во Франции непонятно.

Потому что иначе к чему были бы вся эта рефлексия по поводу *смерти* (и воскрешения) автора, весь этот глубочайший анализ степеней *письма* в теории и эксперименты *без берегов* на практике, если бы можно было с обезоруживающей улыбкой объявить о том, что теперь всё стало понятно. Улыбка Ивана Миньо не означает невротического стремления поскорее снять противоречия, согласиться с собеседником и тем обрести душевный комфорт:

> уйти назад напомнило бы палиндром
> листы и ледяные звезды в глубинах лона
> движенье против света

Напротив, мы будем призваны к тончайшему и, может быть, травматичному различению *невозможности* и *возможности* на любом словесном материале: жанр ли это (и отсюда апофатическое его обозначение – *проза*), пафос:

> говорит зовут Каллироей
> не верю снимаю с нее кожу
> оставляю в этой своей прозе

или под обстрел попадет авторская возможность к изменению как таковому:

> эти слова футур-футуризм ничего не стоят и нет
> ни другого мира ни другого пути я сам из этого
> другого мира он-то и есть этот

Но поскольку *возможность* высказывания автором не отрицается, опробуем ее на самом авторе.

Иван Миньо печатается в основном в Марселе (журналы "Banana Split", "If"). Принадлежит ли он *Марсельской школе* (как Лилиан Жиродон, Фредерик Гета-Ливиани и Жан-Жак Витон)? Скорее всего, нет: скоро трид-

1. Новые голоса. Стихи современных французских поэтов. – М.: Прогресс, 1981.
2. Андре дю Буше. Пустая жара. – М.: ОГИ, 2002 (Bilingua).
Мишель Деги. Стихотворения. I–III. – М.: ОГИ, 2005 (Bilingua).
Эмманюэль Окар. Тест на одиночество. – М.: ОГИ, 2002 (Bilingua).
Кристиан Прижан. Душа. – М.: ОГИ, 2003 (Bilingua).
Доминик Фуркад. Контакт и преломления. – М.: ОГИ, 2002 (Bilingua).
3. Семь веков французской поэзии в русских переводах. / Сост. и вступ. ст. Е. В. Витковского. – СПб.: Евразия, 1999.

цать лет, как он укрылся в горах Виваре (это восточный склон Центрального массива).

Он родился в 1942 году. Принадлежит ли он к тому же поколению, что только что "прочитанные" нами Фуркад, Окар и Прижан? Тоже скорее всего, нет: в семидесятые годы было не так много публикаций (хотя и в местах заметных: *Action poétique, Change),* а потом последовал перерыв на два десятилетия.

Поэт родился и провел раннее детство на противоположном, западном склоне Центрального массива, в горах Мильваш (департамент Коррез), неподалеку от знаменитого Вентадура (откуда Бернарт де Вентадорн). Дедушка с бабушкой еще говорили между собой по-окситански (хотя это парадное название тогда еще не употреблялось). Этот язык будет прорываться у Миньо и в семидесятые годы (посвященная "злобе дня", а именно расколу среди "левых", поэма "Ответ трубадуров тыквам" и сейчас, в *прозах* последних лет). Но записать его в "окситанские почвенники"? Ничего нелепее.

Его отец был коммунистом (партизанский отряд, фашистский концлагерь, борьба в послевоенном парламенте), дебют Миньо состоялся среди поэтов с "пролетарскими симпатиями" (как это понималось в 1968 году), но говорить о нем, как и о других поэтах этих же настроений (Гранмон, Рубо, Варгафтиг, Реньо), как о "леваках", было бы невыносимой пошлостью.

Об Иване Миньо можно говорить не *как о* играющем некую роль, но *как о* том, кто нашел силы от роли *уклониться.* Поэтому любой рассказ будет наполнен *случайностями*: работа в Москве в 1970-е годы, фермерство в безлюдных горах, премия Лор Батайон за перевод Хармса, публикуемая ниже "проза о Даме", почти готовый том французского Хлебникова, проведенный собственноручно водопровод...

В этом рассказе равноправными участниками будут облака, которые видны из окна его кабинета: внизу, у подножья, так сказать *по направлению к Лангедоку,* или, наоборот, наверху, скрывающие пики, *по направлению к Оверни.* Он будет переполнен строками из *кансон* и *сирвент* по-окситански, цитат из Вергилия и Данте по-латыни и итальянски, подчас его синтаксис будет прорастать из русского *будетлянства.* И можно не беспокоиться: французской поэзии в нем тоже дадут слово — и Лотреамону, и Малларме, и ныне здравствующему Жан-Пьеру Файю.

Вокруг будут ржаветь заброшенные железные дороги, после смерти последних крестьян осыпаться каменные крыши их наследственных домов и ограды возводившихся тысячу лет полей-террас, закрываться школы и больницы, деградировать города. В "прозах" Миньо будет продолжать звучать человеческий голос, который и есть поэтический голос, если только в антропологической войне поэт *на стороне человека.*

Иван Миньо
проза о Даме

Перевод с французского Сергея Завьялова

проза о Даме

упавший со сцены лепесток
лангедокский выговор
не Сиракузы конечно хотя пираты по соседству
красная блузка резко обнажает зубы
на дорожной обочине
от солнца не в себе
мясо ее языка в поисках моего исполосованного шрамами
торчащие соски пыль гусеница
в двух прикосновениях от перевоплощенья
говорит зовут Каллироей
не верю
снимаю с нее кожу
оставляю в этой своей прозе

проза наоборот

приветствую вас вывороченные наизнанку лица
дремлющие на плахе
для разделки человечьих туш
Азорп!
как кожа вспять
потекшего стиха
как палиндром скончавшийся от голода
верлибр на губах как Велимир
хлебников скончавшийся от голода на севере России
не дожив до
тридцати семи 28 июня 1922 года
джеймс джойс к тому времени уже подробно описал
странствия его

© Yvan Mignot, 2006
© Сергей Завьялов. Перевод, 2007

в звездах и времени
мы явились сильно позже

проза о камне

пока я упиваюсь рифмами на икс
глядя в окно на телефонном
проводе пернатый птикс трясет своим хвостом
он красен но вовсе не предопределяет гори-
хвостки

пернатый посланник ужаса с его прощальным воплем
"рожает не земля, рожают женщины!"
помню как саги обрушивались каменным
дождем на балтику на рыбаков их лодки
рунами испещрены выживших хватали
по ночам в огромные черные фургоны
неповоротливые
ледяное безвременье тянулось четверть века вечность
и тогда не было ни мужчин ни женщин
только злато драгоценное злато человечьего руна
как говорится наш капитал бесценен

al poco giorno e al gran cerchio d'ombra[1]
(на склоне дня в великом круге тени)

помню
он чертил строки на камнях

проза о книге

кора свинец пемза
каждому в удел два кожаных мешка
и своя доля бегущего
дымящегося семени
sub tegmine[2] *(под сенью)*
раздвинет ноги
треснувшая самка-дерево
чтобы вымолвить бумага

1. На склоне дня в великом круге тени (*итал.*). Перевод И. Голенищева-Кутузова. Этой строкой начинается второе стихотворение, вошедшее в цикл Данте "Стихи о каменной даме", написанный еще в бытность поэта во Флоренции. (*Здесь и далее – прим. ред.*)
2. Под сенью (*лат.*).

эти слова футур-футуризм ничего не стоят и нет
ни другого мира ни другого пути я сам из этого
другого мира он-то и есть этот

как квадратные буквы пылавшие в кусте терновом

в доме Ориона два зиккурата пали
как проза Лилианы

я думаю о женщине на желтом фоне среди книг и о мертвом ребенке

он возвращается в снах моей земли
его губы бормочут единственно возможный перевод на русский
строк малларме о кружеве

бобэоби

творчество как всесожженье
и роза никому растет из пепла

проза о сфинге

плотоядная тварь
Беатриче не была ли самкой богомола?
чем была она что было на устах у ней в кругах бесплотной ночи
локон Береники
перевернувшийся пол?

проза о последней возможности

я выхожу в колючую ночь
(sic)
к потоку мерзлому звезд

к подслушанной речи Сэй-Сёнагон
и вот шевеля губами пишу

и еще:
у этих тварей порождений дьявола злобные сердца
бессердечье их прародителя
каков он их отец бог насекомых владыка таракан?
она сказать хотела
женские губы
дул сильный ветер
разлетевшиеся насекомые и проза о 10 декабря
между строк больше не совокупляются

проза о сумеречном зрении

твоя мать выговорил он эта сумеречность мать

она возвращается а может это еще и белизна стекла
я постепенно обнажаю небо выцветшее за слюдяными
веками
безутешно
я не пройду зарослями роз бессмертья
вот наши дети выбирают сейчас дорогу памяти тогда как мы
развоплощаемся осененная / оскверненная луна я грезил
о кости в алмазной голове которую ласкал урчащий стих
произнес алхимик
симфония ужаса невидимая кантата ночи
так как если бы всё было сказано
он ошибается это сожжение всех слов от A до Z

мой язык скрежещет на бумаге
деревья воют в отдаленье

синяя проза

потоки вод на землю вожделений и молока чуть-чуть что
посасывают упитанные тучки
это ли философия отчаянья
читаю гераклита под луной

страницы пылают на окраине глаз

проза о ветрах

на окраине глаз слезы
настало время выпить в последний раз перед дорогой
стаканы в пыли
и отсветы ночи в трепещущей влаге

на окраине дня

проза о лесе

рука
она шевельнулась моя рука и закрыла глаза этим призракам
цикады шальные цитаты
подъемы и спуски
напоминала хрустальный звенящий свисающий занавес

проза об изгнаньи

я вдруг вспомнил о срезанных виноградных листах как слезы
их покров словно племя не имеющее где преклонить головы
уподоблена лира его сердцевине вселенной
вселенной преисполненной роз
она плачет о шелковице исторгнутой из снов
сердцевина плачет о теле ствола
орфийствовать чтоб воротиться вспять

проза о торнаде

уйти назад напомнило бы палиндром листы и ледяные
звезды в глубинах лона
движенье против света розы пожухли
кто принудил вколоть нашу прозу татуировкой чтоб после
сжечь?

иван игнатьев лишив невесту невинности
лишив себя бритвою по горлу жизни завтра
21 января 1914 ему исполнилось бы двадцать три

он вернется к самоубийству еще раз в *зангези* в 1922 почти
день в день

как плачущая на глазах у Ницше лошадь
однако ж это рай о как
долги кровавые закаты о как прозрачен воздух перед смертью
зажги же свой светильник
зажги свой лампион катулл

и ужас тотчас войдет в писанья

тотчас
он войдет в живых

Национальные предрассудки

Переводы с английского А. Ливерганта, Т. Казавчинской

Вступление А. Ливерганта

В сборнике "Национальные предрассудки" — антологии английского нонфикшн, в которую — впервые в нашей издательской практике — войдут письма, очерки, путевые заметки, памфлеты, рецензии, биографии, дневники, воспоминания крупнейших английских писателей прошлого и настоящего, наиболее заметным жанром является эссе.

Назвать эссе, а также письма, биографии, дневники, путевые заметки жанрами "нехудожественными" (а именно так принято переводить английское non-fiction — буквально "невыдуманное", "не вымысел") язык не поворачивается: что может быть художественнее дневников Сэмюэла Пипса, памфлетов Свифта, или очерков молодого Диккенса, или дневников Вирджинии Вулф, или путевых заметок Смоллетта, Киплинга и Грина. Особенно теперь, когда во всех литературах, в том числе и в русской, факт теснит вымысел, "фикшн" теряет свою былую притягательность, на глазах превращаясь в свой буквальный перевод — "фикцию".

Очерк и эссе — не совсем одно и то же. В отличие от очерка, эссе, если оно и пишется на конкретную тему, темы этой, как правило, не придерживается. Эссе, выражаясь школьным языком, — это сочинение на *свободную* тему, а не на заданную. В книге "Национальные предрассудки" жанр очерка представлен классиками XIX и начала XX века Уильямом Мейкписом Теккереем, Джеромом К. Джеромом, Джозефом Конрадом, Бернардом Шоу, Джоном Голсуорси; жанр эссе — философом Возрождения Фрэнсисом Бэконом, просветителями Оливером Голдсмитом и Эдмундом Бёрком, романтиками Уильямом Хэзлиттом и Чарльзом Лэмом, а также широко известными и много в нашей стране переводившимися Г. К. Честертоном, Александром Милном, Дж. Б. Пристли, известным у нас лишь специалистам Хилером Беллоком и совсем неизвестными Робертом Линдом и Гаролдом Николсоном. Выступают в этом малом (но лишь по объему) жанре и авторы "больших форм" — классики английской литературы XX века Ивлин Во и Грэм Грин, а также Уинстон Черчилль — мастер на все руки: он одинаково хорошо писал книги по истории, в том числе и по истории литературы, а также очерки, статьи, эссе, памфлеты, отменно рисовал, и — last but not least, как любят говорить англичане, — много лет руководил, да еще в тяжелую годину, страной...

Круг тем английских эссеистов поистине безграничен: от страха смерти до ненависти к насекомым, от национальных предрассудков до разговора с кошкой, от размышлений о пользе и вреде тщеславия до рассуждений о радостях невежества. Подкупает английская эссеистика, конечно же, неизменным чувством юмора, неутомимыми афористичностью и парадоксальностью — не зря же Пушкин назвал Англию "отечеством карикатуры и пародии". А еще — раскованностью, легкостью обращения с материалом, а заодно и с читателем, которому авторская точка зрения никогда не навязывается. Проявляется, как видно, знаменитая английская сдержанность и здесь.

© А. Ливергант. Перевод, вступление, 2007
© Т. Казавчинская. Перевод, 2007

Некоторых из великих английских эссеистов мы представляем в данной подборке.

Антология "Национальные предрассудки" выйдет в конце года в московском издательстве "Б.С.Г.-Пресс".

Фрэнсис Бэкон

Об учении

Учение доставляет удовольствие, развивает самолюбие и способности; удовольствие достигается уединением, самолюбие — спорами, способности — здравомыслием и рассудительностью, приобретенными посредством учения. Люди сведущие способны лишь исполнять и, если судят, то разве что о частностях, советы же о ведении дел лучше всего испрашивать у людей образованных. Тратить на учение слишком много времени — праздность, учиться из самолюбия — притворство, судить о жизни по законам науки — причуда ученого. Учение совершенствует природу и совершенствуется опытом, ибо природные способности сродни посаженным кустам и деревьям: их надобно укорачивать и выравнивать; науки, как таковые, если не ограничить их опытом, дадут знания слишком общие. Хитрец науки презирает, простак ими восхищается, а мудрец ими пользуется, ибо науки учат не самим себе, но мудрости, учат тому, что вне их и над ними и что приобретается наблюдательностью. Читайте не затем, чтобы противоречить и опровергать, не затем, чтобы принимать на веру, не затем, чтобы уметь вести ученую беседу, — но чтобы оценивать и судить. Одни книги предназначены для того, чтобы их лишь испробовать, другие — чтобы их глотать, и лишь немногие — чтобы их разжевывать и переваривать. Иначе говоря, одни книги следует читать лишь частями, другие — читать, но без любопытства, а третьи — читать от начала до конца с усердием и вниманием. Некоторые книги могут читаться секретарями, которые сделают из них выписки, дабы ими могли воспользоваться другие; однако такое возможно лишь по самым незначительным поводам и в случае, если книги стоят немногого. И то сказать, книга, читаемая не полностью, столь же безвкусна, как пресная вода. Чтение делает человека цельным, беседа — находчивым, занятие литературой — точным. Вот почему, если человек пишет мало, он должен обладать прекрасной памятью; если он редко вступает в беседу, у него должен быть острый ум; если же он мало читает, он должен отличаться недюжинной хитростью, дабы притвориться, будто читает больше, чем на самом деле. Проза делает человека мудрым, поэзия — остроумным, математика — проницательным, естественная философия — глубоким, мораль — суровым, логика и риторика — искусным спорщиком. Abeunt studia in mores[1]; в действительности же нет помехи развитию ума: слабый ум можно излечить соответствующими науками подобно тому, как соответствующими упражнениями излечиваются телесные наши недуги. Так, кегли хороши для камней в мочевом пузыре и больной поясницы, стрельба — для легких и грудной клетки, неспешная прогулка — для желудка, езда верхом — для головы. А потому, если человек рассеян,

1. Занятия налагают отпечаток на нрав (*лат.*). Ставшая афоризмом цитата из Овидия (Героиды. XV, 83). (*Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, – прим. перев.*)

пусть изучает математику, ибо математическое доказательство призовет его рассеянный ум к порядку: стоит ему отвлечься, как придется начать все с самого начала. Если он не наблюдателен, пусть изучает логику, ибо она — Cymini sectores[1]. Если у него отсутствует отвлеченное мышление и он неспособен давать определение посредством сравнения, доказать одно посредством другого, пусть изучает право. Так всякий умственный изъян предусматривает особое лечение.

Оливер Голдсмит

Национальные предрассудки

Один из тех, кто принадлежит к бродячему племени смертных, я немало времени провожу в тавернах, кофейнях и других публичных местах, а потому имею возможность наблюдать нескончаемое разнообразие человеческих типов, каковые, с точки зрения человека созерцательного, вызывают куда больший интерес, чем все курьезы искусства и природы, вместе взятые. Во время одной из таких прогулок я по чистой случайности оказался в компании полудюжины джентльменов, которые горячо спорили о политике, и, коль скоро голоса их разделились поровну, в качестве третейского судьи был приглашен я, после чего мне, естественно, пришлось принять участие в дальнейшей беседе.

Разговор, среди прочего, зашел о характере европейских народов, и тут один из джентльменов, сдвинув шляпу на затылок и приосанившись так, словно в нем одном сосредоточились все достоинства английской нации, заявил, что голландцы — это шайка корыстных негодяев, французы — льстецы и лизоблюды, немцы — пьяные болваны и гнусные обжоры, испанцы — заносчивые и угрюмые тираны и что англичане превосходят все остальные народы отвагой, благородством, стойкостью и всеми прочими добродетелями.

Сие глубокомысленное замечание встречено было одобрительными улыбками всех присутствующих — всех, кроме вашего покорного слуги, который, подперев голову локтем, изобразил на лице задумчивость, всем своим видом давая понять, что размышляет о чем-то, никакого отношения к делу не имеющем, в надежде тем самым избежать неприятной необходимости объясниться...

Мой псевдопатриот, однако, отпускать меня с миром вовсе не собирался. Недовольный тем, что высказанное им мнение не вызвало у собравшихся должной реакции, он вознамерился узнать, что по этому поводу думает каждый из нас, с каковой целью, обратившись ко мне с видом самым доверительным, полюбопытствовал, не разделяю ли я его точку зрения. Как правило, я не спешу высказывать свое мнение, тем более когда у меня есть все основания полагать, что оно не придется ко двору; однако если выхода нет, я всегда считаю необходимым говорить то, что думаю. А потому я сказал "патриоту", что на его месте не высказывался бы столь безапелляционно до тех пор, пока не совершил путешествие по Европе и не изучил нравы вышеозначенных народов с должным тщанием и беспристрастностью. Непредвзятый судья, продолжал я, не побоится, в отличие от вас, утверждать, что голландцы более бе-

1. Букв.: собиратели тмина; зд.: воплощение педантизма (*лат.*).

режливы и предприимчивы, французы более воздержанны и вежливы, немцы более выносливы и терпеливы, а испанцы более степенны и уравновешенны, чем англичане, которым, спору нет, никак не откажешь в смелости и благородстве, но которые вместе с тем бывают опрометчивы и своевольны и которым свойственно почивать на лаврах и отчаиваться в трудную минуту.

Не успел завершиться мой монолог, в продолжение коего ловил я на себе завистливые взгляды сидевших за столом, как наш патриот, презрительно хмыкнув, заметил, что его всегда удивляли люди, имеющие наглость жить в стране, которую не любят, и пользоваться защитой правительства, которое в душе считают своим заклятым врагом. Когда выяснилось, что, высказав свою скромную точку зрения, я не оправдал надежд соотечественников и дал им основание усомниться в моих политических принципах, когда стало понятно, что спорить с людьми, всецело поглощенными собой, бессмысленно, — я расплатился и отправился восвояси, размышляя дорогой о нелепой и смехотворной природе национальных предрассудков и предубеждений.

Среди знаменитых изречений древности нет ни одного, что сделало бы бóльшую честь автору или доставило бóльшее удовольствие читателю (во всяком случае, читателю благородному и отзывчивому), чем слова философа, который на вопрос, из какой он страны, ответил: "Я — гражданин мира". Как же мало найдется в наше время людей, которые могли бы сказать то же самое или вести себя в соответствии с этими словами! Ныне мы стали англичанами, французами, голландцами, испанцами или немцами до такой степени, что перестали быть гражданами мира; мы настолько привязаны к своему клочку земли, к своему узкому кругу, что более не числим себя среди жителей Земли или среди членов того великого сообщества, какое охватывает все человечество.

Если бы национальные предрассудки были свойственны самым низшим и убогим существам, это было бы объяснимо, ведь эти люди не читают, не путешествуют и не разговаривают с иностранцами, а потому лишены возможности от подобных предрассудков избавиться. К несчастью, однако, предрассудки сказываются на умонастроении и воздействуют на поведение высшего сословия, то есть тех, кто, по самой сути своей, должен быть от предрассудков свободен. В самом деле, к какому бы древнему роду джентльмен ни принадлежал, какое бы высокое положение ни занимал, каким бы состоянием ни владел, — если он не свободен от национальных и прочих предрассудков, я не побоюсь сказать ему в лицо, что он низок, вульгарен и именоваться джентльменом не вправе. Да вы и сами убедитесь, что всем тем, кто имеет обыкновение кичиться своей национальностью, похвастаться особенно нечем, что, впрочем, вполне естественно. Не потому ли тонкая виноградная лоза обвивает могучий дуб, что без него ей не прожить?

Если же в защиту национальных предрассудков мне скажут, что они — прямое следствие любви к нашему отечеству и что борьба с предрассудками наносит отечеству вред, то я отвечу, что это глубокое и опасное заблуждение. То, что национальные предрассудки есть следствие любви к родине, я еще допустить могу; с тем же, что это следствие прямое и обязательное, я решительно не согласен. Суеверие и религиозный восторг ведь тоже являются следствием веры, но разве кому-нибудь придет в голову утверждать, что это естественное следствие столь благородного порыва?! Суеверие и восторг являются, если угодно, ублюдочными отростками сего божественного растения, а вовсе не его исконными ветвями, а потому могут быть от-

рублены безо всякого для него ущерба. Мало того, если их не обрубить, сие статное и раскидистое древо не расцветет никогда.

Разве нельзя любить свою страну, не питая ненависти к другим странам? Разве нельзя проявлять недюжинную отвагу и непоколебимую решимость, защищая ее законы и ее свободу, — и при этом не презирать остальной мир, не считать все прочие народы трусами и негодяями?! Разумеется, можно; будь это не так, я, скажу со всей откровенностью, предпочел бы вслед за античным философом называть себя гражданином мира, а не англичанином, французом, европейцем или кем-нибудь еще.

Уильям Хэзлитт
О *страхе смерти*

И сном окружена вся наша маленькая жизнь...[1]

Быть может, лучшим средством от страха смерти является мысль о том, что у жизни есть не только конец, но и начало. Нас ведь не заботит, что было время, когда нас не было, — стоит ли отчаиваться, что настанет час, когда нас не будет? Я вовсе не жалею, что не жил сто лет назад, во времена королевы Анны, — стоит ли принимать столь близко к сердцу, что я не буду жить спустя сто лет, во времена невесть кого?

Когда Бикерстафф писал свои эссе, я не знал, о чем он пишет, да и гораздо позже, можно сказать, "на днях", в первые годы правления Георга III, когда Голдсмит, Джонсон, Берк встречались в "Глобусе", когда Гаррик был на вершине славы, когда Рейнолдс трудился не покладая рук над своими портретами, а Стерн каждый год выпускал по тому "Тристрама Шенди", — со мной никто не советовался, я понятия не имел о том, что происходит; дебаты в Палате общин об Американской войне, стрельба на Банкерс-Хилл до меня не касались — однако ж я не видел в том ничего дурного, я не ел, не пил, не был весел и тем не менее не жаловался; я не знал тогда, что собой представляет мир вокруг, — и ничуть от этого не страдал, да и миру было так же хорошо без меня, как и мне без него! К чему ж тогда сокрушаться, что придется с этим миром проститься, лелеять слабую надежду на то, что на том свете будет не хуже, чем было на этом? Мы же не радуемся, что некие ужасные события, от которых "стынет кровь", произошли до нашего появления на свет, — к чему же в таком случае проклинать мысль о том, что в один прекрасный день мы переселимся в мир иной? Умереть — это всего лишь стать тем, кем мы были до рождения, а между тем, размышляя об уходе из жизни, никто из нас не испытывает угрызений совести, или сожаления, или отвращения. Прошлые времена мы воспринимаем как своего рода досуг: нас ведь тогда никто не вызывал на сцену жизни, не вынуждал носить мантии или лохмотья, смеяться или плакать, нас не освистывали и не награждали аплодисментами; все это время мы пролежали perdus[2], в уюте и покое, вне опасности; тысячи и тысячи веков проспали мы, не испытывая никакого желания пробудиться, беззаботным сном, глубже и спокойнее младенческого, укрытые мягчайшим и легчайшим прахом. А потому худшее, что нас ждет, — это вновь погрузиться в тот же сон и после короткого, неверного, лихорадочного существования, после пустых надежд и до-

1. У. Шекспир. Буря, акт IV, сцена 1. Перевод Мих. Донского.
2. Исчезнувшие, погибшие (*франц.*).

сужих страхов навсегда забыть дурной сон жизни!.. Вам, вооруженным воинам, доблестным тамплиерам, что почивают под каменными плитами той старинной церкви в Тампле, где непроницаемую тишину наверху и мертвую тишину внизу не нарушает гром органа, — разве вам не спится? Или вам не терпится покинуть свой вечный приют и отправиться на Священную войну? Или вы сетуете, что раны более не терзают вас, что болезни остались позади, что вы сполна заплатили свой долг перед Природой, что до вашего слуха не доносится более нарастающий стук копыт вражеской конницы или стихающие рыдания вашей дамы; жалуетесь, что, покуда земной шар совершает свое непрестанное кружение, ни один звук не проникает в мраморную вашу гробницу, не нарушает ваш вечный покой?! И ты, о, ты, к кому обращается и будет обращаться мое сердце, покуда в нем останется хоть одно живое чувство; ты, которая любила тщетно, ты, чей первый вздох был последним, — разве не будешь и ты покоиться с миром (или же станешь обливаться горючими слезами на своем ложе из холодной глины), когда это печальное сердце перестанет грустить и умрет та печаль, ради которой ты была призвана в этот мир?

Можно с очевидностью сказать, что желание жить в прошлом не идет ни в какое сравнение со страстным стремлением к посмертному существованию. Мы вполне удовлетворены тем, что наша жизнь началась тогда, когда началась; мы нисколько не жалеем, что не отправились в путешествие раньше срока; нам вполне довольно и тех испытаний, что выпали на нашу долю за прожитую жизнь. Мы не можем вслед за поэтом сказать:

> Мы помним хорошо и войны Нина,
> И старого Ассарха, и Инаха.

Да в сущности к этому и не стремимся; нам довольно того, что мы прочтем о них в книгах, мы не испытываем никакого желания переплыть безбрежный океан времени, отделяющий нас от них. То было самое начало мира, который был тогда для нас еще слишком незрел, — жить и действовать в те времена нас вовсе не прельщает. Мы не считаем, что шесть тысяч лет, прошедших до нашего рождения, пропали даром. Мы не скорбим оттого, что опоздали родиться и не увидели грандиозное маскарадное шествие человеческой истории, — и вместе с тем страшимся при мысли, что вынуждены будем выйти из зала, не досмотрев спектакль.

Объяснить столь разное отношение к прошлому и к будущему можно было бы следующим образом. Из различных источников нам известно, что происходило во времена королевы Анны и даже во времена ассирийских царей, тогда как установить, что произойдет в будущем, мы можем лишь его дождавшись; чем меньше мы себе его представляем, тем больше разгорается наше любопытство. Подобное объяснение, впрочем, весьма сомнительно, ибо в этом случае мы испытывали бы постоянное желание совершить путешествие в Гренландию или на Луну, к чему мы совершенно равнодушны. Сходным образом не стремимся мы и к тому, чтобы проникнуть в тайны будущего — разве что с целью продлить наше собственное существование. Жить спустя сто или тысячу лет мы хотим ничуть не больше, чем сто или тысячу лет назад; все дело, скорее, в том, что все мы хотели бы, чтобы настоящее мгновение длилось вечно. Более всего нас устроило бы, чтобы мы всегда оставались такими же, как сегодня, и чтобы мир оставался неизменным во все времена. Мы изо всех сил стараемся удержать то, что видим, и одна лишь мысль о том, что "увиденное" у нас отберут, ничего не оставив взамен, внушает нам панический страх. Муки расставания, разрыв некогда прочных связей, необходимость разомкнуть

объятья и отказаться от давно вынашиваемой цели — "вот что удлиняет несчастьям нашим жизнь на столько лет"[1], вызывает страх и отвращение.

О, сердце сильное!
Между тобой и миром
Согласье прочно столь,
Что разорвать его невыносимо!

Любовь к жизни, тем самым, — это не отвлеченное понятие, а привычка. Просто "быть" не составляет "естественную склонность человека"; мы тщимся быть не вообще, а в определенное время, в определенном месте и в определенных обстоятельствах. Мы предпочитаем быть сейчас, "на этом бреге времени", а не выбирать по своему усмотрению любой период будущего, не присваивать себе любые пятьдесят-шестьдесят лет вечности. Наши привязанности не ограничиваются "существованием" или "благополучным существованием" — мы испытываем неудержимую тягу к *нашей жизни*, той, какую ведем. Скалолаз ни за что не оставит свою скалу, дикарь — свою хижину; вот и мы не желаем расставаться со своим образом жизни, со всеми его преимуществами и недостатками, отказываемся заменить его любым другим. Ни один человек, думаю, не захочет променять свою жизнь на жизнь любого другого человека, какой бы успешной она ни была. Нам лучше *не быть вообще*, чем *не быть самими собой*. Есть, впрочем, довольно своеобразные люди, которые хотели бы прожить двести пятьдесят лет, чтобы увидеть, какой могучей империей станет Америка, или убедиться, просуществует ли столь долго британская государственность. Лично я этих людей не понимаю. Мне бы, скажу откровенно, хотелось дожить до падения Бурбонов. Для меня это вопрос жизни и смерти, а потому чем скорее это произойдет, тем лучше!

Молодой человек не задумывается о смерти. Он еще может поверить, что умрут другие, или согласиться с отвлеченным понятием о том, что "все люди смертны"[2], но никогда не соотнесет он сие расхожее представление с самим собой. Юность, бурная деятельность, жизнелюбие несовместимы со старостью и смертью, да и в расцвете лет мы не более, чем в беззаботном детстве, представляем себе, как такое возможно,

Чтоб то, что было теплым и живым,
Вдруг превратилось в ком живой земли...[3]

Точно так же не укладывается у нас в голове, каким образом цветущее здоровье и сила "предстанут слабостью и сединой". Даже если в минуты праздных размышлений мы и задумываемся о конце жизни, смерть кажется нам чем-то на удивление далеким, между нею и нами протянулась дистанция огромного размера, и как же не соответствует ее тяжкая, размеренная поступь нынешнему нашему веселому и беззаботному существованию! Мы всматриваемся вдаль, за линию горизонта, и нам мнится, будто расстояние от нас до него бесконечно и конец жизни наступит невесть когда, — а между тем туман, о чем мы даже не подозреваем, уже клубится у наших ног и густые тени старости уже на нас ложатся. Крайние точки нашей жизни сливаются в одну, между ними не оказалось того значительного расстояния, на какое мы по своей наивности рассчитывали, — и вместо богатых, печальных, торжественных оттенков преклонного возрас-

1. У. Шекспир. Гамлет, акт III, сцена 1. Перевод Б. Пастернака.
2. "Все люди смертны, за исключением нас самих". Юнг. (*Прим. автора.*)
3. У. Шекспир. "Мера за меру", акт III, сцена 1. Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

та, "увядших листьев прожитого", сгущающихся теней осеннего вечера мы ощущаем лишь сырой, стылый туман, который с исчезновением духа юности обволакивает все вокруг. В эти годы у нас не возникает побуждения смотреть вперед и, что того хуже, обратить свой взор вспять на все то, что с возрастом сделалось столь избитым и привычным. Радости жизни приелись, "исчезли в пучине времени", удары же судьбы были столь частыми и болезненными, что никакого желания испытывать их на себе вновь у нас не возникает. Мы не хотим ни бередить старые раны, ни вернуть себе, подобно птице Феникс, молодость, ни прожить свою жизнь дважды. Одной более чем достаточно. Срубленное дерево не вырастет. Захлопните книгу и покончите счеты с жизнью раз и навсегда!

Для некоторых жизнь подобна лабиринту, который, чем дольше мы по нему продвигаемся, становится все у́же и мрачнее; повернуть назад мы не можем и в конце концов начинаем задыхаться. Что до меня, то я, двигаясь по сужающемуся проходу, на отсутствие воздуха не жалуюсь. Такое чувство меня посещало раньше[1], когда образ человеческой жизни как мрачного лабиринта душил меня, лишал тех радужных надежд, что я лелеял в молодости. В настоящее же время я, скорее, ощущаю пустоту, отсутствие поддержки, я протягиваю руку и не нахожу того, что искал; я витаю в мире абстракций; передо мной развернута голая карта жизни, и в пустоте и отчаянии я вижу Смерть, идущую мне навстречу. В юности ее заслоняли от меня люди и чувства, да и Надежда всегда стояла между нами, словно говоря: "Не обращай внимания, старина!" Проживи я жизнь сполна, я не боялся бы смерти. Но мне не нравится, что договор жизни с удовольствиями расторгнут, договор брака с радостью не выполняется, что обещание счастья так и остается обещанием. Мои чаяния, общественные и личные, лежат в руинах; те же, что еще не до конца разрушены, смотрят на меня с издевкой. Мне бы хотелось, чтобы здание Надежды было восстановлено. Мне бы хотелось верить, как верилось в начале жизни, что человечество вправе питать надежду на будущее. Мне бы хотелось оставить по себе хорошую память. Мне бы хотелось, чтобы мое тело предала земле дружеская рука. На этих условиях я готов, пусть и неохотно, отойти в мир иной. Вот тогда я напишу на своей могиле: БЛАГОДАРЕН И УДОВЛЕТВОРЕН! Но я думал и страдал слишком много, чтобы согласиться думать и страдать понапрасну. Когда я оглядываюсь назад, мне порой кажется, будто я всю жизнь проспал на склоне холма знаний: во сне мне являлись книги, мысли, картины, и до меня, будто сквозь сон, доносился нестройный шум великого множества людей, суетящихся внизу, у подножья холма. Пробудившись от этого сумеречного существования и обнаружив, что происходит вокруг, я испытал желание спуститься в вещный мир, принять участие в общем деле. Но, боюсь, я опоздал, и лучше бы мне в очередной раз вернуться к своим книжным химерам и праздности. "Zanetto, lascia le donne, e studia la matematica"[2]. Подумаю об этом.

Ничуть не удивительно, что созерцание и страх смерти становятся для нас более привычными по мере приближения к ней, что жизнь словно отступает с расстройством здоровья и упадком духа и что по мере того, как все, нас окружающее, оказывается подверженным постоянным переменам и случайностям, по мере того, как убывают наши силы и красота, надежды и страсти, по мере того, как покидают нас наши друзья и наши привязанности, — мы постепенно начинаем ощущать себя смертными!

1. Помню, я испытал подобное чувство при чтении "Дона Карлоса" Шиллера, где смерть описывается столь живо, что я еле совладал с собой. (*Прим. авт.*)
2. "Занетто, оставь женщин и займись математикой" (*итал.*).

Смерть я наблюдал всего раз — то был младенец. Было это много лет назад. Взгляд умершего был спокойным и безмятежным, выражение лица — красивым и твердым. Казалось, будто в гробу, в окружении цветов, лежит фигура, вылепленная из воска. Казалось, передо мной, скорее, образ жизни, нежели смерти! Дыхание не оживляло губы и грудь, ни образы, ни звуки никогда больше не войдут в эти глаза и уши. Я смотрел на мертвеца и не видел в выражении его лица боли; казалось, он радуется, что скоротечным мукам жизни пришел конец... Помню, я не мог примириться с мыслью, что на младенца опустится крышка гроба, я словно задыхался — и все же, когда теперь я вижу, как ветерок колышет густую траву над его могилкой в дальнем конце кладбища, на сердце становится легче.

Изображение из мрамора или слоновой кости, наподобие памятника двум детям в Чентри, вызывает истинный восторг. Почему мы не сокрушаемся, что мрамор не живой, что ему не хватает дыхания? Он и не был никогда живым, и трудность перехода от жизни к смерти, борьба между жизнью и смертью в нашем воображении — вот что, собственно, сбивает нас с толку, ставит в тупик, наводит на мысль, что мертвый младенец по-прежнему хочет дышать, радоваться жизни, смотреть по сторонам, чему препятствует ледяная рука смерти, сковывающая все его способности и притупляющая чувства; что, если б он только мог, он бы пожаловался, что изваян из камня. Быть может, религия примиряет наш рассудок с этой переменой скорее, нежели все прочие соображения, ведь вера изображает дух освободившимся от тела и улетевшим в иные сферы. Вот почему, предаваясь размышлениям о смерти, мы поневоле сравниваем ее с жизнью, отчего она и выглядит таким чудовищным монстром. Мы думаем не о том, что чувствуют мертвецы, а о том, какие чувства должны испытать мы сами:

> И из могил взывает глас Природы,
> И в прахе пламя жизни негасимо.

Позволю себе привести здесь великолепный отрывок на эту тему из сочинения Такера "Следование свету природы":

Печальное зрелище безжизненного тела, его последняя обитель — мрачная, холодная, тесная и одинокая — потрясает воображение; воображение, но не рассудок, ибо всякий, кто обратится к рассудку, сразу же обнаружит, что во всех этих обстоятельствах нет ровным счетом ничего зловещего. В самом деле, если положить труп в кровать, накрыть одеялом, да еще затопить в комнате камин, покойника все равно не согреешь; если с наступлением сумерек зажечь хоть сотню свечей, покойник все равно не прозреет; если не опустить его в могилу, свободу он все равно не обретет; если окружить его людьми, это его все равно не развеселит, — да и искаженные черты его лица не выражают ни боли, ни тревоги, ни печали. Все это знают, все наверняка согласятся с только что сказанным, — и тем не менее мы не способны не только смотреть на мертвое тело и могилу без содрогания, но даже помыслить о них. Нам хорошо известно, что всякий живой человек тяжко страдает при виде подобного зрелища, а потому оно привычно действует на наш ум и вызывает ужас, который усиливается еще больше из-за существующих у нас обычаев.

К страху смерти, помимо нашего желания, примешивается еще одно болезненное чувство. Происходит это, когда мы пытаемся представить себе, как отнесутся к нашей кончине другие. Будь мы уверены, что нас станут оплакивать, мы могли бы особенно не беспокоиться. Увы, па-

тетическая просьба покойного, начертанная на могильном камне на сельском кладбище: "Не плачьте обо мне, любимые жена и дети", как правило, неукоснительно исполняется. Оттого что мы склонны преувеличивать свою значимость, что утешаем себя сочувствием окружающих, мы полагаем, что наш уход явится для общества невосполнимой потерей. Увы, даже для родных и близких потеря эта не столь велика — рана затягивается быстрее, чем можно было ожидать. И все же наш *дом* нередко оказывается лучше *улицы*; на следующий день после нашей смерти люди ходят по городу точно так же, как и раньше, и их число не становится меньше. Пока мы были живы, мир, казалось, существует только для нас, ради того, чтобы ублажить нас и развлечь. Но вот наше сердце перестало биться — а все идет по-прежнему, и мир после нашей смерти задумывается о нас никак не больше, чем при нашей жизни. Миллионы людей лишены сантиментов, и мы с вами для них то же, что обитатели Луны. В лучшем случае нам воздадут должное спустя неделю в воскресной газете и, если очень повезет, в конце месяца напечатают некролог! Что ж удивляться, что нас забывают, не успеваем мы сойти со сцены жизни, — когда мы стояли на ней, нас не замечали точно так же! Мало сказать, что наши имена неизвестны в Китае — о них не слышали и на соседней улице. Мы считаем себя частью вселенной и полагаем, что вселенная обязана нам не меньше, чем мы ей. Это — очевидное заблуждение. Впрочем, если это не беспокоит нас сейчас, то в загробной жизни не будет беспокоить тем более. Пригоршня праха не способна ссориться с соседями или подать жалобу на Провидение; обладай она способностью говорить, она бы воскликнула: "Ступай своим путем, старый мир, вращайся в небесах, нам с тобой больше не по пути!"

Поразительно, как быстро забываются богатые и знатные и даже те, кто при жизни обладал огромной властью:

> Деньгам и власти
> Чуть достанет силы,
> Чтоб дотянуть от колыбели до могилы[1].

Пройдет совсем немного времени, и от власти и денег не останется и следа. Принято считать, что "память о великом человеке способна пережить его не более чем на полгода". Наследники и преемники прибирают к рукам его титулы, власть и богатство — все то, чем был он славен, из-за чего ему угождали, — и от него не остается ничего, что бы приносило радость или пользу миру. Между тем потомки вовсе не так уж безразличны к нашей памяти, как может показаться, но свои благодарность и восхищение они воздадут лишь тем, кто принес им пользу. Память они сохранят лишь о тех, кому обязаны наставлениями и удовольствиями, и помнить нас будут ровно столько, сколько мы им, в их представлении, дали. Чувство восхищения возникает только на этой почве, и это совершенно естественно[2].

Наша изнеженная любовь к жизни является следствием искусственного состояния общества. Раньше люди предавались опасностям войны, или ставили на кон все, что у них было, или же отдавались безудержной страсти, и если в этом не преуспевали, жизнь становилась для них обу-

1. Строки из поэмы "Гронгарский холм" валлийского поэта Джона Дайера.

2. У нас принято несправедливо возмущаться огромными гонорарами певцов, актеров и пр. Но ведь их гонорары суть деньги, которые по доброй воле платят их почитатели, и если б эти певцы и актеры не приносили театру прибыль, их бы не нанимали. Эти суммы напрямую зависят от числа зрителей, которым их выступление доставляет удовольствие. Таким образом, таланты певца, актера и пр. стоят ровно столько, сколько они зарабатывают. (*Прим. автора.*)

зой. Теперь же наша сильнейшая страсть — это витание в облаках, наш основной досуг — чтение новых пьес, новых стихов, новых романов, и всем этим можем мы заниматься сколько душе угодно, абсолютно ничем не рискуя, ad infinitum[1]. Если мы перечтем старинные истории и рыцарские романы, написанные до того, как belles-lettres[2] до предела упростила человеческие отношения и свела страсть к пустой, бесцельной игре словами, то увидим, что их герои и героини не разменивают свою жизнь по пустякам, но высоко ее ценят и бросают вызов судьбе. Они устремляются в пучину любви со всей страстью, на какую только способны, и ради достижения цели ставят на карту все. Остальное их не интересует. На смерть они идут как на брачное ложе и безо всяких угрызений совести жертвуют собой или другими во имя любви, чести, веры или любого другого всепоглощающего чувства. Ромео, стоило только ему узнать, что он лишился своей Джульетты, разбивает "о скалы свой усталый челн"[3]; Джульетта же, в свою очередь, прежде чем умереть, обвивает его шею руками, следуя за ним к тому же роковому пределу. Одна страстная мысль завладевает умом и подчиняет себе все остальные, и жизнь, лишенная этих страстей, становится постылой и даже ненавистной. В подобном безразличии, однако, больше фантазии, больше чувства и готовности действовать, чем в нашем тупом, упрямом желании сохранить свою бренную жизнь любой ценой. Быть может, лучше и честнее бросить дерзкий вызов судьбе и в случае неудачи мужественно пойти до конца, чем влачить приевшееся, бездуховное, бессмысленное существование ради того лишь, чтобы (как говорил Пьер) "его лишиться в пьяной потасовке" по самому пустяшному поводу. Разве не было мученичества, беззаветной энергии варварства в этом дерзком вызове смерти? Разве не содержится этот вызов и в религии с ее слепой верой в будущую жизнь, верой, что уменьшает цену жизни земной и вносит в наше воображение нечто, к этой жизни отношение не имеющее? Не потому ли простой солдат, пылкий влюбленный, доблестный рыцарь могли позволить себе презреть мирские заботы и устремиться в объятия будущего, которого так боится современный скептик при всем своем хваленом разуме и выхолощенной, изнеженной философии? Сам я отвечаю на этот вопрос утвердительно, а впрочем, мне уже пришлось излагать здесь эту точку зрения, и больше останавливаться на ней я не стану.

Активная, полная опасностей жизнь уменьшает страх смерти. Она не только дает нам силы переносить боль, но и на каждом шагу учит нас зыбкости нашего земного существования. Люди ученые, ведущие замкнутый образ жизни, ощущают эту зыбкость особенно остро. Таков был доктор Джонсон. Несколько лет были для него ничто в сравнении с теми глубокими размышлениями о времени и вечности, коим он предавался. Ведущий созерцательную жизнь литератор не испытывает страха смерти. Он может сидеть в кресле и вести нескончаемые беседы с вечностью. Ах, если бы так оно и было! В конечном счете, только правильно оценивая жизнь, сумеем мы избавиться от неодолимого страха смерти. Если мы хотим и дальше жить, потакая нашим своевольным желаниям и пылким страстям — лучше уж сразу отправиться на тот свет. Если же нашу жизнь мы оцениваем в соответствии с тем смыслом, какой из нее извлекаем, боль, которую мы испытываем от расставания с ней, непереносимой не будет!

1. До бесконечности (*лат.*).
2. Беллетристика (*франц.*).
3. У. Шекспир. Ромео и Джульетта, акт V, сцена 2. Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

Хилер Беллок

Разговор с кошкой

На днях я зашел на станции в бар и, заказав пива, сел за пустой столик в углу поразмышлять наедине с самим собой о трагическом одиночестве человеческой души. Свои размышления начал я с того, что попытался себя утешить: в своем одиночестве я, дескать, не одинок, однако вскоре понял, что ничего у меня не получится, — сердцу этих утешений было явно недостаточно. Скорее всего, я нашел бы в конце концов какой-нибудь менее банальный аргумент, но тут судьба (а может, счастливая звезда) послала мне рыжую пушистую кошку.

Если справедливо, что у каждого народа такие кошки, каких он заслуживает, то англичане, вне всяких сомнений, кошек заслужили — на всем белом свете не найдется кошек более процветающих и дружелюбных, чем кошки английские. Но эта кошка даже по английским меркам была на редкость хороша собой и благодушна — исключительно благодушна. Она вознеслась мне на колени, устроилась поудобней и изящно и вместе с тем робко, словно здороваясь, протянула мне свою правую переднюю лапу, повела на меня глазом, светящимся озорной и в то же время невинной любовью, и улыбнулась в усы чему-то своему.

На такое поведение не мог бы не отреагировать даже самый застенчивый мужчина. И я отреагировал. Я даже позволил себе погладить Аматею (сие видение явилось мне под этим именем), и, хотя начал я ее гладить почтительно, как принято вести себя с таинственными незнакомками, очень скоро почтение сменилось нежностью: я обрадовался, что у меня нежданно появился друг — да, оказывается, даже здесь, на конечной станции, можно завести друзей. От ласки я перешел (как полагается) к делу и сказал:

— Аматея, красивейшая из кошек, почему, скажи, удостоила ты меня своим вниманием? Ты признала во мне друга всего, что дышит и движется, или ты точно так же, как и я, страдала от одиночества, хотя, насколько я понимаю, ты находишься неподалеку от своего дома, от всего, что тебе близко и дорого? Или же в сердцах животных, как и в сердцах некоторых представителей рода человеческого, сохранилась еще жалость? Чем, скажи, ты руководствовалась? А может, зря я задаюсь этими вопросами? Может, следовало бы принимать твое благодеяние молча, как дар небес?

На все эти вопросы Аматея отвечала громким урчаньем; она прикрыла глаза, дав этим понять, что наша встреча доставляет ей неизъяснимое наслаждение.

— Мало сказать, что я польщен, Аматея, — продолжал я в ответ на ее нежное урчанье. — Я утешен. Я ведь и подумать не мог, что в мире осталось хотя бы одно живое, да к тому же столь ослепительно красивое существо, которое было бы способно на чувство бескорыстного товарищества. Ты обращаешься ко мне без слов, и это весьма похвально, ибо в словах — источник всех наших разногласий, истинная же любовь бессловесна. Так по крайней мере написано в одной книге, Аматея, которую я на днях перечитывал. Но уверяю тебя, в этой книге ни слова не говорится о тех жестах, что лучше всяких слов, и о той нежности, с какой я продолжаю ласкать тебя со всей благодарностью своего бедного сердца.

На это Аматея ответила легким, но вовсе не надменным кивком головы, после чего вновь свернулась калачиком в полном благорастворении.

— О прекраснейшая Аматея, многие восхваляли тебя, пушистейшая из пушистых, прежде чем к сему хору славословий присоединился я. И многие еще будут восхвалять тебя, причем некоторые — на одном с тобой языке, когда меня уже не будет с тобой рядом. Но никому не дано оказывать тебе должное с большей искренностью, ибо нет на свете человека, который знал бы лучше, чем я, что у кошки четыре достоинства: закрытые глаза, густая шерсть, молчание и любовь, пусть и показная.

При слове "показная" Аматея подняла голову, нежно взглянула на меня, снова вытянула лапу, касаясь моей руки, а затем, как и прежде, превратилась в сладко мурлычущий пушистый комочек.

— Тебе хорошо, — с грустью произнес я. — Смерть тебя не гнетет. В твоем самодовольстве нет места предчувствию смерти, страху расставания. И по этой причине ты мне нравишься еще больше, кошка. Ведь если тебе и таким, как ты, дана природой безмятежность, почему бы и нам, людям, не последовать твоему примеру — не думать о том, что нас ждет, и не вспоминать, что было и безвозвратно прошло. Я также благодарен тебе, Аматея, моя златокудрая Аматея (оттого, что знакомство наше продолжалось уже целых пять минут, и оттого, что предмет моей любви не проявлял никакой несговорчивости, я сделался излишне фамильярен), за то, что ты напомнила мне о моей юности и каким-то неуловимым, таинственным образом ее мне на мгновение вернула. Ибо даже у погрязшего в страданиях рода человеческого есть возраст, благословенный юный возраст (о, моя кошка!), когда тело полностью тебе подчиняется, когда сон долог и глубок, когда чувство неприязни либо неизвестно вовсе, либо вызывает смех и когда надежда охватывает все наше существо подобно тому, как тебя, Аматея, охватывает сладкая дрема. Да, мы, обреченный род людской, тоже умеем ценить отдохновение. Но если ты пребываешь в покое с того времени, когда была еще слепым котенком, до последнего дня отпущенного тебе столь недолговечного срока, — для нас покой, увы, мимолетен. А впрочем, досаждать тебе жалобами смертного я не стану — с моей стороны это была бы дурная услуга за твое добро ко мне. Неужели ты думаешь, что тебе, выбравшей меня из семи миллионов лондонцев, дабы столь щедро ниспослать мне душевный покой, проявить столь нежданную нежность, буду я рассказывать о страданиях всех тех, о ком ты знаешь лишь, что они кормят тебя, дают тебе кров или же проходят мимо? Ты, во всяком случае, не принимаешь нас за богов, как это делают собаки, за что я также весьма тебе признателен. И не только за это.

Тут Аматея медленно поднялась на все четыре лапы, выгнула спину, зевнула, посмотрела на меня с улыбкой, еще более лучезарной, чем раньше, и стала ходить кругами, готовя себе новое ложе на моем пиджаке, после чего вновь улеглась и, как и прежде, сладко заурчала.

Стоило только мне убедиться, что истинная любовь явилась мне из пустоты и никчемности этого мира и будет впредь согревать мою душу, стоило мне поверить, что многолетняя безысходность сменилась прежним жизнелюбием, тягой к свету и добру — и все благодаря доброте вновь обретенного любящего существа, — как нечто "вырвало счастье из уст смертного" (Таппер[1]) и сделало это столь же стремительно, сколь и безжалостно. Не иначе как вечный враг всего сущего вложил нижесле-

1. Мартин Таппер (1810–1889) — английский писатель и поэт; известен прежде всего "Философией в поговорках" (1838–1876).

дующую фразу в мое сердце, ведь мы игрушки в руках высших сил, иные из которых находятся на службе у порока.

— Ты никогда не покинешь меня, Аматея, — на свою беду вымолвил я. — Я не потревожу твой сон, и мы будем сидеть здесь до конца света; я буду тебя обнимать, ты — грезить о райских кущах. И ничто не разлучит нас — тебя, мою кошку, и меня, твоего человека, Аматея. Навсегда, на веки вечные покой нам с тобой обеспечен.

И тут Аматея вновь поднялась и незаметным, совершенно бесшумным движением безукоризненных лап спрыгнула на пол и, оглянувшись через плечо, медленно пошла прочь. Теперь у нее была совсем другая цель, и когда она величественно и изящно приблизилась к двери, которую искала, какой-то низкорослый, малоприятный тип, стоявший у стойки, произнес: "Кис-кис-кис". И, нагнувшись, ласково почесал мою кошку за ухом. Аматея подняла голову и воззрилась на него с такой чистой и неподдельной любовью, какой не бывает на свете, после чего потерлась об его ногу в знак священной дружбы. Той, что не умрет никогда.

Перевод А. Ливерганта

Гилберт Кийт Честертон

Критик

Фрагмент из книги "Джордж Бернард Шоу"

...Сейчас не верится, но Шоу оценили по достоинству не сразу, чему есть некая причина, хотя писать о ней и нелегко. Я часто слышу от людей, что Шоу их морочит, и не пойму, о чем они толкуют. По-моему, он оскорбляет их намеренно. Его манера говорить, тем паче о морали, всегда пряма и основательна — у кучеров она сложней и тоньше. Богатый обыватель сетует, что Дж. Б. Ш. его дурачит. Но Шоу его вовсе не дурачит, а прямо и открыто говорит, что тот дурак. Джордж Бернард Шоу зовет домовладельца вором, а тот, вместо того чтобы вспылить и оскорбиться, твердит: "Ну и хитрец! Такого не поймаешь на́ слове!" Джордж Бернард Шоу зовет политика лжецом, а тот приходит в восхищение: "Что за причудливый, непостижимый и запутанный ход мыслей! Сложнейшая игра нюансов!" Я нахожу, что шутки и слова писателя всегда ясны и значат то, что значат, — он призывает публику покаяться. Посредственности думают, что смысл его речей неуловим и тонок, на деле же он прост и оскорбителен, и всякий раз, когда им надирают уши, они скулят, что их водили за нос.

Своей стремительной язвительности он выучился под открытым небом, когда был уличным оратором, чем по праву гордится. С неотразимым здравомыслием он похваляется своей новейшей демагогией и требует подать ему тележку с рупором. Всем памятно, как в первом действии прекрасной пьесы "Сирано де Бержерак" герой вместо того, чтобы появиться че-

рез дверь или окно, вскочив на стул, вдруг вырастает над толпой: "les bras croisés, le feutre en bataille, la moustache herissée, le nez terrible"[1]. Не стану утверждать, что у Бернарда Шоу, когда он вырастал над Трафальгарской площадью, была воинственно заломленная шляпа или огромный грозный нос, но если Сирано хорош, когда внезапно воспаряет над собравшимися, то хорош и Шоу, взобравшийся на самодельную трибуну. Хоть я не знал его в те годы, но вижу мысленно, как молодой, уж, наверное, не менее подвижный, чем сейчас, рыжеволосый, бледный, он впервые подымается на перевернутую тачку или бочку в колеблющемся свете фонарей...

Не нужно забывать, что Шоу заблистал в то историческое время взлета остроумия, которыми обычно завершаются серьезные эпохи. То был бесцветный промежуток, явивший миру поколение юных старичков, чьим богом стал Оскар Уайльд. Но сам Уайльд был глубже и опаснее их чопорной, благопристойной, усредненной наглости. Когда повсюду разнеслось, что Шоу остроумен — а с этим трудно спорить, — и что его остроты повторяют, как за Уайльдом и Уистлером, и что это он сказал "семь смертных добродетелей", все приготовились увидеть денди — очередного денди: язвительного, едва цедящего слова, невозмутимого и саркастичного, с заранее заготовленной сиротливой эпиграммой, единственной, как жало у пчелы. Когда же новый острослов предстал воочию, то все увидели, что у него нет ни натянутой улыбки, ни тихого благоприличия официанта, ни фрака с крашеной гвоздикой, ни страха опозориться, сойдя за дурака, а не за джентльмена. Словоохотливый ирландец в коричневатом сюртуке, с глубоким голосом и смелыми повадками хотел быть убедительным, и только. Само собой, и у него были свои приемы, свои излюбленные трюки, но, слава богу, он развеял чары человечка с моноклем, сковавшего за столькими столами веру и веселье.

К приятной наставительности голоса, тощей фигуре, важной осанке и разболтанной походке прибавим также и черты лица: обличье Мефистофеля с нависшими, кустистыми бровями и рыжей бородой двузубцем — поистине находка для карикатуристов. Как ни легко понять их радость, они перестарались, подчеркивая в нем лишь сатанинское, и доброты в его чертах не меньше, чем насмешки.

Начав работать, Шоу находил дорогу ощупью. Он выступал в трех ипостасях: как театральный критик, как музыковед и как обозреватель выставок. И всюду, разумеется, ратовал за новый стиль и самую передовую школу, писал со страстью — как и обо всем, но музыка было ему дороже прочего.

Обычно математики предпочитают музыку поэзии. Таков и Шоу, и потому, желая похвалить Шекспира, он непременно назовет его стихи "музыкой слов". Любовь логика к музыке понять нетрудно. Как и другим, ему необходимы чувства и романтика: в жизни любого человека, достойной называться этим словом, нет ничего важнее чувств. И логик ищет их в поэзии. Но ощущает лишь растерянность и раздражение — знакомые слова звучат там непривычно. Он полагал, что знает слово "видеть", но Мильтон говорит, что видит и в кромешной тьме. Он полагал, что знает слово "скрыться", но Шелли пишет, что поэт укрылся в свет. Наш логик полагал, что смысл "висеть" ему понятен, но, если верить Уильяму Шекспиру из Стратфорда-на-Эйвоне, гребни неистовых морских валов висят на скользких облаках. И логик отворачивается от

1. "Руки его скрещены, шляпа — лихо заломлена, усы торчат, нос грозен" (*франц.*). Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

поэзии. Слова для него — точный инструмент. Его мутит, когда их применяют не по назначению. И с чувством облегчения он предается музыке, где есть все то, что и в поэзии: и вдохновение, и чистота, и сила, и очарование, но без словесных вывертов, вроде того, что в свет можно укрыться и темноту увидеть в темноте. Музыка есть красота. Свободная от формы, чистая стихия, где можно плыть, не возвещая и не отрицая истину. Конечно Шоу не чета математическим педантам, но чувства их похожи. Он обожает музыку за то, что весь словесный реквизит романтиков, и подлинный, и ложный, ей не нужен. Музыка романтична без всякого намека на Шекспира или Скотта, а с ними он не ладит. Музыка "католична" и за стенами католического храма, в котором он ни разу не был, но убежден, что там ему не место. Шоу не против композитора Вагнера, который изъясняется без слов, но с человеком Вагнером он бы наверняка повздорил. Пожалуй, музыка для трезвого ирландца (а любит он ее так сильно, что, говоря о нем, нельзя начать с чего-либо другого) играет роль предохранительного клапана.

Возможно, погружаясь в стихию музыки, Шоу становится иным, неузнаваемым, неведомым ни мне, ни миру. Но пишет он о ней с немалой долей гениальности и — узости. Из написанного ясно, что он не признает романтики. Очень возможно, что, садясь за пианино в своей комнате, он щегольски сдвигает шляпу, и обнажает шпагу, и даже осушает чарку. Но из речей его я вижу, что понимает он не все. Быть может, на концертах он проницает сущее, и Бога, и меня — тут я смолкаю и почтительно откланиваюсь. Как хорошо, когда в герое есть такие тайные глубины: биограф держится скромнее, а посему и хроника звучит занятней.

Как музыкальный критик, Шоу провозгласил себя апологетом Вагнера и разразился множеством изысканных и желчных панегириков этому мятежнику музыки. С другими видами искусства было так же. Став в музыке адептом Вагнера, а в живописи — Уистлера, он в театре стал адептом Ибсена, и это главное, о чем пишу я в этой книге.

Получив с легкой руки Уильяма Арчера[1] отдел театра в газете "Сатердей ревью", он заблистал "звездою сцены", или, скорее, метеором, или даже разрушительной кометой. Тот день, когда он начал там печататься, стал первым днем веселой, честной битвы, взорвавшей тишину ползучего, циничного распада, которым завершался век. Теперь он наконец обрел свою тележку и свой рупор и счел их трубами Страшного суда и колесницей Апокалипсиса. Ему недоставало раболепия обычного мятежника, бунтующего против короля и церкви, и не более того. Такие мятежи были всегда — как короли и церковь. Он пожелал обрушиться на нечто доброе и мощное, а также на святое, на что никто и никогда не посягал. Ему неинтересно было слыть одним из атеистов — ему необходимо было замахнуться на нечто такое, что почитают даже атеисты. Ему претило быть революционером, которых пруд пруди и без него. Ему хотелось покуситься на святыню, которой дорожат даже насильники и нечестивцы. Он должен был низвергнуть то, о чем "Фри тинкер" говорит в передовой устами Фута не менее благоговейно, чем Литтон Стрэчи[2] в передовой "Спектейтора", и он обрел желаемое. Он отыскал великую, незыблемую ценность, имя которой — Уильям Шекспир.

1. Уильям Арчер (1856—1924) — английский журналист и театровед.
2. Литтон Стрэчи (1880—1932) — английский эссеист и литературовед, автор ряда биографий.

Нападки Шоу на Шекспира, при всей своей карикатурности, нимало не были подвохом или обдуманным, диким эпатажем. Он говорил как на духу, и то, что люди называли несерьезностью, было весельем человека, который радуется, говоря, что думает на самом деле, а это вправду лучшая из радостей. Развенчав слепое поклонение пришельцу с Эйвона, сказать по правде, Шоу совершил благое дело. Такое поклонение вредило Англии. На нем взошло опасное самодовольство, которое заставляло нас думать, что Шекспир не просто величайший поэт, а неподсудный критике, единственный. Это вредило и словесности, ибо набросанный вчерне, неотшлифованный шедевр прослыл искуснейшей поделкой. Оно вредило и морали, и религии, ибо, воздвигнув эдакого огромного идола, мы слепо и бездумно идеализировали такое же, как мы, дитя человеческое. Конечно, если бы не собственные недостатки, Шоу не разглядел бы недостатки Барда. Но чтобы устоять перед такой поэзией, необходимо было быть равновелико прозаичным. Ведь не случайно сокрушать скалу сирен отправили глухого.

В борьбе с Шекспиром отразились три особенности Шоу — о них мы писали выше. Отчасти важно было то, что он ирландец и порицает англичан, которые творят религию из своего художественного вкуса, внушенного им в детстве тетушками и дядюшками. Шоу твердил, что мы не наслаждаемся, даже не восхищаемся Шекспиром, а, грубо говоря, божимся им. Он бог, а к богу следует взывать. От Шоу требовалось малое: лишь показать, что почитаемое надлежит хулить. Отчасти то была позиция прогрессиста, который одержим идеей нового и борется с засильем прошлого, или, скорей, с самой историей. По мнению Шоу, пророкам нужно воздвигать гробницы, а после побивать их каменьями. В нем говорила дерзость янки, которого мутит от власти мертвеца, пролежавшего в земле три века, — подобно Марку Твену, он требовал выбрать труп посвежее.

Его любовь к прогрессу и происхождение важны, но суть не в них. С Шекспиром воевала не на шутку третья — пуританская — часть его души. Он обличал его, как только что покинувший молельню пуританин в высокой шляпе с жесткими завязками усовещивал бы современника-актера, который вышел из своей уборной в театре "Глобус". Газеты распустили слух, что Шоу хвастает, будто пишет лучше Шекспира. Это неправда, и обидная. Кого он в самом деле ставил выше — это Беньяна[1]. Он показал и мужество Беньяна, и его отношение к жизни как к возвышенному и ответственному приключению. В Шекспире же он не видел ничего хорошего, один греховный пессимизм — тщету пресыщенного сластолюбца. По мысли Шоу, Шекспир только и мог, что заклинать "Догорай, огарок", ибо тот был лишь бальной свечой, тогда как Беньян хотел возжечь свечу, которую по милости Господней не загасить.

Парадоксально, но через главный свой изъян — нечуткость — Шоу пришел к прекраснейшей из всех своих идей. Шекспира он хулил по недоразумению, но пессимизм Шекспира поносил разумно. Тут проявилось настоящее величие Шоу — его серьезное, трагическое жизнелюбие. Жизнь слишком хороша, чтобы ею наслаждаться. Она сурова и тяжка, и трубный глас волнует и страшит. Шекспира он не понимал как пуританин, которому католик чужд по духу, а Шекспир — католик. Пу-

1. Джон Беньян (1628—1688) — английский писатель-пуританин, автор аллегорического романа "Путь паломника" (1678). За проповедническую деятельность провел в заключении 12 лет.

ританин рвется постичь истину, католик довольствуется тем, что она существует. Пуританин хочет стать сильным, чтобы быть тверже, католик — чтобы быть гибче. Шоу не принимал унылые признания Шекспира — по большей части жалобы на смену настроения, которые порою разрешает себе тот, кто крепок в вере. "Все суета сует", "жизнь — тлен", "любовь — прах" — такие вольности и шутки католик позволяет себе выговорить вслух, ибо не сомневается ни в вечной жизни, ни в небесной любви. И в радости, и в горе он разрешает себе больше пуританина. Переизбыток горести у Гамлета, по сути, то же, что кипенье радости у Фальстафа. Не думайте, что это я придумал, — так говорит Шекспир. Ведь даже признаваясь в пессимизме, Гамлет роняет, что таково лишь чувство, а истина в другом. Это ему возвышенные небеса кажутся лишь грязным скопищем паров, и только для него венец творения — человек — лишь квинтэссенция праха. Гамлет — полная противоположность скептику. Его мощный ум верит сильнее, чем позволяет вялый темперамент. Эта способность знать, не ощущая, и верить, не чувствуя, — старое католическое противоречие, не доступное уму пуританина. И сознаваясь в грусти и тоске — чаще всего устами злодеев и неудачников, — Шекспир не противопоставляет их уму. Его стенания о суете сует — все та же безобиднейшая суета. Боюсь, читатели не согласятся, что он католик с большой буквы, но думаю, не станут возражать, что он *католик*, и это главное. Шекспир, скорее, был не пессимистом, а столь глубоким оптимистом, что наслаждался даже пессимизмом, чем и разнился, в основном, от пуританина. Истинный пуританин не чопорен — может и чертыхнуться. Тогда как елизаветинский католик в порыве раздражения готов отправить к черту все на свете.

Незачем говорить, что "нехорошему" Шекспиру, достойному лишь развенчания, Шоу противопоставил "хорошего" Ибсена, заслуживающего прославления. Ему мало было сравнить Шекспира с Беньяном. В его искрометных статьях, выходивших в "Сатердей ревью", все вертелось вокруг главного — сравнения Шекспира с Ибсеном. Со всем присущим ему пылом он ринулся в спор о великом норвежце. Понятно, за кого он ратовал. Но в избранной им "линии защиты" было немало личного. Сейчас не время ворошить этот потухший кратер. Вы скажете, что ибсенизма нет, что нет ни Ибсена, ни спора, и можно повторить вслед за великим римлянином, что только в смерти видно, как малы наши тела. Противники Ибсена держались как толпа, чьи ощущения верны, а доводы превратны. Объявив Ибсена пессимистом, они ошиблись, и серьезно. Главной его слабостью было почти детское доверие к природе и свободе, а главным заблуждением (рожденным то ли опытом, то ли родной ему культурой) было непонимание греха. И потому Ибсен не столько пессимист, сколько весьма наивный оптимист. Но человек толпы, как водится, не ошибался в главном: на свой неяркий северный лад Ибсен — оптимист, вот только оптимизм его совсем не весел и утешает меньше пессимизма Данте. Так, дивный северный рассвет всегда прохладней южной ночи...

Перевод Т. Казавчинской

Уинстон Черчилль

Хобби

Чтобы снять стресс, снизить умственное напряжение, которое испытывают люди, чья деятельность связана с повышенной ответственностью и судьбоносными решениями, средств имеется немало. Одни предлагают побольше двигаться, другие, напротив, — побольше отдыхать. Одни советуют отправиться в путешествие, другие рекомендуют уединение. Одни превозносят одиночество, другие — развлечения. Выбор того или иного средства, естественно, зависит от темперамента, личных склонностей и привычек, однако есть во всех этих советах то, что касается всех без исключения, — необходимы *перемены.*

Перемены в данном случае — понятие ключевое. От постоянных перегрузок ум "протирается" точно так же, как локти на пиджаке. Вместе с тем между живыми клетками мозга и неодушевленными предметами есть одна существенная разница: протертые локти на пиджаке не починишь, если будешь тереть рукава или плечи, — тогда как изношенные части мозга восстанавливаются не только если дать им передышку, но и если задействовать другие его части. Отключить свет, освещающий основные, привычные сферы наших интересов недостаточно; необходимо пролить его на нечто непривычное, неизведанное. Говорить усталым (если можно так выразиться) "умственным мышцам": "Я дам вам как следует отдохнуть", "Я отправлюсь на далекую прогулку" или "Я буду лежать и ни о чем не думать", — лишено всякого смысла: мозг будет работать все равно. Если раньше он взвешивал и измерял, то будет и впредь взвешивать и измерять. Если раньше он волновался, то будет волноваться и дальше. Отдых, покой, облегчение наступят лишь в том случае, когда начнут действовать новые клетки, когда на небе зажгутся новые звезды.

"Волнение — это эмоциональный спазм; рассудок за что-то цепляется и не отпускает", — говорил один одаренный американский психолог. В этом состоянии спорить с рассудком бесполезно. Чем сильнее воля, тем сложнее задача. Этому спазму следует мягко, осторожно внушить что-то другое. И если это "другое" выбрано правильно, если оно приоткроет иную сферу интересов, то спазм постепенно — а бывает, что и очень быстро, — ослабеет, и начнется процесс выздоровления.

Таким образом, для человека публичного хобби, новые интересы — дело первостепенной важности. Впрочем, одного усилия воли для появления новых интересов мало; за день этого не добьешься. Становление альтернативных умственных увлечений — процесс длительный. Чтобы воспользоваться живительными плодами этого процесса, следует сначала тщательно отобрать семена, потом посадить их в благодатную почву и ежедневно поливать.

Для полного счастья и покоя нужно иметь по меньшей мере два, а то и три хобби — хобби на деле, а не в голове. Какой смысл уговаривать себя в конце жизни: "Надо бы заняться тем или этим"? Такая попытка лишь усугубит умственное напряжение. Человек может превосходно разбираться в вещах, не связанных с его ежедневной работой, однако жизнь у него от этого легче не станет. Мало делать то, что любишь; нужно еще любить то, что делаешь. Всех людей можно, в сущности, разде-

лить на три группы: одни еле живы от тяжелой работы, другие — от постоянных волнений и третьи — со скуки. Нет смысла предлагать рабочему, измученному неделей тяжкого физического труда, сыграть в субботу в футбол или в бейсбол. Нет смысла предлагать политику, или ученому, или бизнесмену, которые шесть дней подряд занимались весьма серьезными и ответственными вещами, заняться в воскресенье чем-то более легкомысленным.

Что же касается тех несчастных людей, которые имеют все что хотят, могут удовлетворить любой свой каприз и добиться всего, чего только ни пожелают, — то очередное удовольствие, очередное развлечение не сулят в их пресыщенной жизни ничего нового. Напрасно мечутся они с места на место, пытаясь непрестанным движением и трескотней заглушить мстительную скуку. Выручит их только одно — самодисциплина.

Следует также сказать, что разумные, прилежные, приносящие пользу человеческие существа в свою очередь делятся на две категории: на тех, у кого работа — это работа, а удовольствия — удовольствия, и тех, для кого работа и удовольствие совпадают. Из этих двух категорий первая, разумеется, многочисленнее, при этом и у нее тоже есть свои плюсы. Долгие часы в офисе и на фабрике сулят в качестве вознаграждения не только средства к существованию, но и непреодолимую тягу к удовольствиям, пусть и самым неприхотливым. Баловни же судьбы относятся ко второй категории. Их жизнь — сплошная гармония. Для них рабочий день никогда не бывает слишком длинным. Каждый день — это праздник; когда же наступают настоящие праздники, они ворчат, ведь нарушается привычное — и всегда праздничное — течение их жизни. И тем не менее обе категории в равной мере нуждаются в альтернативе, в перемене обстановки, в разнообразии всего того, чем им приходится заниматься. Иногда бывает, что даже те, для кого работа — сплошное удовольствие, более остальных заинтересованы в том, чтобы на время выбросить ее из головы.

Самый распространенный способ перемены обстановки — чтение. Миллионы людей находят в нем интеллектуальное отдохновение. Ничто не вызывает большее благоговение, чем библиотека. Но библиотека библиотеке рознь. "Несколько книг" (как называл лорд Морли[1] домашнюю библиотеку, в которой не больше пяти тысяч томов) способны вызвать чувство благополучия и даже самодовольства. Но одного дня в библиотеке публичной, пусть и весьма скромных размеров, достаточно, чтобы быстро развеять эти приятные ощущения. Когда перебегаешь от полки к полке, снимаешь одну книгу за другой, созерцая необъятное, бесконечно многообразное хранилище знаний и мудрости, которое собрало и сохранило человечество, переполнявшая тебя гордость, даже самая невинная, сменяется чувством ужаса вперемежку с грустью. Когда исследуешь гигантское наследие мудрецов, святых, историков, ученых, поэтов и философов, чьими сокровищами никто никогда не сможет насладиться — тем более оценить их, — понимаешь, сколь скоротечен наш жизненный срок.

Подумайте о всех тех замечательных историях, которые вы никогда не прочтете. Подумайте о всех тех крупнейших научных открытиях, которые вам никогда не сделать. Подумайте обо всех идеях, доставляющих ра-

1. Джон Морли (1838–1923) — английский государственный деятель, издатель, эссеист, автор литературных биографий.

дость и повергающих в смятение, которые вам никогда не узнать. Подумайте о колоссальном труде, совершавшемся ради вас, плодами которого вам никогда не удастся воспользоваться. Впрочем, эти невеселые мысли порождают невозмутимость. Горечи и радости благоговейного отчаяния смешиваются с приятным чувством вынужденного смирения, после чего мы с удвоенной энергией обращаемся к мирской суете.

На вопрос: "Что мне делать со всеми моими книгами?" — следует отрезвляющий ответ: "Прочтите их". Но если вы не можете их прочесть, подержите их хотя бы в руках и, так сказать, приласкайте их. Вглядитесь в них. Откройте наугад, в любом месте. Прочтите первое же предложение, которое попалось вам на глаза. А потом — следующее. Отправьтесь в экспедицию, измерьте глубину не отмеченных на карте книжных морей. Поставьте их обратно на полки собственными руками. Расставьте их так, как вам удобно, чтобы, если вы не знаете, что в них, хотя бы знать, где они. Если они не могут стать вашими друзьями, пусть по крайней мере будут вашими знакомыми. Если им не дано сблизиться с вами, удостойте их хотя бы кивка головы.

Читать в молодости слишком много — ошибка. Один человек сказал мне как-то, что прочел все "нужные" книги. Мы разговорились, и оказалось, что он действительно прочел очень много книг, но особого впечатления они на него не произвели. Сколько книг он усвоил? Сколько книг сформировало его мировоззрение? Сколько из них выковались на наковальне его ума и в дальнейшем заняли свое место на оружейном складе, готовые к действию?

Очень жалко, когда книга прочитана слишком рано. Первое впечатление — самое важное, и если оно не сложилось, на повторное рассчитывать не приходится. Более позднее, второе прочтение уже ничего не изменит: первый, преждевременный контакт с книгой со временем закоснеет, сделается непроницаемым. С чтением молодые люди должны быть так же осторожны, как старики — с едой. Им не следует "поедать" слишком много книг. И они должны хорошо их прожевывать.

Поскольку в любом развлечении главное — новизна, занятнее читать не на своем родном языке. А потому иметь в своем распоряжении второй язык, даже если вам его хватает лишь на то, чтобы читать в свое удовольствие, разумно и важно. Наши педагоги очень часто стремятся научить детей такому количеству иностранных языков, что овладеть ими как следует невозможно, и в результате от них нет ни пользы, ни удовольствия. Ученик овладевает латынью ровно настолько, чтобы ее возненавидеть, греческим — лишь затем, чтобы сдать экзамен, французским — лишь в том объеме, чтобы добраться из Кале в Париж, немецким — чтобы предъявить свидетельство о сдаче экзамена, испанским или итальянским — чтобы отличить один от другого... И ни одним из этих языков не овладеет он в той мере, чтобы получить доступ к иной, неведомой литературе, открывающей столь радужные перспективы.

Не разбрасывайтесь, из многих языков выбирайте один. И не довольствуйтесь полузнанием, овладевайте вторым языком на таком уровне, чтобы читать и получать от чтения истинное наслаждение. От чтения на втором языке умственные мышцы расслабляются, ум от притока новых идей, иного сопряжения слов и мыслей оживает. От новых языковых форм возрастает активность клеток мозга, снимается усталость, вызванная привычным, набившим оскомину словоупотреблением. Представьте себе, как был бы рад человек, который зарабатывает на жизнь игрой на трубе, если бы ему дали поиграть на скрипке, да еще в

свое удовольствие. То же самое удовольствие вы испытаете, если откроете книгу, написанную не на языке вашего постоянного общения.

Но у чтения, у любви к книге есть один серьезный недостаток: человек умственного труда и без того связан с чтением в своей профессиональной деятельности, а потому, раскрыв книгу на досуге, существенной, столь важной для "переключения" перемены он не ощутит. Для восстановления психической уравновешенности следует пустить в дело те части мозга, которые задействуют глаза и руки. Многие, удовольствия ради, в свободное время занимаются ручной работой. Ваш переутомленный мозг получит желанную передышку, если на досуге вы займетесь столярным или переплетным делом, химией или даже кирпичной кладкой — при условии, конечно, что вас эти виды деятельности живо интересуют и вы ими в достаточной мере овладели. Однако лучше и проще всего обзавестись карандашами и красками и заняться рисунком и живописью. Я, например, уже в преклонном возрасте открыл в себе вкус к живописи, увлекся ею и считаю, что мне очень повезло. Живопись пришла мне на помощь в самое трудное время, и я ей за это необычайно благодарен.

Живопись — это спутник, пройти с которым большую часть жизненного пути — огромная радость.

> Над ней не властны годы. Не прискучит
> Ее разнообразие вовек[1].

Спортивные игры, требующие немало сил и энергии, с годами отпадают одна за другой. За усилия и старания приходится платить все более протяженными и мучительными периодами усталости. С возрастом мышцы становятся дряблыми, руки — менее ловкими, слабеют нервы, с возрастом они уже не выдерживают тех перегрузок, какие с легкостью переносили в молодости. Живопись же — это тот друг, который не требует от вас лишнего, не ставит перед вами труднодостижимой цели, она не торопит нас, а идет рядом, соразмеряя свою поступь с нашими — пусть нетвердыми, неуверенными — шагами. Своим холстом она прикрывает нас от завистливых глаз Времени, от неотвратимости Немощи.

Счастливы живописцы — ибо не бывать им одинокими. Свет и цвет, мир и надежда будут с ними до самого — или почти самого — конца.

Перевод А. Ливерганта

Роберт Линд

Вновь *за рабочим столом*

Какое тихое блаженство — вернуться после отдыха к работе! Как хорошо сесть за свой стол, в свое кресло после тягот месячного безделья! Порой мне кажется, что для настоящего лентяя лучший отдых — это работа.

1. У. Шекспир. Антоний и Клеопатра, акт II, сцена 2. Перевод Мих. Донского.

Дома я первым делом распоряжаюсь, чтобы завтрак мне подавали в постель, и наслаждаюсь тем, что муки ранних утренних подъемов, этого неизбежного отпускного зла, мне больше не грозят. Да, да, я знаю, что в любой гостинице английского побережья мне охотно принесут завтрак в номер. Но то-то и беда, что там мне этого не позволяет совесть. Я не могу залеживаться допоздна в постели, когда живу у моря, — боюсь упустить лучшие утренние часы. В Лондоне их, слава богу, не бывает, а если они и бывают, то гораздо позже. К тому же гостиничный завтрак — дело нешуточное. Меню, которое вам по утрам вручает официант, — откровенное приглашение к обжорству на сонную голову. Будь она у вас пояснее, вы отодвинули бы его в сторону и попросили яйцо или копченую селедку. Но ваша воля, размагниченная недосыпом, не может противостоять соблазну, вы уступаете и съедаете столько, что можно было бы утолить недельный голод.

С этой минуты хлопот вам только прибавляется. Как всякий разумный человек, после еды вы бы хотели посидеть, подумать, немного отдохнуть, поделать что-нибудь приятное, но не тут-то было — вы в отпуске! Бес-искуситель гонит вас на улицу — дышать свежим воздухом. А на самом деле ходить, причем подолгу, до изнеможения, как делают все новички, которые ни в чем не знают меры. Быть может, самый прекрасный вид на бухту открывается из окна вашего номера, и вы могли бы им любоваться сидя, но вы не можете отделаться от мысли, что за горным поворотом он красивее, куда вы и спешите, не убоявшись крутизны окрестных скал, — ведь вы в отпуске! И как бы ни была прекрасна гавань и парусники, скользящие на солнце по легкой ряби вод, я не могу не пожелать, плетясь пешком вдоль берега, чтоб человечество для пользы тела придумало что-нибудь полегче, чем ходьба. Я позже подсчитал, что в первую неделю отпуска мой пешеходно-трудовой день длился от десяти утра до десяти вечера — за вычетом приемов пищи и одного круга на карусели.

Профессор Джулиан Хаксли писал, что отдых должен быть организован правильно, со временем мы этому научимся, и курортные власти прибрежных городов возьмут неспортивных отпускников под свою опеку и научат их отдыхать, не утомляясь. Я, например, этого не умею совершенно. За что бы я ни взялся, к вечеру я валюсь с ног от усталости. Гольф вроде бы невинная игра, но если бы к концу дня в конторе я чувствовал себя как после дня игры в Корнуолле, я бы, пожалуй, счел своих работодателей кровопийцами. Судите сами, что такое гольф, если в первое утро у нас с партнером на девять лунок ушло два с половиной часа. То была жаркая работа, досталось и мячу, и воздуху, и многому другому. По-моему, самое трудное в гольфе — склоняться к лунке за мячом. И если то и дело принимать эту противоестественную позу, неведомые прежде мышцы мстят за себя к вечеру всеми возможными симптомами радикулита и ишиаса. Главный же ужас в том, что, стоит только начать, остановиться невозможно! Единственное спасение — вернуться на работу.

Надо сказать, что досужему человеку нетрудно найти дело по себе, если только ему хватает духу оставаться праздным. На отмелях к его услугам кроншнепы, кулики и ржанки. Но только очень волевая личность способна думать о кроншнепах, когда рядом есть поле для игры в гольф. В Девоншире над моей головой кричали сарычи и каркали вороны, но что до них тому, кто спит и видит, как с одного удара попасть на первую площадку!

В молодости я умел отдыхать спокойно, но теперь, перевалив за средний возраст и уверовав в целительность движения и воздуха, я с тем же успехом могу перелететь Атлантику без крыльев.

Недавно я вернулся после отдыха к работе и понемногу оживаю. Каждая жилочка наливается целительным спокойствием. Я больше не мечусь, как угорелый, за неприметным белым шариком. Куда нужно, я переношусь по воздуху — на крыше империала. В стайке закатных нежных облачков, когда я вижу их из своего служебного окна, мне больше не чудится призыв спешить на никому не нужную прогулку. Работаю я сидя, а порой даже положив ноги на стол. Чтобы водить карандашом по бумаге, довольно напрягать лишь мышцы пальцев и запястья, и пусть меня презирают завзятые гребцы и мастера гольфа. К моим услугам лифт, я не карабкаюсь по кручам — постылая повинность отпускника. Вернувшись вечером домой, я с чистой совестью могу не трогаться с места, чтобы потом мирно лечь спать.

Кто станет отрицать, что во славу трудовой жизни можно сказать многое? Разве мало вырваться из-под ярма физической нагрузки и свежего воздуха? Я снова сам себе хозяин, ну, не совсем, конечно, но все же больше, чем когда я отдыхаю.

Александр Милн
Деревенское чествование

Хотя деревушка у нас совсем маленькая, за годы войны пятнадцать человек наших ушло на фронт. К счастью, как в точку выразился местный викарий, по чудесному произволению Божию, никто из нас не сподобился чести принести величайшую из жертв. И так оно и есть: если не считать Чарли Радда, который во время службы в технических войсках "сподобился" удара лошадиным копытом, дело обошлось без жертв. И когда заключили мир, все мы были рады-радешеньки.

Собравшись, чтобы обмозговать, как нам лучше выразить эту свою радость, мы, понятное дело, прежде всего подумали о вернувшихся с войны героях. Мисс Трэверс — та, что по воскресеньям с большим чувством играет на церковном органе, — высказалась в том смысле, что питьевой фонтанчик, если его поставить на деревенском выгоне, мог бы быть симпатичным памятником проявленной ими доблести, только нужно подобрать подходящую надпись. Скажем, что-нибудь вроде: "Нашим отважным защитникам, с готовностью откликнувшимся на горячий призыв своей страны", ну, а дальше — их имена. В ответ Эмбери, сапожник, у которого в таких случаях всегда наготове ушат холодной воды, спросил, вполне ли уместны слова "с готовностью откликнулся" в адрес малого, натянувшего на себя военную форму только в 1918-м, да и то в ответ на "горячий призыв" полиции своей страны. С этой минуты собрание заметно оживилось, а викарию пришлось уверять фермера с холма мистера Бейтса в том, что, дескать, он, викарий, со своей стороны, прекрасно понимает, что Роберт Бейтс-младший никак не мог оставить ферму раньше, и не сомневается в том, что наш добрый друг Эмбери не имел в виду задеть кого-либо лично, отпуская свое, если позволительно так выразиться, не вполне своевременное замечание. Сам же он, викарий, полагает, что выражение "героически откликнулись" несравненно более созвучно замечательному замыслу мисс Трэверс, и осмеливается предложить собравшимся усовершенствовать надпись именно в таком роде.

Тут мистер Клейтон, владелец бакалейно-мануфактурной лавки, перебил его, сказав, что здесь все спешат как на пожар. Положим, они согласятся на питьевой фонтанчик, ну и кто его будет ставить? Кто-нибудь из местных или же они собираются приглашать из Лондона скульптора, или архитектора, или кого там еще положено? А коли так... В это мгновение викарий поймал взгляд мисс Трэверс и кивнул ей, чтобы она включилась. Она тотчас стала объяснять, что, как уже сообщала викарию в частном, правда, разговоре, ее племянник учится живописи в Лондоне и с удовольствием пригласит Огастаса Джеймса или кого-нибудь еще из Королевской академии воздвигнуть нечто поистине прекрасное.

Тут Эмбери заявил, что хотел бы получить ответ на два вопроса. Во-первых, в какой последовательности будут высечены на фонтанчике имена наших доблестных защитников? Викарий предупредил, что говорит экспромтом, без какого бы то ни было предварительного обдумывания, но в данном случае наиболее удовлетворительным ему представляется алфавитный порядок. Последовало единодушное "шшш!", причем громче всех звучал голос сквайра, который таким образом внес наконец и свою лепту в завязавшийся спор. "Так я и думал, — изрек Эмбери. — Тогда задаю второй вопрос: какая жидкость будет течь из фонтана?" Несколько недоумевая, викарий ответил, что, говоря гипотетически, "дорогой мой Эмбери", из фонтана будет течь вода. "Ага!" — многозначительно бросил Эмбери и сел на свое место.

Людям из нашей деревни требуется время, чтобы сообразить что к чему, "откликнуться с готовностью" — не про нас это, идет ли речь о живости нашего ума или телесном проворстве. Немудрено, что Бейтс не сразу смекнул, что список героев на питьевом фонтанчике должен открываться именем его сына, но когда это дошло до него, его уже не могли остановить отнекивания сапожника, повторявшего, что он произнес "ага!", только и всего. Если у кого есть что сказать, объявил Бейтс, пусть скажет прямо, чтобы мы знали, как себя вести. Реплика Эмбери, что вообще-то и без лишних слов известно, кто как себя вел во время войны, потонула в рукоплесканиях викария, которыми тот приветствовал поднявшегося на ноги сквайра.

Сквайр сказал, что вообще-то он — э-э! — не собирался — э-э! — выступать. Но подумал, что, если ему — э-э! — позволено будет — э-э! — вмешаться, ему бы хотелось высказаться — э-э! — по поводу — ну, все сами знают, по какому именно, — э-э! — короче говоря — по поводу денег. Потому что пока мы не знаем, как — э-э! — с ними обстоит дело, всем ясно, что — э-э! — надо понять, как — э-э! — с ними обстоит дело. После чего сквайр сел на место.

Как не раз случалось и прежде, возликовал викарий, замечательный здравый смысл сэра Джона вновь удержал их от неподобающей поспешности и опрометчивых решений. Они и впрямь взяли слишком быстрый темп. Их бесценный друг мисс Трэверс — он не побоится высоких слов — внесла чудесное и редкостное предложение, но — увы! — в наше прозаическое время нельзя совсем забыть о низменной стороне жизни. Иначе говоря, сколько денег имеется в наличии?

Все взгляды обратились к сэру Джону. Повисло неловкое молчание, которое ничем не нарушил и сэр Джон...

Собравшиеся стали перешептываться и подталкивать друг друга, и тут из угла раздался голос Чарли Радда, который выдавил из себя, что у него, если конечно никто не имеет ничего против, есть два-три слова от

имени ребят. "Милости просим, милости просим, дражайший Радд", – поддержал его викарий. Он, Чарли, только хотел сказать, что при всем уважении к мисс Трэверс, которая настоящая леди и сколько раз присылала ему на фронт сигареты, и все остальные ребята могут сказать то же самое, ну, а если кто пошел на войну раньше других, и так оно, пожалуй, и было, но все равно каждый делал свое дело, и те, кто оставался дома, тоже, и главное – они показали бошам, где раки зимуют, и это здорово; с фонтанчиками или без фонтанчиков, они счастливы, что вернулись домой и снова всех видят: и мистера Бейтса, и мистера Эмбери и остальных, и выглядят все они точно так же, как раньше, он только это и хотел сказать, и остальные ребята сказали бы то же самое, и он надеется, что никто на него не в обиде, вот и все, что он хотел сказать.

Когда аплодисменты понемногу стихли, слово взял мистер Клейтон: как он уже отмечал, тут все спешат, как на пожар. Нужен ли деревне фонтанчик, вот в чем вопрос. А если нужен, то кому именно? Викарий пробормотал, что фонтанчик служил бы прекрасным напоминанием нашим потомкам о тяжких испытаниях, которые выпали на долю их страны. Эмбери обратился к мистеру Бейтсу с вопросом, нужно ли его потомку напоминание о... "Это вопрос общий, а не частный, мой дорогой Эмбери", – прервал его священник.

В эту минуту медленно поднялся на ноги хозяин "Собаки и утки".

Праздники, сказал он. Мы уже отмечали это самое замирение. Ну а говоря как мужчина мужчине, что значит "праздники"? Он тут ко всем обращается. Праздник – это когда люди веселятся, когда они, как положено англичанам, собираются вместе, разом садятся за стол и празднуют. Как правильно сказал сэр Джон, правильно и к месту, первым делом надо подсчитать, сколько у них денег. Ну а если они пожелают остальное предоставить ему, он будет горд и счастлив сделать все на совесть. Они же его знают: если с ним по-честному, так и он по-честному. Как только станет ясно, сколько на руках денег и сколько требуется сидячих мест, он сможет приступить. Вот и все, что он думает насчет праздников.

Ответное воодушевление не имело границ. Но на лице у викария проступила тревога, и он что-то зашептал на ухо сквайру. Тот в ответ пожал плечами и пробормотал какое-то короткое словцо, после чего викарий встал. Он должен им сообщить приятную новость, приятную, но отнюдь не неожиданную: сквайр со своей неизменной щедростью решил предоставить им для празднества свои дивные сады и игровые площадки и взять на себя бремя всех расходов по их увеселению в годовщину перемирия. В связи с чем он предлагает поприветствовать сейчас сэра Джона троекратным "ура!". Что и было сделано. После чего собравшиеся разошлись.

Перевод Т. Казавчинской

Дэвид Герберт Лоуренс
Безразличие

Мой балкон находится на восточной стороне гостиницы; соседи справа – седой француз и его седая жена; соседи слева – две маленькие светловолосые английские дамы. И все мы смертельно стесняемся друг друга.

Когда я утром выглядываю из комнаты и вижу степенную французскую даму в алом шелковом пеньюаре, стоящую, точно капитан на мостике, и обозревающую окрестности, я тут же, пока она меня не увидела, прячу голову за дверь. И всякий раз, выходя на балкон, я ощущаю присутствие двух маленьких светловолосых дамочек, которые при виде меня, будто два белых кролика, прячутся за дверью, так что мне видна лишь кайма их юбок.

В тот жаркий предгрозовой день я вдруг, словно от толчка, пробудился от послеобеденного сна и, ступив босиком на балкон, сел и стал наслаждаться жизнью, стараясь не обращать внимания на две пары ножек двух маленьких дам, лежавших в шезлонгах у своей открытой балконной двери. Жаркий, тихий послеобеденный час! Внизу блестит зеркальная поверхность озера, хмурятся горы, зелень кругом почему-то особенно зеленая, все какое-то необычно неподвижное и напряженное — только совсем близко, на склоне, взвизгивают — з-з-з-к! з-з-з-к! — косы.

Две маленькие дамы ощущают мое присутствие: две пары завернутых в пестрые пледы ножек, торчащие из шезлонгов, стоящих у соседней со мной балконной двери, приходят в движение. Одна пара ножек внезапно исчезает, следом за ней вторая. Тишина!

И тут, о боже, передо мной в сером шелке, с круглыми синими глазами возникает вдруг маленькая светловолосая дама; появилась, смотрит прямо на меня и замечает, как сейчас приятно на улице. Стало немного прохладнее, замечаю я с притворной приветливостью. Она совершенно со мной согласна, и мы говорим о косцах, о том, как ясно слышны тяжелые вздохи косы.

Теперь мы стоим лицом друг к другу. Мы говорим о вишнях, о клубнике и о том, каким обещает быть урожай винограда. От урожая винограда разговор перекидывается на Италию и на синьора Муссолини. Я и не заметил, как маленькая светловолосая дама увлекает меня с моего балкона, переносит через зеркальную поверхность озера, через подернутые дымкой горы, мы покидаем двух косцов и вишневые деревья и погружаемся в тревожную стихию международной политики.

Одним незаметным вздохом маленькая дама сдувает меня, точно одуванчик, и я несусь куда-то вдаль. А ведь всего мгновение назад было так приятно раздумывать о косцах. О шедшем первым, молодом, с длинными ногами, в голубых полотняных брюках, с мелькавшей за холмом непокрытой черноволосой головой. И о втором, плотном, довольно неуклюжем, в черных штанах, в новой соломенной шляпе, из тех, что носят гондольеры. Второй резким движением надавливал на косу.

Я наблюдал за такими непохожими движениями этих двух косцов, молодого, худого, в голубых брюках, и пожилого, полного, в черных потертых, раздувающихся штанах, за тем, как по-разному они косят, за угловатыми, резкими движениями пожилого, за его нелепой новой соломенной шляпой-канотье, и попытался привлечь к ним внимание маленькой дамы.

Но они ей были безразличны. Косцы, горы, вишневые деревья, озеро — все, что ее окружало *в данный момент*, нисколько ее не интересовало. Казалось даже, она сейчас испугается того, что́ вокруг нее, и убежит с балкона. Но нет, она справилась со страхом, и вместо того, чтобы убежать самой, схватила меня, словно какая-нибудь колдунья, и унеслась в пустые, безлюдные пространства добра и зла, политики, фашизма и всего прочего.

Даже кровожадная колдунья не могла бы поступить со мной более подло. Меня ведь не интересуют добро и зло, политика, фашизм, абстрактная свобода и другие понятия такого рода. Я хочу смотреть на косцов и думать, почему полнота, преклонный возраст и черные штаны обязательно сочетаются с новой соломенной шляпой из тех, какие носят гондольеры. Почему резкость, размашистость движений нравятся мне куда меньше, чем молодость, стройность, худоба, голубые полотняные брюки, черноволосая непокрытая голова и обрезки травы на поднятой над землей косе?

Почему современные люди почти всегда пренебрегают вещами, которые их окружают? Почему, приехав из Англии и увидев горы, озеро, косцов и вишневые деревья, маленькая синеглазая дама закрывает глаза на все, что теперь в ее власти, и переводит взгляд на синьора Муссолини, который не в ее власти, и на фашизм, который в любом случае отсюда не увидишь? Почему ее не увлекают места, где она находится? Почему не устраивает то, что имеется в непосредственной близости? Что ей *еще* нужно?

Теперь я понимаю, почему ее круглые синие глаза такие круглые, такие невероятно круглые. Это потому, что ее все *интересует*. Все на этой земле, что не имеет к ней никакого отношения. Ей ужасно интересно, почему эти далекие, невидимые, то ли существующие, то ли нет итальянцы носят черные рубашки, и абсолютно неинтересно, почему какой-то там пожилой косец, чья коса посвистывает под горой, носит черные широкие штаны вместо голубых полотняных. Спустись она сейчас с балкона, вскарабкайся на поросший травой холм и спроси полного косца: "Cher monsieur, pourqoui portez-vous les pantalons noirs?" ("Почему, о почему вы носите черные штаны?") — и я бы сказал: "Ишь какая лихая дамочка!" Но коль скоро она мучает меня международной политикой, единственное, что я могу пробурчать, это: "Какая же ты старая зануда!"

Их все интересует, решительно все! Они буквально снедаемы любопытством. Их так интересует фашизм или Лига Наций, политика Франции и институт брака, что они никогда не знают, где находятся. Они живут в абстрактном пространстве, в пустыне принципов, добра и зла и так далее. Они и сами обречены быть абстракциями. Говорить с ними — то же самое, что пытаться установить человеческие отношения с алгебраическими неизвестными.

Между реальной жизнью и этим абстрактным интересом пролегает глубокая пропасть. Что такое реальная жизнь? Реальная жизнь — это прежде всего непосредственный контакт. Между мной, озером, горами, вишневыми деревьями, косцами и неким невидимым, но шумным зябликом на липе с подрезанными ветвями установился прямой чувственный контакт. И эту связь разорвали роковые ножницы абстрактного слова "фашизм", а маленькая старушка по соседству со мной явилась той самой Атропос, что сегодня днем разрезала нить моей реальной жизни. Она обезглавила меня и швырнула мою голову в пространство абстракций. И мы еще должны любить своих ближних!

Если речь идет о жизни, то живем мы чутьем, интуицией. Это чутье заставляет меня со всех ног бежать от маленьких, излишне серьезных дам, вдыхать распустившиеся почки на липах, срывать самую спелую вишню. Если б не интуиция, я бы не ощутил сегодня днем жутковатый блеск озера, угрюмость гор, яркую зелень под лучами предгрозового солнца. Не разглядел бы молодого косца в голубых брюках, незаметным движением сбрасывающего скошенную траву с приподнятого лезвия ко-

сы, пожилого косца в широкополой, как у гондольера, соломенной шляпе, который косит траву резкими, размашистыми движениями, их обоих, обливающихся потом в непроницаемой тишине ослепительного света.

Перевод А. Ливерганта

Гаролд Николсон
В *защиту робости*

Кому нет тридцати, тому зазорно быть не робким. Апломб у молодых — свидетельство их толстокожести. От тех, кто не застенчив в двадцать два, в сорок два веет скукой. В сорок два, бесцельно сотрясая воздух, они твердят при каждом случае: "Я же говорил..."

Нет, воспитаем юных, чтобы они стеснялись кстати и некстати. Чтоб забивались по углам, несли скоропалительную чушь, засовывали нижние конечности за спасительные ножки кресел и диванов, не знали, куда девать негнущиеся руки, мечтая от них избавиться — так люди жаждут избавиться неудобной обуви.

Ибо застенчивость, словно околоплодная жидкость, оберегая личность, дает ей правильно развиться: выросший без нее становится жертвой шаблона или подражательности. Лишь под ее бархатистой кожицей вызревает тугой бутон неповторимых душевных качеств; лишь сбрасывая понемногу ее нежные покровы, личность предстает во всей своей красе и силе. Пусть осознают робкие, что их недуг не только иго, но и преимущество, пусть видят в нем скорее дар, чем бремя, пусть знают, как несносны их бойкие сверстники.

В Ирландии по соседству с моей бабушкой жил мальчик. Звали его Эверард, и это имя очень ему подходило. Я его терпеть не мог. В то время, о котором я рассказываю, ему было четырнадцать, а мне двенадцать. У бабушки бывали чаепития, во время которых на небольшом, но очень и очень зловредном блюде с крышкой подавались горячие кексы. В мои обязанности входило обносить ими собравшихся дам, элегантности ради держа в правой руке злополучное блюдо, а левой снимая перед каждой гостьей крышку. То была невыполнимая и мучительная эквилибристика, вроде известных упражнений на координацию, когда одной рукой делают похлопывающие, а другой — растирающие движения. Всякий раз — о это чувство, что у меня не чищены ботинки, сейчас развяжутся шнурки, того и гляди спустится носок! — я широким жестом подымал крышку, когда шел к той или иной гостье, и плотно прикрывал ее, как только оказывался перед очередной пожилой дамой. Никогда не мог я добиться нужной последовательности: пройти по комнате с бережно прикрытым блюдом и любезно снять крышку, предлагая его содержимое. Однажды, в надежде остаться незамеченным, я сунул крышку на подсервантник. Тщетно! "Где крышка?" — тут же встрепенулась бабушка. К несчастью, я угодил на кожаный альбом с видами Помпеев и Пестума, на переплете остался четкий кружок жира, а я получил жестокий нагоняй. Мне было сказано, что Эверард не так неповоротлив, как я, что Эверард ведет себя как настоящий джентльмен, что в следующий раз не я, а Эверард будет разносить кексы. И в самом деле, он разносил их с угодливым проворством, какое я впоследствии видел у модных парикмахеров.

Бабушка непрестанно метала в мой угол красноречивые взгляды, призывая смотреть, сравнивать и мотать на ус урок неподражаемого Эверарда. И все же сегодня я не сомневаюсь, что в сравнении (повторяю — в сравнении!) с этой прилизанной комнатной собачкой я был довольно славный мальчик. Пожалуй, недостаточно опрятный и спотыкавшийся на ровном месте, но совсем неплохой. Я это вам рассказываю, чтобы робкие и неуклюжие мои читатели знали, что советы я даю со знанием дела.

Боюсь, советы эти самого что ни на есть практического свойства, но робость не утихомирить доводами разума. Когда, бывало, у дверей великих мира сего стеснительность, это глумливое чудовище, когтила мне сердце, я говорил себе, что я ничем не хуже тех, кого мне предстояло встретить. Метода не из лучших — я делался развязным. Радостно влетев в гостиную, я дерзко кланялся хозяйке, вызывающе не замечал хозяина, здоровался запанибрата с почтенным литератором, преподававшем нам в Бейлиоле, и плюхался с размаху в кресло. Качнувшись от удара, оно толкало маленький столик с массой разложенных на нем безделушек: флакончиком с нюхательной солью, римским сувениром в виде серебряной тележки, персидской шкатулочкой для перьев, фотографическим портретом великой герцогини Саксонско-Мекленбургской, вазой с анемонами... Все это с грохотом валилось на пол и раскатывалось по углам, одновременно увлекая в небытие и мою бойкость. Нет, такими приемами делу не поможешь. Но и обратное губительно: не следует внушать себе, что ты лишь червь. "Запомни, — сказал я себе однажды, вручая шляпу и пальто лакею, — запомни, что ты последнее ничтожество. Тебя и пригласили-то сюда только потому, что хозяева познакомились с твоей теткой в Сен-Жан-де-Люс. Они отнюдь не жаждут тебя видеть, и слышать, кстати, тоже. Поздоровайся с хозяйкой дома и марш за диван! И оттуда ни ногой! Там тебе нечего будет стесняться, только не вздумай пожирать глазами французские гравюры на стенах и инкрустацию на ширмах. Спокойно положи руки на спинку стула и гляди прямо перед собой, стараясь не мигать ежесекундно. Если кто-нибудь заговорит с тобой, ответишь скромно и вежливо. Если нет, держи язык за зубами". Так вы тоже ничего не добьетесь. За диваном вы налетите на мольберт с картиной Каролю-Дюрана или растянетесь во весь рост, споткнувшись о собаку. Нет, робость нельзя сломить и обуздать без более серьезной научной базы.

Прежде всего поставьте себе диагноз — определите, каким видом робости вы страдаете. Есть две основные формы: телесная и душевная. Жертвы телесной стыдятся своих рук и ног, порывистые, угловатые движения которых повсюду сеют разрушение и хаос. Душевно робкие стесняются каждого своего слова и взгляда. Они больше заслуживают жалости: если телесные страдальцы за счет великой осмотрительности способны уберечься от самых тягостных последствий своего недуга — в крайнем случае всегда ведь можно сесть на стул, засунув под себя горящие руки, — душевно робких он терзает непрестанно, пока они не остаются в одиночестве. Этими последними я и намерен заняться более основательно.

Первое правило состоит в том, чтобы, выезжая в гости, дать понять родителям, что вы не собираетесь быть центром внимания. Не позволяйте матери, сидящей рядом с хозяйкой, подавать вам знаки любви и поощрения — даже под столом! Не разрешайте отцу шептать соседке, что сегодня вы впервые надели фрак или длинное платье. Запретите ему искоса на

вас поглядывать, дабы удостовериться, что вам весело. Пусть вас оставят в покое, храните вашу робость втайне — как власяницу.

Второе правило такое: заранее смиритесь с тем, что вы не будете блистать в обществе и не стяжаете лавры интеллектуала. И еще одно: не надо притворяться старше, чем вы есть. Это не прибавляет уверенности в себе — напротив, стоит не сдержаться, и с ваших уст сорвутся слова, которых вы говорить не собирались и о которых тотчас пожалеете, едва падет преграда сомкнутых губ. Застав жену соседа, которую вы решили навестить, в зеленом шезлонге на веранде, вы, как человек умный, скажете ей просто и скромно: "Добрый день, миссис Мейпл!", но если вы не так благоразумны и жаждете блеснуть непринужденностью манер, вы крикнете с порога: "Прошу вас, не вставайте, миссис Мейпл!", чтобы тотчас понять, что ради вас никто вставать не собирался, и ощутите, что вы жаритесь в аду. По тем же причинам не повторяйте и не поправляйте сказанного старшими. Пуще всего остерегайтесь встревать в их разговоры. Пусть вы точно знаете, что "Весну" написал Боттичелли, а не Чимабуэ[1], — это не ваше дело. Слегка поджатые губы — вот все, что вы можете себе позволить. Единственное ваше оправдание в том, что робкий человек равно́ робок со всеми: не будьте дерзки с гувернанткой и почтительны с епископом. Если вы застенчивы всегда и со всеми, люди в конце концов решат, что вы скромны по натуре, а это льстит их самолюбию, и вас начнут повсюду приглашать. Лишь завоевав популярность, вы сможете быть умным, интересным, занимательным. Пытаться вызвать восхищение, не обезвредив чужую зависть, — страшная ошибка; только начав с пренебрежения, старшие способны под конец расположиться к молодым. Поэтому очень хорошо, что вас не замечают поначалу, утешьтесь — это ваше преимущество. Спокойно стойте за своим стулом.

Вот еще несколько практических безделиц, которые мне хочется посоветовать застенчивым юнцам. Продумайте точно, до деталей, что́ вы, войдя, скажете хозяйке дома, это очень важно, иначе другие, непрошенные слова могут сорваться с языка и вместо "Как поживаете? Спасибо, что пригласили меня", вы выпалите: "Ну и фурункул у вашего дворецкого, в жизни такого не видал!" Опять же, как быть с потеющими ладонями? Во времена моей юности дамы носили длинные лайковые перчатки, невероятно чувствительные к влаге. Они приклеивались к пожимавшей их ладони и — раз! — лопались, словно вспоротые. Теперь их не носят — одним орудием пытки меньше. В восемнадцать лет ладони у меня были крепкие и сухие, как пустыня Такла-Макан. Но при малейшем приближении хозяйки дома, даже если на ней не было лайковых перчаток, влага на моих ладонях собиралась в капли и стекала. Простите, что докучаю вам такими неприятными материями, но некогда я так страдал от этого, что жажду поделиться изобретенным мною средством. Оно называлось "Papier Poudré" — то была аккуратная крошечная книжечка из папиросной бумаги, странички которой были покрыты тонким слоем пудры. Стоило обтереть ладонь таким листочком — одного хватало на раз, — и влаги как не бывало. Теперь еще одно — прощания. Я ловко управлялся с тем, что можно было бы назвать запланированными прощальными приветствиями, к

1. Джованни Чимабуэ (наст. имя Ченни ди Пепо; ок. 1240 — ок. 1302) — итальянский художник, основатель флорентийской школы живописи.

ним я, разумеется, готовился заранее. Но с чем я долго не мог справиться, так это со случайными встречами. Скажем, на Риджент-стрит вы встретили бывшего директора школы. Поговорили несколько минут, и наступает самое страшное — пора ретироваться. Но как? Нельзя же в самом деле вдруг развернуться и зашагать в другую сторону. Искусство состоит в том, чтобы начать отступление, не прерывая разговора. "Позвоните мне, пожалуйста", — говорите вы, пятясь и отступая. "Центральная 4689", — кричите вы уменьшающемуся в размерах собеседнику. Отойдя на приличное расстояние, можете повернуться и следовать своим путем. Но всякий раз, подобно лорду Чемберлену, необходимо удаляться, не отрывая глаз от собеседника.

Это, конечно, мелочь, но привожу я ее здесь потому, что по ней хорошо видно, каким образом я избавился от своих светских мук и обрел здоровую, не лишенную приятности самоуверенность. Сегодня лишь непредвиденное ввергает меня в трепет. Тогда, к чему скрывать, я теряю голову, дрожу, заливаюсь краской, у меня пересыхает в горле. Но в жизни чаще происходит то, чего мы ждем, а тут я предусмотрел все до деталей. Это вопрос усердия, опыта и дальновидности: надо быть готовым ко всему. Даже к тому, что вас при всех спросят, как поживает ваш давно умерший дедушка, на что вам, как человеку правдивому, придется отвечать честно. Чтоб не повисло в воздухе неловкое молчание, держите про запас цитату или приличествующее случаю изречение. Застигнутый врасплох, вы будете нести невнятицу, но, подготовившись, вы справитесь, как Артур Рубинштейн с подвластной ему клавиатурой. Впрочем, для этого придется дожить до зрелости. Но, право, по мне лучше быть робким, бросаться с объятиями к дворецкому, но оставаться молодым.

У некоторых робость не проходит с молодостью, она у них пожизненная. Такие люди терзаются не только робостью, но и тем, что более не молоды. Этот недуг порою поражает прославленных писателей. Им страдали Оливер Голдсмит и Чарлз Лэм; Эдвард Морган Форстер и Вирджиния Вулф были застенчивы до грубости; мне самому довелось видеть, как прятался за дверью умиравший от неловкости Литтон Стрэчи. Арнольд Беннетт терял дар речи, Сассуна сводило судорогой, а Хью Уолпол (да-да, даже Хью Уолпол[1]) впадал в смятение. Но есть, конечно, и другие писатели, отнюдь не стеснительные. Например, у Синклера Льюиса нет и намека на скованность. Ни разу мне не случалось видеть краску смущения на щеках Майкла Арлена или Филипа Гедэллы[2]. Заранее не скажешь, кто каков.

Возможно, робость — слабость англосаксонская. Не думаю, чтобы латинские поэты, даже самые утонченные, страдали робостью. Гораций, как известно, был само бахвальство. Данте тоже не отличался робостью. Человек он был не слишком приятный, но не из-за робости. Правда, остается еще Расин. Тот был так застенчив, что убегал прятаться в Пор-Рояль, но то было исключение.

Нет, робость — все же черта англосаксонская. А коли так, в ней надо видеть узы, скрепляющие англоязычные народы.

Перевод Т. Казавчинской

1. Арнольд Беннетт (1867–1931) — английский писатель-романист; Зигфрид Лоррейн Сассун (1886–1967) — английский поэт; Хью Уолпол (лорд Сеймур; 1884–1941) — английский писатель-романист, родился в Новой Зеландии
2. Майкл Арлен (наст. имя Дикран Куйюмджан; 1895–1956) — английский писатель, новеллист и романист. Филип Гедэлла (1889–1944) — английский историк и автор биографий.

Олдос Хаксли

Тайна театра

Было время, когда я жил неправильно, отчего ходил в театр не меньше двухсот пятидесяти раз в год. По делу, разумеется, — кто ж пойдет в театр из удовольствия? Я ходил в театр за деньги.

В конце года — задолго, впрочем, до того, как наша планета завершила свой путь вокруг Солнца, — я пришел к выводу, что платят мне мало и за такую работу достаточно не будут платить никогда. Сделав это открытие, я перестал ходить в театр через день, и нет теперь такой силы, которая заставила бы меня занимать место в партере столь же часто.

С тех пор больше трех раз в год я в театр не хожу.

А ведь есть люди, которые не пропускают ни одной премьеры — и не по необходимости, не потому, что у них от театрального голода сосет под ложечкой, а потому, что им это нравится. Им, в отличие от меня, за посещение театра никто не платит — эту привилегию они оплачивают сами. Странное все-таки существо человек.

Над этой тайной я часто задумывался, когда, стараясь отвлечься от происходящего на сцене, сидел на одном из тех чудовищных спектаклей, на которые подрядился ходить. В партере вокруг меня (размышлял я) сидят несколько сот состоятельных и — насколько позволяет наше образование — образованных людей, которые заплатили деньги, чтобы посмотреть этот вздор. Говорю "вздор", ибо из двадцати идущих сегодня такая, как "Дом, где разбиваются сердца", пьес только одна. У себя дома эти люди читают хорошие романы или, во всяком случае, не самые худшие, и если вы предложите им дешевый любовный или детективный роман, они будут искренне возмущены.

Вместе с тем эти же читатели серьезной литературы исправно ходят, причем по собственной воле, на пьесы, что ничуть не лучше того самого чтива, которое они — и совершенно справедливо — презирают и читать наотрез отказываются.

От романов они требуют правдоподобия, верности жизни, похожих на людей героев и пристойного стиля. Надуманный сюжет, смахивающие на кукол персонажи, которые живут по законам абсурда и избитой условности и выражаются нелепым и топорным языком, — все это вызвало бы у них законное негодование. А вот на пьесу, которая ничем такого романа не лучше, они идут тысячами. Ситуации, которые в романе они сочли бы смехотворными, в пьесе вызывают у них слезы умиления. Язык, от которого, выражайся им герои книги, любой сколько-нибудь культурный читатель пришел бы в ужас, у "думающего" зрителя вызывает неподдельный восторг.

Вот о какой странной аномалии я размышлял, сидя на этих чудовищных спектаклях. Отчего то, что в книге без содрогания прочесть невозможно, в театре вызывает громкие аплодисменты? Вопрос, прямо скажем, не праздный.

Мистер Бернард Шоу сказал, что легче написать роман, чем пьесу; в доказательство тому, с какой дьявольской легкостью прозаик описывает на многих страницах то, на что драматургу потребуется всего несколько реплик, он переписал современной прозой сцену из "Макбета". Шекспир, натурально, сравнение выдержал. Плохой роман и в самом деле на-

писать легче, чем хорошую пьесу. С другой стороны, гораздо легче написать плохую пьесу, которая будет иметь успех даже у умного, разбирающегося зрителя, чем плохой роман, который не будет иметь успеха. Драматург может рассчитывать на успех пьесы, где вместо людей действуют аляповатые карикатуры, где язык груб и напыщен и где сюжет не имеет ничего общего с жизнью. Прозаик — нет.

Это соображение в очередной раз вспомнилось мне, когда я, приехав в Парму, отправился в маленький современный театрик на пьесу, если не ошибаюсь, сэра Артура Пинеро "Его дом в порядке"[1]. Спектакль, должен признаться, мне необычайно понравился. Английский Хиглиф, увиденный глазами итальянской гастрольной труппы, вполне заслуживал того, чтобы совершить путешествие из далекой Англии. Да и комедианты были превосходны. Я смотрел эту незамысловатую пьесу и не верил своим глазам: непритязательного юмора и хорошей игры актеров при полном незнании оригинала оказалось вполне достаточно для огромного успеха. И я, работающий в поте лица прозаик, искренне позавидовал удачливым драматургам, сумевшим сделать популярной и даже значительной пьесу, в которой герои — деревянные куклы или карикатуры, язык ходулен, а сюжет — череда дешевых сентенций, которые принято называть "ситуациями". Если бы мне пришлось стряпать роман из подобных ингредиентов, я бы поздравил себя, сумей я добиться такого легкого и безоговорочного успеха.

Разумеется, драматург не смог бы так мало вложить в свои пьесы и так много "извлечь" из них без помощи живых посредников; при определенной сноровке (а сноровка достигается практикой) драматург может переложить бóльшую часть своей ответственности на актера. Ему достаточно придумать эффектные ситуации, а уж актеры разыграют их в лучшем виде. В отличие от писателя, драматурга мало интересуют характеры, правда жизни, идеи, стиль и все прочее, ибо он знает: публика будет так увлечена ужимками актеров, что вряд ли обратит внимание на подобные, чисто литературные мелочи.

В самом деле, кто как не актеры способны примирить мало-мальски искушенного зрителя с тем прискорбным литературным материалом, что разыгрывается на сцене? Если бы не лицедеи, смеющиеся лицедеи, не контакт с ними, не живое человеческое общение, завсегдатаи театров, что, сидя у камина, читают Уэллса, или Конрада, или Д. Г. Лоуренса, или даже Достоевского, ни за что не стали бы смотреть пьесу, которая ничем, по существу, от дешевого романа или комикса не отличается.

Играй актеры всегда первоклассно — я бы понял, отчего люди становятся убежденными, я бы даже сказал, возбужденными театралами, ведь современный театр возбуждает куда больше, чем тоник. В конце концов хороший актер ничуть не хуже хорошего художника или писателя.

Но ведь и встречается хороший актер ничуть не чаще. Их не больше двух-трех на каждое поколение. Мне довелось видеть лишь нескольких. Старика Гитри, к примеру. И Мари Ллойд[2], несравненную, многогранную актрису шекспировского репертуара, которая уже ушла из жизни — увы, слишком рано; car elle était du monde, où les plus belles choses ont le pire destin[3]. И Крошку Тич. И Ракель Меллер, равно неподд-

1. Артур Уинг Пинеро (1855—1934) — английский актер и драматург.
2. Саша Гитри (1885—1957) — французский актер, драматург и кинорежиссер; автор легких развлекательных пьес; Мари Ллойд (1870—1922) — популярная актриса мюзик-холла.
3. Ибо она принадлежала к тому миру, где у всего самого прекрасного — худшая судьба (*франц.*).

ражаемую и в качестве diseuse[1], и как киноактрисы, самой утонченной, самой благородной толковательницы страсти из всех, кого мне приходилось видеть, – "une âme bien née"[2], говорят про таких. И Чарли Чаплина. Каждый из них был гением в своем роде.

Когда на сцену выходят такие актеры, в театр, безусловно, идти стоит. Не следует пренебрегать и игрой актеров менее талантливых. Я готов ходить как на негодные пьесы в исполнении этих блестящих мастеров, так и на хорошие в исполнении актеров бездарных (по-настоящему хорошая пьеса, как правило, и играется хорошо). Но с какой стати ходить на плохую пьесу, которую вдобавок еще и плохо или без вдохновения исполняют, – это выше моего понимания.

Убежденные – прошу прощения, возбужденные театралы, которым я задавал эту загадку, разгадать ее так и не сумели. Допускаю, что истинный театрал питает к театру страсть с рождения; он любит его за то, что он есть, слепо (ведь любовь слепа), без всякой критики. Он покупает в кассе билет и, оставив свои вкусы и взгляды в гардеробе вместе с пальто, шляпой и тростью, занимает место в партере, заранее зная, что спектакль, что бы ни происходило на сцене, ему понравится. Для полного счастья ему вполне достаточно толпы у входа, выжидательного шепота в погрузившемся в темноту зале, взметнувшегося занавеса и фальшивого блеска аляповато разрисованного мира. Больше ему ничего не нужно. Как же ему легко угодить, и как я ему завидую!

Ивлин Во

Хорошо информированные круги... и как в них попасть

Выражение "хорошо информированные круги" на языке современной журналистики превратилось в нечто второстепенное, малозначащее. В наши дни всякий раз, когда иностранным корреспондентам не на кого сослаться, когда у них нет надежных источников, они имеют обыкновение умиротворять редакторов своих газет скромными прогнозами собственного изобретения. В этих случаях принято ссылаться на анонимный источник. Если, к примеру, им сообщил новость почтальон, они припишут ее "полуофициальному источнику"; если, сидя в баре, они вступили в разговор с незнакомцем, то назовут его без ложной скромности "источником, не подводившим прежде ни разу". И только если журналист напишет, что́ ему взбредет в голову, да еще на тему, которой и сам не придает особого значения, он определит свой репортаж с места событий "точкой зрения хорошо информированных кругов".

На родине, однако, в привычном обмене мнениями "хорошо информированные круги" по-прежнему сохраняют свой престиж. Мы почему-то считаем, что французское "on dit" соответствует нашему "говорят". Между тем, парижанин информирует своих читателей о том, что *говорится* в кафе его приятелями и им самим; лондонец же воздает должное каким-то загадочным джентльменам, которые "раз говорят – зна-

1. Декламатора (*франц.*).
2. "Благородная душа" (*франц.*).

чит, знают". В Англии — в отличие от Германии и Соединенных Штатов — быть хорошо информированным вовсе не значит досконально изучить предмет, написать диссертацию или защитить диплом. У нас "хорошо информирован" тот, кто на дружеской ноге с "великими мира сего". Завоевать такую репутацию для молодого, до поры до времени застенчивого человека крайне полезно. И совсем нетрудно. Как и во всяком искусстве, главное — овладеть азами.

Трудно не познакомиться с великим человеком — многие из нас время от времени оказываются в непосредственной близости от него, — а извлечь из встречи с ним максимальную выгоду. Предположим, вас в последний момент пригласила на ланч рассеянная знакомая; вы входите в гостиную, и первое, что бросается в глаза, — это лицо, давно известное вам по кинохронике и карикатурам. Вас знакомят, после чего вы благоразумно растворяетесь среди гостей. За столом он сидит через шесть человек от вас. Издали вы слышите (или вам только кажется), как он говорит, что всегда отдавал должное овсяной каше. Уезжает он сразу после ланча. Вы дожидаетесь, когда за ним захлопнется дверь, после чего уходите тоже. Ничто, казалось бы, не свидетельствует о том, что в результате этой встречи вы вошли в круг "хорошо информированных особ".

— Сегодня на ланче у Мэри был премьер-министр, — сообщаете вы своему редактору.

— В самом деле? И что же он сказал про Палестину?

— Что-то не припомню, чтобы он затронул эту тему.

— Вот как.

Чуда, как видите, не произошло. Но есть ведь и другой способ "подачи материала":

— Сегодня я завтракал с премьер-министром.

— Что вы говорите?! И что же он сказал про Палестину?

— Рядом с ним сидела Мэри, а премьер-министр, как вы знаете, при ней никогда ничего не говорит. Впрочем, на этой неделе он все равно ничего про Палестину не скажет. Задайте мне этот же вопрос в следующий четверг, и, может быть, мне будет что вам рассказать.

Когда же знаменитостей под боком не оказывается, всегда можно назвать совершенно незнакомые имена, причем с таким авторитетным видом, что усомниться в ваших словах не посмеет никто. Пользуйтесь этой тактикой, когда встречаетесь с таким же, как вы, "хорошо информированным человеком", но имейте в виду: вам эта встреча ничего хорошего не сулит. Приведу пример. В ответ на ваше заявление о том, что парагвайское правительство находится в руках военной хунты, ваш собеседник, дабы продемонстрировать свою осведомленность, задает вам неожиданный вопрос: "А как же Эрнандес, Сервантес или Альварес?" Об этих государственных деятелях вы слыхом не слыхивали — как, надо полагать, и ваш осведомленный собеседник. Глубокомысленно помолчав с минуту, отпарируйте: "За них можете не беспокоиться. Возможно, мне бы не следовало об этом говорить, но не далее как сегодня утром я побывал у самого Генри Скэдмора". На эту реплику есть только один ответ: "Полагаю, Скэдмор, как всегда, ничего от вас не утаил". Ответ, что и говорить, недурен, но в этом случае вашему собеседнику грозит нажить себе врага на всю оставшуюся жизнь. Вообще же, "хорошо информированные люди" должны относиться друг к другу с известной лояльностью.

Все "хорошо информированные люди" подразделяются на две школы — и та и другая пользуются сегодня широкой популярностью. Вся-

кий, кто стремится сделать журналистскую карьеру, должен решить, к какой школе он хочет принадлежать, и вести себя соответственно. Все зависит от вашего темперамента.

Из двух школ более простая — это, пожалуй, "сотрудник спецслужб". Тот, кто собирается им стать, должен был в прошлом попутешествовать на Ближнем Востоке, да и на Дальнем, по возможности, тоже. Должен он также демонстрировать интерес к языкам, а это куда проще, чем знать их. Если, скажем, вдруг выяснилось, что вы не понимаете, что написано в меню, вкрадчиво скажите: "У меня никогда не получалось уделять внимание романским языкам" или, еще лучше, "вульгарной латыни", а на такие прямые вопросы, как: "Вы говорите по-венгерски?", отвечайте: "Не так хорошо, как хотелось бы". Вообще, задавайте лингвистические вопросы как можно чаще. Если кто-то, к примеру, говорит, что провел три недели в Каире, вместо того чтобы поинтересоваться отелями, спросите: "А на демотическом армянском там сейчас говорят?"; если же зашел разговор об охоте в Кении, поинтересуйтесь: "Там ведь можно с грехом пополам объясниться на суахили, арабском или кикуйю, не правда ли?" Не повредит также разбираться в произношении: "...По-каталански она говорила с сильным критским акцентом..."

Вид у "сотрудников спецслужб", как правило, ничем не примечателен. Время от времени, правда, они появляются в сопровождении довольно странных личностей и на вопрос, кто эти люди, уклончиво отвечают: "Это ведь моя работа, сами понимаете..." У них должна быть отличная память на дипломатические назначения, причем не только наши, но и во всем мире: "...Едете в Варшаву? Ну-ка посмотрим, кто там сейчас возглавляет посольство Таиланда..." Если хотите польстить вашим друзьям и заодно поднять собственный престиж, обратитесь к ним с просьбой: "Едете в Париж? Не могли бы вы выяснить для меня одну вещь? Мне бы очень хотелось знать, кому принадлежит еженедельник под названием "Les Faux Bonshommes"..." Или: "Скажите, вас не затруднит, когда будете в Будапеште, отправить вот это письмо? Не хотелось бы, чтобы оно попало в руки правительства..."

Главное же, напустите на себя таинственный вид. "Может статься, на следующей неделе мне придется ехать за границу. Куда? Буду знать наверняка, только когда окажусь в Париже. Все будет зависеть от того, что я там услышу... Что буду делать? Ну, — с многозначительной улыбкой, — ...скорее всего, немного поиграю в гольф. Когда еду за границу, всегда беру с собой клюшки для гольфа. Избавляет от необходимости отвечать на щекотливые вопросы".

Преимущество этой школы в том, что, поскольку основная ее цель — остаться незамеченным, разоблачить себя почти невозможно; недостаток же в том, что в конфиденциальной, компанейской обстановке разоблачить себя очень даже просто. Есть у этой школы и минусы, порой довольно досадные. Людям более общительным и экспансивным я бы порекомендовал школу "прожигателя жизни".

Личное присутствие здесь значит многое, роль, которую следует играть, — развязный и безвкусный прожигатель жизни. У "сотрудника спецслужб" должны быть связи с русским балетом, Уилтширом и модными еженедельниками; "прожигатели жизни" ходят на биржу, фланируют по Флит-стрит, торчат в курительных Палаты общин. Моются они лишь по большим праздникам, да и на парикмахера у них, как правило, времени не хватает. Их отличает грубый, задиристый голос, гангстерский словарь, панибратство. Они сторонятся умеренности и либо пьют без просыпу, либо

капли в рот не берут; они хвастаются своими любовными победами, и источники информации у них большей частью общедоступны. Они знают всех и каждого с годовым доходом в двадцать тысяч фунтов и готовы, причем по собственной инициативе, представить подробную информацию о размещении этих средств. "Старик такой-то вложил сто тысяч туда-то", — сообщат они, или: "Такому-то в сообразительности не откажешь — на прошлой неделе он заработал очень неплохо". Им известны все до одной государственные сплетни, которые они черпают в парламентском лобби и в кабинетах парламентских организаторов. Секреты членов Кабинета, интимного характера прежде всего, для них секретами не являются. Грубые манеры не мешают им проявлять повышенную заботу о себе и своих удобствах, и мало кто из них путешествует дальше Лос-Анджелеса или Лидо.

Главное — проявлять в случае разоблачения гибкость. Вы, например, рассуждаете за столом об особенностях каталонского национализма, и в самом конце вашего монолога кто-то из присутствующих позволяет себе не согласиться с тем, что Бильбао и Герника находятся в Каталонии. Пусть это вас не смущает. Либо выпалите: "Чего спорить с коммунистами (или с фашистами)?!" Или закричите: "Я не говорю про Каталонию. Я говорю про басков", или: "Кто сказал про Бильбао? Я говорю про Барселону", или: "Дорогой вы мой, посмотрите на карту. Я здесь не для того, чтобы обучать вас азам географии". Любого из этих ответов (или всех одновременно) будет вполне достаточно, чтобы спасти вашу репутацию. Всякий спор воспринимайте как нападки соперника во время вашей предвыборной кампании. Распоряжайтесь статистикой по своему усмотрению. Если, например, кто-то говорит: "Все судовые инженеры — шотландцы", авторитетно уточните: "Согласно последним цифрам, предоставленным торговым флотом, число шотландцев составляет 78,4 процента". Подавайте общеизвестные факты как собственную информацию. Например, вместо того чтобы заметить: "Какой дождливой оказалась вся прошлая неделя", скажите: "В Гринвиче мне сообщили, что за последние полтора месяца выпало рекордное количество осадков". Вместо того чтобы сказать: "В последнее время ограблено много ювелирных магазинов", объявите: "Специальный уполномоченный сообщил мне, что Скотланд-Ярд положит этому конец". Когда упоминаете большие компании, называйте их именем главного акционера: "Эшфилд строит новую автозаправочную станцию", "Монд повышает цену таблеток", "Напишите об этом Астору".

Если следовать этим нехитрым инструкциям и изучить приемы тех, кто неплохо проявил себя в деле, вы сможете обеспечить себе блестящую юность, процветающую зрелость, титул Великого Старца и в конечном итоге немало хвалебных некрологов.

Грэм Грин

Утраченное детство

Быть может, только в детстве книги оказывают на нас такое большое влияние. Повзрослев, мы восхищаемся, развлекаемся, можем даже под влиянием какого-нибудь автора изменить уже сформировавшиеся взгляды, однако большей частью в книгах мы находим лишь подтверждение того, о чем уже не раз думали. Как и во время любовной связи, мы видим

не черты лица нашей возлюбленной, а наши собственные — приукрашенные — черты.

В детстве же все книги — это прорицание; они предсказывают нам будущее и, подобно гадалке, что видит в картах долгую дорогу или смерть от воды, на него влияют. Скорее всего, именно поэтому книги так нас в детстве и волновали. Разве может сравниться то, что мы извлекаем из них сегодня, с тем волнением и откровением, какие мы испытывали первые четырнадцать лет нашей жизни? Разумеется, мне и теперь будет небезынтересно узнать, что весной из печати выходит новый роман Э. М. Форстера[1], но подобное предвкушение сдержанного интеллектуального удовольствия не идет ни в какое сравнение с тем сердцебиением, с тем испуганным ликованием, какое я ощущал, обнаружив на библиотечной полке доселе не читанные романы Райдера Хаггарда, Перси Уэстермена, капитана Бриртона или Стэнли Уэймена. Нет, не теперь, а именно тогда, в те, еще юные годы, я ждал, что разразится кризис, что наступит мгновение, когда жизнь совершит очередной поворот на своем пути к смерти.

Отчетливо помню ту внезапность, с какой я вдруг, словно в замке повернулся ключ, обнаружил, что умею читать, — и не просто учебник, где слоги соединяются между собой на манер вагонов поезда, а настоящую книгу. Книга — приключения Диксона Бретта, детектива, — была в бумажном переплете, а на обложке был нарисован мальчик: связанный по рукам и ногам, с кляпом во рту, он болтался на веревке в колодце, и вода доходила ему до пояса. Все лето, пока продолжались каникулы, я хранил свою тайну — мне не хотелось, чтобы знали, что я умею читать. Вероятно, уже тогда, не вполне отдавая себе в этом отчет, я понимал, какая мне грозит опасность. Пока я не умел читать, мне ничто не угрожало — колеса еще не начали вертеться; теперь же, притаившись на книжных полках, будущее ждало, какую жизнь выберет себе ребенок — аудитора, или колониального чиновника, или плантатора в Китае, хорошо оплачиваемую работу в банке, счастье или несчастье и, в конечном счете, не только жизнь, но и смерть — ведь смерть мы выбираем себе точно так же, как и работу. Она слагается из наших дел и уклонения от дел, из наших страхов и мгновенно принятого мужественного решения. Думаю, мать раскрыла мой секрет, ибо перед отъездом домой мне подарили в дорогу еще одну настоящую книгу, "Коралловый остров" Балантайна, с единственной — правда, цветной — картинкой на фронтисписе. Но я так ни в чем и не признался, и всю дорогу тупо смотрел на эту картинку, книгу же не раскрыл ни разу.

Однако до́ма, на полках (их было много — семья была большая), меня уже поджидали книги — и, прежде всего, *одна* книга, но перед тем, как протянуть руку к ней, давайте снимем с полки несколько других — наугад. Каждая из них была магическим кристаллом — мальчику мнилось, что он видит, как в этом кристалле творится жизнь. На броской многоцветной обложке значилось: "Капитан Джилсон. 'Летчик-пират'". Эту книгу — историю о пропавшей цивилизации в Сахаре и о подлом американском пирате, который, прилетев на аэроплане, похожем на воздушного змея, с бомбами величиной с теннисные мячи, потребовал от золотого города выкуп, — я прочел, наверное, раз шесть, не меньше. Спас город юный офицер — он геройски прокрался в пиратский лагерь

1. Эдвард Морган Форстер (1879–1970) — английский писатель и критик.

и вывел аэроплан из строя. Его схватили, и он смотрел, как пираты копают ему могилу. Расстрелять его должны были на рассвете, и, чтобы провести время и отвлечь молодого человека от невеселых мыслей, галантный янки сел играть с ним в карты, в невинную детскую игру кункан. Память об этой ночной игре на краю могилы преследовала меня потом многие годы, пока, наконец, я не справился с этим наваждением, использовав эпизод из "Летчика-пирата" в своем собственном романе, где герои примерно в таких же обстоятельствах играют в покер.

А вот "Софи из Кравонии" Энтони Хоупа[1] — история о судомойке, ставшей королевой. Один из первых фильмов, который мне довелось видеть, в 1911-м, кажется, году, снят был по этой книге, и я до сих пор слышу грохот перетаскиваемых через Кравонианский перевал пушек королевы — в эти минуты тапер что было сил колотил по клавишам стоявшего перед экраном пианино. Тогда же были прочитаны "История Фрэнсиса Клада" Стэнли Уэймена и, конечно же, "Копи царя Соломона" — в те годы самая моя любимая книга.

"Копи царя Соломона" не вызвали смятение в моей душе, но на будущее, безусловно, повлияли. Если б не эта романтическая история с участием Алана Куотермена, сэра Генри Кертиса, капитана Гуда и, прежде всего, столетней колдуньи Гагул, разве стал бы я девятнадцати лет от роду изучать списки чиновников в Министерстве колоний, разве пытался бы сделать карьеру на нигерийском флоте? Да и позднее, когда я мог бы уже образумиться, мое странное увлечение Африкой по-прежнему давало себя знать. В 1935 году я лежал в лихорадке на армейской койке в хижине либерийского туземца, в пустой бутылке из-под виски догорала свеча, а в темном углу возилась крыса. Если б не неизъяснимые чары Гагул, которая, точно кобра свой капюшон, расправляла морщины на лысом желтом черепе, разве просидел бы я весь 1942 год в маленькой душной комнатушке во Фритауне, в Сьерра-Леоне? Между землей Кукуанов за пустыней и горным хребтом, прозванным Грудь царицы Савской, и домом с жестяной крышей на болотах, где стервятники разгуливали, как индейки, а бродячие собаки лунными ночами не давали мне своим воем заснуть, домом, мимо которого ехали в клуб белые женщины с желтой от антималярийных таблеток кожей, — общего было немного, но, по крайней мере, и земля Кукуанов, и этом дом находились на одном континенте, принадлежали — пусть с некоторой натяжкой — к одной и той же области воображения, к не покидающему тебя чувству неуверенности, когда не знаешь, куда идти и зачем. Однажды я подошел к Гагул и ее преследователям совсем близко. Было это ночью в Жигите, на либерийской стороне границы с Французской Гвианой, когда мои слуги сидели в хижине, захлопнув ставни и закрыв руками глаза; кто-то снаружи бил в барабан, и все жители попрятались в домах, пока по городу расхаживал огромный колдун, увидеть которого значило ослепнуть.

Но удовлетворить меня полностью "Копи царя Соломона" не могли: ответ, который в них заключался, был неверным. Ключ к замку́ немного не подходил. Другое дело Гагул: разве не поджидала она меня в моих снах каждую ночь в проходе у комода? Да и сейчас, когда я болен или устал, она продолжает меня ждать — хотя теперь колдунья облачена в теологические одежды Отчаянья и говорит словами Спенсера:

1. Сэр Энтони Хоуп Хокинс (1863–1933) — английский писатель, печатался под псевдонимом Энтони Хоуп.

Чем больше жизнь – тем больше грех;
Чем больше грех – тем горше наказанье.

Да, Гагул осталась в моем воображении навсегда, а вот Куотермен и Кертис – не были ли они даже для меня, десятилетнего, слишком уж хороши, слишком непогрешимы? То были люди такой непреклонной прямоты и твердости (свою ошибку они готовы были признать, только чтобы доказать, что способны ее исправить), что мятежная душа ребенка не могла долгое время усидеть на их монументальных плечах. Ведь ребенок, в конце концов, совсем неплохо разбирается в том, что происходит, – если чего ему не хватает, так это *отношения* к происходящему. Он прекрасно себе представляет, что такое трусость, стыд, обман, разочарование. Когда прижатый к скале, обливающийся кровью от десятка ран сэр Генри Кертис отважно сражается с полчищами твала, не выглядит ли его героизм несколько преувеличенным? Герои Хаггарда сродни платоническим идеям: в жизни – той, какую только начинает познавать молодой человек, – им нет места.

Когда же я снял с полки "Миланскую гадюку" мисс Марджори Боуэн (мне тогда было, наверно, лет четырнадцать), будущее мое – не знаю, на счастье или на беду – прояснилось. С этого дня я начал писать. Все остальные варианты будущего исчезли: потенциальному чиновнику, университетскому преподавателю, клерку пришлось искать другие инкарнации. Многочисленными подражаниями великолепному роману мисс Боуэн, историями, действие которых происходило либо в Италии XVI века, либо в Англии века XII и которые отличались неслыханной жестокостью и отчаянным романтизмом, в мгновение ока заполнились мои школьные тетради. Казалось, об этом времени я буду писать всю оставшуюся жизнь.

Почему? На первый взгляд, "Миланская гадюка" не более чем история войны между Джан Галеаццо Висконти, герцогом Миланским, и Мастино делла Скала, герцогом Веронским, рассказанная с энергией, изобретательностью и поразительным чувством стиля. Почему эта история проникла мне в душу, разукрасила и объяснила ужасный мир каменных лестниц и беспокойных спален закрытой школы? В нашем мире нет смысла мечтать о том, что станешь сэром Генри Кертисом; что же касается делла Скала, отказавшегося, в конце концов, от честности, которая никогда не окупается, предавшего своих друзей и умершего обесчещенным, ибо даже его предательство не увенчалось успехом, – то ребенку легче скрыться под его маской. Что же до Висконти, бесстрастного красавца, злого гения, то я много раз видел, как он проходит мимо в праздничном, пропахшем нафталином черном костюме. Звали его Картер. Он сеял ужас, словно снежная туча, сгустившаяся над только что вспаханным полем. Добро лишь раз нашло свое воплощение в человеке, и больше это не повторится никогда; зло же найдет в него путь всегда. Человеческая природа не черно-белая, а черно-серая. Все это я вычитал в "Миланской гадюке" и, осмотревшись по сторонам, увидел, что все обстоит именно так.

Обнаружил я в книге и еще одну тему. В конце "Миланской гадюки" есть превосходная сцена, тот, кто прочитал роман, ее не забудет: все враги повержены, делла Скала мертв, Феррара, Верона, Наварра, Мантуя пали, то и дело появляются гонцы с донесениями о новых победах, весь мир снаружи рушится, а Висконти сидит, шутит и пьет вино, раз-

глядывая его на свет. Я не слишком интересовался античностью, иначе бы, наверно, обнаружил, что мисс Боуэн позаимствовала у древних ощущение рока, скрывающегося даже за самым громким успехом, чувство, что маятник вот-вот качнется в другую сторону. И это тоже было мне понятно — обреченные, если посмотреть вокруг, встречались на каждом шагу: чемпион по бегу, который в один прекрасный день рухнет на финише; директор школы, который за сорок одинаково ужасных лет растеряет всю свою власть; ученый... Поэтому, когда успех, пусть и самый незначительный, коснется и тебя, остается только молиться, чтобы неудача не шла слишком долго по его следам.

Четырнадцать лет ты прожил в диких, непролазных джунглях без карты — теперь же, когда тропинки в джунглях наметились, ничего не остается, как по ним идти. Однако желание писать мисс Боуэн внушила мне главным образом своей энергией. Ее нельзя было читать, не поверив, что писать — значит жить и радоваться жизни, а когда ты понимал, что это ошибка, было уже поздно: первую книгу ведь любишь всегда. Как бы то ни было, это ей обязан я основной схемой своих книг — в дальнейшем религия объяснила мне эту схему иначе, но схема, как таковая, уже была: высшее зло шагает по миру там, где высшему добру не пройти больше никогда, и только маятник гарантирует, что в конечном счете справедливость восторжествует. Человек никогда не бывает доволен, и мне часто хотелось, чтобы единственной книгой, к которой потянулась моя детская рука, была "Копи царя Соломона" и чтобы будущее, которое я снял с книжной полки в детской, было оторванной от мира душной комнаткой в Сьерра-Леоне, двенадцатью инспекционными поездками по зараженным малярией районам и в довершение всего гемоглобинурийной лихорадкой, свалившей меня, когда нависла угроза отставки. Какой смысл желать? Книги всегда рядом, они поселяют в нас смятение, и теперь наши дети в свою очередь снимают с полки свое будущее и листают его страницы. В своем стихотворении "Жерминаль" АЕ[1] писал:

В древних тенях и сумерках,
Где детство бродило,
Горе мира рождалось,
Зрела героев сила.
В утраченном детстве Иуды
Иисуса Христа могила.

Перевод А. Ливерганта

1. АЕ — псевдоним ирландского поэта и драматурга, деятеля ирландского Возрождения Джорджа Уильяма Расселла (1867–1935).

Неизвестная чешская поэзия

Из века в век. Чешская поэзия: Стихотворения / Сост., предисл., примеч. С. Н. Гловюка, Д. Добиаша; Предисл. к серии В. Г. Куприянова. — М.: Пранат, 2005. — 608 с. (Серия "Из века в век. Славянская поэзия XX–XXI").

Казалось бы, литература славянских народов должна быть нам ближе, понятнее, по крайней мере интереснее, чем литература стран более далеких, в силу (реальной или кажущейся) духовной близости и родственности языков. Однако же полки книжных магазинов убеждают в обратном. Кого из чешских писателей второй половины XX века смогут назвать неспециалисты? М. Кундеру, возможно, Б. Грабала, более начитанные — еще несколько имен. Вряд ли среди них будут поэты. Чешская поэзия практически не переводилась и не издавалась у нас уже около двадцати лет. Да и предыдущие издания не могли дать более или менее адекватную картину, так как на всю область "неофициальной" литературы было наложено табу. Не только в России, но и в Чехии процесс заполнения "белых пятен" на литературной карте последнего пятидесятилетия еще далек от завершения.

Очередной — шестой — том поэтической серии "Из века в век", задуманной поэтом и переводчиком С. Гловюком, в этом плане уникален. На шестистах страницах собраны произведения почти сотни поэтов, родившихся в 20-е годы прошлого века и позже. Такие жесткие временные рамки распространяются на всю серию, поэтому в сборник не попали, например, нобелевский лауреат Я. Сейферт или Я. Скацел. Но антология — жанр особый, мнения о том, кто из авторов незаслуженно отсутствует (или присутствует) на страницах книги, могут быть диаметрально противоположными. Уместнее исходить из того, какую цель ставят перед собой составители. А цель эта масштабна — представить российскому читателю как можно более широкую панораму чешской поэзии, познакомить его с различными направлениями: от традиции до авангарда, заинтересовать, побудить к дальнейшему более близкому знакомству с творчеством понравившихся авторов. Издание снабжено предисловием, где составители, насколько это возможно, на нескольких страницах очерчивают историю чешской поэзии от начала XX века до наших дней. Завершает книгу свод кратких биографических справок, составленный по хронологическому принципу.

Уже один взгляд на этот раздел многое говорит о судьбах чешских писателей: из биографии в биографию кочуют формулировки "менял различные профессии и места работы", "был вынужден заниматься физическим трудом", "был репрессирован". Многие представленные в антологии поэты смогли официально опубликовать свои произведения на родине лишь в 1990-х годах. Переломным для современной чешской истории стал 1948 год, когда к власти пришла коммунистическая партия. В условиях преобладания соцреалистической поэтики родилась поэзия неофициальная. Отталкиваясь от богатого опыта сюрреализма 30-х годов (и одновременно им питаясь), появляется "тотальный реализм" Э. Бонди и "мучительная поэзия" И. Водседялека. С именами этих авторов связано как зарождение андеграунда, так и начало эпохи самиздата. Основой их творческой программы становится пародийность, намеренная депоэтизация, нарочитая наивность, простота образности и стихотворной формы.

В середине 50-х политическое давление несколько ослабло, и писа-

тели получили относительную свободу. В это время вокруг журнала "Кветен" складывается круг "поэзии будничного дня", представленный в настоящей антологии такими именами, как К. Шиктанц и М. Флориан. Это поиск красоты в проявлениях обычной жизни, интерес к конкретному человеку, попытка противопоставить схематичности и риторичности живое субъективное ощущение, наблюдение, опыт. Плодотворными для чешской литературы стали 60-е годы, когда спектр поэтики необычайно расширяется. На первом месте оказывается эксперимент, главной целью которого является избавление от чувства исчерпанности, "затертости" языка, что достигается с помощью словесной игры, разрушения привычных связей между словами, деконструкции текста. На страницах антологии читатель найдет различные варианты реализации этой программы – от И. Груши, И. Верниша, П. Кабеша до "типографической поэзии" В. Гавела. Стихотворение, зачастую выходящее за рамки литературы, начинает соприкасаться с изобразительным искусством. Фотографическим изображением тех или иных предметов можно заменить слова, а чистые тактильные ощущения предстают в вербализированном виде, как в произведениях Я. Шванкмайера:

Что-то шероховатое,
облупившееся
Падающее
Крошащееся
Что-то металлически холодное
Немного жирное
Что-то гладкое, округлое
Оказывающее умеренное сопротивление
Что-то шершавое
Ничего
Что-то шершавое
Ничего, что-то шершавое
Ничего, что-то шершавое
Ничего

Перевод Е. Глушко

Этот известный художник и режиссер связан с поэтикой сюрреализма, обретшего новую жизнь в конце 60-х годов и не потерявшего актуальности в чешской поэзии до наших дней. В антологии нашлось место для наиболее заметных сюрреалистов разных поколений: М. Направника, С. Дворски, П. Ржезничека, А. Надворниковой, Р. Эрбена, К. Шебека, Ф. Дрые. Начинали свою литературную карьеру в рамках Сюрреалистической группы В. Лингартова и П. Крал. Впоследствии они уехали из Чехии – эмигрировали. После событий 1968 года, в эпоху "нормализации", пришедшей на смену периоду свободы, многие представители творческой интеллигенции были вынуждены покинуть родину. Читатель антологии может составить впечатление о разнообразии и разноплановости поэзии чешской эмиграции по произведениям В. Фишеровой, К. Злина, С. Рихтеровой, П. Оуржедника, В. Тршешняка.

70-е годы в культурной жизни Чехословакии были отмечены заметным английским и американским влиянием, в том числе и рок-музыки. Яркие фигуры на поэтическом небосклоне этого периода связаны с музыкальной деятельностью и культурой андеграунда, своеобразная программа которого формируется в это время наиболее отчетливо. С одной стороны, это отказ от конкретных художественных установок, с другой – создание собственной мифологии и системы ценностей, где на первом месте стоит свобода личности и ее самовыражение. Поэзия (в том числе и рок-поэзия) андеграунда ищет новые ценности, тяготясь душной атмосферой интеллектуальной несвободы, ниспровергая моральные и эстетические авторитеты, поэтизируя низкое, обращаясь к разговорной лексике, ломаной форме, предпочитая белый стих. Освобождаясь от психоделических и сюрреалистических образов, поэты обращаются преимущественно к неприкрашенному рассказу о действительности:

...Вокруг нас столько
бессмыслицы, что я не знаю

что мне делать —
блевать или смеяться
наверное, и то и другое сразу
а плач в пивной делает нас
свободными лишь на пять минут
что дальше?..

В. Брабенец *Письмо Психу.*
Перевод А. Бобракова-Тимошкина

Одни для достижения внутренней свободы выбирают погружение в пучину разврата, другие — обращаются к религии: в их поэзию проникают традиционные христианские мотивы или же и то и другое, которые причудливым образом переплетаются, как в творчестве И. М. Ироуса, руководителя знаменитой группы "Plastic People of the Universe".

В 80-е годы христианское направление нашло развитие в стихах П. Колмачка, позже — у П. Борковеца и П. Петра. В то же время в творчестве И. Г. Крховского и Л. Маркса новую жизнь неожиданно обрела поэтика декаданса. Современный литературный процесс — после "бархатной революции" 1989 года поэзия вместе со всей страной получила полную свободу — во многом определяется "возвращенной" литературой, и в стихах молодых авторов слышны самые разные отголоски: андеграунда, сюрреализма, экспериментальной и метафизической поэзии.

Так, страница за страницей, читатель погружается в чешскую поэзию второй половины прошлого века, расцветшую вопреки запретам и идеологическому давлению. И, наверное, неслучайно одна из сквозных тем вошедшего в антологию — тема самой поэзии, ее сути, ее выразительных возможностей, тайны ее рождения, тайны слова, обретающего новую глубину и значение в стихотворной строке. Как, например, у М. Топинки:

Текст — это только след,
Отпечаток/печать, /нарочно не
говорю подтверждение/.
Рембо говорил то же,
только другими словами:
"Главным произведением поэта
является его
существование как поэта".
Именно из-за этой
непродыхаемой связи
малейшая попытка сойти
на мгновение с острия ножа
появляется в тексте. И наоборот,
и тончайшая под-
порка в тексте вдруг появляется
вне текста...

Крысиное гнездо.
Перевод О. Панькиной

Поэзию лучше читать в оригинале, общаясь с автором напрямую, без посредника, каким так или иначе становится даже самый лучший переводчик. Преимущество новой антологии как раз в том, что это билингва, поэтому всегда есть возможность заглянуть в исходный текст, "попробовать его на вкус", а это может доставить удовольствие и читателю с чешским языком незнакомому. В переводах же, над которыми трудился довольно большой коллектив богемистов — от прославленных мастеров (как О. Малевич, М. Письменный) до молодых переводчиков, — есть и безусловные находки и удачи, и досадные недоразумения. Часто чешская фраза — энергичная, краткая, "пружинящая" — сопротивляется неторопливой напевности русского языка. Впрочем, уже сам факт появления целой книжной серии, посвященной славянской поэзии, является событием. Жаль только, что тираж каждого тома (1000 экземпляров) недостаточно велик для нашей огромной страны. (Для сравнения: французское издательство "Галлимар" выпустило в 2002 году объемную антологию современной чешской поэзии в количестве 4000 экземпляров.)

Остается только надеяться, что этим проектом отечественные издатели не ограничатся, и российский читатель сможет познакомиться с чешской литературой во всем ее богатстве, а также с другими славянскими литературами.

Анна Боярская

Мордехай Рихлер
Mordecai Richler
[1931–2001]. Канадский англоязычный писатель, прозаик, сценарист, эссеист, лауреат многих престижных литературных премий, кавалер ордена Канады.

Автор десяти романов, в том числе *Акробаты* [*The Acrobats*, 1954], *Ученичество Дадди Кравица* [*The Apprenticeship of Duddy Kravitz*, 1959], *Йошуа тогда и сейчас* [*Joshua Then and Now*, 1980], *Здесь был Соломон Гурски* [*Solomon Gursky Was Here*, 1989], автобиографической книги *Улица* [*The Street*, 1969; рус. перев. 2005], сборников эссе, книг для детей и др.
Роман печатается по изданию *Barney's Version* [Alfred A. Knopf Canada , 1997].

Александр Яковлевич Ливергант
[р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. Лауреат премий *Литературная мысль* [1997], *зоИЛ* [2002].

В его переводе издавались романы Дж. Остин, Дж. К. Джерома, И. Во, Т. Фишера, Р. Чандлера, Д. Хэммета, У. Тревора, П. Остера, И. Б. Зингера, повести и рассказы Г. Миллера, Дж. Апдайка, Дж. Тербера, С. Моэма, П. Г. Вудхауса, В. Аллена, эссе, статьи и очерки С. Джонсона, У. Б. Йейтса, Дж. Конрада, Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. К. Честертона, Г. Грина, а также письма Дж. Свифта и Л. Стерна, дневники С. Пипса и др.
Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Анна Вебер
Anne Weber
Немецкая писательница и переводчик, пишет по-французски и по-немецки, с 1983 г. живет в Париже. Лауреат премии имени Хаймито фон Додерера [2004].

Автор книг *Ида изобретает порох* [*Ida erfindet das Schießpulver*, 1999], *В начале было...* [*Im Anfang war...*, 2000], *От первого лица* [*Erste Person*, 2002], *Золото в устах* [*Gold im Mund*, 2005].
Публикуемый перевод печатается по изданию *Besuch bei Zerberus* [Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag , 2004].

Татьяна Александровна Баскакова
Переводчик с немецкого, французского и итальянского языков.

В ее переводе изданы книги А. Роке *Брейгель, или Мастерская сновидений*, И. Фрэн *Клеопатра, или Неподражаемая*, О. Ролена *Пейзажи детства*, Р. Сафрански *Хайдеггер. Германский мастер и его время*, романы К. Крахта *Faserland* и *1979*, А. Шмидта *Каменное сердце*, А. Дёблина *Три прыжка Ван Луня*, повесть Т. Бернхарда *Холод: Изоляция*, текст Герта Йонке *Говорящий по часовой стрелке* и др. В *ИЛ* в ее переводе печатались рассказы А. Шмидта [1999, № 7] и И. фон Кизерицки [2002, № 5], повесть Б. Бернхарда *Племянник Витгенштейна* [2003, № 2], повесть Ф. Йегги *Пролетарка* [2003, № 3], фрагменты книги Х. Х. Янна *Деревянный корабль* [2003, № 9], письма и афоризмы П. Целана [2005, № 4], повесть А. Шмидта *Черные зеркала* [2005, № 5] и др.

Кристиан Бобен
Christian Bobin
[р. 1951]. Французский писатель, эссеист. Лауреат премии Дё Маго [1993], Большой премии за католическую литературу [1993] и др.

Автор книг *Нарядное платьице* [*Une petite robe de fête*, 1991], *Всеменьший* [*Le Très-Bas*, 1992], *На полном скаку* [*La folle allure*, 1995], *Живее живой* [*La plus que vive*, 1996], *Все заняты* [*Tout le monde est occupé*, 1999; рус. перев. 2001], *Узник колыбели* [*Prisonnier au berceau*, 2005] и др.
Публикуемые переводы выполнены по изданиям *L'équilibriste* [Cognac: Le temps qu'il fait, 1998] и *Autoportrait au radiateur* [Paris: Gallimard , 1997].

Сергей Завьялов
[р. 1958]. Поэт. Начинал в ленинградском Самиздате. По образованию филолог-классик. С 2004 года живет в Хельсинки. Член ПЕН-центра Финляндии и России.

Автор поэтических книг *Оды и эподы* [1994], *Мелика* [1998], *Мелика. Книги I-II* [2003], статей о русской, греческой, финноугорской культуре XX века.
В его переводе вышла книга литовского поэта Эугениюса Алишанки *Божья кость* [2002], оды Горация [альманах *Древний мир и мы*, 1997, 2003].
В *ИЛ* печатается впервые.

Иван Миньо
Yvan Mignot
[р. 1942]. Французский поэт и переводчик русской литературы. Лауреат премии имени Лор Батайон за 2005 год.

Оригинальные стихи и переводы печатались с конца 1960-х годов в журналах *Action poétique, Change, Banana Split, If* и др.
Автор поэтических книг *Упорствующая инаковость* [*Entêtante étrangeté*, 2002] и *проза о Даме* [*prose de la Dame*, 2006].
В его переводе публиковались стихи Мандельштама, Ахматовой, Клюева, Сосноры и др., антология *Хозяева языка* [Е. Поливанов, Н. Марр, И. Сталин], книга Ю. Тынянова *Проблема стихотворного языка* [*Le Vers Luimême*, 1977], собрание сочинений Даниила Хармса [2005], *Щи из трупов* Велимира Хлебникова [2006] и др.
Тексты печатаются по книге *проза о Даме* [*prose de la Dame*. Marseille: Fidel Anthelme X , 2006].

Переводчики

Владимир Борисович Бошняк
[р. 1949]. Переводчик с английского.

В его переводах публиковались романы Э. Л. Доктороу *Всемирная выставка*, Э. Бёрджесса *Заводной апельсин*, Дж. П. Донливи *Печальное лето Сэмюэла С.*, рассказы У. Фолкнера, У. Стайрона, Т. Вулфа, Дж. Леннона, пьесы В. Аллена и др. В его переводе в *ИЛ* напечатана вторая часть романа Т. Вулфа *Костры амбиций* [1991, № 11], рассказ Дж. П. Донливи *Франц Ф.* [1992, № 8—9], роман Т. Моррисон *Любовь* [2005, № 9].

Владимир Денисович Седельник
[р. 1935]. Литературовед, доктор филологических наук, переводчик с немецкого. Лауреат литературной премии имени А. Карельского [1997].

Автор книг *Герман Гессе и швейцарская литература* [1970], *Швейцарские варианты* [1990, в соавторстве с Н. Павловой], многих статей по немецкоязычной, преимущественно швейцарской литературе. В его переводе изданы романы Х. Лёчера *Ной*, П. Низона *Год любви*, воспоминания Лу Андреас-Саломе *Прожитое и пережитое*, а также произведения Г. Гессе, У. Тимма, Ф. Глаузера, Ф. Дюрренматта, К. Шпиттелера и др.
Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Анна Владимировна Чупахина
Переводчик с французского.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Тамара Яковлевна Казавчинская
Переводчик с английского и польского языков.

В ее переводе выходили эссе Д. Дефо, У. М. Теккерея, Ш. Бронте, Дж. Б. Пристли, Г. Грина, рассказы и повести У. Коллинза, Э. Бульвера-Литтона, Р. Киплинга, С. Моэма, Г. Лавкрафта, М. Спарк и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны эссе У. М. Теккерея [1986, № 12], главы книги *Западный канон Х. Блума* [1998, № 12], фрагменты книги Г. Стайн *Париж Франция* [1999, № 7], главы *Автобиографии* Б. Рассела [2000, № 12] и др.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины американского художника Бенжамина Леви [р. 1940] *Кэрол и Хэнк: что-то будет дальше?* [1998].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко.
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова.
Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва, Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции или в киоске "Новой газеты", расположенном по адресу: Страстной бульвар, дом 4.

Подписаться на журнал "Иностранная литература" можно во всех отделениях связи. Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.

Можно оформить льготную подписку в редакции по адресу: ул. Пятницкая, 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") Подписка оформляется в понедельник, вторник, среду, четверг с 12.00 до 17.30.

(Справки по тел. 953-51-47).

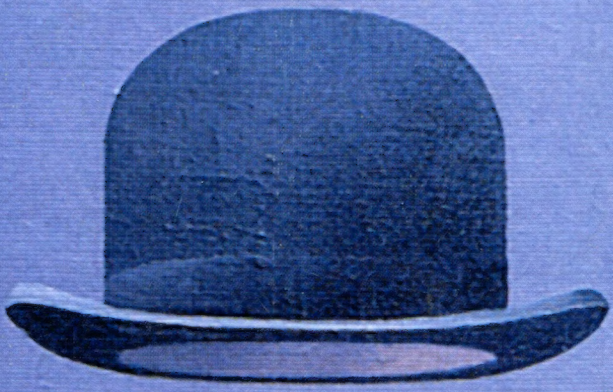
Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 19.07.2007
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 1801.
Тираж 6800 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

ИНОСТРАННАЯ ИЛ ЛИТЕРАТУРА



Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература" :
г.Москва, ул.Пятницкая, д.41

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2007, №8, 1-288

ИНДЕКС 70394